ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1973

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том пятнадцатый

КНИГА ВТОРАЯ

*

ПОШЕХОНСКИЕ РАССКАЗЫ

1883—1884

НЕДОКОНЧЕННЫЕ БЕСЕДЫ

1873—1884

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1973

Р1
С 16

Подготовка текста *В. Э. Бограда*

Примечания
А. А. Жук, Г. В. Иванова, С. А. Макашина

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

С $\frac{0731-149}{028(01)-73}$ подп. изд.

ПОШЕХОНСКИЕ РАССКАЗЫ

ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ
ПО СЕНЬКЕ И ШАПКА

Андроны едут...
(Изречение)

Никогда не жилось мне так весело, как в то время, когда я служил в Можайском гусарском полку. Удивительная тогда во всем простота царствовала. Нынче молодому человеку и пожить-то в свое удовольствие нельзя, ежели, по крайности, хоть до тройного правила арифметику не прошел. Говорят тебе: «Какие ты можешь, скотина, удовольствия или огорченья испытывать, коль скоро ты даже именованных чисел не знаешь!» А прежде с корнета ничего такого не спрашивали. Был бы верный слуга отечеству да по части женского пола чтобы все в исправности состояло — вот и только. Перед тем, кто этими качествами обладал, все двери были настежь. Молодого человека ласкали, баловали, а частенько где-нибудь в укромном уголку не обходилось и без посредничества плутишки амура, в качестве третейского судьи. Ибо кому же из юных воинов удовольствие сие не представлялось привлекательным и полезным?

Я только что был произведен в корнеты. Телосложения я был столь состоятельного, что могу сказать смело: все девицы смотрели на меня с удовольствием. Но так как маменька не позволяла мне жениться, то я больше льнул к дамам, между коими были преаппетитные, особливо одна черненькая. Но и за всем тем, перебирая на склоне дней мои воспоминания по сему предмету, я со вздохом восклицаю: сколь многого я не выполнил, а иное и совсем из виду упустил! Но теперь уже не воротишь.

Полк наш частенько-таки перекочевывал из губернии в губернию, но нигде по части женского продовольствия недо-

статка не ощущалось. Наконец, однако ж, на довольно продолжительное время расквартировали нас в К-ом уезде Т-ской губернии — тут уж не только мы, офицеры, но и солдатики вплотную пожуировали. Впоследствии, когда наш эскадрон выступил в поход против турок, то бабы со всего села верст шестьдесят, под предлогом музыки, за нами шли и выли... Вот как выразительно говорит иногда язык природы!

Это была самая веселая стоянка. Помещиков множество, и все прегостеприимные. У всякого или жена, или дочери, или свояченицы, а иногда и то, и другое, и третье вместе. У некоторых, сверх того, дульцинеи. Последние хотя и без кринолинов, но у иной и принцессы природные дары не в такой исправности. Юные воины переезжали из усадьбы в усадьбу и катались как сыр в масле. Закуски и лакомства целый день не сходили со стола, а кроме того: псовая охота, езда с барышнями на тройках, рыбная ловля, прогулки в лесу... А вечером — танцы. Далеко за полночь, после обильного ужина, в зале постилались на полу перины, и все спали вповалку. Случалось тут кое-что и неладное, ну да в корнетском чине и осудить за сие строго нельзя.

Вскоре, однако ж, наступила отмена крепостного права — и куда все эти перины и дульцинеи девались!

Юные нынешние корнеты! по совести вас спрошу: не лучше ли сим естественным способом время проводить, нежели о сухих туманах спорить, от каковых споров и до превратных толкований, пожалуй, недалеко.

Но в глубокую осень и в весеннюю ростонель случались дни, когда поневоле приходилось коротать время в своем кружке, на глазах старших. О старших вообще должно сказать, что они ездили к соседним помещикам только в дни семейных торжеств, а прочее время собирались между собой, резались в штос и пили пунш. Но были и такие, которые в карты не играли, а только пунш пили. В числе последних был и незабвенный майор Горбылёв. Пил он пунш без счета и надежды на опьянение и во время питья любил порассказать разную бывальщину. Майором он служил с испокон веку, изъездил на верном коне всю Россию, многое видел, но еще больше того не видал. Но главный интерес его рассказов заключается в том, что во всех обстоятельствах его жизни, прямо или косвенно, принимала участие нечистая сила. То в виде домового, то в виде лешего, то прямо в виде черта. А ведьм, русалок и лешачих перевидал он без числа. И от всей этой нечисти, благодарение богу, благополучно избавлялся, кроме, впрочем, домового, который до самой смерти, после пунша, его по ночам душил.

Мы, молодежь, с увлечением внимали его бесконечным рассказам, почерпая в них полезные для себя указания на случай встречи с лешим или с лешачихой. Вот, бывало, на дворе дождь, по дорогам невылазная грязь стоит, а мы заберемся к доброму старому майору, обсядем кругом и слушаем.

Некоторые из его рассказов я счел своевременным публиковать. Давно бы мне пора на сию стезю вступить, да все думилось: авось бог помилует! Даже и теперь, когда сделалось ясным, что по грехам моим надежды на помилование нет,— даже и теперь до последней минуты колебался, что̀ лучше публиковать: рассказы майора Горбылёва или «Поваренную книгу»?

Однако ж не решился на последнее, потому что повар я уж совсем плохой. А после рассказов Горбылёва, быть может, опубликую рассказы ротмистра Возницына, а потом и прочих господ офицеров. Смотришь, время-то и пройдет[1].

РАССКАЗЫ МАЙОРА ГОРБЫЛЁВА

«Расскажу вам, господа, как я однажды с чертом в карты играл.

Было время, когда я страстно карты любил. С утра до вечера штосы срезывал или банк метал, и, признаюсь, довольно-таки удачно. И так к этой операции привык, что, даже походом идучи, не раз на седле банк метал.

Вот только стояли мы в Могилевской губернии, в местечке одном, и говорит мне жидо́к: «Сегодня вечером в клубе польский граф будет». Прекрасно. Прихожу, вижу: действительно, новое лицо в клубе появилось, а около него наша молодежь так и вьется. Одет франтом; на рубашке брильянтовые запонки чуть не с лесной орех; из себя — молодец. «Угодно?» — говорит. «С удовольствием».

И начал он меня жарить. И сам банк заложит, и мне заложить предложит — бьет одну карту за другой, да и шабаш. А я, по несчастию, в то время полковым казначеем был. Все, что принес с собой, в полчаса спустил, домой за подкреплением сходил — и опять только на полчаса хватило. Словом сказать, в такой азарт вошел, что и за казенный ящик принялся. А он сидит, только карты вскидывает да улыбается...

Думал я сначала, не на шулера ли напал, однако сколь-

[1] К сожалению, я не выполнил этого намерения и увлекся в другую сторону. Зато последствия этого увлечения были весьма для меня неприятные. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

ко ни следил — чисто мечет! Аккуратно, не спеша, карта за картой, точно говорит: «Глядите!» Одно только подозрительно: перчаток с рук не снимает, так в них и мечет. А я между тем уж двадцать тысяч проиграл — неминучее дело под суд идти. С досады стал придираться. «Извольте, говорю, перчатки снять!» — «Это почему?» — «Да так, говорю, без перчаток вам ловчее будет!» Слово за слово, он меня, я его... Схватил, знаете, во время перепалки я его за руку, а у него вместо руки-то — лапа гусиная! Я так и обомлел, а он как загогочет! Да так это тоскливо да тяжко, что, сколько тут ни было народу, все разом вон из клуба так и прыснули!

А я как вцепился обеими руками в лапу его, так и застыл. И вижу, что у него и изо рта, и из носу, и из ушей — змеи поползли. А сзади — рыла́ мохнатые. Хочу крикнуть — язык не поворачивается; хочу крестное знамение сотворить — рук отцепить от него не могу. Наконец, чувствую, что он меня самого за собой куда-то тащит...

И представьте себе, в эту самую минуту, как мне уж пропасть приходилось, вдруг, на мое счастие, в кухню петуха принесли! Его на котлеты резать хотели, а он возьми да и запой! Вижу: побледнел мой граф, как мертвец, и зашатался. Шатался-шатался и в одну секунду, в моих глазах, словно в воздухе растаял... Тут только я понял, с каким «графом» я в карты играл.

А денежки мои между тем на столе остались. Разумеется, я сейчас же их обобрал и казенный ящик пополнил. А на другой день, на том самом месте, где он метал банк, подковку серебряную двухкопытную нашли. Это, значит, «он» впопыхах с ноги потерял.

Подковка эта и теперь у меня хранится, но с тех пор я только пунш пью, а карт в руки не беру».

«А вскоре после того и еще происшествие со мной было. Стоял я в это время уж в Киевской губернии, под Чернобылом.

Ну, сами молоды, знаете, каково барану без ярочки жить. А Хиври, да Гапки, да Окси так мимо и шмыгают, и все чернобровые. Я в то время песню знал: «И шуме́, и гуде́, дробен дождик иде́»,— сидишь, бывало, на крылечке у хаты и поешь, а они, шельмы, зубы скалят. Одну ущипнешь, другую... Вечером ляжешь спать — смерть! Вот я одну и наметил.

— Как тебя зовут?

— Наталка.

— Знаю. Наталка Полтавка... у Нижнем на ярмарци ви-

дав... Ну, так как же, Наталочка, будешь, что ли, со мной по-малороссийски разговаривать?

— Не знаю, говорит, чи буду, чи нет. Вам, пане, може, паненочку треба?

— Ну их, говорю. Що треба, що не треба... у всех у вас секрет-то один. А ты ужо приходи, так я тебе гривенничек пожертвую.

Действительно, как только смерклось — пришла. Разумеется, кровь во мне так и кипит. Запаска — к черту, плахта — к дьяволу... и-ах, го-о-лубушка ты моя! И вдруг... чувствую, что сзади у нее что-то шевелится...,

— Що се таке́?

— А это, говорит, фист.

— Как фист?

— Ведьма же я, милюсенький, ведьма...

Вот так праздник! Человек распорядился, совсем уж себя, так сказать, предрасположил — и вдруг: ведьма, фист!..

Являюсь на другой день к полковнику. Докладываю. И что ж бы, вы думали, он мне ответил?

— Ах, простофиля-корнет! не знает, что в Киевской губернии каждой дивчине, в числе прочих даров природы, присвояется хвост! Стыдитесь, сударь!

Разумеется, с тех пор я уж не стеснялся. Только, бывало, скажешь: «Убери, голубушка, фист!» — и ничего. Все равно, что без хвоста, что с хвостом.

Но Наталки я больше не видал, а только слышал, что она, пришедши от меня, целую ночь тосковала, а под утро села верхом на помело и вылетела в трубу».

Рассказавши это происшествие, майор грустно поник головой и некоторое время тихо-тихо напевал себе под нос: «И шуме́, и гуде́»... И вдруг крупная слеза, как тяжелая капля дождя, громко шлепнулась в его пунш.

«Да,— проговорил он торжественно-взволнованным голосом,— что там ни утверждай философы, а без женского пола не проживешь. Царь Давид на что был — и тот согрешил. А царь Соломон даже и очень. Впрочем, вы, молодые люди, лучше других это знаете.

И не только мы, род человеческий, но даже животные — и те к женскому полу непреодолимое стремление чувствуют.

Знал я одного общественного быка, так даже слов не могу подобрать, какой это удивительный бык был! Точно человек!

Надо вам сказать, что в наших деревнях бык — вроде как должность общественная. Староста, сотский, десятский и бык. В иной деревне ни сотского, ни десятского нет, а бык непременно всегда и везде. И содержится он на общественный счет, потому что он гений-хранитель крестьянского стада, он — ручательство, что коровий род не изгибнет вовек. Ибо что значит корова без быка?

Но, подобно людям, и быки бывают разных достоинств. Бывают быки небольшие, но солощие, и наоборот. Бык деревни Разуваевой принадлежал к числу первых. Он был так умен, что мог бы получить аттестат зрелости, если бы не требовалось древних языков. Пять лет сряду высоко держал он свое знамя и не только не думал положить оружие, но даже нимало не отяжелел. Мужички нарадоваться не могли и жили за ним, как за каменной стеной. Как вдруг у соседнего помещика явилась корова Красавка, которая все мужицкие упования рассеяла в прах.

Рассеять мужицкие упования очень легко, господа. Иногда мужичок совсем уж подносит кусок к губам — и вдруг вместо куска... признательность начальства... Да и признательность-то не ему, а сборщику податей. Или: шли бабы полосу жать. Уповают. И вдруг откуда ни возьмись град... и опять одним упованием в жизни мужика стало меньше!

А он и впредь уповать продолжает.

Так было и в этом случае. Бык увидел Красавку нечаянно, когда она паслась за оврагом на пригорке, с лишком за версту от того места, где паслось крестьянское стадо. В одно мгновение участь его была решена. Задравши хвост, уставившись рогами вперед и взрывая копытами землю, он помчался через поля и овраги, и не успел помещичий пастух ахнуть, как уже в вверенном ему стаде произошел общий переполох. Очевидно, что смелый поступок отважного чужанина произвел среди помещичьих коров глубокую сенсацию.

На первый раз, однако ж, дело обошлось мирно. Помещик был человек добродушный, и рыцарский поступок быка даже понравился ему. Но с этих пор поведение быка относительно своих доверителей совершенно изменилось. Напрасно последние изощрялись гонять мирское стадо как можно дальше от помещичьего, напрасно возмущенные домохозяйки секли быка крапивой, напрасно сами коровы бодали его рогами — ни одна не добилась от него ни малейшей ласки. По вечерам, когда стадо пригонялось в деревню, бык убегал. И всегда в одну сторону: в помещичью усадьбу, где находилась его возлюбленная. Упрется рогами в запертые ворота скотного двора, рвет копытами землю и

ревет! Прибегут за ним крестьяне-доверители, начнут жарить в три кнута, а он стоит и ревет. И таким раздирающим голосом, что сам добрый помещик выбежит и крикнет: «Шибче жарьте! вот так!»

Наконец пришлось убедиться, что единственною развязкой в таком деле может быть только нож...

И что же потом оказалось? — что и солощий крестьянский бык, и корова Красавка — не что иное, как оборотни! А именно: поручик Потапов и жена соседнего помещика Крысинина. Оба они были давным-давно друг в друга влюблены, но, по обстоятельствам, соединиться не могли. Вот и придумали...»

«Вообще в старину нечистой силы довольно было. Леса-то берегли, да и болот было множество — так вот оттуда. И если б не это, то многого в жизни совсем было бы объяснить нельзя.

Как, например, объясните вы следующее происшествие? Еду я однажды в город в тарантасе, на почтовых. Разумеется, с ямщиком калякаю.

Хорошо вас хозяин кормит?

Щи, каша, а по праздникам пироги.

А с женой согласно живешь?

— Мы друг дружку... вот и сейчас, приеду домой, на печь полезу...

Словом сказать, как обыкновенно. Знали ямщики мой нрав и никогда не жаловались. Только въезжаем мы, знаете, в лес, а я возьми да и прикорни маленько. И вдруг чувствую, что мы ни с места. Открываю глаза — и что же вижу? Ни ямщика, ни лошадей, ни тарантаса — ничего! А я лежу под деревом на голой земле и плачу. Да-с, плачу-с.

Натурально, удивился и пошел куда глаза глядят. Три дня сряду я по этому проклятому лесу плутал, только брусникой питался. Заснуть — боюсь, присяду отдохнуть на минуту — нетерпенье так и подымает: иду да иду! Наконец отощал. Сел на камень и думаю: «Однако ж ведь я майор!» А тут из лесу кто-то как рявкнет: «Майор! майор! майор!» К счастью, я вспомнил, что у меня на ремне фляжка с водкой. Думаю: булькну. Булькнул раз, булькнул другой — слышу, и в лесу кто-то булькает. Однако булькал да булькал, да под конец и заснул. Долго ли, коротко ли я спал, только просыпаюсь: преспокойно лежу себе дома на походной постели!

Так вот какие перевороты в самое короткое время случаются. Каким образом это объяснить?»

— А может быть, мало-мало выпито было? — съехидничал штабс-ротмистр Возницын, который внутренно хотя и верил в чертей, но по временам любил хвастнуть скептицизмом.

— Выпито — это само по себе. Было выпито — это верно. Но каким же образом объяснить, что я и в тарантасе ехал, и с ямщиком говорил?.. Ведь это все... было? И вдруг... сижу на земле?!

— Да вот именно в подпитии. Ни в тарантасе вы не ехали, ни на земле не сидели...

— Позвольте! но ведь я после этого три дня по лесу ходил! брусникой питался?!

— И по лесу не ходили, и бруснику не ели...

— Но каким образом объяснить, что я фляжку с водкой выпил и потом дома в собственной постели очутился? кто же нибудь меня туда перенес?

— Да просто вы накануне выпили. Выпивши, легли в постель, а на другое утро в той же постели проснулись.

Майор задумался.

— Может быть,— наконец согласился он,— воз-мо-жно!! Но было очевидно, что это согласие стоило ему сильной нравственной борьбы.

«Хорошо,— продолжал он,— положим, что тогда действительно... Было выпито — это так. Но каким же образом вы объясните следующий случай.

Был у нас полковой командир, полковник Золотилов. Лихой. Службу знал так, что словно на нотах, бывало, разыгрывает. В приказах по корпусу — всегда первый, в пример другим. Полк — в исправности, касса — налицо; ума — палата. Всякий божий день — для всех господ офицеров открытый стол. Словом сказать, жили мы за ним, как за каменной стеной.

Только перевели к нам в полк из звенигородских улан ротмистра одного. Культяпка прозывался. Явился Культяпка к полку и первым делом, разумеется, к полковому командиру. Я в это время полковым казначеем был, с утренним рапортом у командира сидел и, следовательно, сам очевидцем был. Начал, это, Культяпка рапортовать: «Имею честь...» — и с первых же слов перервал. Смотрю: вглядывается мой Культяпка в командира, словно припомнить хочет. И вдруг:

— А ведь я, говорит, тебя узнал!..

Туда-сюда. Вспыхнул было наш полковник: под арест и проч. А Культяпка, как ни в чем не бывало, так и режет:

— Ты не тормошись, говорит, а скажи, помнишь ли, как

ты с своей лешачихой мой эскадрон целую неделю по лесу водил?

И вот как хотите, так и судите. В моих глазах, в один момент, полковник Золотилов словно в воздухе растаял. И жена его тоже пропала; и книги, и приказы, и переписка — всё. Бросились мы потом формуляр полковничий искать — и формуляра нет. Уж писарь один нам сказывал: «Да ведь я спервоначала заметил, что в формуляре было написано: «по окончании домашнего воспитания, определен на службу... *в лешие!!*» — «Так что же ты, курицын сын, молчал?»

Разумеется, сейчас рапорт, а нам вместо него на смену Домового прислали. Да так всю чертовщину постепенно и перебрали. И я все время казначеем служил».

— Ну, как вы этот случай объясните? — обратился к нам майор,— ведь это я уж собственными глазами видел!

Но волшебство было столь уже явно, что даже вольномысленный штабс-ротмистр задумался. Однако ж выдержал-таки характер и возразил:

— Да выпито было. Ни Золотилова, ни Культяпки...

— Ну, нет; это, брат, шалишь! Я при Золотилове-то два года служил — неужто ж все время пьян был? нет, а вы вот что лучше послушайте: ведь Культяпка-то после этого сохнуть стал. Чахнул-чахнул, а наконец и совсем зачах. Говорят, будто сейчас после этого пришла к нему полковница и какое-то дело припомнила. С тех пор и пошло на него, и пошло. Жениться задумал и к свадьбе все приготовил, а сам пропал. Мы уж и в церковь собрались — хвать-похвать, где жених? нет Культяпки, да и шабаш. И что ж потом оказалось? — что он трое суток на сеновале проспал! Так дело и расстроилось. В другой раз он же часы в лотерею выиграл, а когда пришел получать, оказалось, что и лотереи такой никогда не бывало. Как вы это объясните?

— Гм...— воскликнули мы в один голос.

— Да и на мою долю, по милости этого Культяпки, попало,— продолжал майор,— потому что я свидетелем этой сцены был. Не будь меня, полковник, может быть, как-нибудь и обвертел бы Культяпку, ну, а при мне — нельзя было. Вот он и мне потом мстил. Я даже подозреваю, что польского графа-то этого, который меня в карты-то обыграл, не кто другой, а именно полковник Золотилов подослал. А может быть, он сам и оборотился графом.

— Весьма вероятно,— вынуждены были мы согласиться.

— Да и одно ли это! Мало ли он разных проказ надо

мной строил! Однажды я гриб в лесу увидел. Смотрю, под самой березой стоит боровик. Протянул, это, руку, чтобы сорвать, а он на пол-аршина в сторону. Я за ним, а он опять на пол-аршина в сторону. Лазил-лазил, гляжу, а боровиков кругом видимо-невидимо. И все крепкие, ядреные, один к одному. Я в кучу, хочу хоть один поймать — пусто! Наконец догадался, заклинанье прочел — вдруг как запищат боровики-то! Я давай бог ноги — и что же потом оказалось! — что я и в лесу совсем не был, а преспокойно пил пунш у драгунского капитана Кедрова!

— То-то, что выпито-то было! — заметил вольномысленный штабс-ротмистр Возницын.

Но мы ему не поверили.

«Вообще в то время много необъяснимого было. Бывало, ешь, пьешь, а, между прочим, боишься, как бы нечистую силу не проглотить.

Всем известны, например, вяземские пряники, а знаете ли вы, отчего они прежде сладки были, а нынче в них вдвое против прежнего сласти убавилось? А я — знаю. Все от «этого».

Стояли мы в восемьсот тридцать шестом году с полком в Вязьме, а там в то время пряничница Прасковья Ивановна в славе была. Из себя — королева, тело — рассыпчатое, губы — алые, глаза — навыкате, груди — вот! Ну, и пристал я к ней:

— Отчего, говорю, у тебя, Прасковья Ивановна, такие пряники сладкие? сахару, что ли, не жалеешь?

— У меня, говорит, и без сахару сладки.

— Что ж за причина?

— А это, говорит, тайность моя.

И что ж наконец она мне открыла?

— Ежели, говорит, я тебе, милый барин, мою тайность скажу, так ты после того в рот нашего пряника не возьмешь!

Разумеется, я не настаивал.

После, однако ж, и до начальства дело дошло: пряники сладки, а сахару не кладут. И распорядилось начальство, чтобы впредь на каждом прянике (на той стороне, где картина) было оттиснуто: «Печатать дозволяется. Цензор Бируков». С тех пор тайность как рукой сняло, но зато и сладости прежней нет.

Но вы сообразите, сколько мы этой нечисти, под видом сладости, наглотались!» .

«В другой раз в Пензенской губернии дело было. Приезжаю однажды на постоялый двор, голодный-преголодный, а хозяйка и говорит: «Поросеночка не угодно ли?» — «Волоки!» Принесли. Лежит, это, поросеночек, как ребенок малый, ножки поджал, кожица белая, жирок... словом сказать, только что не говорит!

— Как это, спрашиваю, вы так отлично отпаивать их умеете?

— А у нас, говорит, слово такое есть.

— Какое слово?

— А вроде как проклятие на себя наложить следует...

Конечно, я не затруднился этим; но кто же может сказать, *кого* я под видом поросеночка съел?!

Впрочем, Пензенская губерния вообще в то время страною волшебств была. Куда, бывало, ни повернись — везде либо Арапов, либо Сабуров, а для разнообразия на каждой версте по Загоскину да по Бекетову. И ссорятся, и мирятся — всё промежду себя; Араповы на Сабуровых женятся, Сабуровы — на Араповых, а Бекетовы и Загоскины сами по себе плодятся. Чужой человек попадется — загрызут. Однажды самого губернатора в осаде держали за то, что он это волшебство разъяснить хотел. И выжили-таки. Ни дать, ни взять Чурова долина.

А папенька-покойник вот еще что про Пензу рассказывал. В царствование блаженной памяти императрицы Екатерины II туда два губернатора съехались: один потемкинский, а другой — мамоновский. Встали друг перед другом, да и стоят: кто первый смигнет? Да, к счастию, соборный протоиерей тут случился, с приездом поздравлять пришел. Как только губернаторы его учуяли — смотрят, потемкинского-то уж нет, а вместо него — коршун! Покуда на него глядели, как он крыльями взмывал, ан промежду ног черная кошка шмыгнула — и мамоновский, значит, исчез!

А кабы не это, победили бы они друг друга, да и управляли бы. А может быть, впрочем, и не раз такие управляли».

«Спрóсите вы меня, с чего это я все об чертях да о кикиморах рассказываю! Так я на это вот что скажу: такая у нас жизнь волшебная, что сам собой разговор в этом роде складывается.

Что такое эта чертовщина и в каком смысле ее понимать надлежит — на это я определительного ответа дать не могу. Но ведь, с другой стороны, ежели сказать наотрез: «Нет чертовщины!» — а вдруг она есть? Кто тогда в дураках будет?

Знал я одного умного статского советника, так тот прямо мне сознался: «Вообще я в нечистую силу не верю; но ежели обстоятельства ей благоприятствуют, то не токмо сам верю, но и другим советую».

Однажды имел он тяжебное дело с соседом в сенате и уж совсем было его проиграл, да вдруг узнал, что обер-секретарь тамошний в чертей верит. Вот и пустил он слух, будто бы в Киеве, на Лысой горе, он однажды с ведьмой пошабашил. Дошло это до обер-секретаря — пожелал объясниться лично.

— Правда ли, говорит, что вы живую ведьму видели?

— Истинная, ваше превосходительство, правда.

— Расскажите.

Ну, статский советник — во всех подробностях. И как, и что. А обер-секретарь слушает да только поясницей вздрагивает: хоть бы глазком, мол, взглянуть!

И что ж бы вы думали? через неделю решение состоялось: отдать землю в вечную собственность статскому советнику. А земли-то, никак, пятьсот десятин было».

«Я и сам, признаться, однажды в этом роде фортель в ход пустил.

Отличился я в ту пору под Севастополем, вот нас, героев, штук двадцать отобрали, привезли в Петербург да Кокореву и препоручили. Он нас днем по гуляньям водил, а ночью — чествовал. Привезет, бывало, в Павловск и водит по музыке: герои! А публика смотрит и повторяет: «Герои!» Балы в нашу честь делали, пикники, ученые собрания устраивали: герои приедут! А некоторые дамы из важных даже поодиночке к себе зазывали: такая-то тайная советница просит героя NN пожаловать. Словом сказать, многие из нас при деньгах к полкам возвратились.

И меня на одном балу старушка графиня наметила: «Сядьте, говорит, герой, возле меня — вот так». Сел. «Расскажите, говорит, как вы Севастополь брали?» — «Не брали, ваше сиятельство, а отстаивали».— «Это все равно. А впрочем, что ж об этом на балу разговаривать; лучше вы мне часок-другой на свободе посвятите. Да вот что: завтра я в двенадцать часов утром дома буду, а муж в свое учреждение уедет — милости просим, герой!»

Гляжу я на нее: места живого нет! приспособиться не к чему! А с другой стороны, графиня, и муж в учреждении служит: как тут отказать!

Наутро ни жив ни мертв, а иду. Хуже чем в сражение:

потому в сражение тебя посылают, а тут — сам иди! Являюсь, а она, прах ее побери, на кушетке лежит. Стукнул шпорами.

— Приблизьтесь, говорит, герой!

И вдруг меня словно осветило.

— Ваше сиятельство, говорю, ведь я леший-с!

Как она взвизгнет! «Корнило! Прохор! Антипка! гоните его!»

И гнали они меня по Литейной, от пушечного двора вплоть до самого Невского. Гонят и приговаривают: «Герой!»

А народ шапки снимает».

«А в другой раз со мной и в противном смысле случай произошел.

Стояли мы однажды в Полтавской губернии: я тогда только что в корнеты произведен был. Кровь так ходуном, бывало, и ходит, а смелости нет. Еще казачку простую, куда ни шло, ущипнешь, а чуть мало-мальски пани или панночка — стоишь перед ней, как дурак, да только глаза таращишь.

Между тем у помещика, у пана Холявы, жена была — краля писаная. И видел я, что я ей по нраву пришелся. Каждый день, бывало, посланца за мной шлет. Приду; сейчас возле себя посадит.

— Любит пан корнет галушки?

— Люблю, сударыня.

— Може, пан корнет и смоквы любит?

— И смоквы, сударыня, люблю.

Подадут и галушки, и смоквы — я и то, и другое в одну минуту съем. А она смотрит на меня и думает: «Сейчас он поест и декларацию сделает!» Не тут-то было. Я как поем, так еще пуще робею. Посидим-посидим, до того насидимся, что она уж спирт нюхать начнет.

— Однако, скажет, глупый же вы, корнет!

Не понимаю даже, как я ей не опротивел. Полагаю, что она больше из любопытства упорствовала. Видит, что дубину обрящила, и думает: «Что из этого выйдет?»

Вот однажды, когда я наелся галушек, она меня и спрашивает:

— А что, пан корнет, вы боитесь русалок?

— Боюсь, говорю.

— Вот так ахвицер!

— То есть я, говорю, настоящих русалок боюсь, а ежели которые...

— Молчите! и слушать больше не хочу! Вот что выду-

мал... каких-то *ненастоящих* русалок! Так вот что вы сделайте: вон там в пруду, в камышах, каждое утро на зорьке русалка купается... «настоящая» русалка... слышите?

Ушел. Целую ночь глаз не смыкал, дождался зорьки — и марш на пруд. Купаюсь, плаваю!.. вдруг слышу: в камышах зашелестело.

— Кто там?

— Я, русалка...

> **Приди в чертог ко мне златой,**
> **Приди, о князь мой дорогой!**

Тут уж и робость с меня соскочила. Как бешеный ринулся я в камыши и в одну минуту выволок русалку на берег.

Однако впоследствии никогда ни единым словом ей не намекнул, что русалка «ненастоящая» была. Сидишь, бывало, сосешь леденцы и скажешь:

— А как вы полагаете, пани, придет завтра на зорьке русалка купаться?

— А когда же она не приходит?!

С месяц мы таким родом купались. Она — русалка; я — князь. Но что было бы после, когда пруд замерз,— сказать не умею. Вероятно, мы как-нибудь устроились бы по-сухопутному.

Но через месяц нас угнали в Костромскую губернию — вот куда!»

«Но бывают и настоящие русалки. У нас в полку еще один майор был, так тот рассказывал, что он целый год в водяном дворце с русалками прожил. И женили его там. Главная русалка на троне с ним сидела, а прочие — прислуживали. А кормили его рыбой да раками Сначала в охотку было, а потом опротивело.

И сколько ему хлопот это происшествие наделало! Аблаката нанимал, чтоб брак-то этот недействительным признать!

Ну, я, бывало, слушаю эти рассказы и думаю про себя: «Знаем мы этих «настоящих» русалок!»

А может быть, впрочем, он и с «настоящей» русалкой жил. Потому что на свете все так: здесь настоящее, а рядом — *не* настоящее... как тут отличить! Ежели по рыбьему хвосту заключать, так и тут всяко бывает: иная и без хвоста, а в лучшем виде русалка!»

«У нас к одному полковому командиру целый месяц каждый день нечистая сила, в образе блудницы, являлась. Только что, бывало, отпустит вечером вестового, а она тут как

тут. Головою кивает, плечами помавает, бедрами потрясает... И что же потом оказалось? — что это тетка юнкера Растопырьева за племянника ходатайствовать приходила! А полковник между тем думал, что она чертовка,— и пальцем не прикоснулся к ней!

А в это же самое время к поручику Клятвину настоящая чертовка ходила, но он перед ней не сробел.

Как это объяснить?

Попик у нас в полку был — молоденький! — так тот, бывало, от объяснений уклонялся Обступят его юнкера молодые и начнут допрашивать:

— Вы, батюшка, как насчет кикимор полагаете, постные они или скоромные?

А он только застыдится и пробормочет:

— Увольте меня, господа!

Однако, когда с полковником это происшествие случилось, и он должен был сознаться, что на свете есть много такого, чего разум человеческий постигнуть не в состоянии. Иной всего только в кадетском корпусе воспитание получил, а потом, смотришь, из него министр вышел — как это объяснить?

Лежишь иногда ночью в кровати — вдруг шорох! или идешь по лесу — хохот! с ружьем по болоту пробираешься — лязг! Кто? что? как? почему?

А главное: сейчас видишь и слышишь, а сейчас — нет ничего...

Однажды со мной такой случай был: только что успел я со станции выехать, как, откуда ни возьмись, целое стадо статских советников за нами погналось. С кокардами, при шпагах, как есть по форме. Насилу от них уехали. А ямщик говорит, что это было стадо быков. Кто из нас прав? кто не прав? По-моему, оба правы. Я прав — потому что видел статских советников в то время, когда они статскими советниками были, а ямщик прав — потому что видел их уже в то время, когда они в быков оборотились.

Вообще превращения эти как-то вдруг совершаются. В Москве мне одного купца показывали: днем он купец, скобяным товаром торгует, а ночью, в виде цепной собаки, собственную лавку стережет. А наутро — опять купец. Как сподручнее, так и орудует».

«Встретился я однажды на станции с майором. Как есть, натуральный майор и с бантом в петлице. Разговорились. То да се.

— В каком деле изволили бант получить?

— Под Остроленкой.

— Так-с. И жаркое дело было?

— Должно быть, жаркое. А впрочем, был ли я там — хоть убейте, не помню!

Так вот как иногда бывает. И банты получаем, а за что — не знаем. Как это объяснить?

А другой случай такой был. Служил у нас в полку ротмистр Коробейников, и заказал он себе новые рейтузы. Только надел он эти рейтузы — и вдруг сделался невидим. Рейтузы и сидят, и стоят, и ходят, а Коробейникова нет как нет. И, главное, он сам некоторое время об этом не знал. Сидим мы однажды в офицерской сборной и вдруг видим: порожние рейтузы идут! Можете себе представить общий испуг!

Теперь сообразите-ка: у одного рейтузы волшебные, у другого — ментик, у третьего — колет... весь полк волшебный! Амуниция налицо, а воинов нет!»

«Знал я одну помещицу, которая к вахмистру на свидание ходила, а об ней говорили, что леший ее по ночам в лес уносит. А про другую помещицу говорили, что она к вахмистру бегает, а на самом-то деле ее леший в лес уносил. И сделалась она по времени как щепка худая, глаза большущие, в лице ни кровинки, а губы красные-раскрасные. Чрез девять месяцев она лешонка принесла... да кудрявый какой!

Вот как наружность иногда бывает обманчива!

Поэтому я и не рассуждаю. Что знаю — того не скрываю, а чего не знаю, об том так и говорю: «Не знаю!»

И всегда вспоминаю при этом слова мудрого статского советника: «Коли время стоит для чертей благоприятное — значит, хоть верь, хоть не верь, а все-таки говори: «Есть!» А когда же оно у нас, позвольте спросить, неблагоприятно?»

«Жили-были две девушки-сиротки и всё говорили: «Не верим» да «не верим!» А один коллежский советник, из добровольцев, их и подслушал: «Чему, сударыни, не верите?»

Туда-сюда. Оказалось на поверку, что они и сами досконально не знают, чему верят, чему не верят. Стоят перед своим судией да только ножками сучат. А он и судья-то не настоящий был, так, со стороны какой-то взялся. И, несмотря на это, не только их проэкзаменовал, да еще к бабушке в деревню под надзор отправил.

Много нынче через это самое молодых людей пропадает. Сначала в одно не верят, потом — в другое, а наконец, и в третье. Иной бы впоследствии и рад поверить, да нет, брат, шалишь! Близок локоть, да не укусишь. И вот, как дойдут они до предела, их и поманят: «Извольте объяснить, в какой силе и почему?» А как необъяснимое объяснить!

Я сам в молодых летах однажды этого духа набрался. Пришел, как смерклось, на кладбище да и гаркнул: «Не верю!» А тут под плитой статский советник Шешковский лежал: «Извольте, говорит, повторить!» И вдруг это все могилы зашевелились — лезут на меня отовсюду, да и шабаш! У кого кабанья голова, у кого — конёвья... Волки, медведи, ехидны, змеи...

И что же потом оказалось! — что при блаженной памяти императрице Екатерине II чиновников тайной канцелярии на этом кладбище хоронили! Они меня и подсидели».

«Нынче с самого малого возраста уж всем наукам учат. Клоп, от земли не видать,— а его с утра до вечера пичкают. В науке тоже, чай, всякие слова бывают; иное надо бы и пропустить, а у нас не разбирают: все слова сподряд учи! Точно в Ростове каплунам насильно в зоб кашу пальцем проталкивают. Ну, мальчонко долбит-долбит, да и закричит: «Не верю!»

А по-моему, настоящая наука только одна: сиди у моря и жди погоды. Вывезет — хорошо; не вывезет — дожидайся случая. А между прочим, поглядывай. Какова пора ни мера — не упускай, а упустил — старайся быть вперед проворнее. Но паче всего помни, что жизни сей обстоятельства не нами устраиваются, а нам надлежит только глядеть в оба.

По наружности наука эта не трудная: ни азов, ни латыни, ни арифметики. Однако ни в какой другой науке не случается столько эпизодов, как в этой. Всю жизнь в ней экзамен держать предстоит, а экзаменатора вперед угадать нельзя. Сегодня ты к одному экзаменатору приспособился, а завтра этот экзаменатор сам в экзаменуемые попал. Вот какова сей жизни превратность.

И первое в этой науке правило — во все верить. Спросят тебя: «В настоящих русалок веришь?» — «Верю».— «А в ненастоящих русалок веришь?» — «Верю».— «Ну, живи...»

Я сам всегда этих правил в жизни держался — оттого двадцатый год в майорском чине состою. И буду ли когда-нибудь подполковником — неизвестно».

«Прожил, господа, я свою жизнь; шестой десяток заканчиваю. Молодость — почти совсем позабыл, середку — тоже, а вот это помню: что и в начале, и в середке — всегда пунш пил. Давно что-то я его пью. День между пальцев проскочит, а вечером — пунш: с ним и спать ляжешь. Вся жизнь тут. Был и под венгерцем, и в Севастополе, и на поляка ходил, а что́ осталось — спросите!

Лет десяток тому назад собралось нас в полку пять человек добрых товарищей; все однолетки, и все майоры. Соберемся, бывало, и пунш пьем. Пить-то пьем, а разговору у нас нет. Заведем разговор — смотришь, сейчас ему и конец. И я с ведьмой шабашил, и другой с ведьмой шабашил, и я с русалкой купался, и третий с русалкой купался. У всех — одно. Однажды вздумали про сотворение мира говорить, так и то у всех одно и то же выходит. А песни петь совестно. Скажут: «Захмелели майоры».

Приедешь, бывало, к помещику в гости — сейчас, это, в сад поведут. Показывают, водят. «Вот это — аллея, а это — пруд». А ты только об одном думаешь: «Скоро ли водку подадут?»

— Нравится вам?

— Помилуйте!

— Так не угодно ли в поле, пшеничку посмотреть?

— С удовольствием!

Или в клуб на танцевальный вечер тебя нелегкая занесет. Сядешь в угол, а тут к тебе предводительша подлетит:

— Извольте, майор, кадриль со мной танцевать!

— С удовольствием-с.

— Нравятся вам наши балы?

— Помилуйте!

— На будущей неделе я пикник в пользу бедных устраиваю — приедете?

— За честь сочту-с.

Полковой командир у нас женился, молодую жену привез. Натурально, обед. И меня, как сейчас помню, по правую руку около жены посадил.

— Вам не скучно подле меня сидеть?

— Помилуйте-с!

— А ежели не скучно, будемте разговаривать.

— С удовольствием-с!

Ни в мужском, ни в женском обществе — нигде разговору нет. Познакомишься, бывало, с дамочкой, подведут тебя к ней, словно на трензелях:

— Вы, майор, женское общество любите?

— Помилуйте, сударыня!

— В таком случае приходите почаще.

— За честь почту-с.

Сядешь и молчишь. Вот она посидит-посидит, видит, что малому-то не до разговоров, и молвит:

— Приходите сегодня вечером вон в ту беседку...

Тут словно как и оживишься... го-го-го!

Скука. И самому скука, и другим смерть. Придешь домой, а там уж полну комнату скуки наползло. Попробуешь думать — через четверть часа готов: все думы передумал... Пуншу!

С самой ранней молодости мы разгул за веселье, а ёрничество за любовь принимали, да так спозаранку и одичали. Из всех этих светских манер только и знали, что шпорами, бывало, щелкнешь.

От этого я никогда об женитьбе серьезно не думал. Начнешь, бывало, умом раскидывать: «Что бы мне больше всего в жене нравилось?» и непременно что-нибудь ординарное надумаешь. Так ведь для ординарного немного нужно: вышел за ворота и свистнул. А чтобы обстановочка какая-нибудь, чтобы, например, постелька как следует, занавесочки, стол, самоварчик, чай, кофей — «Хорошо ли ты, мой друг, почивал?» — этого и в воображении не было. Растянешься на диване, как одер, под головой замасленная кожаная подушка — и дрыхнешь. А в передней, на голой доске, денщик во сне стонет. Встанешь — и умываться не хочется. Чай денщик подаст: «Черт тебя знает, скотина, чего ты в чай мешаешь!»

И все-таки скажу: лучше в нашем звании так прожить, нежели на семейную жизнь соблазниться. Иной не воздержится, женится — и что же выйдет? Девочка-то, как замуж выходила, ровно огурчик была, а через два-три месяца, смотришь, она уж в каких-то кацавейках офицеров принимает: опустилась, обвисла, трубку курит, верхом на стул садится. Халда халдой».

«В последнее время начали при полках исправные библиотеки содержать. Это бы хорошо, да как себя на старости лет принудить читать? Возьмешь газету — везде словно концы рассказывают, а начала не знаешь. Воспитание-то я «домашнее» получил, а потом — прямо в полк. Так даже стихов никаких не знаю. Помню, что под венгерца ходил, поляка два раза усмиряли, с туркой за ключи воевали, а француз с англичанином помогали ему... Помню, потому что сам там был, а что и как — спросить не догадался. Начальство приказывало — вот и все. Поэтому, как стали насильно заставлять газеты читать, все и ищешь: где же начало?

В то время как нас пять майоров в полку было, достал один майор историю Карамзина: «Давайте, братцы, читать!» Как дошли мы до Святополка Окаянного, так оно на меня подействовало, что я и во сне, и наяву, все, бывало, Святополка Окаянного вижу. Кого ни встречу, офицера, помещика, солдата,— всем про него рассказываю. А через неделю меня и самого стали Святополком Окаянным честить. На этом и пошабашил.

Стоял я, еще в чине ротмистра, в Орловской губернии, в деревне у одного помещика. Богатый был, молодой и холостой. Вот и повадился я к нему ходить. Хожу и все спрашиваю: «Отчего это мне жить очень скучно?»

— Водку, говорит, пьете?

— Пью.

— Клопштоссы на биллиарде умеете делать?

— Умею.

— А географию знаете?

— Н-н-нетвердо.

— Вот то-то и есть.

И начал он меня коротéнько всяким наукам учить. Сегодня — одну науку расскажет, завтра — другую. А я приду в полк да вахмистру пересказываю... И что же потом оказалось? Что все-то он мне в насмешку рассказывал!»

«Вы, господа, не смейтесь: охота-то, значит, во мне была, да не ко двору пришлась. Был у нас юнкер в полку, служил исправно и вдруг тосковать начал. Тосковал-тосковал, да и ушел в университет. Отец узнал, да арапником — и опять в полк. А он опять в университет. Да до трех раз. Так и бросили.

И что же вышло? — Я как тогда был майор, так и теперь майор, а он с год тому назад в генеральском чине инспекторский смотр полку делал. Из университета-то, изволите видеть, опять в юнкера поступил да в академию, а оттуда и пошел, и пошел...

Однако ж на смотру узнал меня:

— Вы ли, майор?

— Он самый-с.

Потужил, покачал головой, поцеловал и уехал. Я, признаться, понадеялся, не произведут ли в подполковники — да где уж!

А при моей охоте да кабы в университет... Может быть, и я бы теперь генералом был».

«Служил я всегда исправно и часть свою в порядке содержал. Только два раза в течение всего времени взысканиям подвергался.

В первый раз на абвахте сидел. Купался я однажды с русалкой, а какой-то озорник взял да амуницию мою в кусты спрятал. Я было задворками да перелесочком на квартиру — ан навстречу стадо. Как увидели коровы — словно взбеленились. Словом сказать, вышел скандал.

В другой раз из трактира ночью шли. Идем и видим, что извозчики, прикорнувши на дрожках, спят. «Разнуздаемте, господа, лошадей!» Разнуздали; отошли подальше, кричим: «Извозчик!» Можете себе представить картину! Вожжами дергают, кнутами хлещут, лошади несутся как бешеные... Однако с одним извозчиком обошлось неблагополучно. На другое утро — к полковнику. «Стыдитесь, корнет!»

В старину такие поступки «шалостями молодых людей» назывались. Окна в трактире перебить, будочника с ума свести, купцу бороду спалить, при встрече с духовным лицом загоготать — вот какие тогда удовольствия были. Однажды квартальный к полицеймейстеру с рапортом шел, так ему в заднюю фалдочку кусок лимбургского сыру положили, а полицеймейстер за это свиньей его назвал.

Признаться сказать, теперь я и сам удивляюсь: какие же это удовольствия!»

«А под конец расскажу вам самое любопытное: как я один раз конституции требовал.

Было это в то время, когда нас после севастопольской кампании, в виде героев, господину Кокореву препоручили. Тогда по всей России восторг был. Во-первых, война кончилась, а во-вторых, мягкость какая-то везде разлилась. Курить на улицах было дозволено, усы, бороды носить. С этого началось. А главное, не возбранялось ни ходить, ни сидеть, ни смеяться, ни плакать. Хочу — хожу, хочу — сижу; хочу — молчу, а надоело молчать — возьму да и поговорю. И никакого вреда от этого не было — ей-богу! Словом сказать, такой неожиданный момент выдался, когда все только удовольствие испытывали.

Разумеется, не обходилось и без фанаберий. Одни говорили: «Нужно, чтоб у мужика каждый день добрая чарка водки была»; но были и такие, которые прибавляли: «а для прочих чтобы конституция». Однако ни тех, ни других не тревожили, а только на замечание брали.

Мы, герои, вели себя очень скромно. И в Эрмитаже побывали, и в кунсткамере, и в Исакиевском соборе — тихо, благородно. Конечно, вечерком, попозднее, под руководством Василья Александровича, изрядно-таки накачивались, но по

большей части нас увозили для этого в Ушаки[1]. Отзвоним суток двое, да и опять в Петербург светленькие воротимся.

Вот однажды благодушествуем мы таким образом в Ушаках и налакались-таки до пределов. И начал наш любезный хозяин объяснять: «Для чего, когда поезд на станцию приходит, рабочие под вагонами лазают да об колеса и шины постукивают? Для того, говорит, чтобы знать, все ли исправно и нет ли где изъяна. А подобно сему, говорит, на будущее время и в государственных делах поступать надлежит. На удалую-то не скакать, а сначала постучать, и ежели окажется трещина или раковина, то заплаточку положить, а потом уж ехать».

Что же, стучать так стучать. Начали мы тут стучать, и что дальше, то больше. Одни говорят: «На первый раз достаточно чарки доброго вина»; другие говорят: «Этого мало, нужно конституцию...» А в том числе и я.

Только находился промеж нас один мужчина. Притворился он, будто лыка не вяжет, а сам даже под-шефѐ настоящим образом не был. Образина, можно прямо сказать, беззаконная. Глаза — в раскос, рот — на сторону; одна щека — опухла, другая — словно сейчас из-под утюга. Но так было тогда всем хорошо, что мы даже перед этими явными признаками не остереглись.

Разумеется, я проспался и на другой же день все перезабыл. И вдруг на третий день — к генералу требуют.

— Знаете вы, что такое конституция?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Почему же вы так ее желаете?

— Не могу знать, ваше превосходительство.

— Не можете знать... гм... Однако ж припомните-ка... в Ушаках.

— Виноват, ваше превосходительство.

— То-то вот и есть. Значения слова не знаете, а злоупотребляете им. Забудьте об этом, мой друг! Это вас враг рода человеческого смутил!

С этим и отпустил... это тот самый генерал, который прежде без серьезного слова минуты обойтись не мог, а теперь... «мой друг»! Вот время какое волшебное было!

Разумеется, я на извозчика и домой. А дня через три после этого нас, героев, по полкам водворили».

[1] Ушаки — имение, принадлежавшее в конце пятидесятых годов г. Кокореву. Последняя станция от Петербурга перед Любанью. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

ВЕЧЕР ВТОРОЙ
AUDIATUR ET ALTERA PARS[1]

Не раз случалось мне слышать от людей благорасположенных: «Зачем вы всё изнанку да изнанку изображаете? ведь это и для начальства неприятно, да и по существу неправильно. Вы думаете, сладко начальству слушать: «Ты чего смотришь? ты зачем допускаешь?» Как будто оно может за чем-нибудь усмотреть и чего-нибудь не допустить!! А с другой стороны, разве естественно, чтобы на свете были одни мздоимцы, да прелюбодеи, да предатели? Ведь мы давно бы изгибли все до единого, если б это было так! А вы попробуйте-ка взглянуть наоборот — может быть, и другое что-нибудь выйдет! Нуте-ка, с богом... а?»

Долго я не понимал, в чем заключается суть этих благожеланий, и потому не обращал на них внимания. С легкомыслием, достойным лучшей участи, я указывал на мздоимство Фейера, хищничество Дерунова и Разуваева, любострастие майора Прыща, бессмысленное злопыхательство Угрюм-Бурчеева, и проч., и, сознаюсь откровенно, почти никогда не приходило мне на мысль, что рядом с Фейерами, Прыщами и Угрюм-Бурчеевыми существуют Правдины, Добросердовы и Здравомысловы. Не потому не приходило, чтоб я игнорировал или презирал этих людей, но потому, что мне всегда казалось, что они и сами на себя смотрят как-то сомнительно. Как будто не знают, действительно ли они люди, а не призраки. Говорить начнут — словно их тошнит, к делу приступятся — словно веревки во сне вьют. Но в особенности меня ставило в тупик их робкое отношение к населяющим землю Простаковым и Скотининым, отношение, не выразившееся не только ни одним горячим поступком, но и ни одним искренним словом. Ведь эти Правдины, говорил я себе, не какие-нибудь обделенные, которым протесты не так-то легко сходят с рук, а такие же сильные мира, как и Скотинины. Каким же образом они могут смотреть на всевозможные бесчинства и даже злодейства необузданных дикарей и ограничиваются только тем, что пробормочут *в сторону* номенклатуру происходящих перед их глазами гнусностей! Как хотите, а это неестественно. Поэтому мне казались сомнительными и самые Правдины, хотя я и знал, что они не только существуют, но и пользуются особливым от начальства доверием. Они *никого не трогают* — вот их главное право на почетную роль в обществе и в то же время их жизненный девиз. Они добродетельны, правдивы, и здравомысленны —*для*

[1] Пусть будет выслушана и другая сторона.

себя, другим же от таких похвальных их качеств — ни тепло, ни холодно. И бродят они по свету, получая присвоенные *никого не трогающим* людям чины и ордена.

Все это я, впрочем, только объясняю, а отнюдь не оправдываюсь. Напротив того, в последнее время я вполне убедился, что рассуждал легкомысленно и совершенно понапрасну утруждал и огорчал начальство. Одно могу сказать себе в утешение: огорчать начальство никогда не было в моих правилах, и я никогда не делал этого преднамеренно. В наивности души своей я думал, что содействую, а на поверку оказалось, что я противодействовал. Нужно было устроить так, чтобы Правдин победил Скотинина, а я о Правдине-то и позабыл, вследствие чего Скотинин так и остался непобежденным.

Теперь я решился и сам исправиться, и все мною написанное исправить. К счастию, разбираясь в обширном материале, накопленном моею памятью, я вижу, что это не составит для меня даже особенного труда. В этом материале я нахожу такое количество драгоценнейших фактов и отраднейших образов, что с моей стороны было бы даже непростительным грехом, если бы я не познакомил с ними моих читателей.

Начну с городничих.

ГОРОДНИЧИЕ-БЕССРЕБРЕНИКИ

Был один городничий, который совсем взяток не брал, так что долгое время все обыватели в недоумении были. Думали, что он нарочно сдерживается, чтобы впоследствии учинить генеральный поход. Но когда прошло довольно времени, и похода не было, то дивились. «Как это,— думалось всем,— он нас не грабит? и как он на свое жалованьишко с семьей живет?» Жалованье же в то время городничему полагалось чуть не семь сот на ассигнации, да и семейство при этом не возбранялось иметь. А у этого самого городничего, кроме жены и охапки детей, еще две свояченицы жили, да теща, да племянник-дурачок. Всех надо было накормить, напоить, обуть и одеть. И он все это исполнял аккуратно и даже приятелей от времени до времени хлебом-солью угощал.

— Кузьма Петрович! да как же ты изворачиваешься? взяток ты не берешь, а между тем всего у тебя в изобилии? — спрашивали его прочие чины, которые хотя тоже взяток не брали, однако и не отказывались.

Но он долгое время уклонялся от объяснений и только загадочно отвечал:

— Слово такое у меня есть!

Наконец, однако ж, пристали к нему так, что он решился открыть свой секрет.

— Когда меня на должность определили,— сказал он,—я на первых порах чуть рук на себя не наложил. Жалованьишко малое, семья большая — как тут жить? Теща говорит: «Надобно, Кузьма Петрович, взятки брать!». А я в ответ: «Неблагородно!» Жена плачет: «Сам ты посуди, как без взяток семью прокормить!» — А я в ответ: «Покажи закон, коим дозволяется взятки брать!» Словом сказать, уперся на своем, слышать ничего не хочу... Однако взятки не взятки, а пить-есть надобно. Вот взмолился я ангелу своему: «Кузьма-бессребреник! угодник божий! научи, как мне быть!» Молюсь день, молюсь ночь — нет ничего. Молюсь еще день, еще ночь — опять нет ничего. На третью ночь чувствую, словно бы ветром на меня пахнуло — и вдруг кто-то мне в ухо «слово» шепнул... С тех пор я и поправился. Балыка на закуску захочу — сейчас: «Встань передо мной, как лист перед травой! бакалейщик Бородавкин! чтоб был балык!» — Смотришь, а он уж и на столе. Выйдет запас чаю, сахару — кликну: «Встань передо мной, как лист перед травой! бакалейщик Зензивеев! чтоб был чай-сахар!» — А он уж и тут как тут! Выйдут деньги — закричу: «Встань передо мной, как лист перед травой! господин откупщик! или вы своих обязанностей не знаете!» — И деньги в кармане! Так и живу. Взяток не беру, а всего у меня изобильно!

Открытие это всем показалось настолько занимательным, что и прочие чины захотели воспользоваться им. И с тех пор ни в городе, ни в уезде у нас никто взяток не брал, а все были сыты, обуты, одеты, а иногда и пьяны. Обыватели же гордились своими начальниками и говорили: «У нас взяток не берут! наши начальники «слово» знают!»

Один городничий говаривал:

— Я одной рукой беру, а другой — отдаю! разве это взятка?

— Как же это выходит у вас, Христофор Иваныч? — спрашивали его однажды сослуживцы, которые обеими руками брали и ни одною не отдавали.

— Очень просто,— ответил он.— Сейчас деньги получу и сейчас же на них какое-нибудь произведение куплю. Стало быть, что из народного обращения выну, то и опять в народное же обращение пущу.

И когда все подивились его мудрости, то прибавил:

— То же самое, что казна делает. С мужичков деньги берет да мужичкам же их назад отдает.

С тех пор в городе Добромыслове никто не говорил: «Брать взятки», а говорили: «Пускать деньги в народное обращение».

Один городничий охотник был до рыбы. Придет на садок и скажет рыбнику:

— Стерлядки у тебя, я слышал, Гарасим, хороши?

— Есть тот грех, вашескородие.

— Уху соорудить можешь?

— Можно, вашескородие.

— А ведь к ухе-то пожалуй, и обстановочку пристойную нужно?

— И это в наших руках, вашескородие.

— Валяй!

Съест уху, выпьет пристойную обстановку, щелкнет языком и уйдет.

А Гарасим ему вдогонку:

— Ангел!

Городничий Ухватов по всей губернии славился своим бескорыстием.

Однажды вечером пришли к нему два мещанина с взаимной претензией.

Нашли они оба разом на дороге червонец. Один говорит: «Я первый увидел!», другой: «А я первый поднял!» И оба требовали, чтобы Ухватов их рассудил.

Тогда Ухватов сказал:

— Вот что, ребята. Положите вы этот червонец ко мне на божницу. Ежели он ночь пролежит и цел останется — значит, вы оба правы и должны разделить червонец пополам; ежели же он исчезнет, то, значит, вы оба не правы и сама судьба не хочет, чтобы кто-нибудь из вас воспользовался находкой.

Так и сделали.

Прошла ночь, наступило утро; хвать-похвать — нет червонца! Решили: так как червонец исчез — стало быть, оба мещанина не правы.

С тех пор и мещане, и купцы валом повалили на суд к Ухватову. И он все дела решал по одному образцу. Но этого мало: даже те чины, которые прежде дела решали за взятки,— и те перестали мздоимствовать и начали поступать по примеру Ухватова.

А губернатор, узнавши о сем, говорил: «Молодец Ухватов!»

Один городничий тоже славился бескорыстием, а, сверх того, любил богу молиться и ни одной церковной службы не пропускал. И бог ему за это посылал.

Увидевши, что городничий взяток не берет, а между тем пить-есть ему надобно, обыватели скоро нашли средство, как этому делу помочь. Кому до городничего дело есть, тот купит просвирку, вырежет на донышке мякиш да и сунет туда по силе возможности: кто золотой, кто ассигнацию. А городничий просвире всегда очень рад. Начнет кушать и вдруг — ассигнация!

— Домнушка! дети! — кликнет он домочадцев,— посмотрите-ка, что̀ нам бог послал!

И все радуются.

А однажды так в рыбе четыре золотых нашел — то-то были радости!

И что ж! даже тут нашлись завистники. Узнал стряпчий, что городничий просвиры с ассигнациями ест,— стал доносом грозить. Но тут уж обыватели городничего выручили: начали по две просвирки носить. Одну для городничего, другую — для стряпчего. И по две рыбы.

И опять настала в городе тишь да гладь да божья благодать.

Один городничий дочь замуж выдавал, а перед этим он только что взятки перестал брать. Говорила ему жена: «Рано ты, Антон Антоныч, на покой собрался!» — а он не послушался. Заладил: «Будет!» — и свадьбу дочери из вида упустил.

Вот, когда дело с женихом уж сладилось и надо было приданое готовить, жена и начала к нему приставать: «Говорила я тебе, что рано ты на покой собрался!» А через час еще: «Говорила я тебе, что рано...» А через два часа опять:«Говорила я тебе...» Да таким образом через час по ложке. Долбила да долбила, и до того додолбилась, что ошалел городничий. Самому жалко стало.

И вот взмолился он: «Просвети, боже, сердца краснорядцев, бакалейщиков, погребщиков, мясников и рыбников! И научи их! Дабы не во взятку, но в приношение, и не по принуждению, а от сердца полноты!»

И молитва его была тайная, только слышал ее квартальный надзиратель.

И что же! не прошло двух дней, как краснорядцы целые вороха материй городничихе нанесли, погребщики — ящики с винами, бакалейщики — кульки бакалеи всякой, а откупщик — тысячу рублей прислал!

Сыграл городничий свадьбу на славу и вслед за тем в отставку вышел: «Это, говорит, моя лебединая песня была!»

Вскоре после этого он тут же под городом и именьице купил, и теперь земским деятелем по выборам служит и всем рассказывает, как он несчастлив был, когда взятки брал, и как был потом вознагражден, когда перестал взятки брать.

— То ли дело,— говорит,— как на совести-то ни пятнышка! Встретишься с обывателем — прямо ему в глаза смотришь!

Один городничий плавать не умел, а купаться любил. Только пошел он однажды купаться и начал тонуть, а мещанин, стоявший на берегу, бросился в воду и вытащил его. За это городничий дал мещанину целковый, но он от награды отказался, только рюмку водки выпил.

Прошло после того много лет, мещанин проворовался и тоже стал тонуть. То есть не в реке тонуть, а в купели, называемой уложением о наказаниях. Городничий же, вспомнив его прежнюю заслугу, не только из купели его вытащил, но и отказался от пяти рублей, которые мещанин хотел ему подарить из украденных денег.

— Не надо мне твоих денег,— сказал городничий,— сделайся честным человеком — вот чем ты меня лучше всего отблагодаришь.

— Рады стараться, вашескородие! — отвечал вор.

Одного городничего спрашивали:

— Берете вы взятки, Иван Парамоныч?

— Никогда!!

Вот целых восемь характеристик. Я мог бы представить и больше, но полагаю, что и этого достаточно. Не буду, впрочем, преувеличивать. Бесспорно, что были и между городничими взяточники (как о том устные предания и доднесь свидетельствуют), но не все. Вот это-то обыкновенно и упускается из вида господами обличителями. Сверх того, многие из бравших взятки раскаялись, а это тоже необходимо принимать в расчет для полноты картины. Вообще же, мне кажется, следует принять за правило: описывать только то, что хорошо и благородно. Этого же правила нелишне держаться и в живописи: с персон, обладающих физиономиями чистыми и приятными,— писать портреты, а персон, обладающих физиономиями нелицеприятными, обезображенными золотухой, оспой, накожными сыпями и проч.,— оставлять без портре-

тов. Такой образ действия и начальству удовольствие доставит, и самому описателю даст возможность многие годы прожить благополучно. Какая польза напоминать о взятках и обдираниях, когда взятое давным-давно проедено, а ободранное вновь заросло лучше прежнего? А еще того лучше: совсем ничего не писать. Было же время, когда ни о чем ничего не писали — и все были благополучны. Потом наступило время, когда *обо всем* и *всё* начали писать — и «вот к чему» привели! Так не пора ли и опять на прежнюю колею вступить — может быть, и опять мы благополучны будем?

Вот это-то именно я теперь и понял.

«Для чего же вы заводите речь о чиновничьих добродетелях, коли сами сознаете, что лучше совсем ничего об них не писать?» — быть может, спросит меня благосклонный читатель. «А для того, отвечу я, чтобы исправить мою репутацию. Сначала эту задачу выполню, а потом и совсем брошу. Я знаю, что задача эта не весьма умная, но ведь глупые дела бывают вроде поветрия. Глупые фасоны вышли — вот и все. Но ежели глупые фасоны застрянут на неопределенное время, тогда, разумеется, придется совсем бросить и бежать куда глаза глядят...»

Затем перехожу к другим чинам, о доблестях которых тоже могу порассказать достаточно.

В дореформенное время почти все служебные должности, и в администрации, и по судебному ведомству, занимались в губерниях и уездах по выбору от дворянства. Поэтому все было тогда благородно. Крепостное право тоже немало этому споспешествовало, так как благодаря ему всякий благородный человек, в сущности, был и должностным лицом. Правил насчет благородства никаких не было, а просто предполагалось, что от благородных людей следует ожидать благородных поступков. Все остальное делалось само собой, в силу искони сложившихся обстоятельств, и делалось хорошо и прочно. Тишина была и благорастворение. Протесты прорывались редко и оканчивались наказаниями на теле; насильственные поступки совершались еще реже и оканчивались отдачею в солдаты, ссылкой в Сибирь, каторгой и т. п. Благородные люди не входили друг с другом в соглашение, и тем не менее гармония была полная. Не было ни съездов, ни обмена мыслей, ни возбуждения и разрешения вопросов, а всякий понимал свое дело столь отлично, как будто сейчас со съезда приехал. Каждый действова
личные действия сливались в одно

тором ни единого диссонанса не было слышно. Удивительное это было время, волшебное, и называлось оно *порядком вещей*. Нечто вроде громадного сосуда, в котором безразлично были намешаны и лакомства, и свиное сало, и купоросное масло. Ничего разобрать было нельзя, но именно потому эта смесь и была так устойчива.

Не удивительно, что волшебные эти времена оставили в избранных душах благодарные воспоминания. Еще менее удивительно, что в среде этих избранников прорывается стремление восстановить эти времена и возвратиться к тому спокойному и величаво-благородному жизненному течению, которое составляло их существенное обаяние. Кому не мило благородство? Кому не дорога тишина? Помилуйте! да не из-за этого ли мы все и бьемся!

К сожалению, избранники обыкновенно упоминают при этом о каком-то дворянском принципе. Тогда, дескать, дворянский принцип господствовал — оттого и было всем хорошо. Восстановимте опять этот принцип — и опять будет всем хорошо.

Но это не так. Во времена, о которых идет речь, никаких принципов не было — вот отчего было всем хорошо. Это-то именно и называлось *порядком вещей*. Существовала, как я уже сказал выше, смесь, до того непроницаемая, что ни расчленить составные ее элементы, ни анализировать их было невозможно. Или нечто вроде запертой пагоды, без окон и дверей, в которой хранились никому не известные и недоступные письмена.

Повторяю: желание возвратить утерянный рай заслуживает полного сочувствия, ибо нельзя себе представить ничего более блаженного, нежели райское житие. Но для того, чтобы достигнуть этой цели, прежде всего необходимо воздержаться от некоторых проявлений пытливости, которые сами по себе составляют новшество, несовместимое с *порядком вещей*. Мы ищем освободиться от новшеств, замутивших нашу жизнь, и в то же время сами прибегаем к наиболее пагубному из этих новшеств: к пытливости — разве это логично?

Не надо пытаться проникнуть в запертую пагоду, ибо проникновение предполагает отпертую или даже — чего боже сохрани! — взломанную дверь. Раз что дверь отперта, или — чего боже сохрани! — взломана, кто может поручиться, что в нее не войдут такие «сторонние люди», которые сразу разгадают смысл хранящихся в пагоде письмен и переведут их на язык, не имеющий ничего загадочного? Равным образом не следует заводить разговора и о принципах, потому что принцип никогда не является в одиночку, а всегда в сопровожде-

нии целой свиты. Мы будем хлопотать о возрождении и укреплении принципа дворянского, а рядом с ним возникнет принцип антидворянский, о котором тоже будут хлопотать. А за этим принципом появятся и другие принципы, о которых тоже будут хлопотать. И выйдет в результате нечто совсем неожиданное, а именно: преследуя идеалы тишины и благоустройства, мы вместо них получим борьбу, свару, междоусобие...

Итак, «вперед без страха и сомнения!» Но осторожно. Ни пытливости, ни принципов. И, главное, чтобы без шума; чтобы никто ни о чем никому ни гугу. Чтобы как яичко в Христов день: «На, кушай!» Великие предприятия, как и великие мысли, в тишине зреют. Пререкания же, а тем паче остервенелая полемика, насквозь пронизанная озлоблением и ненавистью, только погубляют их.

Но будет ли успех? — на это я вполне достоверного ответа дать не могу. Я могу только гореть восторгом и признательностью, но от компетентности, в смысле разгадывания загадок, уклоняюсь.

Одно меня смущает: как поступить с теми новыми явлениями и требованиями, которые народились уже после упразднения «порядка вещей» и в рамки последнего, судя по всем видимостям, втиснуты быть не могут?

Что делать с новыми судами, с земскими учреждениями, с железными дорогами, банками и т. п.?

Впрочем, с судами уладиться еще легко. Судебный персонал разместить, причислить и отчислить. Адвокатов — распихать. А земство так даже очень радо будет. Опять свой персик, свой арбуз, своя буженина, свои повара, свои садовники, кучера, доезжачие... умирать не надо!

Но железные дороги? но банки? как с ними поступить?

Совсем не следовало бы железные дороги строить, да и банки не надо бы дозволять. Вот тогда был бы настоящий палладиум. Но так как дороги уж выстроены, а банки учреждены, то ничего с этим не поделаешь.

Сколько сутолоки из-за одних железных дорог на Руси развелось! сколько кукуевских катастроф! Спешат, бегут, давят друг друга, кричат караул, изрыгают ругательства... поехали! И вдруг... паровоз на дыбы! Навстречу другой... прямо в лоб! Батюшки! да, никак, смерть!

Или банки: объявления печатают, заманивают, балансы подводят: «К нам пожалуйте, к нам!» Со всех концов рубли так и плывут! рубли потные, захватанные, вымученные!

Попы несут свои сбережения... попы!! И вдруг... трах!! Украли и убежали! деньги-то где же, деньги-то? Украли и убежали! Господи! да, никак, смерть!

Стоило ли дороги строить? стоило ли банки заводить?

А между тем какой запас распорядительности, ума и мышечной силы нужно иметь, чтоб все это направить, за всем усмотреть? И все-таки ничего не направить и ни за чем не усмотреть... Сколько му́ки нужно принять, чтоб только по вагонам-то всех рассадить, а потом кого следует, за невежество, из вагонов высадить, да в участок, да к мировому?

Но этого мало. Во всех странах железные дороги для передвижений служат, а у нас, сверх того, и для воровства. Во всех странах банки для оплодотворения основываются, а у нас, сверх того, и для воровства.

Однако воровать ведь не дозволяется — это хоть у кого угодно спросите. Стало быть, и за этим надобно присмотреть. Запустил еврей Мошка лапу — надобно его изловить и в полицию с поличным представить. Заиграл Губошлепов мозгами — надо эти вредные мозги из него вынуть и тоже куда следует представить.

Мог ли «порядок вещей» удовлетворить этим требованиям? Увы! как это ни прискорбно для моего сердца, но я, не обинуясь, отвечаю: «Не мог!»

«Порядок вещей» исходил из тишины и беспрекословия. Всякая сутолока, всякое движение были противны самой природе его. Я думаю, что он даже «публику» не был бы в состоянии чередом по вагонам рассадить. Всякий из этой «публики» чего-то *своего* ищет, всякий резоны предъявляет, а «порядок вещей» ни исков, ни резонов не допускал. Что же касается до воровства, то об нем и говорить нечего. «Порядок вещей» ведал воров простых, смирных и беспрекословных, а попробуйте-ка изловить Мошку и Губошлепова! Первый скажет: « Я не воровал, а только лапу запустил!»; второй: «Я не воровал, а мозгами играл!» А неподалечку и адвокаты стоят, кассационные решения под мышкой держат. Попытайтесь доказать им, что «играть мозгами» — это-то и есть оно самое: «воровать»...

Я не скажу, конечно, чтобы все это мог предотвратить и «беспорядок вещей», но и «порядок»... Нет, для того чтоб железные дороги были железными дорогами, а банки — банками, что-то совсем особливое нужно. А что именно — ей-богу, не знаю.

На днях случилось мне об этом предмете беседовать с одним опытным инженером.

— Как вы думаете, Филарет Михайлыч,— спросил я его,— отчего у нас, в особенности по вашей части, такое нещадное воровство пошло?

— Голубчик! да как же не воровать? — отвечал он,— во-первых, плохо лежит, во-вторых, всякому сладенько пожить хочется, а в-третьих — вообще...

— Однако ж прежде о таких неистовых воровствах не слыхать было?

— Прежде, мой друг, вообще было тише. Дела были маленькие и воровства маленькие. А нынче дела большие — и воровства пошли большие. Suum cuique [1].

— Воля ваша, а это безобразно!

— Нельзя иначе: сама жизнь пошла вширь. Прежде и на три рубля можно было себе удовольствие доставить, а нынче, ежели у кого нет сию минуту в кармане пятисот, тысячи рублей, того все кокотки несчастливцем почитают. Жиды, мой друг, в гору пошли, а около них уж и наши привередничают. А сверх того, и монетная единица. Ассигнации ведь, мой друг, у нас — ну, а что такое ассигнации!

— Ну, что вы! ведь это тоже своего рода меновой знак!

— Много их уж очень. Так много, так много, что пригоршнями их во все стороны швыряют, а все им конца-краю нет. Как ассигнацию-то «он» зажал в руку, ему и кажется, что никакого тут воровства нет, а просто «ничьи деньги» проявились.

— Но ведь нужно же когда-нибудь положить предел этой больной фантазии!

— А как вам сказать? В старину, бывало, мы этого предела от смягчения нравов ждали. Молодо было, зелено. Думалось, что когда вообще нравственный уровень повысится, тогда и воровство само собой уничтожится.

— Ну-с?

— Ну, и ждали. Годы ждали — нет смягчения нравов! стали еще годы ждать — опять нет смягчения нравов!.. Да так иные и посейчас ждут.

— Но почему же его нет, этого смягчения нравов?

— Да форм, должно быть, таких еще не народилось, при помощи которых смягчение нравов совершиться может,— только и всего.

— Допустим. Но разве, независимо от форм, нельзя какие-нибудь меры придумать?

— Придумать, конечно, можно. Кары, например, и притом самые суровые. Только вот насчет действия, которое эти меры возыметь могут,— сомнительно...

[1] Всякому свое.

— Помилуйте! да ведь это гнусность, это, наконец, предательство! Ведь они Россию, отечество свое, эти негодяи, продают! Не крадут они, а кровь сосут, жилы тянут! Виселицы мало за это!

— Виселица — это действительно средство радикальное. Но вопрос, когда «его» вешать: *до* или *по?* Ежели, например, инженера мост строить послать и предварительно повесить — некому будет мост строить. Ежели дозволить ему *сперва* мост построить, а *потом* повесить — какой же ему будет расчет стараться? Ах, голубчик! коли начать вешать, так ведь до Москвы, пожалуй, не перевешаешь!

. . . .

— Ну, а вы сами, Филарет Михайлыч... повинны? — полюбопытствовал я.

— Я? никогда! Копейкой казенной я не попользовался! Я вот как: копейку истратил — сейчас же ее на бумажку записал, а к вечеру уж и отчет отдал: смотри! Сохрани меня бог!

— Однако ж и вы... нечего сказать, чистенько живете! И обстановочка, и домик, и именьице, и все такое... А ведь у вас, помнится, как на первую-то канавку вы вышли...

— Знаю: одни штаны были...— ответил он скромно,— но мне бог посылал! Выроешь, бывало, канавку, воротишься домой, а жена говорит: «Друг мой! нам бог пять тысяч послал!» Или мосток выстроишь, а жена опять навстречу бежит: «Друг мой! нам бог десять тысяч послал!» Помаленьку да потихоньку — глядишь, и обставился...

Но обратимся к прерванному рассказу.

Первое место в уездной чиновной иерархии и прежде занимали, и теперь занимают предводители дворянства. Но нынче завелись какие-то «независимые», которые к предводителям относятся довольно равнодушно, а в прежнее время никакой независимости и в заводе не было, так что предводитель дворянства в своем уезде был подлинно козырный туз. Он распоряжался земскою полицией, он влиял на решения суда, он аттестовал уездных чинов, он кормил губернатора во время ревизий. Нередко, однако ж, между губернатором и предводителем зарождались «контры»; губернатор говорил: «Я здесь хозяин!», а предводитель говорил: «Я сам моего государя слуга!» — и расходились врагами. Тогда предводитель начинал мутить уезд, и душевное равновесие губернатора на время нарушалось. В подобных случаях на сцену обыкновенно выступал губернский предводитель, объявлял губернатору, что «так нельзя», что дворянство — «опора», и губернатор смирялся.

Как я уже объяснил выше, в дореформенное время всего более ценилась тишина. О так называемом развитии народных сил и народного гения только в литературе говорили, да и то шепотком, а об тишине — везде и вслух. Но тишина могла быть достигнута только под условием духовного единения властей. Такого единения, при котором все власти в одну точку смотрят и ни о чем, кроме тишины, не думают. Отвечали за эту тишину губернаторы, предводители же ни за что не отвечали, а только носили белые штаны. И за всем тем, ввиду тишины, первые даже не вполне естественным требованиям последних вынуждены были уступать.

Тип дореформенного предводителя был довольно запутанный, и нельзя сказать, чтоб русская литература выяснила его. В общем, литература относилась к нему не столько враждебно, сколько с юмористической точки зрения. Предводитель изображался неизбежно тучным, с ожирелым кадыком и с обширным брюхом, в котором без вести пропадало всякое произведение природы, которое можно было ложкой или вилкой зацепить. Предполагалось, что предводитель беспрерывно ест, так что и на портретах он писался с завязанною вокруг шеи салфеткою, а не с книжкой в руках. Равным образом выдавалось за достоверное, что он не имеет никакого понятия о борьбе христиносов с карлистами, а из географии знает только имена тех городов, в которых что-нибудь закусывал («А! Крестцы! это где мы поросенка холодного с Семен Иванычем ели! знаю!»). Что он упорен, глух к убеждениям и вместе простодушен. Что он не умеет отличить правую руку от левой, хотя крестное знамение творит правильно, правой рукой. Что он ругатель и на то, что из уст выходит, не обращает никакого внимания. Что он способен проесть бесчисленное количество наследств, а кроме того, жену и своячениц. Что вообще это явление апокалипсическое, от веков уготованное, неизбежное и неотвратимое. Вроде египетской тьмы.

Вот в каком виде дореформенный предводительский тип возведен в перл создания даже такими несомненно благосклонными к дворянству беллетристами, как Загоскин и Бегичев (автор «Семейства Холмских»).

Несмотря, однако ж, на всю талантливость и кажущуюся верность подобных художественных воспроизведений, я с ними согласиться не могу. Я и сам немало виноват в такого рода юмористических изображениях, но *теперь* вполне сознаю свою ошибку. Были, конечно, «такие» предводители, но *не все*. Audiatur et altera pars.

Я знал одного предводителя, который имел такие обаятельные манеры и такой просвещенный ум, что когда просил взаймы денег, то никто не в силах был ему отказать. Таким образом, он чуть не всей губернии задолжал, и хотя не подавал ни малейшей надежды на уплату, но обаяния своего до конца не утратил.

Однажды приезжает он к известному во всей губернии скряге-помещику, к которому он и сам дотоле обращаться считал бесполезным. Скупец как увидел из окошка предводительский экипаж, так сейчас же понял. Хотел зарезаться, но бритвы не нашел. Побежал приказать, чтоб не принимали гостя,— а он уж в зале стоит! Сели, начали говорить. Пяти-шести фраз друг другу не сказали — и вдруг:

— Денег, Иван Петрович! до зарезу денег нужно!

— Какие, вашество, у меня деньги! — заметался Иван Петрович,— на хлеб да на квас...

А он ему вместо ответа — процент!

Процент да процент — так ошеломил скрягу, что он сначала закуску велел подать, а немного погодя и в шкатулку полез.

Словом сказать, от кремня, который нищему никогда корки не подал, целый кус увез!

Но этого мало. Совершив этот подвиг и понабрав еще кой-где изрядную сумму денег, обаятельный предводитель... вдруг исчез!

Туда-сюда. Сначала прошел слух, что его в Баден-Бадене за рулеткой видели, потом будто бы в Париже, в Ницце, в Монте-Карло... И наконец что ж оказалось? что он последние денежки спустил и где-то во Франции, на границе Швейцарии, гарсоном в ресторан поступил.

Разумеется, русские путешественники валом повалили к нему.

— Мемнон Захарыч! ты?

— Он самый; садитесь-ка поближе, вот за этот стол. Я вам такого пуле-о-крессон подам, что век будете Мемношку помнить!

И точно: подаст на славу и скажет:

— Если всего не одолеете, так не плюйте в тарелку, а мне отдайте. Я крылышко съем.

Скажите по совести: ну как «своему брату» лишнего франка на водку не дать!

И давали ему, так что он во время «сезона» по 30—40 франков в день получал. Но он был благороден, и деньги у него не держались.

И я его прошлым летом видел в Уши́. Стоит на пристани с салфеткой в руках и парохода поджидает.

— Мемнон Захарыч! какими судьбами! — воскликнул я.

— Политический...— пробормотал он, слегка смутившись.

Однако ж я на эту удочку не поддался.

— Стыдитесь, сударь,— сказал я ему строго,— что затеяли! Да, по моему мнению, лучше тысячу раз чужие деньги из кармана украсть, нежели один раз в политическое недоразумение впасть!

Так он и отошел, не солоно хлебавши. Дал я ему на водку франк — и баста.

Но что всего примечательнее: всю ясность ума сохранил. Как только начнут его кредиторы в Уши́ ловить — он на пароходе в Евиан, на французский берег переплывет и там пурбуары получает. Как только кредиторы в Евиан квартиру перенесут — он шмыг в Уши́, и был таков!

А говорят еще, что предводители правую руку от левой отличить не умели! Да дай бог всякому!

Один предводитель был так умен, что сам своему аппетиту предел полагал. Поставят, бывало, перед ним окорок, он половину съест и скажет:

— Баста, Сашка! остальное до завтрева!

И больше уж не ест.

Благодаря этому он дожил до преклонных лет и умер своею смертью, а не напрасною.

И детям своим завещал: лучше продолжительное время каждый день по пол-окорока съедать, нежели зараз целый окорок истребить и за это поплатиться жизнью.

Один предводитель твердостью души отличался. Когда объявили эмансипацию, он у всех спрашивал:

— А как же наши права?

Насилу его убедили.

Один предводитель видел во сне, что он на сосну влез, и что покуда он лез, у подошвы сосны целое стадо волков собралось. Словом сказать, влезть влез, а слезть не смеет.

Проснувшись наутро, он хотел отгадать, что означает этот сон, но не отгадал.

Посторонние же, видя его усилия, говорили: «Вот он хоть и предводитель, а какая в нем пытливость ума!»

Не стану далее множить примеры, потому что я пишу не статистику предводительских добродетелей, а только делаю

небольшие из нее извлечения, доказывающие, как я до сих пор был легкомыслен и несправедлив. Что же касается до взяток, то в этом отношении предводители пользовались вполне заслуженною репутацией бескорыстия. Исключение составляли лишь те, которые во время ополчения допускали замену в ратническом сапоге подошвы картоном, а равным образом те, кои довольствовали ратников гнилыми сухарями.

Были и такие, но не все.

О дореформенных уездных судьях могу сказать лишь немногое, ибо это были наименее блестящие чины того времени.

В уездные судьи большею частью выбирались небогатые и смирные помещики из отставных военных. Или француз под Бородиным изувечил, или турок часть тела повредил — милости просим! Лишь бы рассудок не подлежал освидетельствованию, да и это соблюдалось только потому, что уездный стряпчий (ежели он кляузник) может донести. Вообще на присутствия уездных судов того времени даже серьезные люди смотрели вроде как на богадельни, но канцелярии судов называли «зверинцами». О секретарях говорили: «Мерзавцы!», а о писцах: «Разбойники с большой дороги!» И боялись их. Да, впрочем, и можно ли было не опасаться людей, которые получали полтинник в месяц жалованья.

Полтинник в месяц! ведь в самом деле тут было что-то волшебное...

Такой взгляд на уездные суды обусловливался главным образом тем, что для большинства дел они представляли лишь первую инстанцию. Думали: ежели уездный суд напутает, то уголовная или гражданская палаты опять напутают, но затем дело поступит в сенат, где уж и воздадут suum cuique. Стало быть, наплевать. Но для чего при таких условиях существовали суды и палаты? — этим вопросом никто не задавался, или, лучше сказать, махали на это дело рукою и говорили: «Христос с ними!»

Несмотря на глухоту и другие увечья, уездные судьи в большинстве случаев были люди добрые и сострадательные, а среди звериной обстановки, которая их окружала, они просто казались чистыми голубями. Взяток им почти совсем не давали — секретари по дороге всё перехватывали,— да убогому человеку, по правде сказать, немного и нужно. Разве что-нибудь из живности или из бакалеи, да и то не первого сорта. Поэтому к судьям редко и в гости ходили, да и их в гости редко приглашали, так как в карты они играли по такой «маленькой», что и счет свести трудно было.

Я помню, одному судье кто-то из тяжущихся, по неопытности, воз мерзлой рыбы прислал, так не только все этому дивились, но и сам он оробел. Выбрал для себя пару подлещиков, «а остальное, говорит, должно быть, секретарю следует». И представьте, секретарь, несмотря на то, что уже свой воз получил, и этот воз не посовестился, взял.

Некоторые судьи прямо говорили тяжущимся: «Зачем вы на нас тратитесь! ведь все равно наше решение уважено не будет! так лучше уж вы поберегите себя для гражданской палаты!» И что же! вместо того чтоб умилиться над такой чертой самоотверженности, вместо того чтоб сказать: «Ну, бог с тобой! будь сыт и ты!» — большинство тяжущихся буквально следовало поданному совету и даже приготовленным уже подаркам давало другое назначение.

Положение уездных судей было поистине трагическое. Читает, бывало, секретарь проект решения, а судья не понимает. Такие проекты тогда писались, что и в здравом уме человеку понять невозможно, а ежели кто ранен, так где уж! Вот судья слушает, слушает, да и перекрестится. Думает, что его леший обошел.

— Подписывать-то, Семен Семеныч, можно ли? — взмолится он к секретарю.

— С богом, Сергей Христофорыч! — подписывайте без сомнения!

— Ну, будем подписывать. Господи благослови!

Возьмет перо в правую руку, а левою локоть придерживает, чтобы перо не расскакалось. Выведет: «Уезнай судя Вислаухав» — и скажет: «Слава богу!»

Но в особенности с уголовными приговорами маялись, потому что там не только подписывать, но и *прописывать* нужно было. И прописывать-то всё плети, да всё треххвостные, с малою долею розгачей.

— Девяносто, что ли, Семен Семеныч?

— Девяносто, Сергей Христофорыч.

— А поменьше нельзя? пятьдесят, например?

— По мне хоть награду дайте. Все равно уголовная палата сполна пропишет.

— Ну-ну, что уж! Господи благослови!

Или:

— А этому, Семен Семеныч, ничего?

— Ничего, Сергей Христофорыч.

— Ну, слава богу. Господи благослови!

Пропишет, что следует, придет домой и жене расскажет:

— Вот, Ксеша, я в нынешнее утро, в общей сложности, восемьсот пятьдесят штук прописал!

— А что же такое! — ответит Ксеша,— это ведь ты не от себя! сами виноваты, что начальства не слушаются. Начальство им добра хочет, а они — на-тко!

— Плетей ведь восемьсот-то пятьдесят, а не пряников. А плети-то нынче ременные, да об трех хвостах. Вот как подумаешь: «Трижды восемьсот — две тысячи четыреста, да трижды пятьдесят — полтораста», так оно...

— Ну-ну, жалельщик! ступай-ко водку пить, а то щи на столе простынут!

И шел добрый судья водку пить и щи хлебать, пока не простыли. А по праздникам, кроме того, в церковь ходил и пирогом лакомился.

В большинстве случаев уездные судьи были люди семейные. Жены у них были старые-престарые и тоже добрые. В сущности, ведь и Ксеша огорчалась, что ее Сергей Христофорыч «прописывает», но утешала себя тем, что это он *не от себя*. «Сами виноваты, начальства не слушают, а Сергей Христофорыч разве может?»

Секретарей судейши терпеть не могли и всегда предостерегали мужей:

— Вот помяни мое слово, ежели он тебя не подведет!

— Ах, матушка!

Детей у судей бывало много, но дома они не заживались. С ранних лет их рассовывали на казенный счет по кадетским корпусам и по сиротским институтам, а по пришествии в возраст они уже сами о себе промышляли.

Дома оставалось лишь какое-нибудь беспомощное существо: или глухонемая девица, или сын-дурачок.

Вообще тип дореформенного судьи был одним из наиболее симпатичных того времени, а необыкновенно малое содержание (даже по сравнению с необыкновенно малыми содержаниями чинов других ведомств), которое получали уездные судьи, делало их положение в высшей степени трогательным. И за всем тем они не роптали и не завидовали.

Можно ли возвратиться к этому типу отправления правосудия и вновь водворить его в нашу жизнь? — полагаю, что ежели приняться за дело чистенько и без шума, то можно. Во всяком случае, попытаться недурно. Но будет ли от этого польза? — ей-богу, не знаю.

Относительно исправников и вообще чинов земской полиции можно сказать то же самое, что и о городничих. Те же общие положения и те же «истинные происшествия». Предметы их деятельности были одинаковые, а стало быть, и по-

воды для «истинных происшествий» тоже одинаковые; только район, в пределах которого распоряжались исправники, был обширнее.

Нареканий на земскую полицию дореформенного времени существовало немало, но возникали они большею частью по поводу становых приставов. Последние были действительно не весьма доброкачественны, хотя тоже не все. Расквартированные по захолустьям, преимущественно в селениях экономических крестьян, вдали от образованного общества и хороших примеров, эти люди нередко утрачивали человеческий образ, а вместе с ним и веру в провидение и в загробную жизнь. Не имея в виду воздаяния, не понимая, что не только действия, но и мысли человеческие не могут оставаться сокрытыми, они страшились лишь одного: чтобы о противозаконных их действиях не было доведено до сведения губернского начальства. Но и в этом отношении они, ежели и не были вполне обеспечены, то стояли весьма благоприятно. Будучи определяемы непосредственно центральною губернскою властью и олицетворяя собой единственный ее орган в уезде, они обыкновенно имели «руку» в губернских правлениях и пользовались этой защитой не для благих и похвальных целей, но для удовлетворения необузданности страстей. Нередко случалось, что сами губернаторы втайне им сочувствовали и называли их излюбленными чадами, а судей, исправников и городничих (последние определялись комитетом о раненых) — пасынками. Казалось бы, столь лестное доверие начальства должно было обязывать; но — увы! — оно давало пищу только гордости и самомнению. Под влиянием сих чувств становые пристава вскорости становились вместилищами всевозможных нравственных изъянов. Правосудие и трезвость были чужды их душам. С утра наполненные винными парами, они перекочевывали с места на место, от одной границы уезда до другой, ни о чем не помышляя, кроме вымогательства. Исправники же, видя безобразия становых, хотя и понимали, как это нехорошо, но были бессильны искоренить зло.

В старину зло искоренялось определениями и увольнениями, да, кажется, и до сих пор теми же способами искореняется. Уволить такого-то пьяницу, а на место определить такого-то пьяницу — вот и весь секрет. А так как становые пристава определялись и увольнялись губернскою властью, и притом нередко в пику власти, облеченной доверием дворянства, то понятно, какой источник недоразумений возникал от столкновения этих двух противоположных доверий. Но этого-то именно и не понимали становые пристава, то есть не понимали, как это прискорбно и вредит делу. Большинство их

положительно не стояло на высоте своей задачи. Вместо того чтоб оправдывать доверие начальства, оно компрометировало его; вместо того чтобы подавать управляемым пример воздержания, трудолюбия и охоты к просвещению, оно наполняло окрестность легендами, содержанием для которых служила необузданность страстей, непреоборимая праздность и невежественность. А губернаторы, взирая на них, как на излюбленных, и увлекаясь теоретическими построениями, думали, что коль скоро у центральной власти имеются в уезде свои собственные органы, то все обстоит благополучно. То есть благополучнее, чем тогда, когда вместо становых приставов при земских судах состояли дворянские заседатели.

Пишу я эти строки, а воспоминания так и плывут мне навстречу. Смотришь, бывало, в окошко — вот она, гать-то, на две версты растянулась! — и вдруг на этой самой гати показывается крестьянская тележонка парой, а в тележонке чье-то тело врастяжку лежит. Это *его* везут, куроцапа. Имя такое *ему* было, для всех вразумительное. Давно ли это было? давно ли «порядок вещей» с такою ясностью об себе заявлял? И неужели мы так-таки и не воротимся к нему?

Грустно.

Таковы были дореформенные становые пристава. Но, как я уже сказал выше, *не все*.

Я знал одного станового пристава, который, мучимый раскаянием, удалился в лес. Долгое время он питался там злаками, не имея пристанища и не зная иного прикрытия, кроме старенького вицмундира, украшенного пряжкою за тридцать пять лет. Но по времени он выстроил в самой чаще хижину, в которой предположил спасти свою душу. Скоро об этом проведали окрестные раскольники и начали стекаться к нему. Разнесся слух, что в лесу поселился «муж свят», что от него распространяется благоухание и что над хижиной его (которую уже называли «келией») по ночам виден свет. Мало-помалу в лесу образовался раскольничий скит, в котором бывший становой был много лет настоятелем под именем блаженно-мздоимца Арсения. Затем обитатели скита образовали особенный раскольничий толк, под названием «мздоимцевского», а себя стали называть «мздоимцами», в отличие от перемазанцев и перекувырканцев. Но в эпоху гонения полиция узнала о существовании скита и нагрянула. Арсения заковали в кандалы и заточили в дальний монастырь, а «мздоимцев» расселили по разным местам. Там они всяко размножились: и с помощью пропаганды, и естественным путем сожития. Так что теперь, куда ни обернись — везде «мздоимцы». То есть последователи лже-блаженно-мздоимца Арсения.

Я знал другого станового пристава, который долгое время пил без просыпа, но потом вдруг перестал и до конца жизни пил только квас.

Впрочем, признаюсь откровенно: только эти два примера я и знал. Но несомненно, что найдутся люди, которые подобного рода «истинных происшествий» немало знают. Распубликованием таковых они премного меня одолжат.

Обращаюсь к исправникам.

Общее положение. Исправники, как облеченные доверием господ дворян, вообще вели себя благородно.

— Нам не с кого брать,— говорил мне один исправник,— у нас в уезде всё помещики: как с своего брата возьмешь! Вот ежели выйдет случай, да с временным отделением в экономическом селе задержишься — ну, там действительно...

Так что ежели б не было экономических крестьян, да раздарили бы их всех в воздаяние, то исправники были бы совсем невинны.

В исправники избирались лица мужеского пола в цвете лет и сил, от подпоручичьего до майорского чина включительно. Из них штабс-ротмистры и ротмистры представляли самую желательную исправницкую среднюю величину. Молодость и присутствие физической силы говорили об отваге, отвага же служила ручательством, что доверие господ дворян будет оправдано. При таких исправниках злые трепетали, а добрые предавались мирным занятиям.

Один исправник хвалился, что у него в уезде совсем воров нет.

— У меня нет воров и не будет,— говорил он,— потому что вор знает, что он не под суд, а ко мне в руки попадет.

— Что же вы с ними делаете, Никон Гаврилыч?

— Да уж...

Он не договаривал, а только простирал руки. И все без слов понимали.

Другой исправник, допрашивая воров, надевал на них так называемый «стул» (железный ошейник с прикрепленной к нему железной цепью, которая, в свою очередь, прикреплялась к тяжелому обрубку бревна), и когда ему замечали, что подобные допросы называются допросами с пристрастием и законами воспрещаются, то он отвечал:

— Так, по-вашему, по головке надобно гладить? «Иван Иваныч! вы, мой друг, лошадь у Пантелея Егорова украли?» — «Нет, не я-с».— «Не вы-с? ах, извините, пожалуйста, что вас понапрасну задержали. Милости просим на все на четыре стороны! воруйте сколько вашей душе угодно!..» Ну, нет-с, слуга покорный! Пускай филантропы в уездном суде с ними валан-

даются, а я... не могу-с! По-моему: попался и... говори! Говорри, каналья... расшибу! Всю подноготную, курицын сын, говори! Иначе какой же бы я был исправник!

Первый из приведенных исправников был штабс-ротмистр, второй — ротмистр. Следовательно — в самом соку. До штабс-ротмистрского чина еще мышцы в человеке не вполне крепки, а с майорского чина они уж слабеть начинают. Впрочем, нередко и между поручиками хорошие исправники удавались.

В исправнике даже влиятельные помещики нужду имели, а потому он был в помещичьих домах всегда желанным гостем. Помещицы ценили в нем ротмистрские статьи, помещики видели охрану и в то же время доброго товарища. Приедет исправник — и у всех на душе весело, даже в девичьей песни бойчее раздаются. Во-первых, он всякие вести привезет: и из уезда, и из губернии, и даже из столиц. В старину и мировые происшествия туго до помещичьих гнезд доходили, а исправники из первых рук, от почтмейстеров узнавали, да и развозили по уезду. Что Людовик-Филипп на престол прародительский вступил — это они первые узнали, а потом уж и пошло. Что преосвященный Никодим по епархии отправляется — это тоже они первые оповестили, а равным образом и то, что губернатору, того гляди, к празднику ленту дадут. И все по-ихнему так и сбылось. Во-вторых, исправнический приезд разом все накопившиеся недоразумения прекращал. Даже мимо, бывало, исправник проедет — и все как рукой снимет. Тут розгами вспрыснет, там плюху даст, в третьем месте пальцем пригрозит — смотришь, а тихо. До проезда что-то где-то охало, вздыхало, стонало — и вдруг исцеление получило. Простые тогда болезни были — оттого и лекарства простые прописывались.

Помещики принимали исправников охотнее, нежели даже предводителей. Предводитель *честь делал* своим приездом, а исправник запросто, запанибрата приезжал. Принять предводителя было начетисто: он и сам вдвое против обыкновенного дворянина съест, а еще больше того зря на тарелке оставит; исправник же все чистенько подберет и тарелку точно сейчас вымытую сдаст. Но в особенности тяжело было разговор с предводителем поддерживать: сидит словно фаршированный и зубами скрипит. И вдруг слово скажет... ах, какое слово! Так и тут, бывало, исправник выручит. Объяснит, поправит — и опять всем весело!

Словом сказать, лихие ребята были.

Взятки (за дела) исправники брали лишь в крайнем случае: ежели с деньгами совсем мат. Вообще же они довольствовались «положением». Было «положение» от откупщика, от

земской гоньбы, от содержателей перевозов, от контор богатых отсутствующих помещиков. Многие из оседлых помещиков посылали исправникам в презент произведения собственных хозяйств.

И все шло тихо, исправно, благополучно. Точно в раю.

«Но справились ли бы дореформенные исправники с обстоятельствами нынешнего времени?» — спросит меня читатель. На это я уже дал ответ выше. «Вряд ли бы справились, хотя попробовать можно».

Но ведь и нынешние исправники... разве они справляются? нет, не справляются.

Так о чем же тут спор?

В заключение мне остается только упомянуть о почтмейстерах и уездных стряпчих. Постараюсь быть кратким.

Почтмейстеры были наивны и любознательны. Географию знали недостаточно и потому нередко засылали почту вместо Вятки в Кяхту и наоборот. Но такое тогда волшебное время было, что даже от подобных засылок никто чувствительного ущерба не ощущал. Вот что значит «порядок вещей».

Что касается до уездных стряпчих, то они представляли собой в древности то же самое начало, какое нынче представляют прокуроры и их товарищи. Это одно уже служит для них отменной рекомендацией.

ВЕЧЕР ТРЕТИЙ
В ТРАКТИРЕ «ГРАЧИ»

КОМНАТА ПЕРВАЯ

В седьмом часу вечера в трактире «Грачи» собрались три статских советника. Первый, Емельян Иваныч Пугачев, служил в департаменте Пересмотров и Преуспеяний; второй, Порфирий Семеныч Вожделенский — в департаменте Препон, и, наконец, третий, Антон Юстович Жюстмильё (сын учителя французской грамматики, принявшего русское подданство) — в департаменте Оговорок. Все трое были начальники отделений, имели соответствующие знаки отличия и пользовались, каждый по своему ведомству, доверием начальства.

Ежедневно они собирались в «Грачах» в тот час, когда обыкновенно кончаются в департаментах занятия. Ели рублевый обед и приятельски беседовали. Они были друзья, хотя

в характерах, в образе мыслей и даже в предметах их служебных занятий существовало довольно резкое несходство. Пугачев был сангвиник, постоянно волновавшийся и вместе с своим департаментом всех звавший вперед. Даже в трактире он бесстрашно восклицал: «Свету! свету больше! вот в чем наше спасение!» — и не раз имел вследствие этого неприятные объяснения, из которых, впрочем, легко выпутывался благодаря заступничеству непосредственного начальства. Вожделенский был флегматик и консерватор, который на всякое преуспеяние смотрел как на «опасную игру» и вместо всяких «пересмотров» предлагал одобренные вековым опытом «ежовые рукавицы». «Право, с нас и этого предовольно!» — высказывал он громко и развивал свою программу так резонно, что даже буфетчик за стойкой умилялся. Что касается до Жюстмильё, то он не был ни сангвиник, ни флегматик, не требовал ни света, ни ежовых рукавиц, а вместе с своим департаментом надеялся, что со временем все разъяснится. А когда все разъяснится, тогда и у начальства руки будут развязаны.

Но при собеседованиях эти разногласия легко улаживались. Есть почва, на которой сходятся все статские советники вообще и на которой не было резона не сходиться и нашим статским советникам. Это — почва взаимного признания. Пугачев, будучи ярым поборником Преуспеяний, признавал, однако ж, что и Препоны, в общей экономии благоустройства, представляют небесполезный противовес; Вожделенский, с своей стороны, делал такую же уступку относительно Преуспеяний («конечно, нельзя без того, чтобы иногда не прикинуть, но...»), а Жюстмильё слушал их и радовался. Вследствие этого, как ни различествовали их мнения по существу, но половым казалось, что все они говорили одно и то же.

Сейчас Пугачев восклицает:

— А я про что ж говорю! Я именно это самое всегда и утверждал.

И пойдет, и пойдет. Дальше да шире — конца-краю нет! А через пять минут, смотришь, уже восклицает Вожделенский:

— А я про что ж говорю! Я именно это самое всегда и утверждал.

А Жюстмильё это на руку, ибо он и подавно это самое всегда утверждал. И буфетчику, и половым — всем на руку.

Словом сказать, люди были скромные и незлобивые, которые в стенах своих департаментов, как львы, исполняли возложенные на них обязанности.

Долгое время проводили они в сих невинных занятиях, взаимно друг друга признавая и дополняя, едва ли даже подозревали, что разногласия их когда-нибудь могут перейти в

распрю. Благоволение царствовало тогда в воздухе; оно же переполняло и бюрократические сердца. И так как Преуспеяния провозглашались во имя Препон, а Препоны во имя Преуспеяний, то трудно было даже разобрать, где кончаются одни и начинаются другие...

Но в последнее время нечто произошло. Как будто бы выяснилось, что преуспеяние есть преуспеяние, а препона есть препона. Что ни рядом идти, ни друг друга пополнять или поправлять они ни под каким видом не могут, а могут только взаимно друг друга уничтожать. Просияние это отразилось и в сфере служебных отношений. Директор департамента Преуспеяний, Рудин, и директор департамента Препон, Репетилов, вступили в единоборство. Директор департамента Оговорок, Мямлин, попробовал было предложить свое посредничество для умиротворения борцов, но, убедившись, что благие его намерения могут быть истолкованы в смысле укрывательства, замолчал. Или, лучше сказать, более, нежели замолчал, а начал умильно взглядывать на Репетилова. Само собою разумеется, что при этом единоборстве в качестве обязательных свидетелей присутствовали Пугачев и Вожделенский. Оба скрепляли (а в большинстве случаев и сочиняли) самые колючие бумаги, причем Пугачев напрягал последние усилия, входил в лиризм, но не чуждался и иронии, а Вожделенский холодно и резонно подсиживал. Что же касается до Жюстмильё, то он выслушивал каждого по очереди и каждого же по очереди удостоверял: «Помилуйте! да я сам всегда это самое утверждал!»

Разумеется, эта канцелярская экзема высыпàла преимущественно на бумаге. Однако ж и на обеденных собеседованиях она не могла не отразиться. Приятели по-прежнему сходились и дружески диспутировали, но в эти диспуты уже закралась какая-то сложная и загадочная нота, в состав которой, с одной стороны, входила горечь обманутых надежд и ожидание грядущей беды, в форме отставки или упразднения, а с другой — предвкушение какого-то нелепого торжества. И Пугачев, и Вожделенский поняли, что до сих пор они держались на теоретических высотах, а теперь совсем неожиданно встретились лицом к лицу с некоторою загадочною практикой. Один Жюстмильё плохо смекал и все убеждал: «Ах, господа! да объяснитесь же наконец!»

— Да ведь мы это так... с точки зрения...— разуверял его Пугачев.

— А то как же! разумеется, с точки зрения! — подтверждал и Вожделенский.

Приятели расходились приятелями, а на следующий день,

с первой же ложкой щей, опять начинала звучать загадочная нота.

Одним словом, настала минута, когда в голове у Пугачева при взгляде на Вожделенского сама собой сложилась мысль: «От руки этого человека мне суждено принять смерть!» И, к удивлению, та же мысль, хотя и в менее отчетливой форме, начинала по временам зарождаться и в голове Жюстмильё. Ибо и он уж догадывался, что требования растут и растут, а время бежит все быстрее и быстрее, так что, пожалуй, не успеешь и оглянуться, как вдруг из всех уединенных мест раздастся вопль: «Оговорки»! Что такое «Оговорки»? Это та же крамола, только сдобренная двуязычием и потому во сто раз более опасная!..

И Вожделенский, очевидно, понимал душевную смуту, обуревавшую этих людей, потому что глаза его смотрели как-то особенно ясно, словно говорили: «Точно так-с».

Трактир «Грачи» гудел как улей. Сентябрь был еще в средине, но ненастный, студеный, темный. В заведении уже горели огни, когда наши статские советники, голодные и замученные, ворвались в буфетную и подошли к стойке. Пугачев был бледен и положительно изнурен. Он нервно проглотил рюмку полынной, и когда буфетчик вместо селедки подал ему закусить миногу, то он оттолкнул блюдце рукой и нетерпеливо заметил:

— Пора бы, кажется, помнить... не первый год!

Напротив, Вожделенский, не торопясь, принял рюмку, посмотрел ее на свет, выпил и сказал:

— После трудов и водочки выпить не грех! Много пить — нехорошо, а рюмку-другую — можно!

Что же касается до Жюстмильё, то хоть он вообще не чувствовал потребности в передобеденной рюмке, но ради товарищей полрюмочки выпивал. Выпил и теперь.

— Погода-то нынче! точно с цепи сорвалась! — молвил Пугачев, прожевывая селедку.

— И погода, и люди — все нынче с цепи сорвалось! — сентенциозно отозвался Вожделенский.

— Уж именно всё! — подтвердил Пугачев,— и люди, и погода, и дела... А я что же говорю!

— И я это самое... И дела... да, и дела! — повторил Вожделенский, особенно выразительно нажимая на слове «дела»...

— И прекрасно! стало быть, и недоразумений никаких нет! — порадовался Жюстмильё.

Но Пугачев, по-видимому, не обманывал себя насчет зна-

чения сказанной Вожделенским фразы. Потоптавшись с минуту, он сказал:

— Будем, что ли, обедать?

Но спросил таким тоном, как будто ждал, что вот-вот Вожделенский скажет: «Нет, я одного человечка поджидаю...» И затем уйдет в другую комнату и отобедает втихомолку один.

Однако Вожделенский не сделал этого, а, напротив, с обычным дружелюбием ответил:

— За этим пришли, так, разумеется, надо обедать.

Ленивые щи приятели вычерпали быстро и молчаливо. Проглотивши последнюю ложку, Пугачев откинулся на спинку кресла и сказал:

— А департамент-то наш, кажется... ау!

— Что так? — откликнулся Вожделенский как бы удивленно, но с затаенной иронией.

— Да так... видимости некоторые проявляются... Будто уж вы и не знаете?

— Не знаю,— отрекся Вожделенский.— О преобразованиях, не скрою, слыхал, а чтобы совсем упразднить — об этом не знаю.

— Ну, да, преобразования... У нас ведь всегда с преобразований начинается... Сначала тебя преобразуют, а потом и упразднят.

— Не упразднят-с, а остепенят, в надлежащие рамки поставят — это так! Это — бывает! Да ведь оно и не может иначе быть.

— Совершенно справедливо,— согласился Жюстмильё.

— В чем же остепенение-то будет состоять?

— А в том и будет состоять, что служить так служить, а либеральничать так либеральничать. Только и всего.

Никогда еще Вожделенский не говорил так определительно. Очевидно, он чувствовал под ногами вполне твердую почву. Пугачев угрюмо сдвинул брови и потупился. Жюстмильё тоже как будто оторопел и смущенно уставился глазами в зеленую массу протертого щавеля, из которой торчали куски зачерствелой телятины (фрикандо̀).

«А потом, может быть, и департамент Оговорок остепенять начнут!» — думал он, полегоньку вздрагивая.

— Чем же мы... худо служили? — спросил Пугачев после минутного замешательства.

— Худо не худо, а не-бла-го-вре-мен-но! — отчеканил Вожделенский и затем, перевернув блюдце с фрикандо, осмотрел его со всех сторон, на мгновение поколебался, но наконец перекрестился и запустил ложку в гущу: с богом!

— Что такое «неблаговременно»? Это насчет прожектов, что ли? — пристал Пугачев.

— И насчет прожектов, и вообще. Общество волнуете.

— А я так думаю, совсем напротив. Утешение подаем.

— Вы думаете так, а другие думают иначе. Вы говорите: «Утешение», а другие говорят: «Вред».

— В чем же вред? Ежели обществу показывают перспективы, ежели ему дают понять, что потребности его имеются в виду... в чем же тут, смею спросить, вред?

Пугачев был взволнован и возвысил голос; Вожделенский, который вообще не любил «историй», поспешно вычищал ножиком зеленую массу и молчал. Жюстмильё сидел как на иголках, но на всякий случай посылал умильные взоры в сторону Вожделенского.

— Легко сказать: «Вред!» — горячился Пугачев,— а что такое вред? Разве мы что-нибудь когда-нибудь предваряли? разве мы что-нибудь когда-нибудь распространяли или поощряли? В чем заключалась наша задача? — она заключалась в том, чтобы показывать обществу перспективы! Для чего нужны были перспективы? — для того, чтоб уберечь общество от химер и преувеличений! Для того, чтоб его успокоить, обнадежить, утешить. Полагаю, что в этом ничего неблаговременного нет!

— То есть как вам сказать...— вставил свое слово Жюстмильё, но Пугачев не обратил на него никакого внимания и даже сделал рукою движение, словно досадную муху смахнул.

— Я думаю, что даже добрая политика таких указаний требует,— продолжал он.— Необходимо, чтоб общество видело... чтоб оно, так сказать, в надежде было... Вы говорите: «Прожекты?» А позвольте спросить, какие такие у нас были прожекты, которые бы, так сказать... ну, там волнение или движение, что ли... Слава богу! тихо, смирно, благородно!

— Ну было-таки, Емельян Иваныч, было! — что говорить! — пошутил Вожделенский, искривив рот в улыбку.

Жюстмильё тоже скривил рот и даже один глаз прищурил. Очевидно, он силился что-то угадать. А может быть, даже и угадал, что обычное его посредничество между спорящими сторонами едва ли на этот раз будет благовременно.

— Что такое было? — гремел Пугачев,— это вы насчет *тех*, что ли? Так разве мы поощряли? разве мы покрывали? А что касается до перспектив, так ведь и это в тех же видах... Нельзя без перспектив! нужно, чтоб общество имело в виду: «Вот, мол, что̀ для вас»... А там какую перспективу в ход пустить, а какую попридержать — это уж не мы! Наше дело — сообразить, изложить, представить, а потом...

— А потом уж «не мы»? — съехидничал Вожделенский.

— Там как хотите, смейтесь или не смейтесь, а я правильно говорю. Наше дело — машину завести: общество занять, пищу ему предоставить,— а решить, какая перспектива благовременна, а какая *не*благовременна — это уж не от нас зависит.

— А от кого же?

— Ну, там...

— Мы, дескать, намутим, а вы — как знаете?.. Ах, господа, господа! Нет, это не так. По-моему, надо так: служить так служить, а мутить так мутить!

— Но ведь мы и служим. Разве мы противодействуем?

— Еще бы вы противодействовали! Не о противодействии идет речь, а о содействии, сударь, о содействии! Об том, чтоб у всех один план, одна мысль, одна забота... вот об чем!

— Но ведь и мы... разве ваш департамент когда-нибудь примечал за нами? Напротив, мы всегда, можно сказать, всей душою... содействовали...

— Наш департамент «делом» занимается, а не фантазиями-с. Поэтому вы ни содействия, ни противодействия оказать ему не можете. И не требуется-с... Так, по крайней мере, я полагаю.

— Но мне кажется, что, занимая общество перспективами, мы тем самым уже содействуем...

— Не полагаю-с.

— Если я не ошибаюсь, то Емельян Иваныч хотел выразить...— вступился Жюстмильё.

— Я очень хорошо понимаю, что хотел выразить Емельян Иваныч,— сухо отрезал Вожделенский,— но, к сожалению, доводы его не кажутся мне убедительными...

И, откинувшись назад, он хлопнул Пугачева по коленке и сказал:

— Старая система, батюшка, старая!

Водворилось минутное молчание, тем более тягостное, что половой позамешкался с жарким. Наконец принесли птицу, и у Пугачева вновь развязался язык.

— Не понимаю! — бормотал он,— департамент Препон — сам по себе, а наш департамент — сам по себе... Сами вы всегда говорили... Департамент Преуспеяний указывает, а департамент Препон сдерживает и умеряет... И наоборот.

— Старая система, батюшка, старая! — повторил Вожделенский.

— Заладили одно: «Старая!» В чем же новая-то ваша система состоит?

— А вот в чем: служить так служить, а либеральничать так либеральничать.

Хотя Вожделенский уже не впервые высказывался в этом смысле и в этих самых выражениях, но на этот раз вышло как-то особенно ясно. Без перспектив, а прямо к цели. Пугачев вдруг почувствовал, что ему уж не очиститься. Да и Жюстмильё, с своей стороны, страдальчески заметался.

«Наверное, Вожделенский завтра в «Грачи» не придет,— блеснуло у него в голове.— Да и вообще не видать его «Грачам», как ушей своих. Любопытно, однако ж, в какой он трактир ходить будет?»

— Стало быть, нельзя даже... А впрочем, что ж! оно к тому идет! — процедил сквозь зубы Пугачев и вздохнул.

— Да-с, к тому-с.

— Одного я не понимаю: ежели и нельзя, то все-таки почему же бы мы...

Пугачев запнулся, как бы вызывая Вожделенского на поощрение, но Вожделенский ехидно молчал. Тогда он продолжал:

— Повторяю: совсем мы не в том смысле... не в вредном... Дать обществу пищу... отклонить его от вредных увлечений... кажется, это именно та самая задача, которою достигается... Ежели департамент Препон самым делом воздействует, то мы, с своей стороны, косвенно...

— То-то, что косвенное-то ныне не полагается. Прямо.

— Что ж такое! прямо так прямо. Ведь это только так говорилось: «косвенно», а в сущности оно и всегда было «прямо»...

— Ну-у? так ли, полно?

— А ежели и еще прямее нужно, так и прямее...— робко инсинуировал Пугачев.

— Ну, вот вы и объяснились, господа! — обрадовался Жюстмильё.

— Согласны и прямее-с? — в упор хихикнул Вожделенский, но так ядовито, что Пугачев во всем теле почувствовал внезапную слабость.

— Гм... стало быть, наш департамент — ау? — машинально произнес он упавшим голосом.

— Поговаривают-с.

— Без преобразований... прямо? — продолжал Пугачев, все больше и больше увядая.

— Надвое-с. Одни говорят: «Реформу!», другие — «Прямо!»

Жюстмильё мучительно заерзал на стуле. В его сердце окончательно поселилось предчувствие. Некоторое время, однако ж, он не решался высказаться, но под конец его так прожгло, что он не выдержал.

— А об нас... не слыхать? — произнес он робко, как бы не доверяя собственным словам.

— В частности — ничего, но вообще...— загадочно молвил Вожделенский.

— Что же такое... «вообще»! Мы даже и не призывали... К обществу мы не обращались, перспектив не показывали...— оправдывался Жюстмильё, в пылу обуявшего страха даже не догадываясь, что он косвенным образом и с своей стороны формулирует обвинение против Пугачева.

— Слышали-с? — ядовито обратился Вожделенский к Пугачеву,— вот и они понимают... Они не «обращались», не «показывали»... А ваш департамент...

И затем, отвечая Жюстмильё, прибавил:

— Я и не выдаю за верное насчет вашего ведомства. Я говорю только, что вообще... Предрасположение такое нынче в сферах... Содействие требуется... прямое! А не то чтобы там косвенно или, например, ни туда ни сюда...

Обед кончился. Приятели выкурили по папиросе, и Вожделенский почесывал себе коленки в знак того, что пора и восвояси. Но Пугачев намеренно затягивал беседу: ему нужно было во что бы ни стало дойти до конца.

— Нет, вы скажите... этим ведь шутить нельзя! — говорил он, волнуясь.— Мы тоже... конечно, обидеть не долго... ну что ж! в заштат так в заштат! Но за что? Разве нас призывали? разве нам приказывали? объяснили ли нам хоть раз: «Вот это — так, а вот это — не так?» Призовите! прикажите! Что ж! мы с своей стороны...

— И мы с своей стороны...— отозвался Жюстмильё.

— То-то, что ни призывать, ни приказывать, ни объяснять не видится надобности. Шуму от этих призываньев да приказываньев много. Оказательство.

— Что ж такое: «Оказательство?» — все больше и больше раздражался Пугачев.— Тут речь об участи людей идет, а вы: «Оказательство!»

— Не я, а власть имеющие.

— Нет, вы откройтесь. Вы объясните прямо: что за причина? что такое? почему? как?

— Чудак вы, Емельян Иваныч! обращаетесь ко мне, точно я властен!

— Нет, вы можете! если вы не властны переделать, то можете предупредить, направить... Можете, наконец, зарекомендовать!.. А опять и еще: переформировка предстоит или упразднение? Ежели только переформировка, то, может быть... Объяснитесь! А то на-тка! напустили туману, да и наутек!

Вместо ответа Вожделенский усиленно зачесал коленки и испустил звук, который ясно означал: «Надоел ты мне, братец, хуже горькой редьки!» И затем начал потихоньку сниматься с места.

— Переформировка или упразднение? — приставал Пугачев.

— Не знаю-с,— сухо ответил Вожделенский, пробираясь к выходу.

— Ну и упраздняйте! — пустил ему вслед Пугачев,— и упраздняйте... и упраздняйте... упррразднители!

Он обернулся, думая призвать Жюстмильё в свидетели, но ловкий малый уже исчез, точно растаял в воздухе.

На другой день об ту же пору, Жюстмильё прохаживался по Большой Морской от угла Невского до штабной арки и обратно. Он явно кого-то поджидал и вглядывался в сумерки. Действительно, через четверть часа со стороны Невского показалась знакомая фигура статского советника Вожделенского, и Жюстмильё мгновенно нырнул в подъезд Малоярославского трактира. Минуту спустя он, как ни в чем не бывало, уже стоял у стойки и тыкал вилкой в блюдце с килькой. Еще минута — и к той же стойке подошел Вожделенский.

— Какими судьбами? — воскликнул последний, завидев вчерашнего собеседника.

Жюстмильё всем своим женеподобным, потертым лицом осклабился.

— Да так-с...— пролепетал он,— признаюсь, после вчерашнего разговора... совсем мне «Грачи» опротивели!

— Но почему же именно сюда?

— Предчувствие-с...— застенчиво намекнул Жюстмильё и снова осклабился.

— Благодарю! — ответил Вожделенский, протягивая руку,— милости просим! будем, по-старому, вдвоем канитель разводить!

И затем, вспомнив о Пугачеве, любезно продолжал:

— А революционер-то наш! поди, дожидается теперь! Перспективы, изволите видеть, показывает! общество занимать хочет! Теперь вот и спохватился, да поздно... Близок локоть, да не укусишь... ау, брат! Что ж, рублевый, что ли, спросим?

— Сегодня уж мне позвольте! — засеменил Жюстмильё,— в знак будущего... И вообще... Человек! Два полуторарублевых! — крикнул он половому и, пошептавшись с ним, прибавил вслух: — Да чтобы заморозить... непррременно!

— Никак, вы кутить собрались! — ласково укорил Вожде-

ленский,— что ж! от времени до времени это не без пользы. Постоянно пить нехорошо, но при случае распить бутылочку-другую — это даже кровь полирует!

Через четверть часа приятели сидели за столом и оживленно беседовали. Впрочем, говорил почти исключительно один Вожделенский, а Жюстмильё ласково смотрел ему в глаза и распускал рот. От времени до времени упоминалось о Пугачеве в сопровождении нарицательного: «революционер». Допускались предположения: что-то «революционер» теперь делает? ждет, поди, а может быть, и ждать перестал, щи ест?

— Предупреждал я его,— ораторствовал Вожделенский, впадая в учительный тон.— Эй, говорю, Емельян Иваныч! не слишком ли, сударь, прытко! Не послушался — вот на мое и вышло!

— А жалко почтеннейшего Емельяна Иваныча! хоть и по своей отчасти вине, а все-таки жалко! — лицемерил Жюстмильё, подливая в стаканы шампанское.

— Это делает честь вашему доброму сердцу, сударь! — снисходительно похвалил Вожделенский.— Я и сам иногда... по человечеству! Все мы люди, все человеки... Так-то.

Жюстмильё весь, всем существом, так и расцвел от похвалы.

— Нельзя не жалеть,— продолжал Вожделенский,— человек еще в поре, мог бы пользу приносить... Кабы к рукам, так даже прямо можно сказать: золотой был бы человек!.. И вдруг!

— И вдруг! — как эхо, повторил Жюстмильё.

Его самого мутило. Хотя Вожделенский вчера и не высказался определенно насчет департамента Оговорок, но все-таки кое-что запустил. Очевидно, что-то готовится. Но что̀ именно, что? Переформировка или... Некоторое время Жюстмильё робел и воздерживался от вопросов, но к концу обеда язык его сам собой обнаружил душевную язву.

— Ну, а насчет нашего департамента... слышно? — пролепетал он, освещаясь заискивающей улыбкой.

— Поговаривают-с,— кратко отрезал Вожделенский.

Жюстмильё мгновенно завял.

КОМНАТА ВТОРАЯ

Павел Никитич Павлинский только что возвратился из заграничной поездки. Человек он был средних лет (скорее даже молодой), бессемейный, не предъявлявший к жизни чрезмерных требований и не честолюбивый. Служил он в департаменте Раздач и Дивидендов и довольствовался скромною должностью столоначальника, которую занимал чуть не десять

лет сряду. Департамент этот исстари был либеральный, и — что особенно было дорого — чиновники его еще в то время ходили на службу в пиджаках и курили при отправлении обязанностей папиросы, когда в других департаментах не шли дальше цветных брюк при вицекафтанах, а курить позволяли себе только в форточку. Это само по себе уже составляло приманку, но, сверх того, содержание здесь было погуще, нежели в других ведомствах, да к концу года и из общей массы дивидентов на долю каждого перепадала малая толика. Благодаря этим воспособлениям у Павлинского всегда водилась вольная деньга, которою он и пользовался, чтобы ежегодно делать кратковременные экскурсии за границу. В конце июля он перекидывал через плечо дорожную сумку и садился в вагон (непременно 1-го класса), а в начале сентября тем же порядком вновь водворялся в департаменте. Чаще всего он делал эти экскурсии на собственный кошт, но иногда выпрашивал какую-нибудь командировку и получал от казны прогонные, подъемные и порционные. Пошатается несколько недель по Германии, наблюдет, как делают папиросные гильзы в Баден-Бадене, Эмсе, Гамбурге, и под конец непременно недели на две закатится в Париж.

В нынешнем году ему удалось получить командировку. Предлагалось ему посетить Швейцарию и на месте исследовать, из каких элементов составляется тамошняя дивидендная масса и в какой пропорции оная распределяется между швейцарскими властями. С этою целью он целый месяц выжил на Женевском озере, посетил Лозанну, Вевэ, Кларан, Монтрё и проч. (в Женеву, однако ж, не рискнул); но, к сожалению, везде встретился с серьезными затруднениями. На всем протяжении Женевского озера по вопросу о раздачах и дивидендах царствовало полнейшее невежество, почти хаос, так что на первый раз он должен был ограничить свои действия лишь необходимыми разъяснениями и пропагандой. Плоды этой пропаганды приходилось наблюсти в будущем году, что, впрочем, не особенно его огорчало, потому что в перспективе обрисовывалась новая командировка с новыми «воспособлениями» от казны. Затем, выполнив свой долг добросовестно, Павлинский, по обыкновению, направил путь в Париж. Пообедал у Вефура, у Вуазена, у Бребана, у Маньи, но в «Café Américain» [1] только «так посидел», потому что показалось дорого. Видел «Peau d'âne» [2], «M-lle Nitouche» [3], «La princesse des Canaries» [4], побы-

[1] «Американском кафе».
[2] «Ослиную кожу».
[3] «Мадемуазель Нитуш».
[4] «Принцессу Канарских островов».

вал в «Excelsior»[1], в «Café des Ambassadeurs»[2] и зашел в «Contributions indirectes»[3] посмотреть, как там «наше дело стоит». Наконец в один дождливый и темный вечер сел в вагон и прикатил в Петербург. Наутро — в департамент; обедать — в «Грачи». Для человека, еще полного воспоминаний о «Contributions indirectes» и о Вефуре, это был переход очень резкий, но Павлинский был человек бодрый и рассудительный, который легко мирился с суровою действительностью и безропотно покорялся начертанному на дверях департамента девизу: «Грачам — время, а Вефуру — час». Он понимал, что иначе дивиденды никогда не были бы поставлены на том незыблемом основании, которое позволяло им с честью выдерживать натиск всех остальных ведомств и даже завистливые намеки на фельдмаршальские содержания.

Первый сезонный обед сотоварищей по дивидендам был чрезвычайно оживлен. Собралось человек шесть собеседников, и так как дивиденды были заранее уже вычислены и обозначены, то у всех на душе было светло, бодро и радостно. На радостях потребовали «генеральскую закуску» и, по секрету от возвратившегося члена общей дивидендной семьи, заказали пару бутылок шипучего. Затем, в ожидании еды, закурили папиросы, и все лица расцветились такими счастливыми улыбками, что и половые, глядя на господ, стали улыбаться.

За обедом речь держал по преимуществу Павлинский. Он, не стесняясь, называл Швейцарию «страною свободы» и подробно перечислял благодеяния, которые свобода распространяет вокруг себя. Пароходы, железные дороги, телеграфы, телефоны — все это в «свободных» странах служит для общего блага, а в «несвободных» — для воровства. А эти гостиницы-дворцы, подобных которым нет в целом мире?.. А возможность свободного обмена мыслей? А личная обеспеченность, которая каждому дает право смело смотреть в глаза будущему?! А несметные толпы иностранцев, которые добрую половину года наводняют страну свободы и тратят там свои деньги?! А конституция!?!!

— Я провел почти месяц в Кларане, — рассказывал Павлинский, — и ни разу даже не почувствовал процесса жизни. Жил — вот и все. Жил — потому, что никто не препятствует жить, жил — потому, что не только сам себя чувствовал хорошо, но видел, что и другие чувствуют себя хорошо. Жить в одиночку — это все равно что втихомолку есть, думая только о наполнении желудка. Жить вместе со всеми — это участво-

[1] «Эксцельсиор».
[2] «Кафе посланников».
[3] «Департамент косвенных налогов».

вать *всеми* силами и способностями души в наслаждении общими жизненными благами! Ничего нельзя себе представить благороднее и чище того душевного равновесия, которое чувствуешь при виде довольства, царствующего кругом!

И затем, спустившись с высот парения, он прибавил:

— Встанешь утром, откроешь окно — изумительно! Небо — *синее*; *озеро* — *голубое*; прямо — Dent du Midi; влево — бесподобная долина Роны, которую со всех сторон стерегут седые великаны... Воздух — упоительный! теплота — поразительная! Спустишься вниз — кофей готов!!

— Dent du Midi? форму зуба, что ли, он имеет? — полюбопытствовал один из собеседников, Мозговитин.

— Как вам сказать... это не зуб, а скорее целый ряд неровных зубов. Один раз при мне дантист у попа такой коренной зуб вырвал... Когда середку горы окутает облако, а сверху солнце светит, то кажется, словно фантастический замок, с башнями и бойницами, на облаках повис... Изумительно!! Напьешься кофею — с хлебом, с ароматным маслом, с настоящими сливками — гулять! Небо синее, озеро голубое, кругом озера — всего озера сплошь! — каменная набережная... Идешь — и не чувствуешь, что идешь! Что-то есть такое, что возвышает, уносит, располагает... Зайдешь в лавку, купишь винограду — и опять гулять. В час завтрак — по звонку. После завтрака — экскурсия. Иногда пешком, иногда — в шарабане, иногда — по озеру. Кто хочет купаться — купается; кто хочет ловить рыбу — ловит. Свобода — полная. Окрестности — бесподобные. Глион, Вевэ, Ушй, Шильон, Евиан... Нынешним летом около Шильона, в Hôtel Byron, Виктор Гюго жил... маститый старик! А в шесть часов — обед, опять по звонку! Обедаешь — а в душе музыка!

— Вот это жизнь! — в восторге отозвался Мозговитин, тоже столоначальник, хотя и не столь прикосновенный к дивидендам, однако...

— А мы тут целое лето в Озерках на Поклонную гору глазели да проект о превращении пятикопеечных гербовых марок в сорокакопеечные сочиняли! — с горечью воскликнул третий столоначальник, Ловягин, преимущественно участвовавший в Раздачах, а не в Дивидендах.

— Вы и в Шильоне были? — спросил четвертый столоначальник, Глухарев, служивший в отделении «где раки зимуют».

— Еще бы! Шильонский узник! Байрон! Там и теперь на одной из колонн его автограф показывают. И столб, к которому был прикован «добродетельный гражданин» Бонивар, и углубление, которое он сделал в плитном полу, ходя взад

и вперед в одном и том же направлении. Представьте себе железную цепь, которая не позволяла ему отойти от столба дальше нежели на два аршина... И таким образом целых восемь лет! Восемь лет!

— За что же это его так? — полюбопытствовал пятый собеседник, Новинский, который был только помощником столоначальника и не успел еще погрязнуть в дивидендах.

— Любил свободу и был добродетельный гражданин — вот и все! Для Савойского дома, который тогда владел этою частью Швейцарии, этого было вполне достаточно.

— Для Саво-ойского?! — изумленно переспросили собеседники, в воображении которых с понятием о Савойском доме соединялось представление о Викторе-Эммануиле, о Кавуре, о Гарибальди и даже о Мадзини. — А теперь-то! теперь-то Савойский дом!

— Да, господа, были времена, когда и Савойский дом вел себя не безукоризненно! — продолжал Павлинский.— В том же Шильонском замке показывают, например, высеченное в каменной скале ложе с каменным же изголовьем, на котором осужденные проводили последнюю ночь. А иногда их обманывали: объявляли прощение и вели темным коридором из тюрьмы. Но в конце коридора был вырыт колодезь; осужденный оступался в него и падал на громадные ножи, которые резали его на куски.

— Однако!

— А теперь вокруг этих самых стен играет жизнь, ликует свобода! А именем Бонивара назван лучший озерный пароход... Какой урок!

— Все оттого, что прежде тьма была, а теперь — свет! — решил Ловягин. — А вон в Озерках хоть и замка Шильонского нет, а все кажется, словно ты вокруг столба на цепи ходишь!

— Свет — это главное! — подтвердил и Мозговитин, — только трудно ему пробиться сквозь тучи... оттого и долгонько бывает ждать... Ну, а по нашей части как у них? — обратился он к Павлинскому.

— По нашей части, признаться, больше нежели слабо. Представьте себе, от меня от первого там услышали слово: дивиденд! Приехал я в Кларан, осмотрелся чуточку, отдохнул — и сейчас же в Лозанну к тамошнему окружному надзирателю. Спрашиваю: в каком положении у вас дивидендное дело? И что же бы вы думали? Он даже не понял!

— Не понял?!

— Не понимает, да и все тут. Я туда-сюда, толковал ему, толковал... Один ответ: «Не может быть!» Однако немного погодя начал задумываться.

— Пробрало?

— Кажется, что так. Пришел ко мне в Кларан, молча пожал мне руку и ушел.

— Увидите, что и там теперь реформы начнутся!

— То есть... как вам сказать!.. наверное утверждать не берусь. Слишком сильна там консервативная партия. Она непременно будет тормозить. Во всяком случае, это вопрос настолько существенный, что в будущем году я непременно опять отправлюсь в Лозанну, чтоб лично убедиться, какое действие произвели мои разъяснения.

— Дай бог! дай бог! А в Париже... конечно, тоже побывали?

— Еще бы! Быть за границей и не заехать в Париж! Но в каком они нынче трико женщин в феериях выводят — ну, просто... Одного не понимаю: зачем трико?!

— А у нас наденут на *нее* мешок, да такой, что гороху четверик туда всыпать можно, да еще кисеи целый ворох накутают... догадывайся!

— Да, господа, Париж — это столица мира! Встанешь утром — и сейчас чувствуешь... Возьмите одни журналы: «Intransigeant» [1], «Justice» [2], «Combat» [3]... так и брызжет! Прочитаешь — куда идти? Завтракать? — к Бребану! Garçon! la carte du jour! Filet de boeuf, sauce béarnaise... c'est ça! [4] Мягко, нежно и в то же время серьезно. Полбутылки вина, на десерт персик, кисть винограда — нигде в целом мире подобных фруктов нет! Позавтракавши — на бульвар. Ходишь, фланируешь, осматриваешь в окнах выставки и вдруг... «Вы русский?» — «Русский-с».— «Приятно познакомиться. А это моя жена, ма фам. Прасковья Ивановна». Слово за слово: «Не хотите ли отобедать вместе?» — «С удовольствием».— «А до обеда к Тортони пойдем, соломинку пососем...» Смотришь, утро и прошло. Отобедаешь, а вечером в театр!

— С Прасковьей Ивановной!

— Ну, да... Какой вы, однако ж, Ловягин! всегда что-нибудь заподозрит... циник!..

Подобные разговоры из года в год повторялись в одной и той же силе, почти в одних и тех же выражениях. Несомненно, что столоначальники, которые их вели, были люди благонамеренные, либеральные и просвещенные; но жизнь русского культурного человека так странно сложилась, что он тогда

[1] «Непримиримый».
[2] «Справедливость».
[3] «Борьба».
[4] Гарсон! Сегодняшнее меню! Филе мясное, соус беарнский... вот это вещь!

только чувствует себя вполне компетентно, когда речь заходит об еде, об атурах и дивидендах. Правда, что в последнее время трактирные собеседования обогатились еще одним элементом: похвалами неуклонности; но ни Павлинский, ни его товарищи этого элемента еще не допускали. И, по моему мнению, хорошо делали, ибо, право, лучше о вефуровских шатобрианах разговаривать, нежели о неуклонности.

Разговоры о неуклонности — самые паскудные из всех. Они раздражают, волнуют, вызывают на мысль о потасовке. Сидит остервенившийся кляузник, точит изо рта пену и сулит всякие нелегкие... Какое такое ты полное право имеешь, наглый ядрило, осквернять мозги посторонних лиц своим бешеным бормотанием? где почерпнул ты смелость оподлять землю, которая тебя носит, время, в которое ты живешь, стены, среди которых ты точишь свою слюну? откуда пришла к тебе уверенность в безнаказанности? из какой упраздненной щели ты выполз? зачем?

Несомненно, что современные собеседования о неуклонности служат естественным развитием тех разговоров о бараньем роге и ежовых рукавицах, которые лет двадцать тому назад оглашали дореформенную Россию. Но какая разница в манере, в силе и в самом содержании! В то время как прежние разговоры представляли собой простую бессмыслицу, и, подобно молнии, прорезывающей тучу, являлись мимолетным взрывом наэлектризованного темперамента, нынешние сквернословные диалоги представляются уже выражением какой-то угрюмой системы, обдуманной в тиши уединенного места, и не потухают мгновенно, а длятся, длятся без конца...

Во всяком случае, я отнюдь не осуждаю Павлинского и его товарищей ни за их разговорное бессилие, ни за то, что их либерализм перепутался с дивидендами и вследствие этого принял своеобразные, несколько неуклюжие формы. Как уже сказано выше, явления эти зависели не столько от них самих, сколько от общего бессодержательного уровня русской культурной жизни.

Но я положительно хвалю их за то, что они никому не угрожают и не сулят нелегких. По моему мнению, между гражданами одной и той же страны не может быть допускаемо ни трактирного подсиживания, ни угрожательной полемики вообще. Обыватели обязаны сидеть в трактирах смирно, а ежели иногда им и приходится слышать произносимые поблизости несочувственные речи, то они не должны забывать, что виновный в произнесении таковых речей ответствен за них перед компетентной властью, а отнюдь не перед трактирными завсегдатаями. Конечно, бывают речи, от коих тошнит, но лучше

тошноту перенести, нежели входить в рискованные трактирные пререкания. Именно так и поступали Павлинский с товарищи. Когда надворный советник Скорпионов, обедая в их соседстве, провозглашал, что либералов следует топить в реке, они не только не своpачивали ему за это скул, но делали вид, что скорпионовские речи вовсе до них не относятся. Вообще они вели себя в этом деле с тем тонким тактом, который всякому прозорливому столоначальнику свойствен. То есть не отрицали неуклонности, но и не шли к ней навстречу. Когда же перед ними ставили этот вопрос резко и в упор, то отзывались, что неуклонность находится в другом ведомстве и, следовательно, оценке их не подлежит. И таким образом находили отговорку, которая служила им очень приличным прикрытием.

Тем не менее времена настолько созрели, что вопрос о неуклонности принял нарочито назойливые формы. Весь воздух до такой степени насытился неуклонностью, что люди смирные тщетно мечутся, изыскивая способы отмолчаться. Неуклонность следует за ними по пятам в образе жестоковыйных кляузников, которые с беззаветным нахальством проникают и в публичные места и в частные квартиры. Способность мыслить становится тяжелым бременем, а попытка формулировать какую бы то ни было мысль — риском, не обещающим ничего хорошего...

Я знаю, меня обвинят в преувеличении. Скажут: «Хотя кляузники и существуют но в сущности они составляют очень мизерное меньшинство...» Прекрасно, пусть будет так. Но, во-первых, таково свойство кляузы, что она и в одиночку легко поражает разрозненные и слабые массы; а во-вторых, ведь и трихина прокрадывается в организм лишь небольшими партиями, а какие она распложает массы, как только найдет для себя благоприятную среду!

Как бы то ни было, но мирное собеседование столоначальников было возмущено самым странным образом.

Рассказав подробности своего заграничного путешествия и отдав дань похвалы соусу soubise, подаваемому у Бребана к котлетам из présalé [1], Павлинский очень любезно обратился к товарищам с вопросом:

— Ну, а вы, горемычные, как тут летом пропекались?

Невиннее и естественнее этого вопроса ничего не могло быть. Невиннее — потому что ничего виновного он в себе не заключал; естественнее — потому что самые элементарные законы общежития требовали, чтобы в ответ на выраженное друзьями доброжелательство заплатить им таким же добро-

[1] соленой баранины.

желательством. Что же касается до выражения «горемычные», то хотя в нем и слышится некоторая тривиальность, но так как в законах не выражается требования, чтобы для разговоров в трактире «Грачи» употреблялся высокий слог, то и в этом отношении Павлинский был, как говорится, «в порядке».

Но не так думал об этом надворный советник Скорпионов, который, как только заслышал вопрос Павлинского, так тотчас же залаял. На этот раз он обедал с титулярным советником Аникой Тарантуловым, который, подобно Скорпионову, не имел «постоянных» занятий, а добывал себе пропитание «похвальными поступками». Тем не менее, не имея правильных способов существования, ни тот, ни другой не имели и правильного обеда, а довольствовались чем попало, преимущественно напирая на водку. На сей раз Тарантулов ел подовый пирог, а Скорпионов — московскую селянку. Ели и в промежутках между глотками испускали охранительные звуки.

— А по-моему, так именно те, по справедливости, «горемычными» назваться могут, кои по заграницам да по Парижам «горе мыкают»! — обратился Скорпионов к Тарантулову, как бы продолжая «самостоятельный» разговор.

— Что так! а я, напротив, слыхал, что те нынче «интеллигентами» себя величают! — отозвался Аника, и так ему это смешно показалось, что он не выдержал и захохотал: — Ха-ха!

— Удивляюсь! — продолжал самостоятельно резонировать Скорпионов, — не тому удивляюсь, что разврат этот ныне всюду въявь проник, а тому, что никто не вступится. Кажется, только бы слово одно! Одно бы только словечко: «Братцы! вот они!» — и всех бы этих интеллигентов...

— Ау?! — хихикнул Тарантулов.

Хотя Павлинский старался показать, что он не слышит скорпионовских речей, но невольное волнение выдало его. И волнение это очень характерно выразилось в том, что он машинально и как-то растерянно повторил свой вопрос:

— А вы, горемычные, как летом пропекались?

Голос его звучал неспокойно; губы слегка побледнели, ножик, которым он разрезывал птицу, дрожал. К сожалению, и между товарищами произошло некоторое замешательство, так что и они не могли утверждать, что скорпионовский лай не коснулся их.

— Что же мы! — смалодушничал Ловягин, — своим делом занимались — только и всего!

— Сквернословили! — пояснил Скорпионов.

— Ладненько да смирненько — и не видали, как лето прошло! — присовокупил Мозговитин.

— Я в Озерках жил, Федор Федорыч — в Лигове, Василий Иваныч — в Стрельне, Иван Павлыч — в Лесном. Располземся к обеду, как раки, в разные стороны, а утром опять в департаменте к своим делам обратимся.

— Только погода все лето ужасная стояла! по целым неделям солнца не видали! — не остерегся высказаться Новинский.

— Где уж солнце в Стрельнах да в Озерках видеть! — «самостоятельно» съехидничал Скорпионов. — Оно, вишь, в Женеву да в Париж спряталось! И как это мы с вами, Аника Иваныч, и солнце, и звезды, и месяц — всё видели? Солнце как солнце!

— Мы с вами не интеллигенты, Василиск Тимофеич,— объяснил Тарантулов,— интеллигенты-то на солнце в подзорную трубу смотрят, а мы по-простецки — голыми глазами!

— Разве что так... Только уж так я на этих интеллигентов сердит! Кажется, взял бы да...

— Д-да-а?! — видимо растерялся Ловягин, однако перемог себя и продолжал: — Но ежели погода была и не вполне благоприятна, зато... Удивительно, как нынче тихо было! замечательно тихое лето!

А Глухарев, с своей стороны, прибавил:

— Никогда прежде так тихо не бывало! Так тихо, что ежели кто не чувствовал за собою вины, то смело мог надеяться, что его не потревожат!

— А разве когда-нибудь прежде бывало, господин Глухарев, чтобы невинных тревожили? — возопил Скорпионов, бесцеремонно врываясь в приятельскую беседу.

Павлинского передернуло. Ему следовало совсем не обращать внимания на запрос, но он, по-видимому, все еще находясь под игом воспоминаний о Dent du Midi, не выдержал и процедил сквозь зубы:

— Ах, как неприятно!

— Неприятно-с? — подхватил Скорпионов. — Позвольте, однако ж, спросить, господин Павлинский, кому больше неприятно: вам или вашим слушателям? Ежели вас даже скромное напоминание о долге приводит в раздражение, то что же должны испытывать те, коих вы оскорбляете, так сказать, в глубине священнейших чувств?

На этот раз Павлинский смолчал и нервно торопился доесть жареную птицу.

— Какие дивиденды — и какая неблагодарность! — продолжал Скорпионов, — подумали вы, господин Павлинский, кто вам эти дивиденды присвоил? и на какой предмет? Фельд-

маршальское содержание получаете — а как выражаетесь... ах-ах-ах! Да если б я... если б мы, например, с Аникой Иванычем... при таком авантаже... да мы бы...

Тарантулов, услыхав это предположение, так быстро усвоил его себе, что даже застонал:

— Ох!

Столоначальники молча доедали обед, торопя глазами полового, чтоб поскорее подавал перемену. Однако ж Новинский, как человек еще молодой и горяченький, не вытерпел и хотя несмело, но все-таки достаточно громко сказал:

— Вот уж действительно... трихина!

Но Скорпионов и этим не смутился.

— «Трихина»-с? — так, кажется, вы, господин Новинский, изволили выразиться? — очень любезно отпарировал он, — слыхали-с! Это червячки такие миниатюрненькие... в ветчине бывают?.. Но если бы даже и червяки-с! если бы и червячок правду высказал, так, по-моему, и от червячка не стыдно ее выслушать... Правда — везде правда, и никакие дивиденды ее неправдой не сделают. Нынче, я слышал, в Москве некоторый человек проявился: сидит в укромном месте и все только правду говорит! А прохожие идут мимо и слушают! На то она и правда, чтоб всякий ее слушал! А ежели кто добровольно не согласен правду слушать, против того можно и меры принять... Так ли я, Аника Иваныч, говорю?

— Прррравильно! — раскатился Тарантулов могучим мокротным басом.

— Правду, доложу вам, даже полезно от времени до времени выслушивать, — продолжал резонировать Скорпионов, — потому человек не всегда сам за собой уследить может. Иной и благонамеренный, а смотришь — он ослаб! Ну, так ослаб, так ослаб, что еще немножко — хоть на цепь его сажай, так в ту же пору! И вдруг, в этаких-то стесненных обстоятельствах, он правду слышит! Слышит раз, слышит другой... В трактир придет — правда! на службу придет — правда! домой придет — правда! «А что, дескать, уж и впрямь не спапашился ли я?» Подумает-подумает, да взвесит, да сообразит... смотришь, он и остепенился! Вот она, правда-то, что значит! Так ли я, Аника Иваныч, говорю?

— Прррравильно!

— А вы меня трихиной изволили обозвать! Я, вас жалеючи, правду говорю, а вы...

— Счет! — раздраженно крикнул Павлинский.

— Спешите-с? — уязвил было Скорпионов; но в эту минуту Новинского посетило вдохновение.

— Что так рано, Павел Никитич? — обратился он к Павлинскому, — ведь этак от них, от кляузников, и деваться некуда будет. А мы вот что сделаем. Господин Скорпионов! Кажется, графинчик-то у вас сиротой стоит?.. Так не хотите ли... от нас? а? Человек! другой графинчик господину Скорпионову! Вы, кажется, очищенную пьете, господа?

— Обыкновенно употребляем очищенное вино; но ежели случится двойная померанцевая...

— Прекрасно. Графин двойной померанцевой! И два подовых пирога!

Маневр удался как нельзя лучше. Тем не меньше он совершился настолько внезапно, что даже Скорпионов почувствовал себя не совсем ловко.

— Обыкновенно... мы безвозмездно, — пробормотал он, — но ежели гостеприимство, и притом с раскаянием...

— Именно так: с раскаянием... Кушайте, господа, не стесняйтесь!

Наступила временная тишина. Тарантулов быстро рвал пирог зубами и озирался по сторонам, как бы кто у него не отнял; Скорпионов чавкал понемножку, прихлебывая небольшими глоточками из рюмки. Столоначальники вздохнули свободно и кидали благодарные взгляды в сторону Новинского. Но прежний дивидендно-либеральный разговор уже не вязался.

— Хорошо, господа, на Женевском озере было! небо — синее, озеро — голубое, прямо — Dent du Midi, слева — Dent du Jaman... — начал было Павлинский, но вспомнил, что он однажды уже все это рассказал, и остановился.

Кляуза сделала-таки свое дело: либерализм был подсечен в самом корне...

Съели пирожное, выпили остатки шампанского и стали сниматься с мест. Столоначальники, впрочем, не торопились и показывали вид, что ничего особенного не произошло, кроме небольшого, свойственного трактирам, недоразумения, которое тут же и уладилось к общему удовольствию.

Но, когда они были уже в буфетной, Скорпионов прошипел им вдогонку:

— Дивидендщики!

А Новинский, принимая на подъезде поздравления от товарищей, говорил:

— Что прикажете делать! Только водкой и можно кляузе глотку залить! Согласитесь, что, за отсутствием других, это тоже в своем роде... обеспечение?!

КОМНАТА ТРЕТЬЯ

Крамольников (публицист и либрпансёр) чувствовал себя в этот день особенно возбужденно.

С некоторых пор он «решительно ничего не понимал». До самой последней минуты он думал, что существует какое-то отверстие, в которое можно заглянуть и из которого от времени до времени может пахнуть воздухом. Ежели не ворота, то подворотня. Щелка, наконец. И вдруг даже щели — и те исчезли. Законопачены, замазаны, притерты — нет вам щелей! И, что всего обиднее, он даже соследить не догадался, каким образом все это произошло. Накануне еще думал: «Завтра утром пойду и посмотрю в щелку!» Приходит — гладко! Даже место, где была щелка, не может опознать. И к кому он ни обращался с вопросом: «Кто замазал и по какому поводу?» — все смотрели на него с недоумением и даже с робостью, как бы говоря: «Ишь ведь, головорез, про что вспомнил!» И отвечали вслух: «Проходи-ка, брат, мимо! ни об каких мы щелях не слыхивали! всегда была здесь стена как стена!»

Будучи от природы любознателен, Крамольников, натурально, взволновался. Любознательность вообще свойственна людям, которые еще не успели сделаться живыми трупами, а он не без основания причислял себя к категории таких людей. Да, он не труп, он еще дышит, и легкие его требуют прилива свежего воздуха. В тайниках души он простирал свои виды довольно далеко и не прочь был потребовать даже *всего*. Но так как он знал, что *остального* ему не дадут, то вынужден был удовлетвориться щелочкой. Он сделал эту уступку скрепя сердце, но, раз примирившись с минимумом своих притязаний к жизни, уже не допускал из него никаких урезок. «Щелка так щелка, — провозглашал он резко, — но зато она моя... всецело! Ни линии, ни пол-линии, ни четверть линии!» И жил в надежде, что щелка останется неприкосновенною (а может быть, со временем ее и расковырять будет можно) и что *он* сумеет отстоять ее от чьих бы то ни было притязаний...

Каково же было его огорчение, когда он воочию убедился, что щелка — пустое дело и что никому даже не интересно знать, согласен ли он на урезки или не согласен. Пришли, замазали и ушли.

Целое утро он пробегал от одного знакомого к другому, протестуя и жалуясь.

— Представьте себе! щелки-то ведь уж нет! — сообщал он одному.

— Да объясните же наконец, что такое произошло? — спрашивал у другого.

— Ведь это уж не факт, а волшебство! Волшебство! волшебство! волшебство! — повторял третьему.

И даже идя по улице, не стесняясь присутствием городовых, повторял:

— Какое неслыханное варварство!

Наконец измученный, с растрепанными нервами, прибежал в семь часов в «Грачи», где имел обыкновение насыщаться. Не обедать и даже не есть, а именно только насыщаться.

Тут он встретил целую компанию знакомцев, таких же либрпансёров, как и он сам, и не успел порядком сесть на стул, как уже загремел:

— Представьте себе — щелка-то замазана! Утром пришел, думаю: «Посмотрю?» — и вдруг с одной стороны — стена и с другой — стена! Где щелка? — нет щелки!

— А вы только теперь догадались? — молвил один знакомец.

— Ее ни вчера, ни третьего дня уж не было... давно! — сообщил другой.

— У вас, должно быть, праздного времени много. Ищете бог знает чего, говорите об том, что было, да и быльем поросло! — подтрунил третий.

Крамольников уселся и начал глотать пищу. Мужчина он был вальяжный, нуждавшийся в питании, но глотал зря, не сознавая ни вкуса, ни даже свойства подаваемой еды, так что если б ему подали сладкий пирожок, намазанный горчицей, то он и его бы проглотил. Наконец, в средине обеда, уничтожив целую массу черного хлеба, он почувствовал себя сытым и опомнился. Отставил прибор, огляделся, как бы припоминая, ка́к он сюда попал, увидел знакомые лица, вспомнил и опять загремел:

— Представьте мое удивление! — Гляжу ищу, — и ничего не вижу! — Смотрю, навстречу Семен Иваныч идет. К нему: «Семен Иваныч! батюшка! каким манером? с чего?» И что ж бы вы думали? — потоптался-потоптался Семен Иваныч — шмыг от меня на другую сторону улицы! Я — к Яков Петровичу: «Яков Петрович! батюшка!» — Этот уж совсем дурак дураком. «Стыдитесь!» — говорит.

— Ха-ха! — раздалось за столом.

Но посреди общего хохота выделился серьезный голос, который произнес:

— А вы, Крамольников, будьте поосторожнее. Помните, что ведь здесь трактир.

Голос этот принадлежал несомненному либрпансёру Тебенькову, который тоже не прочь был в щелочку посмотреть. Но так как он был малый мудрый, то, раз убедившись, что

щелка исчезла, он сказал себе: «Ежели она исчезла, то, стало быть, ее нет» — и благоразумно воздержался от всяких исследований по этому предмету.

— Что такое «поосторожнее»? и что ж из того, что здесь трактир? — разгорячился Крамольников.

— А то, во-первых, что самое открытие, которое вас так поразило, уже указывает на необходимость осмотрительности; а во-вторых, то, что в трактире всякого гаду довольно.

— Осторожность да осмотрительность — только и слышишь от вас, Тебеньков! — взнегодовал Крамольников,— докуда же, наконец? — И какое кому дело до гадов? — Не преувеличиваете ли вы? — общество совсем не так низко стоит, чтобы сгибаться под ферулой каких-то «гадов»! Напротив, при всяком удобном случае оно наглядно доказывает, в какую сторону влекут его симпатии. Спрашивается: при таком общественном настроении чтò значит каких-нибудь два-три гада, которые действительно могут проскользнуть?

— А то и значит, что, несмотря на свою численную слабость, эти два-три гада имеют достаточно силы, чтобы всех здесь присутствующих в осаде держать.

Несмотря на то, что Крамольников был весь погружен в свои сетования, слова Тебенькова остепенили его. Он невольно оглядел комнату, в которой они обедали, и, к удовольствию, убедился, что в ней никого, кроме своей компании, нет. Правда, из соседних анфилад, справа и слева, доносилось густое гудение, но, по мнению его, это гудение даже обеспечивало тайну интимной беседы.

— Яко тать в нощи, — прибавил Тебеньков, как бы угадывая его мысль.

— А коли так, — разгорячился Крамольников, — то давайте вести разговоры, которые низшим организмам свойственны! Нуте-ка, благословясь: мму-у!

— Крамольников, вы нелепы! — обиделся Тебеньков.

— А ежели и это вам кажется чересчур радикальным, то займемтесь чем-нибудь приблизительным. Например: как называется эта птица, которая поставлена на стол?

— Судя по могущественному телосложению, надо бы быть глухарю, — сказал один.

— А по-моему, так это преклонных лет самоклюй,— отозвался другой.

Догадка за догадкой, пришли к заключению, что это коршун, который предварительно съел и глухаря, и самоклюя, и затем, в качестве чего-то среднего, попал в трактир «Грачи». Порешивши на этом, начали есть и вскоре так освоились, что кто-то даже выразился: «Право, хоть бы и еще такую же

птицу!» Наевшись, закурили папиросы, спросили пива и стали уже настоящим образом разговаривать.

— Однажды я в Тверской губернии летом гостил, так дупелей ел — вот это так птица! — сообщил один.

— А по-моему, тетерев, ежели он еще цыпленок, даже лучше дупеля будет! — отозвался другой.

— Тетерев-то и не цыпленок, а просто «нонешний»... ежели, например, в сентябре... — возразил третий, — приготовить его в кастрюльке да дать легонько вздохнуть — высокая это еда, господа!

Наговорившись о птицах, перешли к пиву. Один хвалил калинкинское, другой предпочитал «Баварию», третий вспомнил о пиве Даньельсона в Москве, щелкнул языком и прибавил: «Вот это так пиво было... дореформенное!»

Словом сказать, так увлеклись, что никто бы и не подумал, что люди ведут разговоры, высшим организмам несвойственные. Один Крамольников нервно пожимал плечами, приговаривая: «Каплуны! ай да каплуны!» Наконец он не выдержал, встал с места и зашагал по комнате.

— Растолкуйте вы мне, мудрецы! — начал он, обращаясь к приятельской компании, — почему то, чему присвоивается название «правды» по ту сторону Вержболова, называется неправдой и превратным толкованием по сю сторону? почему то, что признается не только безопасным, но даже благотворным по ту сторону, становится опасным и вредным по сю сторону? почему люди, считающиеся надежнейшею поддержкою порядка — *там,* являются *здесь* подрывателями, чуть не разбойниками? почему, наконец, один и тот же человек какою-то пустой речонкой, составляющей границу, рассекается надвое? Почему-с?

— Потому, вероятно, что в Вержболове — таможня, — спокойно решил Тебеньков.

— Не понимаю! Может быть, вы, по обыкновению, изволите шутить... и, может быть, даже очень остроумно... Но я — не понимаю! Вообще я шуток не понимаю. Не понимаю-с! не понимаю-с, — повторил он раздраженно. — Время, в которое мы живем, так серьезно и вместе с тем так сурово, что двумысленности кажутся мне неуместными. Да-с, неуместными-с.

— Но я и не думал шутить. Я говорю, что в Вержболове существует таможня, точно так же, как сказал бы, что существуют таможни в Кёльне, в Аврикуре, в Паньи, в Понтарльё и проч. Ведь и по сю сторону, например, Аврикура жизненные условия имеют совершенно иной характер, нежели по ту сторону...

— Не «совершенно иной», а «до известной степени иной» —

это так. Разница тут только в размерах, а не в сущности. Понятия об общественном благе и общественном вреде, об основах, на которых покоится общественный порядок, общая безопасность и личная обеспеченность — и там и тут одни и те же. А ежели политические формы в одном месте шире, а в другом уже, то, право, это вопрос второстепенной важности. Средний человек не гонится за политической номенклатурой, а дорожит только реальными благами; но, разумеется, не одними материальными благами, а и духовными. А так как к числу последних принадлежит...

— Ах, да знаем мы, что̀ к числу последних принадлежит! — резко прервал его Тебеньков, — не только знаем, но даже можем и вам предложить не бесполезный по этому поводу совет. Оставьте вы эту бесплодную игру в вопросы и ответы! а если не можете совсем оставить, то отложите ее до более благоприятного времени!

— Вы сказали: «до более благоприятного времени»? Стало быть, вы признаете, что нынешнее время...

— Ничего я не признаю, ни не признаю. Просто-напросто не желаю.

— Чего же вы не желаете, господин Тебеньков? и почему так скромно? Не доказывает ли это...

— Ничего не доказывает. Мы пришли сюда обедать, а не политические вопросы обсуждать. Не желаю — и будет с вас.

— Странно!

Крамольников горько улыбнулся, раскрыл рот, чтобы еще что-то сказать, но воздержался и принялся шагать взад и вперед по комнате.

— В Москве я однажды девицу видел... — раздался чей-то голос среди общего молчания.

— Позвольте-с! — сурово прервал Крамольников, — об московской девице вы после расскажете, а теперь речь вот об чем. Позвольте вас спросить, господа мудрецы, отчего прежде был Стыд, а теперь — нет его?

Крамольников скрестил на груди руки и неукоснительно требовал ответа.

— Ах, Крамольников! — произнес Тебеньков с явным оттенком нетерпения.

— Знаю я, что я Крамольников, но не в этом дело. Скажите, почему еще так недавно обыватель самого несомненно-заскорузлого пошиба, развивая тезис о пользе ежовых рукавиц, всегда оговаривался: «Знаю, мол, я, что ежовые рукавицы не составляют последнего слова науки, но что же делать, если без них нельзя обойтись? Погодите! потерпите! Придет время, когда нецелесообразность этого средства обнаружится

сама собою; но при настоящих условиях оно представляет очень существенное подспорье. Временное, коли хотите, и даже... не вполне нравственное, но тем не менее несомненное и необходимое!» Вот сколько было нужно оговорок, чтоб объяснить — не защитить, а только объяснить — ежовые рукавицы! Почему, спрашиваю я вас, этот заскорузлый человек не отстаивал ежовых рукавиц по существу, а только объяснял их, как явление временное, допускаемое, так сказать, с стесненным сердцем? И почему он ныне объявляет прямо: «Ежовые рукавицы — и средство и цель! кроме ежовых рукавиц, ничего нет и не будет!» Почему-с? А потому, государи мои, что когда-то у этого обывателя Стыд в глазах был, а теперь — и следа его нет! Вот.

Крамольников все больше и больше возвышал голос, а слушатели его все больше и больше жались и озирались по сторонам, испытывая сквозь открытые двери пространство, наполненное пестрыми кучками завсегдатаев. Некоторые из слушателей даже заносили ноги с намерением, при первом случае, улепетнуть.

— Почему вы сами, господа,— не унимался Крамольников,— еще так недавно с охотой вступали в собеседование по поводу самых горячих вопросов жизни, а теперь вы не только уклоняетесь от подобных вопросов, но прямо стараетесь заглушить в себе эту потребность разговорами, человеческому естеству несвойственными? Не потому ли, что прежде вы чувствовали в сердцах ваших движение совести, а теперь — чувствуете только постыдные порывы самосохранения? Затем позвольте еще один нескромный вопрос...

— Оставьте, Крамольников! — раздалось несколько голосов,— положительно вы делаетесь невозможны!

— Кто? я невозможен? — уже полным голосом возопил Крамольников,— я, который довел свои требования до минимума? я, который, ввиду суровой действительности, добровольно отказался от заветнейших мечтаний жизни и подчинил их представлениям возможного, доступного и благовременного? я, который, подобно алчущему еленю, искал чистых струй для утоления угнетавшей меня жажды и вместо того удовлетворял ее словами: «Подождите! потерпите!?», я, который, в надежде славы и добра, с восхищением повторял: «Наше время не время широких задач?!?», я, который целым рядом передовиц доказывал, что на первый раз мы обязываемся довольствоваться щелкой... с тем, разумеется, чтоб щелка, расширяясь в строгой постепенности, образовала со временем соответствующее отверстие?! Я невозможен? я?!?!

Он кричал так громко, что в дверях уже показалось не-

сколько ябеднических голов. В рядах либрпансёров обнаружилось серьезное беспокойство, чуть не смятение, и ноги их решительнее прежнего начали заноситься по направлению к выходу. Заметив это движение, Крамольников простер руки, как бы удерживая беглецов. В этой позе он напоминал собой капельмейстера, который начал назначенный в программе Concertstück [1] и уже не может не довести его до конца. Всецело поглощенный горькими впечатлениями дня, он утратил всякое представление о времени и месте. Вперив глаза в пространство, он, казалось, отыскал в нем какое-то лучезарное мелькание, которое заставило его позабыть и о слушателях, и об инстинктах самосохранения, заставлявших этих слушателей смотреть на всякое «проявление» или «оказательство», как на скандал, который сам по себе, помимо злостных комментариев, может запутать и обвиноватить целую массу совсем неприкосновенных людей.

— Я каюсь! — бичевал он сам себя,— я был малодушен! Мало того: я был... постыден! Я изменил большим убеждениям и примирился с малыми... это нечестно! Вместо того, чтоб идти широким вольным путем, я предпочел окольные тропинки; вместо того, чтобы вступить на торжище жизни воротами, я удовольствовался заглядыванием в щелку... как раб! Я думал, что это знаменует мудрость, а на поверку вышло, что это была громадная, непоправимая глупость! В одно прекрасное утро щелка исчезла, и я остался безо всего! Я наказан жестоко, но заслуженно! Ибо я был не только постыден, но и глуп. Глуп — вот что больнее всего! Постыдность сама по себе может служить даже залогом успеха; глупость — может служить залогом только бессрочного оплевания! Постыдному человеку только при очень благоприятных условиях могут сказать в глаза: «Ты постыден!» Глупому человеку при всяких условиях, благовременно и безвременно, говорят: «Дурак! дурак! дурак!» Вот именно таким дураком я сознаю себя...

Он остановился, отыскал чей-то до половины наполненный стакан пива, залпом его выпил и продолжал, по-прежнему вперяя глаза в пространство:

— Тем не менее мне сдается, что как ни обидна глупость, но при известной обстановке она может служить смягчающим обстоятельством. «Постыден, но без разумения» — такой вердикт еще можно вынести! Но ежели вердикт гласит кратко: «Постыден!» — и только по неизреченному милосердию судей не прибавляет: «с предварительно обдуманным намерением» — такого страшного вердикта положительно

[1] концертный номер.

нельзя вынести! И хотя я никого прямо не называю, к кому мог бы быть применен подобный жестокий вердикт, но все-таки приглашаю вас обдумать мои слова, господа! К сожалению, многие из вас думают, что можно до такой степени ума́литься, стушеваться, исчезнуть, что самая суровая действительность не выдержит и поступится хоть забвением... Тщетная надежда, государи мои! Уступки и забвения свойственны явлениям нарождающимся, неокрепшим и не уверенным в своем будущем, а не действительности, имеющей за собой многовековую историю. Действительность есть действительность, и, в силу своей общепризнанности, в силу своего исконного торжества, она никогда и ничем не поступается и никогда ничего не забывает. Она вполне последовательно выполняет свою задачу, то есть подчиняет себе все, находящееся в районе ее кругозора, фасонирует все, что поддается ее действию, а неподдающееся — выбрасывает за борт. Вот будущность, которая предстоит. И вы не минуете ее, хотя и надеетесь, что норы, в которых вы спрятались, *в ожидании лучших дней,* не выдадут вас. Выдадут, господа! Да вы и сами, наконец, не вытерпите насильственного заключения и выйдете! И вот, когда это случится, перед вами немедленно встанет все ваше робкое, скудное прошлое, и встанет не в виде укора в скудости, как вы постыдно надеетесь, а в виде улики в стремлении к потрясению основ! Все ваши подходы припомнятся вам, все недомолвки будут сочтены. Тебеньков был несомненно прав, говоря, что одного-двух ябедников совершенно достаточно, чтоб держать в осаде целую массу людей, но он позабыл прибавить, что если действительно сила ябеды так велика, то всякая попытка укрыться от нее является по малой мере бесплодною. Я не говорю уже о тех архиябедниках, которые, при посредстве печатного станка, всю Россию опутали своею подкупною кляузою и на могилу которых потомство вместо монумента уготовает осиновый кол; но сколько есть ябедников третьестепенных, захудалых, которые, собственно говоря, не имеют никакого ябеднического авторитета, а только похваляются тем, что они ябедники!.. А вы и перед ними стушевываетесь, и в них признаете какую-то силу, которая в одну минуту может вас скомкать и поглотить! Стыдитесь, господа! Вспомните, что вы люди и что не напрасно предание отличает человеческий образ от звериного! Вспомните, что в известных случаях отсутствие мужества равняется предательству! Вспомните, наконец...

Но тут Крамольников круто оборвал. Случайно оторвав глаза от лучезарного пространства, к которому они были прикованы, он опустил их до́лу... Перед ним стоял пустой стол, за-

гаженный пивными пятнами. Собеседники, четверть часа тому назад сидевшие тут, исчезли все до единого.

Взамен их в дверях стояли Скорпионов и Тарантулов.

— Ах, господин Крамольников, как вы хорошо говорите! — в умилении воскликнул Скорпионов,— то есть та̀к вы говорите. Та̀к говорите!.. век бы вас слушал и не наслушался бы!!

ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОШЕХОНСКИЕ РЕФОРМАТОРЫ

I

АНДРЕЙ КУРЗАНОВ

В начале сороковых годов в семье пошехонского мещанина Тихона Гордеева Курзанова проявилась личность, сразу обратившая на себя общее внимание. Это был сын старого Тихона, Андрей, молодой человек 20—22 лет.

Семья Курзановых была бедная, смирная и богобоязненная. Старый Тихон происходил из крепостных и состоял в дворне помещика Беленицына в качестве «живописца». Все, что носило на себе следы масляной краски в селе Верховом, начиная от полов «под паркет» в барской усадьбе и кончая портретной галереей бар, барчат и барышень, а также иконостасом сельской церкви,— все это было делом рук Тихона Курзанова. В тогдашнее время помещики любили украшать свои жилища произведениями искусств, так что почти во всяком господском доме можно было встретить и «Иродиаду», держащую на блюде голову Иоанна Крестителя, в которую Ирод тыкал вилкою, и «Сусанну», лежащую в обнаженном виде, с двумя старцами по бокам, и «Девушку с тазиком и графином воды», и «Обедающих дураков», и т. д. Тихон и такие картины умел писать. Человек он был смирный и покорный, а в своей специальности положительно неутомимый. С утра до вечера он готов был «писать», но зато ко всякой другой работе выказывал решительную неспособность. Ни на сенокос его в горячее время послать было нельзя, ни даже в лес за ягодами или за грибами — все равно ничего не принесет. Да и господа были добрые, и хотя смутно, но понимали, что принуждение может только изнурить Тихона, а делу не поможет. Поэтому, когда по дому не требовалось никакой масляной или живописной работы, то Тихона отпускали по оброку, который он и платил

всегда аккуратно. Когда ему было уже лет около тридцати пяти, его женили на сенной девушке Аннушке, которую тогда же обложили умеренными тальками, а лет через пять после того барин Беленицын скончался и, умирая, почему-то вспомнил о Тихоне и заказал барыне Анне Семеновне дать ему вольную.

Вышедши на волю, Курзанов поселился в Пошехонье и жил, как говорится, с хлеба на квас. Большой нужды не было, но не было и настоящей сытости. На недостаток заказов он не жаловался, но заказы были исключительно церковные, которые, как известно, всегда оканчиваются словами: «Для бога-то, чай, можно и уступить?» И Тихон уступал до самой крайней степени, потому что и сам понимал, что для бога не уступить нельзя. Аннушку Тихон любил, но, по странной особенности всего своего душевного строя, как будто считал свое сожитие с нею делом греховным, на которое он не решился бы, если б не тяготела над ним всевластная рука крепостного права. С своей стороны и Аннушка любила его, однако ж к материальным лишениям относилась не совсем равнодушно и нередко-таки поговаривала: «Только слава, что золотые у Тихона руки, а круглый год мы с ним по мытарствам ходим».

Андрей рос тихо и одиноко. Это был мальчик впечатлительный, с очень нежным, почти болезненным организмом. С раннего детства окруженный образа́ми и книгами церковного обихода, он легко пристрастился к божественному. Не пропускал ни одной церковной службы и в особенности любил ходить на богомолья по соседним пу́стыням и монастырям, где старый Тихон имел почти постоянные заказы. Тишина, окружавшая эти молитвенные общежития, умиляла его и растворяла его детское сердце любовью. Тою тихою, ровною, не сознаваемою, но разлитою во всем организме любовью *ко всему*, которая согревает не только самого любящего, но и весь окружающий его мир. Не трепетом наполняли его вековые сосновые боры, служащие как бы преддверием к обителям, а сладко волновали все его существо смешанным чувством радости и жаления. Ноги его утопали в зыбучем песке, а он чувствовал, что за плечами у него вырастают крылья, которые несут его, несут... И сердце ширится и рвется, и глаза куда ни обратятся, везде им навстречу: свет, свет, свет... Потребность пасть на землю появлялась внезапно и неудержимо. Пасть, целовать ноги странных и убогих, плакать, страдать, умереть...

Грамота далась ему легко, но ни к какому другому ремеслу он охоты не проявил. Даже к живописи отнесся равнодушно, потому что существо его было переполнено каким-то неизъяснимым просиянием, которое не имело ни формы, ни очерта-

ний и, следовательно, не поддавалось ни слову, ни кисти. Впрочем, отец и не нудил его; он сам имел природу, тождественную с сыном, и ежели «писал», то лишь по привычке и ради нужды. Мать тоже не огорчалась внешним бездействием сына, потому что провидела в нем будущего «богомола», который не только себя, но и их, стариков, со временем прокормит.

«Богомолы» в старые годы составляли особую касту, которой жилось сравнительно хорошо. Это были люди, посвящавшие себя странствованиям и молитвенным подвигам. Были между ними искренние, подвижничавшие ради подвижничества, но были и такие, которые смотрели на свои скитания, как на выгодное ремесло. Последняя категория выделялась чаще и была очень многочисленна. Ходили они обыкновенно в полумонашеской одежде, состоявшей из длинного черного полукафтанья, подпоясанного широким расшитым поясом, застегнутым на крючки. Волосы подстригали редко, на голове носили высокие шапочки на манер камилавок и ходили, опираясь правой рукой на высокую трость, вроде поповской. Старозаветные помещики (а преимущественно их жены и вообще женский пол), редко выезжавшие из своих гнезд, охотно их принимали и сажали за господский стол, успокоивали на гостиных перинах и любили с ними беседовать. Предметом бесед обыкновенно служили разные апокрифические сказания: о хождении души по мытарствам; о том, как некто, быв по ошибке отозван от мира сего и потом вновь возвращен к жизни, передавал сокровенные подробности загробного существования, коих был очевидцем; о том, что будет на Страшном суде и какая кого и за что ожидает кара. Но в область непосредственных обличений не пускались, и кары, по-видимому, сулили не весьма строгие, потому что домашний помещичий обиход от этих собеседований не изменялся. Помещицы вздыхали, плакали, но вслед за тем слезы высыхали и жизнь продолжала течь своей обычной колеей. Вели себя «богомолы» по большей части скромно: сплетен не переносили, вещей плохо лежащих не утаивали и только изредка запутывались в девичьих, как бы во свидетельство, что и у них, как у прочих смертных, плоть немощна. Но это им извиняли, потому что как же с этим быть? Но главное, что в них восхищало и умиляло,— это то, что большинство их круглый год не вкушало скоромной пищи. Иные даже в Светлый праздник ограничивались тем, что поцелуют яичко, да и опять за рыбку да за грибки. От этого постоянного воздержания некоторые из них входили в экстаз и прорицали. Предвещали вещи простые, всем близкие и понятные: неурожай или изобилие плодов земных, ненастье или вёдро, войну или мирное житье, угадывали пол ребенка в

утробе матери и проч. Такие прорицатели особенно чествовались.

Вот на такое-то привольное житье и рассчитывала Аннушка для своего сына. Однако ж ожидания ее сбылись только отчасти. Из Андрея действительно выработался богомольный и набожный юноша, но в то же время умственный склад его сформировался с такими своеобразными особенностями, которые решительно не допускали его оставаться на почве простого богомола-ремесленника. Не мир апокрифических сказаний пленял его мысль, но мир человеческих злоключений, начиная от материальной неурядицы и кончая страданиями высшего разряда. Люди, не получившие никакой воспитательной подготовки, но в то же время влекомые неудержимою силою к свету, встречаются нередко в низменных слоях общества, но в большинстве случаев эти личности впадают в экзальтацию и становятся чуть не душевнобольными. К счастью, Андрей Курзанов избежал этого. Он не сделался ни юродивым, ни бесноватым, ни прорицателем, а остался обыкновенным человеком, который наивно и без раздражения развивал мысли, не имевшие никаких точек прикосновения с сложившимся типом жизни. Из всего вычитанного, слышанного и виденного он извлек особый нравственный кодекс, который коротко выражал словами: «Жить по-божески».

Выражения такого рода настолько общи, что не дают повода для каких-либо непосредственных выводов, да вряд ли и сам Андрей подозревал, что такие выводы возможны. По крайней мере, он не настаивал на них. Поэтому в большинстве случаев выражения эти остаются незамеченными (не переведенными на культурно-чиновничий язык) или же сопричисляются к массе тех мнимо бессодержательных афоризмов, которые от времени до времени изрекает «непросвещенная чернь». В сущности, однако ж, они далеко не бессодержательны, и простые сердца отлично угадывают их таинственный смысл. «Жить по-божески» значит жить по справедливости, никого не утесняя, всех любя и взаимно друг друга прощая. Коли хотите, непосредственных применений и в этой расчлененной программе не видится, но для чуткого сердца простеца она несомненно исчерпывает всю сложность и все разнообразие человеческих отношений.

Тем не менее в то время простые сердца были слишком задавлены, чтобы вслушиваться и вдумываться в какие бы то ни было досужие речи, и Андрею поневоле приходилось отыскивать для себя аудиторию исключительно среди представителей и представительниц тогдашней пошехонской интеллигенции, то есть в помещичьей и чиновничьей среде.

И тут наибольшая часть внимания шла со стороны женщин. В пользу Андрея говорила и его молодость, и мягкий, ласкающий голос, и задумчивые большие глаза, и даже меланхолическое телосложение. Он не говорил ни о пламени неугасимом, ни о черве неусыпающем, ни о раскаленных щипцах и сковородах, а сладко волновал сердце «справедливыми» словами. К словам этим по временам прислушивался и мужской пол, и хотя не умилялся по их поводу, но с формальной стороны тоже не мог не находить «справедливыми». Так что за Андреем Курзановым в скором времени во всех захолустьях пошехонской интеллигенции утвердилась репутация «справедливого» человека.

Да иначе оно и не могло быть. Делать какие-нибудь посылки из обших, и притом совершенно туманных, положений в то время никому и на мысль не приходило, а что «справедливость» есть термин вполне почтенный и непререкаемый — в этом никто сомневаться не дерзал. Об этом и помимо Андрея слыхали и в церкви, и на школьной скамье — какой же наставник позволил бы себе не отдать дани похвалы самоотверженности, любви к ближнему и прочим элементам, из которых составляется «божеское» житие? — и в тех не частых, но все-таки по временам прорывавшихся собеседованиях, когда даже в сре́ду, со всех сторон наглухо запертую, вдруг неведомо откуда и каким образом налетало свежее чувство, просветлявшее умы и умилявшее сердца.

Только вот в глаза этой «справедливости» не видали, так это, пожалуй, придавало еще больше цены устным беседам о ней.

— Что значит жить по-божески? — спрашивала Андрея добрая помещица Марья Ивановна, до которой пал слух, что в Пошехонье объявился «блаженный», изрекающий «справедливые» слова.

— А вот что: тебе кусок, и ему кусок, и всем прочим по куску! — объяснял Андрей в наивной уверенности, что в его объяснении не только нет ничего угрожающего, но что воистину иного угодного богу житья не может существовать.

Марья Ивановна выслушивала это объяснение и тоже никаких угроз в нем не находила. Напротив того, думала: «Вот кабы бог привел!»

— А мы-то, жадные! — печаловалась она,— все норовим, как бы заграбастать да оттянуть. Все бы себе! все себе!

— Жадность, сударыня, тоже разная бывает. Иной от болезни жаден, другой от комплекции. У нас в Пошехонье купец есть, так он сколько ни ест, никак наесться не может. И в Москву от своей болезни лечиться ездил, и в Киев, по обещанью

пешком ходил — не дает бог облегченья. Такую жадность нельзя вменить в грех. А вот ежели кто «от себя» жаден, того ограничить должно.

— Ах, Андрюша, Андрюша! как же ты его ограничишь, коль скоро и граница, и мера — все в его собственных руках состоит? Ты ему: «Довольно, сударь!» а он тебе: «Давай еще!» Как ты *меня* ограничишь, коли все кругом куски — все мои? один я от папеньки получила, другой — с аукциона купила, собственные денежки за него выложила? Какой хочу — тот возьму да и съем!

— И кушайте, сударыня! Я не к тому... Вы, сударыня, *по закону* кушаете, а я говорю, как по-божески. *По закону* всякий около своего куска ходит, а *по-божески* вот как: тебе кусок, и мне кусок, и прочим по куску. Все чтобы сыты были.

— Хоть бы часок этак-то пожить! — восклицала Марья Ивановна и сладко задумывалась.

Сердце ее переполнялось благоволением, а мысли разбегались во все стороны. От Аришки перебегали к Ипатке, от Ипатки к Антипке... Все сыты! Даже Максимка-пастух — и тот сыт! А она смотрит на них и радуется...

Конечно, вспоминалось ей не раз — и даже очень подробно вспоминалось,— как однажды у них на усадьбе, об масленице, «бунт был»... Уже *они* ли в ту пору не ели! И блинов-то *им!* и судачины-то *им!* и толокна-то! и творогу! И что ж, однако, под конец мерзавцы сделали! В самый прощеный день дали им молочка похлебать... так чуть-чуть с кислецой... а они взяли, всем кагалом привалили к господскому крыльцу да молоко-то в снег и вылили... Вот ведь неблагодарность какая!

— А может, это и от болезни или от комплекции, как у того купца... Сколько в него ни вали — всё как в прорву! Ну и Христос с вами, коли так... кушайте, батюшки, кушайте! Лучше пускай уж я... много ли мне нужно? — супцу, да жарковца, да слатенького... У меня ведь «комплекции-то» нет — вот я и сыта! А прочее — пусть уж все им! И картофелю, и капусты, и хлеба... всего! Пускай будут сыты... дармоеды ненасытные! Вон Порфишка-то и сейчас поперек себя толще ходит! И все-то ему мало! всем-то он жалуется, что с толокна у него живот подвело... Вот так «комплекция»!

Как бы то ни было, но первая подробность «божеского жития» выяснилась достаточно: тебе кусок, и мне кусок, и прочим всем по куску. Так следует жить «по справедливости». Но ежели «все куски — мои», то «кушайте, сударыня»! Хоть это и не «по-божески», но ничего с этим не поделаешь. Тем-то и дорог был Андрюша, что хоть «справедливые слова» у него из уст потоком текли, а никому от них обидно не было...

Затем постепенно выяснилась и другая подробность «божеского жития».

— Коли кто хочет «по справедливости» жить,— говорил Андрей,— тот должен кичливость оставить. Чтобы ни рабов, ни данников, ни кабальных людей — ничего такого чтоб не было. Все в равной друг с другом любви должны жить. Я — тебе послужу, ты — мне. У всех один бог, и всех он одною любовью любит, и всех одним судом судить будет.

— А мы-то! а мы-то! грехи наши, грехи!

— Коли мы все друг друга в равной любви содержать будем, то и огорчения наши прекратятся сами собой. И ненависть, и свара, и ропот — все исчезнет, потому что все это от нелюбви, от неравенства. Одним честь, а другим — поношение; одним веселие, а другим — скорбь. Как тут огорченью не быть?

— Что говорить! уж мы, дворяне, на что богом и царем взысканы, а и то, друг на дружку глядя, нет-нет да и позавидуешь!

— Все мы по естеству равны; все Адамовым грехом в ад ввержены были, и все Христом-спасом истинным из ада освобождены. А ежели все равны — стало быть, и одинаковая часть всем от бога положена.

— Откуда же они взялись... рабы? — робко спрашивала Марья Ивановна,— бог не повелел, а их видимо-невидимо. В господских домах — господа, в людских да на скотных — рабы... Господа приказывают, а рабы повинуются, тяготы носят...

— В старину, сударыня, это сделалось. Не все люди равной комплекции рождаются: один покрепче, другой послабее, а третий и вовсе расслабленный. Сильный-то слабого и покорил. Да покоривши, взял да узлом завязал. Теперь ни конца, ни начала этому узлу и не отыщешь!

— Ишь ведь что сделал!

Марье Ивановне становилось жалко. «Как это так? — думалось ей,— Христос-спас истинный всех из ада освободил, а «он» — ишь что сделал! «Он»-то свое дело сделал, да и ушел — ищи его да свищи! — а она, между прочим, с аукциона купила, собственными денежками все до копейки заплатила... как теперь рассудить? Ежели поступить «по-божески», так неужто же *денежки мои* так-таки пропасть должны?.. Ежели же не по-божески поступить...»

— Барыня! головку причесать пожалуйте! — прерывала ее мечтания горничная Анютка.

Перерыв этот являлся очень кстати, ибо давал ее мыслям новое направление.

— Вот, Андрюша, я какова! — жаловалась она сама на себя,— и голову-то себе причесать сама не могу, все Анютка да Анютка! Анютка, прими! Анютка, подай! — а я сижу как царевна да руки-ноги протягиваю! И знаю, что все мы одной природы, а не могу... Ни я одеться сама, ни я умыться... словом сказать, без Анютки, как без рук!

— Что ж такое, сударыня! И пускай Анютка потрудится... это ей и по закону вменяется! Я ведь не против закона иду, а говорю, как по-божески...

Марья Ивановна удалялась успокоенная и отдавала свою голову в распоряжение Анютки. Но в это же время она уносила новую подробность «божеского жития»: все мы Христом-спасом истинным из ада освобождены, а «он» — ишь ты, что сделал! А она между тем с аукциона купила... по закону!

Причесавшись, Марья Ивановна вновь возвращалась к прерванной беседе.

— Как же нам душу-то спасти? — вот ты мне что скажи! — беспокоилась она.

— За други своя полагать ее надо — вот и спасешь! — отвечал он, нимало не затрудняясь.

Однако ж Марью Ивановну ответ этот заставал неприготовленною.

— Как это... душу? — сомневалась она,— словно бы уж... Хоть бы руку-ногу, а то... душу! Слыхала я, что в пустынях живали люди, которые... А чтобы в миру это было... не знаю!

— В пустыне молитва спасает, а в миру — жертва душевная. Коли мы все в разнобойку по углам будем сидеть да за шкуру свою дрожать — откуда же добро-то в мир придет?

— Уж и не знаю, как тебе сказать... Конечно, мало ли какие у людей «свои дела» бывают... иной на службе служит, другой по коммерческой части... но чтобы у кого такое «занятие» было, чтобы «душу» полагать... не знаю! И не слыхала, и не видала... не знаю!

— Обиду ежели видите — заступитесь; нищету видите — помогите; муку душевную видите — утешьте. Вот это и значит душу за други своя полагать...

— И заступитесь, и утешьте, и помогите! — уже дразнилась Марья Ивановна.— И помогите! и помогите! А коли помогалки-то, помогальщик, у меня нет?

— На нет, сударыня, и суда нет.

— Ну, хорошо. Пускай по-твоему. Стало быть, как встала с утра, так я и беги, вытараща глаза? За одного — заступись, другому — помоги, третьего — утешь! А за меня-то кто беспокоиться будет?

— Друг по дружке, сударыня. Вы за всех, все за вас. Хри-

стос-спас истинный крестное страдание за нас принял, а мы и побеспокоить себя не хотим!

— А ежели я... не могу! ежели я... ну, нет во мне этого, нет?!

— А не можете, так и не нудьте себя, сударыня! Я ведь не то, чтобы что...

— И вот я тебе еще что скажу. Ну, положим! Положим, что я прытка. Туда — побегу, сюда — нос суну, в третьем месте — пыль столбом подыму... ай да Марья Ивановна! вот так Марья Ивановна! А ну, как мне самой за это нос утрут? «Откуда, скажут, помогальщица непрошеная выискалась? Какой такой, скажут, закон есть, чтобы в чужое дело свой нос совать?» А ну-тко, сказывай, какой я на эти слова ответ дам?!

— По закону это действительно так... По закону каждый сам по себе — это лучше всего. Ведь и я против закона не иду, а только объясняю, что коли ежели по-божески...

— Знаю я, что «по-божески» хорошо... Ты вот по-божьему да по-справедливому, а мы — по-грешному да по-человечьему! Ты слабость-то человечью ни во что не ставишь, а мы об ней на всяк час помним! Куда ты ее, слабость-то нашу, денешь?

Таким образом, выяснялась и еще подробность «божеского жития»: душу за ближнего полагать. Правда, что Марья Ивановна так и осталась при своем мнении насчет практического применения этого правила, но благодаря взаимным уступкам и разъяснениям дело все-таки слаживалось легко. Собственно говоря, Андрюша ведь никого не нудил, а только говорил: «Коли можете жить по-божески, то и душу по-божески спасайте, а коли не можете по-божески жить — спасайте душу «по закону»». Так она именно и поступает: «божеское житие» имеет «в предмете», а душу спасает... «по закону»!

Тем-то и дорог был Андрюша Марье Ивановне, что он нудить не нудил, а между тем «справедливые слова» говорил. И говорил их в такое время, когда у всех и на уме, и на языке только жестокие слова были. Сколько лет она за Кондратьем Кондратьичем в замужестве живет, и ни одного-то «справедливого» слова от него не слыхала! Все или водку пьет, или табачище курит, или сквернословит, или на конюшне арапником щелкает! А ночью придет пьяный и дрыхнет. В этом вся ее жизнь прошла. Только от Андрюши она и увидела свет. Поговоришь с ним — словно как и очнешься. И об душе вспомнишь, и о боге... чувствуешь, по крайности, что не до конца окоченела!

И не с одною Марьей Ивановной беседовал таким образом Андрей, а вообще любил по душе поговорить и, разговаривая, нередко касался таких предметов, о которых тогда никто и

в помышлении не имел. Таким образом, он уже в сороковых годах провидел и новые суды, и земство, и даже свободу книгопечатания.

О судах он так выражался:

— Нынче судья-то забьется в мурью да и пишет, что ему хочется. Хочет — завинит, хочет — белее снега сделает. А как на миру́-то его судить заставят, так правда-то сама из него выскочит!

О земстве:

— Как возможно сравнить: чиновник ли по уезду распоряжается, или сам обыватель своим делом заправляет? Чиновнику — что? он приехал, взглянул, плюнул и уехал! А у обывателя каждая копеечка на счету, и об каждой у него сердце болит!

И, наконец, кратко, о свободе книгопечатания:

— Помяните мое слово, ежели в самой скорости волю книгопечатанью не объявят!

И действительно, так, по его, впоследствии все и сделалось.

Но что всего замечательнее, ни пошехонский судья, ни пошехонские чиновники, ни цензурное ведомство — никто на Андрея не претендовал. Потому что все понимали, что он никого не нудит, а только «по-божески» разговаривает.

Словом сказать, в самое короткое время молодой Курзанов сделался гордостью и украшением всего Пошехонского уезда. Сам городничий, и тот любил послушать его. Призовет, бывало, и велит «справедливые слова» говорить. Скажет Андрей: «Мне кусок!» — а городничий подтвердит: «Правильно!» Скажет Андрей: «И всем прочим по куску!» — а городничий опять подтвердит: «Правильно!» Да и нельзя было не подтвердить, потому что такие же приблизительно слова городничий в церкви по воскресеньям слыхал.

Этого мало: приехал в Пошехонье на ревизию губернатор и тоже пожелал на пошехонскую диковинку посмотреть. И когда Андрей ему, в присутствии всех уездных чинов, свои «справедливые слова» высказал, то он не только не нашел в них ничего предосудительного, но похвалил:

— Молодец, Курзанов!

Уездные же чины, преисполнившись радости, с своей стороны, воскликнули:

— Это в нем, ваше превосходительство, божеское!

Долго ли, коротко ли так шло, а времена между тем изменялись. И все к лучшему. Начал Андрею во сне старец являться. Придет, скажет: «Эй, Андрей! как бы тебя за «справедливые-то слова» не высекли!» — и исчезнет.

Но Андрей верил в правоту своего дела и не боялся.

Наконец наступил момент, когда просвещение, обойдя все закоулки Российской империи, коснулось и Пошехонья. Прежде всего оно сочло необходимым обревизовать пошехонскую терминологию и затем, найдя в ней более или менее значительные неисправности, усердно принялось за очистку ее от ненужных примесей. В числе прочих подверглись тщательной ревизии и ходячие разговоры о «божеском житии». Просвещение не отвергало прямо проповеди о «божеском житии», но отводило ей место в церквах и монастырях, и притом преимущественно в воскресные и табельные дни. «Когда царство небесное сделается общим достоянием,— писалось по этому поводу в «Уединенном пошехонце», получавшем внушения чуть не из самого городнического правления,— тогда и божеское житие само собой возымеет действие. До тех же пор пошехонские обыватели обязываются, не предваряя времени, стараться оного жития достигнуть не разговорами, а ревностным исполнением законного долга и возлагаемых на них начальством поручений». А в другой статье тот же «Уединенный пошехонец» объяснял следующее: «Между прочими баснями, смущающими нетвердые обывательские умы, распространяется и таковая, будто бы только те люди живут «по справедливости», кои в основание своей жизни полагают правило: «Мне кусок, и тебе — кусок, и прочим всем — по куску». Не отрицая, с своей стороны, удовольствия, которое может доставить общая сытость, мы считаем, однако ж, не лишним предупредить увлекающихся, что ежели их мечтаниям и суждено когда-нибудь осуществиться, то, наверное, ни один из них даже приблизительно не в состоянии определить момента такового осуществления. А посему представляется более согласным с требованиями благоразумия, ежели обыватели, не предваряя событий, положат в основание своих действий правило не столь «сытое», но более соответствующее духу нашего просвещенного времени, а именно: какой у кого кусок есть, тот пусть при оном и останется. Не имеющий же куска да потщится на свой собственный кошт приобресть таковой».

Это было уже не в бровь, а прямо в глаз. Тем не менее Андрей не только не угомонился, но даже совершенно ничего не понял. Такова участь всех вообще недомолвок, полуслов и полумер. «Уединенный пошехонец» и сам, видимо, колебался. С одной стороны, он как будто иронизировал, но, с другой, не отрицал прямо ни «сытости», ни «божеского жития». Вообще, как говорится, ходил кругом да около. Поэтому обыватель, не весьма догадливый, не только не убеждался его доводами, но находил их положительно слабыми. «Это он для удобности

городнической лукавит,— говорили сторонники «божеского жития»,— хочет, чтоб городничему помыкать нами легче было!» И, утвердившись на этом, продолжали упорствовать в своем заблуждении.

А времена между тем продолжали зреть. И всё к лучшему.

В конце пятидесятых годов приехал на городничество майор Стратигов. Правой ноги у него не было, а от левой руки осталась только небольшая часть. А сверх того, он и в церковь редко ходил, а следовательно, и о «справедливых словах» совсем позабыл. Но зато, когда он брал в правую руку костыль, то дрался им замечательно больно. Приехавши на городничество, он вызвал Андрея Курзанова и велел ему «справедливые слова» говорить. И когда последний, в наивной уверенности, что в этих словах ничего супротивного нет, высказал все, что у него было на душе, то Стратигов инстинктивно сжал в руке костыль, но, не предваряя событий, от немедленного боя воздержался, а только как-то загадочно метнул на него глазами и пробормотал:

— Гм...

А на другой день явилась в «Уединенном пошехонце» передовица, которая разъяснила дело уже в более решительном тоне. «В городе Пошехонье,— говорилось в этой статье,— появились личности, которые открыто присвоивают себе право говорить так называемые «справедливые слова». Хотя по существу сии слова представляют собой образчики похвального умственного парения, но тем не менее самая сила производимого ими впечатления с достаточностью указывает на то, сколь значительный вред может произойти от невежественного или неискусного с ними обращения. История недаром свидетельствует, что не только у нас в Пошехонье, но и в прочих странах образованного мира слова этой категории всегда находились и находятся в ведении подлежащих ведомств и особо препоставленных на сей предмет учреждений. Ежели таково непререкаемое свидетельство истории, то не явствует ли из оного, что «справедливые слова», по самой природе своей, должны считаться изъятыми из общего обращения и что такое изъятие должно быть принимаемо обывателями отнюдь не в качестве стеснения их в выражении благородных чувств, но лишь в смысле предостережения, что и благородные чувства могут иметь последствием ссылку в места не столь отдаленные. А посему, если бы кто-либо из обывателей и был приведен в такое состояние, когда от избытка чувств уста глаголют, то и в таком случае представлялось бы полезнейшим, дабы он потребность сию удовлетворял у себя в квартире (однако ж не при гостях) или в других пустынных местах,

публичное же распубликование «справедливых» и тому подобных чувств предоставил бы лицам и местам, особливо на сей конец уполномоченным».

Однако ж Андрей и после этого не смирился. Напротив, возымев дерзкое намерение проникнуть в самое сердце полиции, он начал донимать «справедливыми словами» будочников и действовал в этом смысле настолько успешно, что в одно прекрасное утро искали-искали по всему Пошехонью «шиворота» и не нашли. И только уж на другой день сам городничий, ходя по базару, едва успел его вновь осуществить.

Тогда Стратигов убедился, что наступило время истреблять «фанаберии» посредством выколачивания. Он вновь призвал Курзанова и вновь велел ему «справедливые слова» говорить. Когда же последний, не подозревая ловушки, с обычной наивностью выложил все, что знал, то городничий, взяв в правую руку костыль, однократно ударил им Андрея между крылец, сказав:

— А остальное — за мною!

И что ж! Андрей даже этим не отрезвился! Против всякого ожидания, он не вознегодовал, а весь проникся состраданием к Стратигову, убежденный, что это в нем действует болезнь.

— Ноги́ у него нет,— говорит,— руки́ вот с эстолько осталось — ну, и мозжит его!

Через день Стратигов опять вызвал Андрея и ударил его между крылец уже двукратно. Еще через день ударил троекратно. И наконец стал бить без счету и нещадно. Но Андрей по-прежнему продолжал говорить «справедливые слова» и все больше и больше проникался состраданием к колченогому городничему, которого болезнь вынуждала прибегать к костылю. Даже тогда, когда в «Уединенном пошехонце» появилась статья, в которой прямо требовалось, чтобы «справедливые слова произносились только в нарочито изготовленных для сего помещениях, а отнюдь не на улицах и даже не в частных домах, где могут оные слышать личности, к уразумению их неприготовленные»,— даже тогда Андрей не понял, что и костыль городнический, и журнальная передовица имеют в предмете действия, им производимые.

Сам Стратигов изумился. «Уж дойму же я тебя, балбес! — кричал он в исступлении,— костыль об тебя измочалю, а дойму!» И как сказал, так и поступил. И все-таки не донял. Не донял потому, что никакой костыль не мог вразумить Андрея, что слова, которые в нарочито устраиваемых помещениях считаются «справедливыми», в других местах могут превратиться в опасные и «несправедливые».

Как бы то ни было, но теория искоренения «фанаберий»

посредством выколачивания оказывалась исчерпанною. На место ее потребовалась другая теория, более состоятельная, и она не замедлила заявить о себе.

То была теория обращения к почтеннейшей публике. Насадителем ее явился исправник Октавиан Феликсович Язвилло, который, за упразднением городнической должности, соединил в своем лице высшую полицейскую власть по городу и по уезду.

Язвилло был человек ловкий. В церкви он уж совсем никогда не бывал, а о «справедливых словах» и не слыхивал. Взамен того он принес с собою какие-то особенные, совсем новые слова. Он первый произнес в Пошехонье выражение «основы» и первый же вполне определенно формулировал мысль, что «справедливые слова» суть зло, направленное к потрясению «основ».

И так как все предпринимаемые до тех пор средства — в форме вразумления и вколачивания—с целью локализировать зло в нарочито устроенных помещениях оказались бессильными, то Язвилло пришел к заключению, что в этом деле потребны приемы гораздо более сложные, чуждые той заскорузлой рутинности, которая шла напролом и напиралась на рожон.

Наиболее целесообразным из этих приемов представлялось ему спасительное междоусобие. С него он и начал. Разделив обывателей на две категории: благонадежных и неблагонадежных, он прежде всего в ярких чертах обрисовал те опасности, которыми угрожает распространение в публике заблуждений (так называл он прежние «справедливые слова»), и затем призвал всех благонадежных обывателей (на этот раз он даже не усомнился употребить слово «граждане») к содействию. Это была с его стороны штука очень рискованная — кто знает, что могло втемяшиться пошехонцам в голову по случаю этого «призыва»? — но «Уединенный пошехонец» и на этот раз сослужил ему обычную службу. В обширной передовице, растянувшейся на целых четыре номера, он разъяснил: во-первых, кого следует разуметь под именем благонадежных граждан; во-вторых, что означает выражение «основы» и почему оные должны стоять незыблемо; в-третьих, в каком смысле должны быть понимаемы слова: «содействие общества»; и, в-четвертых, какие хитрости употребляет злоумышление в видах упразднения основ и какие приемы необходимо этим хитростям противопоставить, чтобы пресечь зло в самом корне.

Ответы на эти вопросы вкратце заключались в следующем: благонадежными признавались лишь те граждане, кои, «будучи довольны предопределенной им частью, благополучно под сению начальственных предписаний почивают»; неблагонадеж-

ными же те, кои, «по леності, пьянству, нерадению или праздности, будучи приведены в уныние, вместо того чтобы принимать меры к собственному исправлению, продолжают завистливым оком вожделеть». Из числа «основ» «Пошехонец» в особенности настаивал на собственности и советовал защищать ее всеми средствами. И не только от воров, грабителей и разбойников, а всего больше от распространителей развратных мыслей, которые за тем только «всех равными кусками потчуют, дабы собственную нерадивую праздность при сем случае угобзить». Что же касается до «основ» прочих сортов, то автор передовицы скромно сознавался, что в полицейском управлении имеются об них лишь весьма скудные сведения, но что в ближайшем будущем от ярославского губернского правления ожидается подробное по сему предмету разъяснение. О «содействии» «Пошехонец» выражался так: «Не для того оно нужно, чтобы г. исправник потребность в оном ощущал, а для того, дабы сами обыватели в полезных упражнениях время препровождали». Относительно же хитростей, употребляемых для потрясения основ, «Уединенный пошехонец» на первом плане ставил «льстивые обещания легкого жития, сопровождаемые возбуждением дурных страстей», и как противодействие этим ухищрениям рекомендовал откровенное обращение к Октавиану Феликсовичу Язвилло.

Успех, достигнутый этой передовицей, был поразительный. Но надо сказать правду, что значительнейшею частью этого успеха она была обязана упоминовению о собственности. Так как редкий из пошехонцев не сознавал себя обладателем хотя бы шила, то понятно, какой страх подобный собственник должен был ощутить, узнав, что кто-то имеет на это шило претензию и сбирается его отнять. Поднялось галдение неслыханное. Сначала теребили преимущественно Андрея Курзанова (по некоторым признакам догадались, что передовица имела в виду именно его), но потом, в общей суматохе, об нем забыли и стали побивать каждый каждого. Обладатель большого шила слал донос на обладателя малого шила; обладатель суконных штанов уличал в потрясательных намерениях обладателя штанов нанковых. Мирный дотоле город загудел и заволновался, а «благонадежные» толпами осаждали полицейское управление и требовали скорой и немилостивой расправы с «неблагонадежными».

Но Курзанов все-таки продолжал не понимать. Не понимал он, какое отношение имеют «справедливые слова» к этой неожиданной пошехонской сумятице, да и сами пошехонцы вряд ли это понимали. Тем не менее житье Андрея в эту пору было незавидное. Его периодически то сажали в кутузку, то осво-

ждали от нее. Но он и этому не удивлялся, а называл сажание в кутузку «действием по закону», а освобождение из нее — «действием по справедливости».

— Я не против закона иду,— говорил он Язвилле,— а говорю только, что коли-ежели «по-божески»...

И так-таки на этом и устоял, несмотря на то, что в течение года, по крайней мере, шесть месяцев провел в кутузке.

Язвилло торжествовал и уже завел было книгу, в которую постепенно вносил обывателей, на которых само «содействие» указывало, как на неблагонадежных. Однако ж торжество это было недолгое. Главным образом ошибка Язвиллы заключалась в том, что он никак не предполагал, чтобы ябеда, им возбужденная, достигла таких несказанных размеров и приняла столь разнообразные формы. Пошехонцы до такой степени разревновались, что превзошли самые смелые ожидания. Вчерашний охранитель делался сегодняшним потрясателем, сегодняшний охранитель мог быть уверенным, что сделается потрясателем завтрашним. Язвилло бегал по городу как угорелый, ловил, хватал, но уже никакая лихорадочная деятельность не могла удовлетворить народной Немезиде. В одно прекрасное утро оказалось, что из всего пошехонского населения только он, Язвилло, да негласный руководитель ябеднического движения, Беркутов (о нем зри ниже), остались незавиненными. Даже непременный заседатель — и тот оказался потрясателем, потому что, получивши с почты казенные деньги, «обронил» их по дороге в полицейское управление.

Тогда Язвилло отправился с докладом в губернию, где и был немедленно уволен от должности.

На место Язвиллы приехал в Пошехонье капитан Груздев (новокрещен из черемис), который вновь возвратился к простым и удобопонятным распоряжениям, с тем лишь присовокуплением, что раз навсегда устранил все колебания и неясности, которые в прежнее время парализовали успех принимаемых мер.

Прибывши на место, он, по примеру своих предместников, велел привести Андрея Курзанова и приказал ему «справедливые слова» говорить. Но едва начал Андрей: «Тебе — кусок, и мне — кусок»,— как Груздев на первых же словах его перервал:

— Довольно! — сказал он твердо,— даю тебе два дня на исправление!

Через два дня Курзанов явился вновь, но так как, по-видимому, ум у него окончательно заложило, то и на этот раз он начал: «Тебе — кусок, мне — кусок...»

— Фюить!

НИКАНОР БЕРКУТОВ

В тот же самый период времени, так сказать, параллельно с Андреем Курзановым, расцвел по соседству с Пошехоньем, в городе Тотьме (Вологодской губернии), другой реформатор, Никанор Беркутов.

Все в этих людях было разное: и отправная точка деятельности, и дальнейшие их судьбы. Но одна черта была общая, которая и сообщала их деятельности выдающийся характер: оба мыслили и говорили не так, как прочие тотемцы и пошехонцы мыслят и говорят.

Беркутов был причетнический сын и родился в одном из тотемских захолустьев, где отец его служил пономарем при очень бедной приходской церкви. В детстве Никанор никогда досыта не едал, но зато по горло был сыт побоями и колотушками, которыми щедро оделяли его отец и мать. По одиннадцатому году сдали его в тотемское духовное училище, где сытости не прибавилось, а телесные калечества, напротив, в значительной мере умножились. Учился он плохо, кончил курс в училище поздно и от перехода в семинарию уклонился, а прямо поступил на службу писцом в тотемский земский суд на рублевое месячное жалованье. Лет десять сряду он мыкался то около суда, то по становым квартирам, подстерегая просителей, устраивая мелкие вымогательства, и кончил все-таки тем, что был за пьянство и вздорный характер выгнан из службы.

Принятые в детстве побои, а затем голод и дальнейшие преследования судьбы развили в Беркутове угрюмость, которая постепенно развилась в открытое человеконенавистничество. Всех и за всё он ненавидел. Богатых за то, что богаты, сильных за то, что сильны, бедных за то, что бедны, слабых за то, что слабы. В первых он видел угнетателей, во вторых — массу ничтожных существ, которые ни ему, ни другим, ни даже самим себе не могли оказать ни защиты, ни поддержки. И всем по мере сил старался сделать зло. Злоба ключом кипела в его сердце, злоба прокаженного человека, к которому никто добровольно не хочет прикоснуться. И он несомненно задохся бы от ненависти, если бы не облегчал себя, всеминутно изрыгая потоки клеветнических и смрадных слов.

Тридцати лет от роду он уже имел наружность отживающего старика. Сухой, словно изъеденный неведомыми внутренними бактериями, с сгорбленною, как бы перешибленною спиною, с трясущимися руками и ногами, с морщинистым и желтым, как пергамент, лицом, он, казалось, всеминутно готов был

рассыпаться в прах. Но глаза свидетельствовали об его живучести. Это были черные юношеские глаза, которые горели в своих глубоких впадинах сухим и горячим блеском, наводя на посторонних не страх и даже не уныние, а какую-то щемящую сухоту, как будто из этих глаз изливался таинственный ток, который и прочие сердца отравлял ненавистью, иссушившею самого Беркутова.

С утра до вечера бродил Беркутов по городским улицам, грузно ступая ногами по грязи и опираясь на толстую суковатую палку, которою по временам он грозил, проходя мимо особенно ненавистных ему домов. В кабаки и харчевни он заходил охотно, но не для пьянства (хотя и выпить был не прочь), а для подстрекательства. Там он снимал с присутствующих формальный допрос и, узнав о притеснениях — все равно, действительных или мнимых,— тут же начинал дело. За труды от мзды не отказывался, но брал умеренно и житейские свои потребности довел почти до минимума, так что казалось даже удивительным, как он и в самом деле не рассыплется в прах.

Однако ж адвокатская специальность далеко не исчерпывала содержания его деятельности. Самою существенною чертою этой деятельности, как сказано выше, являлась проповедь ненависти к сильным и презрения к слабым. И то и другое он высказывал громко и не стесняясь. Сильные тогдашнего тотемского мира вообще были несколько позамараны. Это были или местные дворяне, почти сплошь мелкопоместные, которые тигосили своих крепостных, выжимая из них последние соки, или чиновники, которые в то время во всей России жили не столько казенным жалованьем, сколько выдумками собственного изобретения. Это значительно облегчало Беркутову его пропаганду ненависти, так что, как ни горели представители местной культуры желанием допечь наглого надругателя, но самая нерешительность и робкость, которую они при этом выказывали, в самом корне парализировала их усилия. Что же касается до презрения к слабым, то, конечно, в этом отношении ни с какой стороны препятствий для Беркутова возникнуть не могло.

Замечательно, что, несмотря на несомненную каверзность его наружного вида, никто над Беркутовым не издевался. Даже мальчишки не бегали за ним толпами, не кричали и не дразнились, как это делалось в отношении других, более обыкновенных пропойцев. Как будто они понимали, что в этом трясущемся теле заключена таинственная сила, которая может в одну минуту задавить и их самих, и присных их, и то «пра̀ховое» устройство, около которого лепилось их существование. Взрослые же тотемцы почти поголовно снимали перед Берку-

товым картузы, что доставляло ему неизреченное наслаждение, так как он знал, что не было той души во всем городе, которая не ненавидела бы его.

Учение Беркутова было очень просто и выражалось в следующих немногих словах: «Всех привести к одному знаменателю». Именно так он и говорил, как бы свидетельствуя этим, что был в училище и не забыл о дробях.

Никаких разъяснений и развитий это учение не требовало. Все оно исчерпывалось в своей краткой гнусности. Кого нужно было привести к одному знаменателю? — всех. По каким причинам? — по всем вообще. Что означало слово «знаменатель»? — все вообще, что заставляет человека страдать, корчиться от боли, изнывать. И плющильный молот, и «кошки», и плеть, и пресловутый «третий пункт», и клевета, и нравственные мучительства и истязания — всё на потребу! всё в большей или меньшей степени равняет людей перед лицом «знаменателя».

Для чего это нужно? — Беркутов никогда на этот вопрос не отвечал; но видно было, что для него дело было вполне ясно. Может быть, ему представлялась бесконечная пустыня, по которой рыскали звери и рвали друг друга зубами. Или, быть может, перед глазами его мелькал наполненный атомами хаос, из темной глубины которого выступал сатана... Во всяком случае, едва ли даже лично самого себя он выделял из той общей утрамбовки, которую должен был произвести «знаменатель», похаживая по обывательским головам.

Повторяю, однако ж: Беркутова весь город ненавидел, а в том числе и лица, за которых он, по наружности, заступался и от имени которых вчинал иски и дела. Но всего более ненавидели его чиновники, несмотря на то, что теория приведения к одному знаменателю, по существу, вовсе не противоречила веяньям того времени. Очевидно, что атмосфера до того была насыщена всевозможными знаменателями, что слышать это слово от какого-то случайного поганца становилось уж совсем нестерпимым. Поэтому, как ни боялись тотемские чины разоблачений Беркутова и как ни ошеломляюще действовала эта боязнь на их отношения к «поганцу», тем не менее они все-таки всемерно старались его донять.

Тотемский городничий не раз призывал Беркутова и угрожал ему:

— И от кого ты, поганец, уродился? — кричал он на него,— и как земля тебя, демона, носит? как не задохнешься ты в паскудстве своем? Вот погоди ужо̀! сгною я тебя в остроге! сгною, как пить дам!

И действительно, от времени до времени изобретал какую-

нибудь выдумку и сажал Беркутова в острог. А однажды даже и впрямь едва не «сгноил» его в тюрьме. И вот по какому случаю.

В то время относительно доносителей по первым двум пунктам держались такого правила: коли любишь доносить, то люби и доказать свой донос (по пословице «любишь кататься, люби и саночки возить»), а покуда не докажешь — сиди в остроге. Правило это, мудрое и человеколюбивое, налагало на доносчиков известную узду и вполне оправдалось вакханалиями «слова и дела», которые были еще у всех на памяти. Доносить было и сладко, и жутко. Сладко потому, что донос столь блестящий сразу ставил доносчика в мнении сограждан на недосягаемую высоту; жутко — потому, что тот же донос в случае неудачи мог низвергнуть своего автора на самое дно преисподней.

Начальство не любило блестящих доносчиков. Во-первых, оно по природе своей охотнее утирало слезы, нежели извлекало их; во-вторых, оно отлично понимало, что в какой-нибудь Тотьме не только двух первых, но и вообще никаких пунктов невозможно и предположить. Поэтому обилие подобных доносчиков считалось карою и вредным усложнением административного механизма. В доносчиках тем охотнее видели беспокойных и даже злонамеренных людей, что страсть к доносам не ограничивалась какою-либо специальностью, но распространялась вообще на всё и на всех. Первые два пункта представляли собой как бы лакомство; обыкновенною же пищею для доносов служили заурядные поступки уездных и губернских чинов. Понятно, что последние пользовались всяким случаем, чтобы подловить хотя тех шустрых негодяев, которые самонадеянно пускались в слишком смелое плавание по безграничному океану ябедничества.

Именно такой грех случился и с Беркутовым. Каким-то образом он не рассчитал себя и вместо пьедестала очутился в остроге. На этот раз он засел там уже не на неделю и не на месяц, как прежде, а на целые годы. Однако ж узы не только не пролили мира в его озлобленную душу, но еще больше ожесточили ее. Ежели, с одной стороны, ему периодически напоминали о представлении доказательств, подтверждающих сделанный им донос, то, с другой стороны, он отвечал на эти напоминания усугублением ябеднической деятельности. Каждый день он являлся в смотрительскую и оттуда наводнял присутственные места доносами и кляузами. Власти смутились. Вышло нечто совсем неожиданное. Заключение Беркутова в острог не только не облегчило движения административного механизма, но чуть было совсем не затормозило его. Беркутов

на досуге всех завинил: не только людей, находящихся у кормила, но их жен, свояченец и снох. Чувствовалась потребность во что бы ни стало развязать этот узел, и наконец его развязали тем, что административным порядком водворили ябедника в Пошехонье.

Здесь его встретил тот самый городничий, который так благосклонно выслушивал Андрея Курзанова и дивился его разуму. И встретил, надо сказать правду, неблагосклонно.

— Ты у меня смотри! — кричал на Беркутова городничий,— ябедничать или доносы писать — и боже тебя сохрани! У нас здесь покудова было смирно, так ежели что... сгною, поганца, в остроге! как пить дам, сгною!

Беркутов угрюмо выслушал эту угрозу и ответил на нее тем, что с первой же почтой на все пошехонские власти послал обстоятельный донос.

И в Пошехонье началась такая же суматоха, как в Тотьме. Но так как Беркутов был уже «ябедник заведомый», то на этот раз административный механизм был не особенно затруднен его деятельностью. Прошения и ябеды его оставались без рассмотрения и возвращались ему с надписью. А городничий, узнав из этих прошений, что он не только мздоимец, но и кровосмеситель, возвращая их доносителю, говорил:

— Уж сгною я тебя в остроге, поганец! убей меня бог, коли не сгною!

Беркутов задыхался и сох. Он сознавал себя в положении пойманного волка, на котором всякий мог срывать зло, а он — ни на ком. Хотя же он и продолжал греметь по всем кабакам, что всё и всех необходимо привести к одному знаменателю, но пошехонцы, убедившись, что начальство относится к нему немилостиво, не только не доверяли его словам, но даже не раз содействовали его заключению в клоповник, как возмутителя.

Долго ли, коротко ли так шло, но мало-помалу времена изменялись. И опять-таки к лучшему.

На городничество прибыл Стратигов и, несмотря на свое калечество, сразу понял, что Беркутовым можно отлично воспользоваться, ежели взяться за дело умеючи. Он велел привести его и, указав на костыль, спросил:

— Видишь?

— Вижу,— ответил Беркутов, и что-то вроде улыбки впервые скользнуло на его губах.

— Ну, так вот что. Если ты про меня хоть одно слово, хоть полслова — в гроб, поганца, заколочу! Ни под суд отдавать не буду, ни в острог не посажу — сам, собственными руками... слышал?

— Слышал. Что кричишь! — сфамильярничал Беркутов.

— А коли слышал, так и намотай себе это на ус. Ну, с богом! Каждое утро будь здесь. И чтоб всё, что в городе... понял?

На другой день в «Уединенном пошехонце» появилась передовая статья, в которой доказывалось, что ошибочно мы называем ябедниками и доносчиками тех, кои от усердия о происходящих в городе вредностях извещают; и что, напротив, «всемерно необходимо оное рвение поощрять, дабы злодеи и прочие развратные люди, прежде нежели умыслить в сердцах своих пагубу, наперед знали, что городническое правление об оной уже уведомлено и находится в ожидании».

Перед Беркутовым словно небеса разверзлись. Не то чтобы он изъял Стратигова из кипевшей в его сердце ненависти к человечеству вообще, но он надеялся доказать ему эту ненависть впоследствии; теперь же решился воспользоваться им как подспорьем для осуществления учения о знаменателе. В течение какого-нибудь месяца благодаря его известительному рвению Пошехонье переполнилось такими преступлениями, о которых самое разнузданное пошехонское воображение никогда не смело мечтать. И, что всего важнее, открыватель этих фантастических преступлений назывался уже не доносчиком, а известителем. Но этого мало: постепенно Стратигов так распалился ревностью, что уже не ссылался на свидетельство Беркутова, а просто говорил: «До сведения моего дошло» — и дело с концом.

Тем не менее действия Стратигова были настолько бестолковы и порывисты, что удовлетворить Беркутова не могли. Стратигов мздоимствовал, дрался и затем стихал, считая себя на время удовлетворенным; Беркутов же стремился к тому, чтобы постепенными мерами довести город до тоски. «Сухоту сердечную навести надо,— говорил он,— мглу непросветную, чтобы ни злакам, ни плодам земным, ни людям — ничему бы свершения не было!»

Сверх того, Стратигов не знал, что̀ именно следует защищать и что̀ преследовать; хотя же Беркутов понимал в этом случае не больше Стратигова, но все-таки чувствовал, что в действиях городничего существует какой-то изъян. Что нет у него ни ясно сознанной цели, ни общего плана, который устранял бы бесплодную суматоху, а прямо указывал бы, куда и зачем нужно идти. Простая драка, простое мздоимство — разве за этим одним гнался Беркутов?

Настоящую суть дела взял на себя разъяснить Язвилло (см. выше). Он первый из представителей власти признал Беркутова благонамереннейшим гражданином и сделал его своим излюбленным человеком. С непререкаемою последова-

тельностью развил он перед ним и свои цели, и свой план. Из этого изложения Беркутов убедился: 1) что, направляя свою деятельность преимущественно в сторону первых двух пунктов, он, в сущности, только играл в руку внутреннему врагу, ибо никакое самое придирчивое исследование не в состоянии было доказать, чтобы в Пошехонье могли существовать пункты, и, следовательно, все попытки в этом смысле могли произвести только бесплодное замешательство, которым внутренний враг и не преминет воспользоваться для своих целей; 2) что идеалы первых двух пунктов суть вообще идеалы устарелые, бедные результатами и притом сопряженные с личным риском, в чем он, Беркутов, и имел случай убедиться лично на своих боках; 3) что несравненно удобнейшим поводом для уловлений могут служить так называемые «основы», как по растяжимости понятия, ими выражаемого, так и потому, что «основы» затрогивают не столько ум и чувства человека, сколько его шкуру, вследствие чего человек мгновенно впадает в безумие и лезет на стену; и 4) что, оставив ябеду в своей силе, необходимо дать ей другое наименование, и что наиболее подходящим в этом смысле термином является «содействие общества», так как термин этот, независимо от благородства, которым он отличается, еще в значительной мере расширяет пределы самой ябеды.

Беркутов в совершенстве понял наставления своего принципала, и в особенности ту привилегию безнаказанности, которую они в себе заключали. Не теряя времени, он отправился по всем кабакам, призывая к содействию всех, кои за шкалик готовы были продать свою совесть. Благодаря объявленной воле вину кабаков расплодилось в городе множество, и все с утра до вечера были полны народом. Окруженные со всех сторон винными парами, пошехонцы делались обыкновенно нервны, чутки и проницательны. Поэтому, как только Беркутов объяснил, что в Пошехонье водворился внутренний враг, который у обладателей шила отнимет шило, а у обладателей штанов — штаны, все пропойцы так и ахнули. Тогда Беркутов растолковал, что надо немедля идти навстречу врагу, дабы пристигнуть в самом его убежище,— и все сейчас же ходко и горячо откликнулись на призыв и огласили Пошехонье криками: «Караул! грабят!»

Первою жертвою системы «содействия общества» пал судебный следователь; второю — местный акцизный надзиратель. Затем жертвы начали попадаться массами. Беркутов с утра расстилал сеть и, запутав в ней целую уйму «неблагонамеренных», представлял их в полицейское управление на зависящее распоряжение.

Тем не менее, как ни ловок был Язвилло в деле подсиживания обывателей и как ни усердно помогал ему Беркутов,— в результате все-таки получилась сумятица. Перипетии этой сумятицы описаны выше, здесь же следует прибавить, что Язвилло до того увлекся своим «предприятием», что сам поверил обилию скопившихся в Пошехонье горючих материалов и, испугавшись могущего последовать от сего для Российской империи ущерба, совершенно искренно испрашивал у начальства благомилостивого разрешения на срытие города Пошехонья до основания. Но на этот раз Беркутов не только не разделял мнения Язвилло, но даже послал на него донос, обзывая своего милостивца поляком и изменником и обвиняя его в произведении бесплодной суматохи в угоду «ржонду». Причем совершенно резонно присовокуплял, что ежели всех обывателей города Пошехонья безнужно истребить, то кого же на будущее время сыскивать и на кого сухоту наводить будет?

Принят ли был во внимание беркутовский донос и даже был ли он рассмотрен — неизвестно; но Язвилло не долго наслаждался плодами произведенного им спасительного междоусобия. Начальство не только оставило без уважения его ходатайство о срытии Пошехонья, но его самого «за сию нелепую затею» уволило от должности.

На место Язвилло назначен был Груздев.

Прибыв в город, он созвал пошехонцев и молча погрозил им пальцем.

Затем, дабы сейчас же познакомить обывателей с программою будущих своих действий, Андрея Курзанова истребил, а Беркутова возложил на лоно.

ВЕЧЕР ПЯТЫЙ
ПОШЕХОНСКОЕ «ДЕЛО»

Будучи от рождения пошехонским гражданином, я с удовольствием делаю периодические экскурсии в эту страну. Сколько лет я на свете живу, столько же времени и знаю ее. Знал ее крепостною, знал и реформенною, знаю и теперь, готовую возродиться вновь, или, как нынче принято говорить, от мечтаний перейти к делу. Замечтались, видите, пошехонцы, закружились у них буйные головы — натурально, пора за дело молодцов засадить. Принимайтесь, господа, принимайтесь! а дальше видно будет, как с вами поступить.

Все мне в этой стране родственно и достолюбезно. Дóроги мне и зыбучие ее пески, и болота, и хвойные леса (увы! ныне

значительно поредевшие); но в особенности мил населяющий ее люд, простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, как бы задумавшийся над разрешением какой-то непосильной задачи. Всегда он был таким, во всех положениях; всегда шел безотговорочно и вперед и назад, принимая к сведению и руководству всевозможные уроки и задачи и в то же время как бы говоря себе: «Посмотрим, какая-то из этого нового хлеба лебеда выйдет?» Слышалась ли в этом вопросе робкая ирония, или он был только невольным выражением всполошившегося инстинкта самосохранения — я не берусь объяснить. Но могу сказать достоверно, что когда водворялись новые порядки и создавались новые положения, то они всегда находили пошехонца готовым приспособиться к приносимой ими новой лебеде с тою же повадливостью, с какою он искони приспособлялся к лебеде всех времен...

Случались, конечно, между пошехонцами и недоразумения (приспособляются-приспособляются, да вдруг и станут в тупик), или, как в старину выражались, «бунты», но никто до сих пор в этих «бунтах» разобраться не мог. Что такое их порождает, экономические ли причины, политические ли или религиозные — ни один компетентный исследователь пошехонской народности на этот вопрос ясно не ответил. Хотя же господа исправники и утверждают, что все бунты происходят от зачинщиков, но, по моему мнению, такое объяснение чересчур уже просто, а потому и неимоверно. Поэтому я с своей стороны предлагаю такую догадку: пошехонец бунтует, когда у него шкура болит; но когда он, при посредстве вразумлений, убеждается, что стоит только перетерпеть, и шкура отболит сама собою, тогда он бунтовать перестает.

Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня в недоумение; но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болеть по ней, я решительно не запомню. Бедная эта страна — ее надо любить. Ничто так естественно не вызывает любви, как бедность, угнетенность, скорбь и злосчастие вообще. Любовь сама по себе есть чувство радостное и светлое, но в большинстве применений в нее громадным элементом входит жалéние. Оно делает любовь деятельной и внушает ей подвиги высокого самоотвержения; оно напояет человеческую жизнь отравой и в то же время заставляет человека стремиться к этой отраве, жаждать ее, видеть в ней заветнейшую цель лучших помыслов души. Даже совсем дряблые и закоченевшие сердца — и те находят в глубинах своих искру, которая не только побуждает их устремляться навстречу злосчастию, но и их самих согревает и растворяет. «Бедные! бедные! бедные!» — вот мысль, которая может переполнить все существо, перепол-

нить до краев, не давая места ни другой мысли, ни другому чувству. Эта робкая боль, сказывающаяся всюду, эти подавленные стоны, волной переливающиеся из края в край,— могут замучить. Они призывают к суду человеческой совести тени прошлого; побуждают ее разбираться в том, что казалось позабытым, канувшим в вечность; заставляют чего-то искать, каких-то лучей, на которых можно было бы успокоиться... Искать, искать... и не находить. Не потому не находить, чтобы все прошлое было сплошным темным пятном, а потому, что нет того солнца, которого лучи не потускнели бы в глубинах безрассветной ночи, называемой человеческим злосчастием. Спрашивается: при таких неусыпающих мучениях совести естественно ли, чтобы мысль переносилась на почву иных (хотя бы высших и мировых) вопросов, а не сознавала себя бесповоротно прикованною к тем непосредственным отравам, которые и свидетельства прошлого, и перспективы будущего — всё окутывают непроницаемым флером.

Мы переживаем время суровых, но бесплодных поучений. Все как будто проснулись от пьяного сна и впервые встретились лицом к лицу с какою-то безнадежною, почти фантастическою действительностью. Отсюда — всеобщее изумление, поголовный страх. Именно только изумление и страх, потому что бросившийся в глаза хаос не вызвал в нас решимости разобраться в нем, не указал на необходимость отделить следствия от причин, согласовать накопившиеся жизненные противоречия и установить отправные пункты для будущего жизнестроительства, а только пробудил какое-то спутанное чувство, которое и овладело умами с неудержимою силой.

Спутанное чувство и формулу нашло для себя спутанную. «Прочь мечтания! прочь волшебные сны! прочь фразы! пора, наконец, за дело взяться!»— вот эта формула. Какие мечтания, какие сны, какие фразы — неизвестно. Почему эти мечтания, сны и фразы оказались бесплодными: потому ли, что они сами в себе не заключали зерна жизни, или потому, что это зерно было погублено сложившимися условиями — тоже неизвестно. И, наконец, в чем заключается дело, за которое пора взяться,— и об этом никто не говорит.

Одним словом, все жалуются и вопиют, что «фраза» заела нас, все настаивают на ее истреблении, и все на ее место предлагают... такую же фразу! И в довершение — фразу совсем не новую, а засиженную, истрепанную, почти истлевшую под наслоениями пыли и плесени. Фразу, которую в любом архиве, на любой полке можно прочесть в бесконечном разнообразии редакций...

Тем не менее мысль о необходимости перехода от мечтаний к «делу», по-видимому, оказалась настолько по плечу нашей «отрезвившейся» современности, что сомневаться в предстоящей ей блестящей будущности нет возможности.

Во всех трактирах и харчевнях разом раздалось такое множество трезвенных голосов, что в общей сумятице трудно различить, где кончается простое пустословие и где начинается подсиживание. Все требуют «дела», говорят о «деле», поучают, убеждают, негодуют на тему: «Дела, дела и дела!» Публицисты едва поспевают формулировать народившиеся требования, пожелания и аспирации. Один восклицает: «Прочь дурные фантасмагории, этот гнилой плод дурных страстей! прочь несбыточные и неосуществимые ожидания! да проглянет луч света в темную ночь мечтаний! да восторжествует здравый смысл!» Другой, положа руку на сердце, излагает: «Эпоха мечтаний, по-видимому, миновалась — и слава богу! Злоба дня изменила характер свой, и из области блестящих, но туманных порываний вывела общество в область простого, но ясного и всем доступного дела. Будем же верны этой вновь народившейся потребности общества и вместе со всеми, желающими отечеству процветания, воскликнем: „Да исчезнут мечтания! да здравствует суровое, но плодотворное дело!“» Третий наивно подхватывает: «А что, в самом деле! не попробовать ли нам обратиться к делу? Авось либо...» и т. д.

И затем, наговорившись досыта, и публицисты, и устные представители общественного задора, как бы обращаясь к невидимому оппоненту, едиными устами возглашают: «К чему привели нас мечтания? — ни к чему!!» И вся окрестность вторит им: «Ни к чему!» И долы, и горы, и поля, и луга — всё, как один, вопиет: «Ни к чему! ни к чему! ни к чему!»

Но, как уже замечено выше, ни в трактирах, ни в публицистике никто до сих пор не обмолвился, в чем же должно заключаться «дело», которого вожделеют все сердца; никто не назвал его по имени. Воображению представляется нечто вроде пирога, который покуда стоит в духовом шкафу и поспевает. Когда он зарумянится, его вынут и подадут: «Кушайте!»

Такие внезапные всполохи человеческой мысли в особенности любопытны в психологическом отношении. Иной раз думается, что слово сказалось не понимаючи — ан оно сказано не только «понимаючи», но и с намерением подсидеть; в другой раз — наоборот. Думаешь-думаешь, стараешься разобрать, и все выходит: понимаючи — не понимаючи, не понимаючи — понимаючи. Самое лучшее в таких случаях — уйти от греха. Потому что если вокруг все скопом кричат: «Довольно мечта-

ний! довольно!» — то тут и самый скромный человек невольно скажет себе: «А что, в самом деле... авось...»

— Об «деле» надо сказать так: какое дело и в какое время! — говорил мне на днях отставной бесшабашный советник Рогуля.— И дела надо требовать с осторожностью. Иное дело на взгляд совсем плевое, а, смотришь, исподволь оно округляться начинает. Округляется да округляется, и вдруг — вон оно куда пошло!

Повторяю, однако ж: представление о «деле» не только не новость в истории нашей цивилизации, но, напротив, составляет существеннейшую часть всего ее содержания.

По крайней мере, так искони было у нас в Пошехонье. Благодаря отсутствию мечтаний пошехонская страна поражала своей несокрушимостью; благодаря тому, что в ней никогда не замечалось недостатка в «деле»,— она удивляла изобилием.

О несокрушимости пошехонской я говорить не буду, потому что считаю себя в этом вопросе некомпетентным; но о так называемом пошехонском изобилии побеседую с охотою.

Многие и до сих пор повествуют, что было время, когда пошехонская страна кипела млеком и медом. «Арсений Иваныч,— говорят они,— при ста душах сам-четырнадцать за стол каждый день садился — а как жил!» Или: «У Анны Мосе́вны всего одна ревизская душа была, да и та бездетная, а жила же!» И, сделавши эти посылки, считают себя вполне правыми.

Что касается до меня, то хотя я остаюсь при особом мнении насчет подлинности и размеров пошехонского изобилия, но должен все-таки признать, что лет тридцать тому назад жилось здесь как будто ходчее. Действительно, что-то такое было вроде полной чаши, напоминавшей об изобилии. Но когда я спрашиваю себя, на чью собственно долю выпадало это изобилие? — то, по совести, вынужден сознаться, что оно выпадало только на долю потомков лейбкампанцев, истопников и прочих дружинников и что подлинные пошехонцы участвовали в нем лишь воздыханиями. Каким же образом это привилегированное изобилие достигалось теми, на долю которых оно выпадало? — на этот вопрос все Пошехонье, наверное, в один голос ответит: «Делом». Ибо старые дружинники не только понимали, в чем состоит «дело», но и умели разделить его на две части. Сами взяли в руки жезл, а аборигенам предоставили проливать пот и слезы. И дело не только шло как по маслу, но и творило подлинные чудеса. Из конца в конец кипела пошехонская земля слезами и по́том, как река в полую воду, и благодаря этому кипению пески превращались в плодородные нивы, болота — в луга, а Анна Мосевна могла благодушествовать при одной ревизской душе. И так ловко пользовались

дружинники этим своеобразным изобилием, что и впрямь казалось, что ему конца-краю нет. Ужели это было мечтание, а не «дело»?

В начале пятидесятых годов потомки лейбкампанцев начали задумываться. Крепостное право еще было в самом разгаре, но в самой совести счастливых дружинников произошло раздвоение. Ряды поседелых в боях истопников постепенно редели и пополнялись молодыми дружинниками, которые не имели ни прежней цельности миросозерцания, ни прежней веры в крепостное право и его творческие силы. Это были люди колеблющиеся, не чуждые зачатков пробуждающейся совести, но больше всего чистоплотные. Чуть-чуть в то время «мечтания» не заполонили «дела». Но бог спас. Новые дружинники слишком много любили досуг, лакомства и комфорт жизни, чтобы отказаться от «дела», которое их доставляло. Натворив тьму-тьмущую всякого рода несообразностей, то умывая руки и доказывая свою непричастность к крепостному строю, то цепляясь за него, они, после целого ряда бессильных и лживых потуг, пришли к убеждению, что их личное участие в пошехонских судьбах может только поколебать установившуюся традицию об изобилии пошехонской страны. И, убедившись в этом, в одно прекрасное утро, как тати, исчезли из насиженных предками гнезд, предоставив доверенным Финагенчам и Прохорычам продолжать исконное трезвенное пошехонское «дело», а плоды его высылать им по месту жительства. И Финагеичи не положили охулки на руку. Это было самое горькое время для пошехонцев-аборигенов, ибо они были обязаны делать «дело» против прежнего вдвое: раз — во имя интересов дружинника, и два — во имя интересов его заместителя. Ужели и это было мечтание, а не «дело»?

Наконец, когда пошехонец окончательно весь выпотел, надорвался и отощал,— наступило «время, всех освящающее». Из человека кабального пошехонец вдруг шагнул в «меньшие братья». Против этой клички он точно так же не прекословил, как не прекословил и против других бесчисленных кличек, с незапамятных времен на него сыпавшихся. И только тогда, когда увидел себя замурованным в «наделе», как будто задумался. И опять, не то иронически, не то машинально, спросил себя: «Посмотрим, какая из этого выйдет лебеда?»

Снова «мечтания» едва не заполонили «дела». Но мечтания странные, чисто пошехонские. А именно: чаяли жито лопатами загребать, а по какому случаю — неизвестно. Разумеется, случилось нечто совсем неожиданное: не пришлось не только за лопаты браться, но и на пригоршню жита не хватило.

Житницы дружинников запустели, житницы «меньших братьев» не наполнились. Каким образом произошло явление столь изумительное, доказывавшее, что досуг вместо изобилия приводит за собой скудость,— об этом покуда не велено сказывать. Но достоверно, что оно совершилось у всех на глазах и удивило даже самих ничему не удивляющихся пошехонцев. Земля была все та же, и пошехонец на ней — все тот же, простодушный, во всякое время готовый источать пот; но плоды земные словно сговорились: перестали лезть из земли, да и шабаш. Надо всем царил какой-то загадочный вопрос, который, по-видимому, связывал руки, мешал возделывать, сеять, жать.

Разрешение загадки, впрочем, не заставило себя ждать и осуществилось в лице Деруновых, Колупаевых и Разуваевых. Эти шустрые люди отлично поняли, что «меньший брат» засовался и что прежде всего его следует «остепенить». Или, говоря другими словами, необходимо дать пошехонскому поту такое применение, благодаря которому он лился бы столько же изобильно, как при крепостном праве, и в то же время назывался бы «вольным» пошехонским потом. Но замечательно, что, предпринимая осуществление этой задачи, Колупаевы не принесли с собой ничего, что могло бы хотя отчасти оправдать их претензии: ни усовершенствований, ни знаний, ни новых приемов, а озаботились только об одном: чтобы абориген как можно аккуратнее уперся лбом в стену. Вот это-то именно они и называли «делом». И не скрывали этого, но шли в поход, восклицая, подобно нынешним трезвенным людям: «Прочь мечтания! прочь фразы! Да здравствует «дело»!»

И все, как нарочно, сложилось так, чтоб увенчать их предприятие успехом. И купленные за грош занадельные обрезки, и наделы, устроенные на манер западней, и распивочная продажа вина — все устроилось на потребу потомку древних гущеедов и на пагубу поильцу-кормильцу пошехонской земли. В скором времени меньший брат увидел себя до такой степени изловленным, что мысль о непрерывности даней, составлявшая основной элемент его крепостного существования, вновь предстала перед ним, как единственный выход, приличествующий его злосчастию. И предстала тем с большею ясностью и неизбежностью, что самый процесс принесения даней уже именовался вольным, а не принудительным. Очевидно, что и это было совсем не мечтание, но «дело», горшее из всех «дел».

Тем не менее представление об изобилии пошехонской страны, однажды поколебленное, уже не восстановилось. До такой степени не восстановилось, что ныне многие начинают сомневаться, действительно ли оно когда-нибудь существова-

ло и не смешивали ли его с изобилием пошехонской мужицкой спины. Сама земля явилась с немым протестом против насилий, которым подвергала ее колупаевская невежественная орда. С каждым годом недра ее поступаются скуднее и скуднее, хотя кабальный пошехонец без устали проделывает, за счет Колупаева, все тот же изнурительный процесс, который проделывали его отцы и деды за счет счастливого лейбкампанца... А Колупаев сидит, ничего не разумеючи, за стойкой в кабаке да по-дурацки покрикивает: «Довольно мечтаний! довольно фраз! За дело!»

Таким образом оказывается, что мысль о «деле», которая так настойчиво волнует современное русское общество, у нас, в Пошехонье, не только не составляет новости, но искони служила единственным основанием, на котором созидалось и утверждалось наше пошехонское житие. Так что ежели и случались экскурсии в область мечтаний и фраз, то экскурсии эти занимали как раз столько времени, сколько требовалось для того, чтобы переход от одной формы «дела» к другой не казался чересчур резким.

Но что всего замечательнее, представление о «деле» после каждой такой экскурсии не только не смягчалось, но становилось все суровее и суровее. Ибо, по старинному обычаю пошехонскому, всякая новая форма «дела» требовала не простого подчинения ей, но подчинения, сопровождаемого приличествующим остепенением.

Я помню, в одну из таких эпох, когда кратковременная экскурсия в область мечтаний и фраз только что завершилась, пришлось мне быть в «своем месте» по «своему делу».

Не буду говорить о том, сколько раз и с какою силою ёкало мое сердце при виде родного гнезда, как пахну́ло на меня ароматами юности, как я внезапно почувствовал себя добрее, бодрее, свежее и т. д. Обо всем этом неоднократно и более искусными руками было засвидетельствовано в русской литературе, и моя рука ни одного штриха в этой картине ни прибавить, ни убавить не может. Начну прямо с того, что в «своем месте» всякое дело делается беспорядочно, урывками, или, лучше сказать, занятие делом берет известную сумму минут, разделенных между собою часами и сутками. Сегодня пришел Прохорыч — он и согласен бы, да подумать надо; завтра пришел Финагеич — этот и согласен и не согласен, но, во всяком случае, ему надо к зятю за сорок верст съездить, чтобы решительный ответ дать; на послезавтра ждали купца Кабальникова, а он совсем не явился: «Ломается, старый пес, очумел от денег». Эти часовые и суточные промежутки, посвящаемые исключи-

тельно праздной ходьбе взад и вперед по комнатам, тянутся необыкновенно томительно.

Чтоб скоротать время, можно бы сельского батюшку пригласить, но он гражданского разговора не понимает, а о мужицких делах говорить брезгует. Так что ежели нет на столе закуски (батюшка, для продолжения времени, в каждый кусок не меньше двух раз вилкой тычет, как будто сразу захватить не может), то обе стороны чувствуют себя стеснительно.

Поэтому я очень обрадовался, узнав, что еще не все бывшие дружинники разбежались из своих гнезд и что во главе несбежавших находится и старый мой знакомец, Артемий Клубков.

Я зазнал Клубкова очень давно и в весьма благоприятном, сравнительно, положении. Он служил при губернаторе чиновником особых поручений, но казенной службой не особенно отягощался (на него возлагали только так называемые «щекотливые» дела), преимущественно возлежал на лоне у губернатора и выполнял поручения губернаторши. Сверх того, он был великий мастер по части всякого рода увеселений, так что ни один клубный бал, ни один загородный пикник, ни один благотворительный спектакль не обходились без того, чтоб он не являлся главным распорядителем. Наружность он имел довольно ординарную, но одевался чисто и знал, кому и чем услужить. И в то же время умел пользоваться привилегиями, которые доставляла ему роль распорядителя увеселений, с такою же ловкостью, с какою пользуется своими привилегиями первый балетный сюжет, на обязанности которого лежит держать на весу балерину в то время, когда она всем корпусом изгибается, чтобы увидеть свои собственные пятки. Поэтому между ним и губернскими дамочками установились какие-то особенные, как бы служебные отношения, в силу которых последние хотя не увлекались им, но и противодействовать не дерзали.

— Клубков! вы мне дадите роль в «Отце, каких мало»?

— А какая будет за это награда?

— Ах, противный!

И вот, по манию Клубкова, без предварительных ухаживаний и разговоров, дамочкин «семейный союз» разлетался в прах...

Всем этим относительным благополучием Клубков был обязан исключительно самому себе, или, лучше сказать, своим натуральным качествам. Образование он получил «домашнее», то есть по достижении осьмнадцати лет, прямо с отческой конюшни, перешел в кавалерийский полк юнкером и тянул там лямку до поручичьего чина, после чего определился

к штатским делам. В материальном отношении он тоже был плохо обеспечен, потому что отец его хотя и не был в тесном смысле слова мелкопоместным (у него было 80 душ крестьян при четырехстах десятинах земли), но делиться с сыном мог лишь в самых ограниченных размерах. Тем не менее у Артемия всегда водилась вольная деньга, и хотя некоторые приписывали это его привилегированному положению при губернаторе, но это было только отчасти справедливо. Знаток по лошадиной части, он занимался барышничеством и на этом деле выгадывал в свою пользу не один лишний рублишко.

Отец Клубкова был одним из тех прозорливых пошехонцев, которые всегда предпочитали «дело» мечтаниям. Он отлично понимал, что в жизни дружинника «делом» может быть названо только то, что доставляет материальный прибыток, а в жизни кабального человека — только труд. Все остальное называлось мечтанием и могло только мешать «делу». Исходя из этого рассуждения, он рассчитал, что труд крепостного крестьянина до известной степени не изъят от мечтаний и что только труд крепостного дворового человека всецело принадлежит помещику. Поэтому он, еще задолго до эмансипации, устроил у себя при усадьбе фаланстер, в который и заточил всех крестьян, а вслед за тем записал их в ревизию под наименованием дворовых. Выдумка была выгодная и удалась вполне. Во-первых, и крестьянские избы, и крестьянские животы — все пошло в пользу Клубкова, а во-вторых, вся рабочая сила имения была у него теперь под рукой, и урвать хотя минуту из принадлежащего помещику времени не стало возможности. Правда, что с этих пор клубковские крестьяне получили наименование «каторжных», но самого Клубкова большинство соседних дружинников звало «умницею» и «делягой», и только очень немногие называли злодеем.

Так шло дело до упразднения крепостного права. За это время Клубков успел довести свое хозяйство до возможно-цветущего состояния и в момент освобождения, когда прочие его собратия отчасти лукавили, отчасти роптали, он с самодовольством видел, что лично для него крестьянский вопрос разрешился как бы сам собою. Ни уставных грамот он не составлял, ни наделов не отрезывал, а спокойно воспользовался предоставленным ему правом на двухлетний труд «дворовых» людей и, по истечении льготного срока, распустил дворню и начал жить по-новому.

Артемий в это время еще служил и к деяниям отца относился как-то загадочно. В большинстве случаев он избегал говорить об нем, но, в сущности, очевидно, понимал, что отец

его делает «дело». Быть может, косвенно он даже содействовал этому «делу», так как даже в то суровое время устройство открытой каторги было вещью не совсем обыкновенною и едва ли могло бы осуществиться без секретной поддержки. Затем прошло три-четыре года по упразднении крепостного права — и Артемий Клубков вдруг куда-то исчез. Говорили, что отец его умер и что сын отправился в «свое место» делать «дела». Прибавляли, что он женился, облекся в полушубок и завел в самом господском доме постоялый двор, с продажей распивочно и навынос, и при нем лавку с крестьянским товаром. Что он самолично присутствует в кабаке, а жену посадил в лавку, что поля содержатся у него в порядке, как было при отце, и что вообще он исключительно поглощен «делом», а мечтаниями не только не увлекается, но совершенно их игнорирует.

Приблизительно эти же сведения получил я о Клубкове и теперь. Расспрашивая об нем старосту Андрея Иваныча, я узнал, что Артемий положительно стряхнул с себя ветхого человека и весь предался продаже и купле. Имение свое он ловко округлил, скупая у соседних владельцев земельные обрезки, которые прилегали к его даче. Благодаря этому у него было теперь и леску довольно, и пустошных покосцев вволю, а собственную землю он всю разделал под пашню, которая приносила не убыток, а доход. Но главную прибыльную статью его бюджета составляло дробное ростовщичество, которое он развел в таких размерах, что чуть не всю округу запутал в своих сетях. Уму его все удивлялись.

— Главная причина,— говорил староста Андрей Иваныч,— на настоящее дело напал и настоящим манером его ведет. Нет нужды, что барин.

И затем, развивая свой тезис дальше, продолжал:

— Он всякую вещь сначала понюхает да на свет посмотрит, а потом уж п настоящее место ей определит. Деготь ли, сало ли, яйцо, перо, мука — все он сейчас сообразит. И ежели что сказал — закон. Сказал: рупь — рупь и бери; сказал: полтина — бери полтину. Вещь-то она, может, два рубля стоит, а он ее за полтину приспособит. И одевается он по-русски, чтобы способнее было.

— Так это-то и есть настоящее «дело»?

— Оно самое. Ноньче уж и господа моды-то бросили, за дело принялись. Только не все умеют, а он умеет. Вон Григорий Александрыч — недалеко ходить — и жадности, и нена́висти, всего в нем довольно, а не умеет, да и шабаш.

— Да неужто Григорий Александрыч еще жив?

— Жив, только ума в нем ни капли не осталось. Все мужичья воля взяла, одни скверные слова оставила. Он бы дав-

но, как комар, сгиб, да Клубков его еще побаловывает: коё мучки, коё чайку-сахарцу пришлет — этим и живет.

— А богат Клубков?

— Денег у него прорва, только все распущены. Весь капитал у него кругом да около, а он посередке похаживает. Вся наша округа его. Ничего у нас нынче собственного нет. Все равно как в старину, когда крепостные были: захочет господин — твое; не захочет — вези или веди на господский двор!

— Однако он вас пристиг-таки!

— Совсем окружил. Точно он каждого в грехе застал. Захочет — простит, захочет — выдаст.

— И весело ему живется?

— Сначала, как приехал в усадьбу, очень сердился. Всё за то, что мужика на волю выпустили. «В кандалы бы, говорит, его заковать надо, ан, вместо того вон что сделали!» Однако годика через два осмотрелся, стал хвалить. «И хорошо, говорит, что их на все четыре стороны пустили: они сами себе прочнее прежних кандалы выкуют!»

— А семья у него велика?

— Жена да двое сынов — только и всего. Карахтер ему от родителя клубковский достался — только где покойному против него! Старик все-таки хоть сколько-нибудь жаленья имел. Людишки-то свои, крепостные, были, так ежели их совсем-то покалечить — выгоды пет. А нынче они — вольные. Одного покалечит — другой заместо его из земли вырос. Где спина, там и вина.

Сведения эти настолько меня заинтересовали, что на другой день, в девять часов утра, я был уже в Береговско̀м (так называлась усадьба Клубкова).

Усадьба стояла особняком, у самой большой дороги, обращаясь передним фасадом к тракту, а задами упираясь в небольшое озерко, которое представляло ей с этой стороны как бы натуральную защиту. И вправо, и влево, и впереди тянулись поля, и ни одного, даже тощего, леска верст на пять. Усадьба была видна издалёка, как на ладони, да и из нее во все стороны далеко видно было. Строений имелось достаточно, и все прочные, одно к одному. Характер построек был купеческий, средней руки, без претензий на красоту и даже на удобства, но зато с соблюдением всякого рода охранительных мер. Главный жилой корпус представлял собой длинный бревенчатый сруб, средину которого занимала харчевня, а по бокам с одной стороны — лавка, с другой — жилое помещение самих хозяев. Во всякое помещение вело особое крыльцо; окон по фасаду было много, но небольшие (для тепла) и снабженные ставнями, которые запирались железными болтами. По бокам

главного корпуса тянулись службы, которые со стороны поля были обрыты канавами. Вообще усадьба имела вид четырехугольной цитадели, в которую лихому человеку проникнуть было очень трудно.

Когда я вошел, Клубков находился в харчевне один и, наклонившись к стойке, делал карандашом расчет. На нем был надет новый полушубок, расшитый по груди в строчку шелками (на дворе стоял октябрь в начале), но волосы были причесаны по-немецки, борода обрита, и глаза вооружены тонкими стальными очками.

Увидевши меня, он не то чтобы изумился, но как будто сейчас проснулся. И в то же время в глазах его уже просвечивала досада. Очень вероятно, что он знал об моем приезде в имение и даже рассчитывал на возможность моего посещения, но «дело» до такой степени овладело всеми его помыслами, что всякий «посторонний» случай, как бы он ни был естествен, неизбежно застигал его врасплох.

— А вы меня застали, так сказать, среди самой процедуры моего дела! — приветствовал он меня, но с таким отсутствием какого бы то ни было душевного движения, как будто вчера только со мною расстался. Однако ж протянул мне обе руки и поздоровался.

— Я, признаться, отвык уж от общества,— продолжал он, слегка иронизируя,— да при такой обстановке может ли быть и речь об обществе... не правда ли? а?

— Обстановку всякий выбирает по желанию,— ответил я, чтоб сказать что-нибудь.

— Да, но «общество»... оно ведь обязывает. «Иль не па де нотр сосьете́», как говаривали наши р—ские дамочки... помните? Или, как нынче принято говорить: интеллигенция, правящие классы... фу-ты важно!!

Говоря это, он уже не иронизировал, а сознательно себя взвинчивал и вдруг словно сам себе на мозоль наступил.

— Ну, да ведь теперь — баста! — произнес он почти зловеще,— теперь золотые-то сны миновали! Побаловались! Пошалили! аминь!

Однако взглянул на меня и как будто опомнился, что покуда я еще ни в чем перед ним не провинился.

— А впрочем, что ж это я вам...— сказал он, стихая.— Ну, да ведь и накипело же у меня! Тут дела по горло, не знаешь, как сладить, а кругом — празднословие, праздномыслие, хвастовство!.. То расцветают, то увядают... Как мы с вами, однако ж, давно... помните? *Ничего* тогда было... жилось! Тогда и теперь — сравните!

— Но вам и теперь, по-видимому...

— Ничего; я лично не жалуюсь, но вообще... Пойдемте, однако, я в свою хижину вас сведу, с бабой своей познакомлю: она тоже в полушубке в лавке сидит... Антон! — обратился он к вошедшему батраку,— ты тут за меня посиди, а коли кто с делом придет, говори: «Ужо!» Пойдемте, пойдемте! Я вас двором проведу! посмотрите, какие у меня там порядки.

Двор был просторный, светлый и начисто выметенный. Забор перегораживал его на две половины, из которых в одной помещались скотный и конный дворы, а в другой, примыкавшей к господскому жилью,— помещение для рабочих и амбары. В глубине двора стояло пять-шесть крестьянских подвод, с которых производилась ссыпка всякого рода семени.

— Мужички ленок обмолотили,— сказал Клубков мягко,— семечко от избытков везут... А мы — покупаем.

Говоря это, он захватил горстью семя и начал пересыпать его из одной горсти в другую, причем ворошил по ладони пальцем, всматривался, подувал и т. д.

— Ленок чистенький... ничего! — обратился он ко мне.— Без костеря. Только вот в деле будет ли спор?

И для того чтоб разрешить этот вопрос, слизнул несколько семечек языком и пожевал.

— Ничего, и масла будет в меру. Ленное семя — это, я вам скажу, такая вещь, что с ним глаза да и глаза надо. Как раз, подлецы, с песком подсунут!

Потом подошел к другому возу: оказался овес.

— И овсецо обмолотили — тоже покупаем,— сказал он, раскалывая зубом зерно пополам,— ничего овесик! недурной! Зерно полненькое, сухое, только вот насчет чистоты...

Опять началось пересыпанье из горсти в горсть, с подуваньем, рассматриваньем на свете и проч. Несколько раз черпал он то в том, то в другом мешке, доставая рукою до самого дна и повторяя одну и ту же процедуру. И вдруг раздался грозный голос:

— Отставь!

— Артемий Иваныч! родимый! — откликнулся кто-то из глубины.

— Знаю я давно, что я Артемий Иваныч. Отставь. До праздников у него не принимать — ни зерна! А потом — увидим! — сказал он батраку, занимавшемуся ссыпкой, и затем, обращаясь ко мне, прибавил: — Хочу добиться, чтоб не считали меня дураком, курицыны сыны, не смели бы надувать. И добьюсь.

Таким же порядком мы проинспектировали все возы, пока не добрались до хозяйского крыльца. В комнатах нас ждал самовар и неизбежная закуска; но жены Клубкова не было.

— И не придет,— рассудил Клубков.— Про сосьете́ вспомнила и обробела. Человек, изволите видеть, из самого сосьете́ приехал, а она — в полушубке! Милости просим! чего прежде, водочки или чайку?

И, не дождавшись моего ответа, налил себе рюмку настойки и проглотил.

— А знаете ли что,— продолжал он наивно,— на первых порах ваш визит... как бы вам сказать... ну, просто мне лишним показался. С чего? что такое понадобилось? А теперь вот взглянул на вас — так на меня и хлынуло прошлым! И преприятно. Со мной это и до сих пор по временам бывает. Сидишь, это, молчишь да молчишь, да расчеты делаешь... и вдруг откуда ни возьмись:

Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку
Да пониже, да пониже, да пониже поклонись!

Помните, кадриль такая «на мотивы» была?.. И всё перед тобой как въявь: и музыка, и горящие люстры, и дамочки... Глупо, но приятно!

— Стало быть, и мой визит на вас такое же впечатление сделал?

— Да, именно в этом приятном смысле. Старое вспомнилось. Но скольких мы безобразий с тех пор были свидетелями! чего наслушались! насмотрелись!

— Не знаю. Разве что-нибудь особенное произошло?

— Помилуйте! Начать хоть бы с «меньшего брата» — неужто это не безобразие?! А устность и гласность? а обличения? а скорый и милостивый суд? Наконец: интеллигенция, обеспеченность, самоуправление, легальность, правовой порядок, иллюзии, золотые мечты, надежды, упования, перспективы... вон ведь сколько! И все это мы видели собственными глазами, слышали собственными ушами!!

— Так что ж такое! ведь не ослепли и не оглохли!

— Но зато нанюхались. Нет, это не так. Пошлости-то надо оставить. Уши выше лба не растут. Хоть шилом шиты, а все-таки в каком ни на есть государстве живем. Да-с, в государстве-с.

Он делался краток и начинал впадать в учительный тон. И смотрел на меня уж в упор, как будто понял, где раки зимуют.

— Вам, может быть, неприятен этот разговор? — инсинуировал он ехидно.

— Помилуйте! да мне-то что ж! Наплевать — только и всего! — смалодушничал я довольно развязно,— сегодня — гласность, завтра — безгласность, сегодня — перспективы, зав-

тра — каменный мешок... сколько угодно! Помните, как в каком-то водевиле поется:

Так и эдак, и вот эдак,
И вот эдак, и вот так!

— Всячески хорошо. Не понимаю, вы-то из чего беспокоитесь?

Однако ж развязность моя не только <не> пленила его, но даже заставила слегка нахмуриться.

— Ну, так давайте об другом...— сказал он после короткой паузы.— Помните, как мы в Р** жили — ведь хорошо тогда было... право!

Начали припоминать, но вспомнилось немногое. Прежде всего из глубины прошлого выплыла хорошенькая мадам Первагина, которая любила с мужчинами «картинки» смотреть; потом — старый помещик, который был тем замечателен, что его все звали «белым арапом»; потом — полицеймейстер, у которого от умиления расходились сзади фалды, когда он по начальству с докладом являлся. Ничего особенного. Тем не менее мы оба старались испытывать удовольствие и от времени до времени даже хохотали. Вспомнили кстати несколько «щекотливых» дел и опять хохотали. Однако ж разговор оказался до такой степени скудным, что как мы ни длили его, но все-таки в непродолжительном времени стали в тупик. Начали курить папиросы; курили-курили, хлопали друг друга по коленке, смотрели друг другу в глаза, обменивались краткими восклицаниями... ни взад, ни вперед!

— А я с тех пор делом занялся, и вот, как видите! —не выдержал он и опять зачастил на старую тему,— да и всем вообще пора за дело! Пожуировали! побаловались! И будет.

— Какое же, собственно, дело вас занимает? — полюбопытствовал я.

— Работаю. С утра до вечера у меня минуты праздной нет. Я люблю дело, а кто его любит, у того оно всегда найдется. В мужики пошел! полушубок надел, косоворотку! сапоги ворванью смазываю... Исправник даже донос на меня сгоряча написал: думал, что я мужиковствовать собрался. Ну, нет! это — аттàнде!

Он встал с места и начал ходить по комнате, видимо, сгорая нетерпением высказаться.

— У меня нынче...— начал он, волнуясь,— у меня уж пол-уезда под пятой... Хочу — придавлю, хочу — вздохнуть дам. Сытость ихнюю я в руках держу... Видели на дворе амбары? — так вот там ихняя сытость за тремя замкáми лежит...

— На чтò же она вам понадобилась?

— Чувствуют они ее преимущественно. Слова-то в ушах не задерживаются, да и телесные повреждения, и те нынче не всегда надлежащее действие оказывают... А вот ежели за желудок умеючи взяться...

— Что такое вы говорите, Артемий Иваныч! — невольно вырвалось у меня при этом признании.

Он взглянул на меня из-под очков и усмехнулся.

— А вы из филантропов?

— Из филантропов или не из филантропов, а все-таки... Послушать вас, так можно подумать, что вы за что-то мстите!

— Я не мщу, а дело делаю. Разжиться торговлей задумал. Покупаю — хочу купить дешево; продаю — хочу продать дорого. Желаю иметь барыш. А ежели вместо барышей буду терпеть убытки, то сейчас же всю эту махину побоку — и шабаш! Понятно?

— Как не понимать. Адвокат не для того по судам изнуряется, чтобы клиентов не находить, доктор не для того практикует, чтобы к нему не обращались за помощью и т. д. Но при чем же тут мужицкая сытость?

— А при том, что она побуждает дело делать. По-моему, дело для всех обязательно. И всякий должен именно «свое» дело делать, а не забираться в чужие хоромы, не мечтать. Да, государь мой! покойный батюшка получше нас с вами знал, ка̀к за «них» взяться! И они не мечтали при нем, а делали дело, трудились. А для мечтателей у него был — жезл-с!

— Это батюшка ваш, а вы...

— Знаю-с. Нет у меня жезла — это действительно. Но поэтому-то я и приспособляюсь. Жезла не имею, так вроде того стараюсь найти. Посмотрите на «них»! Ободраны! обглоданы! ни избы, ни телеги, ни сохи... срам!

— А вам жаль?

— Срам-с!

— Да ведь этак, пожалуй, окажется, что вы, стыда ради, не только не посягаете на общую сытость, а добиваетесь ее?

— Я-то? я знаю, чего добиваюсь. Остепенить *их* надо — вот что я говорю!

— Понимаю. Но мне кажется, что в этом смысле и без того сделано больше, чем надо. Вы сами сейчас сказали, что повсюду, куда ни обернись,— ни кола, ни двора... Что̀ же может быть степеннее этого?

— Я не об этом, а об деле... Мне не колы и дворы их нужны — это они уж как знают,— а дело!

Он, видимо, желал высказать свою мысль до конца, но в то же время нечто его останавливало. Не совесть, а какая-то не совсем еще исчезнувшая боязнь сболтнуть что-нибудь лишнее.

В итоге оказывались недомолвки и противоречия, которые глубоко его раздражали.

— Но неужто «они» не работают, а только празднуют? — удивился я.

— Празднуют-с.

— Допустим. Предположите, однако ж, что мужик перестал праздновать и всецело отдался «делу»,— должна же к чему-нибудь эта метаморфоза его привести? Ну, например, хоть к относительному довольству?.. Думаете ли вы, что тогда так же легко будет завладеть его сытостью, как теперь?

— А куда же он денется, позвольте спросить? откуда он довольство-то возьмет?

— Очень просто: будет работать для себя и у себя.

— Это в западнях-то в ихних?

Он залился таким добродушным смехом, что я и сам догадался, что высказал нечто рискованное.

— Нет, это не так,— продолжал он,— не то вы совсем говорите. Никогда он от меня не уйдет и ни от кого, минуя меня, ничего не получит. Я не защищаю людей своего сословия. Слишком многие из них в трудную минуту выказали себя предателями, и почти все без исключения — малодушными и непредусмотрительными. Но среди общей паники, среди общего бегства, сама собою устроилась одна комбинация, которой предстоит громадное будущее в смысле остепенения. Эта комбинация — надельные западни. И хотя теперь уже видно, что ее плодами воспользуются совсем не те, которые ее придумали, но, во всяком случае, некто воспользуется!

— Или, говоря другими словами: с одной стороны, вы требуете непрестанного труда, а с другой — радуетесь условиям, которые делают применение труда почти безнадежным... Что ж, это тоже своего рода комбинация!

— Для труда всегда применение найдется. Везде-с. Не только свету в окошке, что крестьянский надел. Куда ни обернитесь — везде открытое поприще для труда. Я сам лично не одной сотне людей могу хлеба дать. А надел только запутывает. И это когда-нибудь для всех будет ясно.

— Когда-то еще будет!

— Ничего, мы и подождем. Мы умеем ждать. А в ожидании будем остепенять «их» на собственный страх. И не боимся-с. Мне и ножом, и ружьем, и красным петухом грозили, а я и сию минуту целехонек. Сначала грозились, потом бояться стали, а нынче уже и доверием осчастливливают. Погодите немножко — чего доброго и полюбят...

. . . .

Ничего другого я добиться от него не мог. Впрочем, мысль

его была совсем ясна, хотя он и опасался формулировать ее совершенно определительно. Вероятно, теперь, когда толки о «деле» становятся все более и более настойчивыми, он высказывает свои пожелания уже начистоту. Как бы то ни было, но идеал «дела», осуществления которого он домогался, представлялся ему снабженным всеми атрибутами крепостного права. Около этой упраздненной формулы ютились все его помыслы, и никакой иной комбинации он не только придумать, но и случайно представить себе не был в состоянии. Но так как крепостное право было вооружено жезлом, а у него жезла не было, то он и подыскивал заменяющее средство. И нашел его в форме непосредственного действия на человеческую сытость...

Он не рассчитал двух вещей: во-первых, что жезл в большинстве случаев только ранил, тогда как придуманное им заменяющее средство — калечит и погубляет, и во-вторых, что, раз жезл выпал из рук за негодностью, гораздо выгоднее совсем об нем позабыть, нежели изнывать над приисканием заменяющих средств одинакового с ним воспитательного пошиба.

Одним словом, он вопиял о «деле» и в то же время убивал силу, на обязанности которой лежало создание этого дела. И вдобавок на это убивание употреблял средство, которое точно так же ежеминутно могло выпасть у него из рук, как некогда выпал из рук «жезл»... С самого того дня, в который он сел на хозяйство, не было ни одной минуты, когда бы он не мечтал об деле, не говорил себе: «Вот-вот сейчас оно придет...» Но проходили годы, и «дело» не только не являлось на призыв, но с каждым годом, с каждым часом все дальше и дальше уходило вглубь. Однако ж и это не вразумляло его, а только злило, и он продолжал ждать, продолжал говорить: «Вот сейчас...»

Ждет он и поднесь. Что окрыляет его надежды? что заставляет его, несмотря на вразумления действительности, упорно смотреть в одну и ту же фантастическую точку? — ответить на эти вопросы нетрудно. И для меня, во всяком случае, несомненно, что значительную роль в этом упорстве играет голая злость.

Злость, злость и злость... Неизъяснимая, непреодолимая, с одинаковой яростью гложущая и самого злеца, и предмет его озлобления. Словно одна из казней египетских, от которой некуда бежать. Вот единственный ясный мотив, который лежит в основании толков о «деле». Он один дает этим толкам

жизненность, один сообщает им какое-то подобие убеждения и даже страстности и помогает уловлять прозелитов в среде, наобум изрекающей самые неожиданные приговоры и не признающей себя ответственною за них.

Клубкова я должен, однако ж, до известной степени выгородить: он, по крайней мере, может назвать по имени объект своих вожделений. Это объект несостоятельный, опороченный опытом и в самом существе своем безнравственный; но Клубков все-таки знает его. В большинстве случаев и этого знания нет. Вы видите массу сорвавшихся с цепи людей, которые и на улицах, и в публичных домах, и печатно, и устно твердят об «деле» и которые, в сущности, заражены лишь безымянным бешенством. И никакого ответа на вопрос об деле эти люди дать не могут, кроме одного: или повторяй на веру их загадочное бормотанье, или следуй по приглашенью в участок...

Что-то тут есть ненормальное, почти страшное. Посылая проклятия пустопорожней фразе, мы по горло окунаемся в пучину другой, не менее пустопорожней фразы, но фразы посконной, неуклюжей, юродствующей. Я не поклонник фразы, даже в тех случаях, когда она представляет собой образец чеканки и округленности; но в то же время я не могу не сравнивать. В прежней фразе, от которой мы отрекаемся, все-таки слышалось нечто, хотя неясное, недосказанное, но не идущее вразрез человеческой природе. Прежняя фраза не давала разрешений, не указывала ни прямых целей, ни путей для достижения их; но она не возмущала, не отравляла, не засоряла мозгов. Нынешняя посконная фраза прежде всего противна человеческому естеству. Надо перестать быть человеком, чтоб формулировать ее не краснея. От этого-то так часто слышится рядом с нею напоминание об участке.

В этом смысле староста Андрей Иваныч был совершенно прав, говоря, что у Григория Александрыча (который с не меньшим нетерпением, как и Клубков, чего-то ждал, но только не знал, как провести время в ожидании) ничего не осталось, кроме «скверных слов». Проезжая от Клубкова домой, я и к нему заехал. Старик до того уже опустился, что даже о крепостном праве позабыл. Никаких идеалов он не лелеял, никаких осуществлений не домогался, а только проклинал и ругался замечательно-скверными словами. И все ругательства неизменно заканчивал словами: «А вот погодите! ужо опять всех за дело засадят!»

Это было до того утомительно и однообразно, что я даже и в спор не вступал, а только ради шутки сказал:

— А помните ли, как в старые годы пошехонцы счастия искали, да в трех соснах заблудились? Как бы и теперь того

же не случилось. Поищут-поищут «дела», а кончат все-таки тем, что в трех соснах заблудятся.

И представьте мое удивление: он не только не возразил мне, но даже вполне меня одобрил.

— Именно так! — воскликнул он, по-детски хлопая в ладоши,— браво! в трех соснах... это верно! Именно, именно так и будет!

Очевидно, что он перепутал и радовался совсем не тому. Но что касается до меня лично, то признаюсь откровенно, что только надежда на эту счастливую безалаберность и утешает меня.

Годы уходят, а общественная мысль не только не просветляется сознательным отношением к предстоящим жизненным задачам, но все больше и больше запутывается в массе бесплодных околичностей. И, что всего хуже, всецело проникается угрюмостью, нетерпимостью, человеконенавистничеством. Фраза, с какою-то удручающею правильностью, сменяется фразою, и притом в такой качественной постепенности, которая, ввиду фразы новоявленной, заставляет с сожалением вспоминать о фразе предыдущей, только что признанной несостоятельною.

Неизбежность господства фразы над жизнью (мы даже из вопроса о бесплодности фразы и необходимости «дела» ухитрились устроить «фразу») представляется до такой степени естественною, что большинство уже смотрит на это явление как на закон, не допускающий ни споров, ни возражений, а требующий лишь безусловного подчинения. Это предел, дальше которого падение мыслительного уровня общества идти не может. Начинается нелепое одностороннее торжество, в котором пустомыслие изрекает обязательные афоризмы, сопровождаемые со стороны наивных беспорядочными трубными звуками, а со стороны ловких людей — всеми атрибутами нескрываемого хищничества. Как акклиматизироваться среди этой бессмысленной, бесстыжей оргии? где найти силу, чтобы положить ей конец или хотя умерить ее наглость? Увы! личные усилия разбиваются так легко, что даже самое восторженное самообольщение остановится перед ничтожностью предстоящих результатов; а затем ниоткуда — ни помощи, ни ободрения! Все кругом уже взято в плен привычкою, все отжило, не живши, завяло, не испытавши цветения. Привычка с изумительною быстротою овладела всеми помыслами и всех выручила из затруднения. Привычка спасла сердца от негодования, освободила совесть от упреков и во все человеческие отношения ввела проказу равнодушия. Равнодушие — это своего

рода благо, за которое цепляются, в котором видят спасение: Ибо оно одно дает силу жить, не истекая кровью и не сознавая всей глубины переживаемого злосчастия.

Благо равнодушным! благо тем, которые в сердечной вялости находят для себя мир и успокоение! Личное их благополучие не только не подлежит спору, но может считаться вполне обеспеченным. А ничего другого им и не нужно. Но пусть же они знают, что равнодушие в данном случае обеспечивает не только их личное спокойствие, но и бессрочное торжество лгунов-человеконенавистников. И, сверх того, оно на целую среду, на целую эпоху кладет печать бессилия, предательства и трусости.

Но, как ни громадно сонмище равнодушных, населяющих вселенную, я ни в каком случае не могу причислить к нему моего друга Крамольникова. Напротив того, современные толки о непригодности мечтаний и необходимости «дела» до такой степени угнетают его, что он даже не всегда соблюдает надлежащую меру благоразумия в выражении своих мнений об этом предмете.

На днях сижу я утром в трактире «Ерши» и благодушествую. Передо мной — большой подовый пирог, за ним — графинчик очищенной, сбоку — двусмысленной формы сосуд, наполненный жижей. Помочу в рюмке усы — и закушу пирогом, потом опять помочу усы — и опять закушу, а в промежутках обдумываю: «Не спросить ли ветчинки?» Словом сказать, сижу и занимаюсь современным «делом». И никто меня не трогает. И я никого не трогаю, и меня никто не трогает. Как вдруг, откуда ни возьмись — Крамольников!

Крамольников — мой давний приятель; но встречаться с ним в публичных местах — сущее наказание. К сожалению, он ужасно любит кочующую жизнь и с утра до вечера всюду заглядывает. И всякий раз, как он меня застигает вне пределов моей квартиры, мне начинает казаться, что было бы лучше, если б он мимо прошел. Ибо хотя я и не принадлежу к числу безусловно-равнодушных, но меру благоразумия все-таки знаю. А Крамольников не знает ее; а потому, когда встречаешься с ним при благородных свидетелях, то невольно приходит на мысль: «Ну, уж сегодня, наверное, участка не миновать!»

Так было и теперь. Едва появился он на пороге, первая мысль, которая осенила меня, была такова: «Вот-вот он сейчас "ляпнет"!»

— Насыщаетесь? — обратился он ко мне, опускаясь на стул за тем же столом, за которым я завтракал.

— Ем.

— Буду есть и я. Человек! копченого сига! А сколько я, батюшка, срамословия сегодня наслушался! удивительно, как только сквозь землю не провалился!

При этих словах сердце так и захолонуло во мне. Ну, непременно сейчас «ляпнет»!

— Сделай шаг — куча! другой — две кучи! в сторону кинулся — три кучи! Маневрировал-маневрировал — проходу нет! Наконец вижу: «Ерши»! Шмыгнул в подъезд, и вот он я!

— Удивляюсь, Крамольников, как у вас все это образно... И как, это, вы успеваете! еще двенадцати часов нет, а вы уж и наслушались, и нанюхались!

— То-то батюшка, что нынче уж натощак срамословят. Не поевши хлеба божьего, так и прут. И всё с захлебываньем, с пеной у рта, с сжатыми кулаками, точно на супостата в поход собрались и заранее тризну по нем правят!

«Ляпнет!» — опять стукнуло у меня в голове.

— Всё какого-то «дела», представьте себе, требуют. «Довольно мечтаний! — кричат,— не нужно фраз! дело подайте нам! дело!» А некоторые даже прибавляют: «настоящее».

— А вы?

— А я говорю: «Рожна нам нужно — вот что!»

— Но почему же? По-моему, «дело», ежели оно...

— Знаю, что дело, «ежели оно...» Да они ведь совсем не об том. Рожна они требуют, воистину только рожна! а «дело» тут один подвох.

— И опять-таки вы чересчур образно выражаетесь. Рожон, подвох — образно, но не убедительно!

— Постойте. Взгляните в окошко — что вы видите? Вон мужчина в кожаном фартуке сапоги тачает — разве это не дело? Вон двое мужчин зеркало на головах по улице несут — разве это не дело? Сейчас я в банкирскую контору заходил; сидит меняло и, словно ученый скворец, твердит: «Купить-продать, продать-купить» — разве это не дело? Чиновники отношения, рапорты, предписания пишут — надеюсь, что это тоже дело! Об чем же «они» скулят? чего требуют? кого хотят подсидеть?

— А вот этого самого и требуют. Чтобы все «своим» делом заняты были.

— Но где же, наконец, те люди, которые не были бы каким-нибудь делом заняты?

— Каким-нибудь... А надобно, чтобы «своим»... Не каким-нибудь, а именно своим собственным.

— Да ведь всякое дело есть в то же время и свое собственное...

— Ну, нет, этого не скажите! Вот вы, например...

— А я — сига копченого ем! неужто это мечтание? Копченый сиг и мечтание!.. пощадите! Но ежели и есть тут мечтание, то, во всяком случае, не о таких «больных фантазиях» идет речь, когда посылаются проклятия фразам и золотым снам! Напротив того, ежели я вместо одного двух сигов съем, то не только не назовут меня мечтателем, но даже в заслугу мне этот подвиг вменят.

— Но вот вы разговариваете...

— Разговариваю — потому что словесность имею. И пользуюсь ею, то есть «дело» делаю.

— Да вдобавок еще критикуете...

— А критикую потому, что одарен способностью мыслить. Не сам себя я одарил, а природа. Я же только пользуюсь этим даром, то есть опять-таки дело делаю.

— То-то, что...

— И это знаю. Чего же, стало быть, в данном случае домогаются? Очевидно, домогаются того, чтобы все шили сапоги, все носили на голове тяжести и все твердили: «Купить-продать, продать-купить». Вот это — «дело»; а говорить, критиковать, мыслить — мечтание! Ведь этого домогаются? так?

— Но ведь это отчасти и правильно, потому что, если б все занялись, например, шитьем сапогов...

— Было бы прекрасно? — допустим. Но в таком случае сами-то печальники «дела» зачем же не мычат, а разговаривают? зачем они мыслят? Потому что ведь даже к тем паскудным заключениям, которые они предъявляют, нельзя прийти иначе, как при посредстве процесса мышления!

— Крамольников! я с вами согласен... разумеется, не вполне... Но согласитесь, что такой разговор в «Ершах», когда кругом...

— Что такое «кругом»? Везде надо говорить, государь мой! везде-с! Вот отлично! всякий бездельник будет и на улице, и в любой газетине во всеуслышание всеобщую каторгу проповедовать (себя-то он из каторги, конечно, исключит!), а мы, для которых это блаженство уготовывается, мы будем молчать?.. А впрочем, позвольте! могу я из вашего графинчика одну капельку для себя налить? — совершенно неожиданно перервал он начатую диатрибу.

— Ах, сделайте одолжение!

— Так вот я и говорю: все эти вопли о вреде мечтаний и пользе «дела» — подвох, и, кроме подвоха, ничего в них нет. Встретил я давеча Положилова; он тоже: «Оставить надо мечтания! за дело приняться пора!..» Свинья! Слушал я, слушал,

да и ляпнул: «А знаете ли вы, говорю, что самый опасный мечтатель — вы-то и есть!»

— Это почему?

— Да разве это не самое грубое, не самое противоестественное мечтание: человека, одаренного даром слова,— заставить молчать? человека, одаренного способностью мыслить,— заставить не мыслить?

— Не то чтобы совсем не мыслить, но мыслить здраво и благопотребно,— поправил я.

— А притом и благовременно. Вот это-то и есть мечтание. Может ли Положилов указать меру здравости, благопотребности и благовременности? В состоянии ли он преподать к руководству хотя краткий список здравых, благопотребных и благовременных мыслей? Может ли он поручиться, что тут же, рядом с ним, не объявится другой Положилов, который его благопотребность ему же в непотребство вменит и взамен того преподаст к руководству своего собственного изделия чушь? Неужели эта регламентация благопотребности — не безумнейшее из всех мечтаний? И притом такое, на котором нельзя остановиться, чтоб не пройти сквозь целую серию таких же безумных мечтаний? Безумие настойчиво, государь мой! оно не просто заявляет о себе, но не задумывается и над насилием в видах своего подтверждения. Сегодня оно безумие, на ветер лающее, а завтра — безумие, заставляющее выслушивать свой лай и принимать его к руководству... Могу я еще капельку из графинчика позаимствоваться? Я не то чтобы жаждал, а тaк...

— Ах, сделайте милость!

— Продолжаю. Подвох в этом случае в том состоит, что понятиям самым обыденным и общепризнанным, при помощи подтасовки, сообщается загадочный смысл. Никто никогда не отрицал, что и пахарь, и носильщик, и сапожник заняты не мечтанием, а делом. Этого рода «дело» для всех видимое, осязательное и до такой степени присущее всем формам человеческого общежития, что никогда еще мир не оскудевал им и не оскудеет никогда. Стало быть, указывать на него, как на какой-то новоявленный идеал, по меньшей мере бесполезно. Да не об нем, очевидно, и речь. Параллельно с этим осязательным делом, обеспечивающим материальное существование общества, идет другое дело, которое обеспечивает его духовное существование. Вот на этом-то пункте и разыгрывается тот изумительный турнир, который, смотря по веяньям времени, иногда сохраняет характер состязания, но чаще прямо принимает формы приказательного чревовещания. В периоды состязаний вопрос ставится так: одни видят высшую задачу челове-

ческой деятельности в содействии к разрешению вопросов всестороннего человеческого развития и эту задачу называют «делом»; другие, напротив, не признавая неизбежности человеческого развития, ту же самую задачу называют мечтанием, фразой. В периоды чревовещаний ряды защитников высших задач постепенно редеют и наконец совсем умолкают; напротив того, чревовещатели смело выступают вперед и, не встречая ниоткуда препятствия, открывают односторонний бой, наполняя при этом веси и грады всяческим сквернословием и проклятиями. «Прочь мечтания! за дело пора! за дело!» — раздается по всей линии. Но какое же это «дело», к которому так страстно несутся все сердца? А вот какое: упразднение человеческой мысли, доведение человеческой речи до степени бормотания — только и всего. То есть устранение тех именно качеств, которые человека делают человеком. А затем рассудите уж сами, кому в данном случае более приличествует кличка «мечтателей». Тем ли, которые, несмотря на мрак, окутывающий будущее, все-таки не теряют из вида законов человеческого совершенствования, или тем, которые осуждают людей на то, чтоб сидеть упершись лбом в стену, и в безмолвии ожидать, пока она на них повалится?

. . . .

Очень возможно, что Крамольников и дальше разглагольствовал бы на ту же тему, но в эту минуту, очень кстати, в комнату вошло новое лицо, в котором я с удовольствием узнал бесшабашного советника Дыбу. Оказалось, что и Крамольников — старый знакомый Дыбы, который был его начальником в ту пору, когда они оба служили в департаменте Преуспеяний и Перспектив.

— А! господин фрондер! — приветствовал его Дыба,— все еще по части преуспеяний состязаться изволите?

Вместо ответа Крамольников вновь рассказал историю слышанных им в это утро сквернословий и, что меня крайне изумило,— не только не огорчил Дыбу своим рассказом, но даже удостоился от него поощрения.

— Действительно,— сказал Дыба,— смеха достойно! Толкуют об деле, а какое оно и на какой предмет — объяснить не могут. Вот мы...

Он слегка застыдился, крякнул и проглотил, для бодрости, рюмку водки.

— А впрочем, с другой стороны,— продолжал он, уже не краснея,— и дело, и не дело — все это и возможно, и достижимо, и даже... легко преоборимо... Только вот людей нет — это так!

ВЕЧЕР ШЕСТОЙ
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ОТРЕЗВЛЕНИЕ

Собрались однажды пошехонцы в том самом месте, где во время óно, по свидетельству Костомарова, у них «северные народоправства» происходили и где впоследствии, по совету «Московских курантов», выстроен был съезжий дом с соответствующей каланчой. Собрались и стояли в великом недоумении.

Неведомая какая-то сила согнала их сюда — и не скопом, не по уговору, а каждого лично за свой счет — как будто требуя, чтоб они совершили некоторое «северное народоправство», в котором якобы настояла безотлагательная нужда. Но так как «северные народоправства» давно сданы в архив, куда допускается только Костомаров, то и самый церемониал, которым они некогда сопровождались, оказался сгоревшим в один из бывших пожаров, вместе с «скрижалями» и прочею пошехонскою стариной. Следовало ли при этом речи держать и следовало ли те речи слушать? или же всем разом говорить надлежало и никого никому не слушать? — Все это было когда-то уставлено в точности, но теперь, за давно прошедшим временем, никто ни об чем не помнил. Да и говорить-то, признаться, разучились. Короче сказать, хотя и чувствовали пошехонцы, что им необходимо «приступить», но как и к чему приступить — не знали.

И еще они чувствовали, что их что-то жжет, что где-то у них чешется и что вообще в их жизнь вторглась какая-то обида. Но что привело эту обиду и как от нее отвязаться — сказать не умели. Нужно кого-то к ответу призвать, с кем-то расправу учинить — вот что было вполне ясно; но в каком направлении чинить расправу и кого заставить ответ держать — этого зря определить было нельзя. А они именно только «зря» могли действовать. Потому что обида — вещь тонкая, незримая и невесомая. Она и по земле ползет, и на облаках летает; и вихрем ее примчит, и лихими людьми нанесет — как ты тут пальцем на нее укажешь? Одна ушла, а на ее место другая села; другая ушла — третья... Поди угадывай, люди ли тут виноваты или так, само собой прилучилось? А не то, может быть, и дедушки наворожили. Наворожили, да и легли на погост, а внуки живи да растворяй беде ворота! Одно только несомненно: до тех пор их источила обида, до тех пор всяческая невзгода пристигла, что они, как полоумные, сами собой выбежали из домов и устремились к каланче. И, прибежавши, не знали, зачем прибежали.

Должно сказать, впрочем, что к описанному выше недоуме-

нию в значительной мере примешивались и опасения. Никому не хотелось первому слово молвить, потому что каждый чувствовал, что за ним ой-ой блох много! Разинешь, пожалуй, рот, ан тут тебя со всех сторон и обступят: «Да, никак, ты самый обидчик и есть!» Куда ты тогда поспел?

Дело в том, что хотя пошехонцы и отрезвились, но это произошло так недавно, что даже и посейчас они чувствовали себя с ног до головы виноватыми. Много лет сряду они так козыряли, что, со стороны глядя, можно было подумать, что у них и невесть какие запасы всяких «пра́вов» напасены. А в действительности оказалось одно легкомыслие. Не успели они оглянуться, как у них простыми фосками всех до одного козырей выкозыряли и оставили один на один с обидой. Чтоб уйти от этой обиды, они и отрезвление-то приняли. Думали, что как предстанут они, бескозырные, бездумные, обнаженные от прошедшего и будущего, так сейчас же все как по маслу у них и пойдет — ан не пошло. Встала обида поперек горла, и ничем ее проскочить не заставишь. Если б в других муниципиях отрезвление случилось, то обыватели сказали бы себе: «Нехорошо, конечно, мы сделали, что без расчета в игру вступили, да и карты вдобавок всем показывали, но так как это уж дело прошлое и аханьем его не поправишь, то теперь надо об том позаботиться, как бы и впредь пальцем в небо не попадать». И, сказавши это, решили бы так: коли есть обида, то надо именно за нее и взяться, а не кругом да около шарить. Но в Пошехонье дело совсем иначе стало. Не мысль о будущем интересовала пошехонские бесшабашные головы, а мечтания о том, какие бы они и поднесь сладкие куски ели, кабы в ту пору сразу всех тузов не отходили. Кто их этих кусков лишил? кто тот лукавый, который их в искушение ввел? «Подать его! разыскать! вот мы ему, сатанину сосуду, глотку-то заткнем!»

Ибо в Пошехонье так уж исстари повелось, что дело не волк, в лес не убежит, а главнее всего надо личные счеты свести да рогами друг из дружки кишки выпустить. Вот это и будет настоящее «дело». И дедушки пошехонские, едучи на погост, сказывали, что при всякой беде нужно первым делом «лукавого» разыскать. Непременно, дескать, полёгчит от этого. Сначала беду как рукой снимет, а потом и пошло писать благополучие...

Но тут-то именно и вышла закавычка, потому что всякий пошехонец более или менее сознавал самого себя этим «лукавым». Всякий в свое время был ежели не зачинщиком, то пособником или укрывателем. Дыбом волосы становятся при воспоминании о том, какие дела были, с разрешения *начальства*,

пошехонцами содеяны! Стоило, бывало, только крикнуть: «Господа пошехонцы! на абордаж!» — все, очертя головы, так и лезут. Стоило молвить: «А ведь городничий-то много против прежнего форсу сбавил»,— все так и прыснут со смеху: нынче, мол, небось... не прежнее время!

Кто лез? кто хохотал? кто кричал? — *Все* лезли, *все* хохотали, *все* кричали! Как тут соседа обвиноватишь, коли всякий сам кругом виноват?

Это ведь только недавно опять сделалось ясно, что всякий сверчок должен знать свой шесток, а было времечко, когда пошехонцы и от пословиц совсем было отвыкли. Живут без пословиц — и баста. Скажут им: «Эй, господа! уши выше лба не растут!» — а они в ответ: «Так что ж что не растут! ушам и не следует выше лба расти! мы об ушах и не думаем!» Да вот под конец и узнали, что во все времена ни о чем другом и речи не было, кроме как об ушах. Козырей-то истратили на то, чтоб свои же карты бить, а как стало после того и тесно, и беднò, и неловко — тут и спохватились: «Кто тот лукавый, который нас на игру науськал?»

Итак, собрались пошехонцы у каланчи и недоумевали. Одна мысль угнетала всех: «Вот мы и отрезвились, а все-таки легче нам нет — должен же кто-нибудь быть этому причинен!» А дальше прямой вывод: «Беспременно надобно того человека разыскать и горло ему перервать. Тогда всем будет легче». Но кому перервать и за что — на эти вопросы никто с знанием дела ответить не мог: воображения не хватало. Перервать — только и всего. Смотрели они на каланчу и ждали: не будет ли от нее какого-нибудь наития? Но каланча, незыблемая и безучастная, глядела всем своим нескладным столбом на пошехонское смятение и безмолвствовала. Ни звука оттуда не выходило, ни лица человеческого в окнах не было видно. Только на самой вершине ходил сторож дозором, поигрывая от скуки пожарными сигналами, и думал: «Ишь ведь и отрезвиться-то порядком не умеют!»

День был осенний, студеный, смурый. В такие дни добрый хозяин дома сидит, по домашности исправляется, но пошехонцам нѐзачем дома сидеть, потому что они давным-давно всю домашность, до последнего пера, спустили. Каким манером спустили? куда? — никто в ту пору не доглядел. Знают только, что когда хватились — ан нет ничего. Только и остался у них, что инстинкт, и этот инстинкт влек их туда, где в оное время бунтовщиков с раската сбрасывали. Задул ветер, полил дождик, а они всё стояли и молчали. Думали: «Вот выйдет из каланчи городничий штабс-капитан Мазилка и начнет закон разъяснять. А ежели закона нет, то хоть из пушки палить

будет». Но Мазилка сидел в каланче и, в св[illegible]», думу думал.

Это был человек малого роста и увечный, но храбрый. Коли кто перед ним руки по швам стоит, он так на него и скачет. Даже ежели большого роста человек, так и того достанет. Однако и он про «северные народоправства» вспомнил, как увидел, что пошехонец изо всех улиц так валом и валит к каланче. И чем смирнее вели себя пошехонцы, чем глубже они отрезвлялись, стоя вокруг каланчи, тем сильнее зрело в нем убеждение, что в этом-то именно «народоправства» и состоят. А сверх того, вспомнил он и о том, что еще недавно в газете «Уединенный пошехонец» удостоверяли, что стоит только здравому смыслу пошехонцев воспрянуть — и все пойдет как по маслу. Вспомнил и испугался: а ну, как взаправду примутся пошехонцы здравый смысл предъявлять?

Размысливши как следует, он запер ворота съезжего дома, выкатил пожарную трубу и на всякий случай велел держать кишку наготове. А сам забрался в дальний чулан и заперся на ключ.

Часы проходили за часами, а пошехонцы все стояли, ждали, не разинет ли кто рта.

Двое из самых горластых: Иван Безродный да Бесчастный Иван — даже совсем было раскрыли уста, но взглянули друг на друга — и опять сомкнули. Очевидно, что тревога еще не дошла до той точки, когда от избытка чувств уста глаголют. Да и отваги надлежащей еще не было, той отваги, которая на вопрос: «Кто здесь отступник?» — помогает с легким сердцем отвечать: «Вот он я!»

Наконец истомились, назяблись и начали ждать, скоро ли смеркнется. На этот раз обстоятельства благоприятствовали пошехонцам. Осенний день, и без того короткий, под влиянием хмурого неба стал меркнуть раньше обыкновенного. Часов около четырех во многих домах замелькали огни, а затем и Мазилка, оправившись от страха, высунул голову из окна.

— «Народоправств» захотели? — гаркнул он во всю пасть,— здравый смысл проявлять задумали?! Вот я вам ужо...

При этих словах ворота съезжего дома заскрипели, и обильная струя воды, пущенная из пожарной трубы, окатила и без того уже вымокших вечевых людей.

Закон был объяснен. Толпа испустила вздох облегчения и начала расходиться. Но и за всем тем у всех одна неизбывная мысль в уме застыла: «Что-то завтра будет? как бы и завтра не пришлось опять туда же бежать...»

В сущности, пошехонское отрезвление было столь же неожиданно, как и недавнее пошехонское либеральное опьянение.

Я знаю, что многие отличнейшие умы верят, что как ни мало устойчиво Пошехонье, но все-таки сокровенные и задушевные симпатии его обывателей устремлены к свету, а не к тьме. Я и сам охотно этому верю. Я верю, что не только в Пошехонье, но и в целом мире благоволение преобладает над злопыхательством и что в конце концов последнее, всеконечно, измором изноет. Но покуда злопыхательство, даже в минуты своего поражения, умеет так ловко устроиться, что присутствие его всегда всеми чувствуется, тогда как благоволение в подобные минуты стушевывается так, что об нем и слыхом не слыхать. Вот разница. Поэтому «конец концов» представляется столь отдаленным, что люди, для которых живая жизнь не составляет праздной мечты, не считают даже возможным рассчитывать на него: «Придет «конец», да не при нас и не для нас...» Вывод жестокий и отнюдь не героический, но разве кто-нибудь вправе требовать, чтоб пошехонские матери рождали сплошь героев?

А сверх того, меня еще больше смущает та легкость, с которою пошехонцы поддаются всякого рода веяниям и которая мешает им иметь свою логически развивающуюся историю. Если бы эти веяния были продуктом внутреннего процесса пошехонской жизни, то к нему можно бы применить принцип вменяемости. Худы ли, хороши ли такие веяния, но они представляют подлинную действительность, а не воздушное мечтание. Критика поможет разобраться в самой худой действительности и в ней самой отыскать необходимые поправки. Но в том-то и дело, что веяния, которым подчинялись пошехонцы, имели чисто внешний характер. Даже городничий Мазилка — и тот приезжает, держа наготове в кармане какое-то веяние, и пошехонцы беспрекословно подчиняются ему; даже газетчик Скоморохов — и тот убежден, что всякого пошехонца можно в самое короткое время как угодно оболванить. И оболванивает.

Увы! упования Мазилок не напрасны. Пошехонец, который еще так недавно во всеуслышание выспренние слова говорил, вдруг, без всякого колебания, начинает изрекать какие-то отрезвленные афоризмы, самая фактура которых удостоверяет, что они не могли в ином месте начало воспринять, кроме как на съезжей. Нужды нет, что изменившаяся общественная речь свидетельствует об изменении общественной мысли и в недалеком будущем предвещает — шутка сказать! — изменение всех общественных отношений,— все эти изменения соверша-

ются так просто, принимаются так наивно, что Мазилкам приходится только радоваться. Ибо ежели и встречаются среди пошехонцев люди, которых подобные изменения приводят в недоумение, то и они без труда уразумевают, что на свете есть особого рода компромисс, называемый Лицемерием, который поможет им как-нибудь приладиться к общему нравственному и умственному уровню. И, уразумевши это, лицемерят и отступничествуют без зазрения совести.

Вот отчего так трудно иметь дело с пошехонцами. Нельзя надеяться на их поддержку, нельзя рассчитывать, что обращенная к ним речь будет сегодня встречена с тем же чувством, как и вчера. Вчера существовало вещее слово, к которому целые массы жадно прислушивались; сегодня — это же самое слово служит не призывным лозунгом, а сигналом к общему бегству. Да хорошо еще, ежели только к бегству, а не к другой, более жестокой, развязке.

И, право, преобидное это дело. Этой силой приводить к нулю, сожигать дотла самые горячие надежды обладает не что-либо устойчивое, крепкое, убежденное, а нечто мягкотелое, расплывчивое, подобно воде, отражающее все, что ни пройдет мимо. Но что еще обиднее: сами носители надежд не только подчиняются этому явлению, но даже не видят в нем никакой неожиданности. Разве это тоже не мягкотелость своего рода?

На днях мне именно пришлось встретиться с некоторыми разновидностями этой пошехонской мягкотелости. Сперва простеца-пошехонца встретил; спрашиваю: «Как дела?» — и слышу в ответ какие-то отрезвленные речи: всё пословицы, да всё дурацкие. Изумляюсь.

— Как же это так,— спрашиваю,— словно бы вы еще недавно совсем другие слова говорили?

— Другие? будто бы? А впрочем... Да надо же наконец и за ум взяться! пора! — отвечает он, и отвечает так естественно, как будто и в самом деле у него ума палата.

— Отрезвились?

— Да, отрезвились... пора! Всё слова, одни слова...

— Понимаю: надоело? В чем, однако ж, бессловесное-то отрезвление ваше состоит?

— Да там увидим. Не программы же, в самом деле, составлять! Видали мы эти программы, знаем! Достаточно и того, что «фраз» больше не будет... За ум, батюшка, взялись! за ум!

Только и всего; и больше ничего у него и нет. И эти-то слова не его, а Мазилкины. Произнеся их, он чмокнул мне ручкой и заковылял восвояси. И этому его Мазилка научил: «Не задерживайся, мол, не калякай много!» Да и произнес он

их каким-то раздвоенным голосом: не то сам над собой смеялся, не то надо мной иронизировал. Тоже Мазилка научил: «Ты так калякай, чтобы во всякое время во всех смыслах понять было можно».

Словом сказать, как ни поверни отрезвленного пошехонца, от всякой части его тела клоповником пахнет.

Через две-три минуты встречаю мягкотелого интеллигента. Огорчен, но предвидел.

— Что? как?

— Ни сесть, ни встать!

— Вот беда-то!

— Н-да... впрочем, это давно можно было предвидеть!

На этот раз я уже сам чмокнул ручкой и пошел восвояси. Но ему, вероятно, показалось, что я огорчился, и он догнал меня.

— Ничего не поделаешь,— сказал он,— надо переждать. Мазилка сказывал, что ненадолго. Он ведь, Мазилка-то, и сам...

Еще несколько шагов — и еще пошехонец навстречу. Этот как будто слегка ополоумел: озирается, нюхает, ищет.

— Чего ищете?

— Да вот «человека» разыскиваем. Допросить, вишь, надо.

— Какого такого «человека»?

— Виноватого. Мазилка...

Я не слушал дальше. Опять и опять Мазилка! Ужасно! ужасно! ужасно!

Я охотно признаю, что пошехонец еще не дошел до предательства, но он уже с головы до ног опутан нитями апатии, индифферентизма и повадливости, которые для предательства представляют знатное подспорье. В так называемую фразу он изверился; книга ему опостылела; ни в каком умственном возбуждении он потребности не ощущает. Есть у него Мазилка, которому «лучше видно», и больше ему ничего не надо. Под его эгидой он и бредет в сумерках куда глаза глядят. И думает, что живет.

Спрашивается: какая вера в «конец концов» устоит ввиду этого мягкотелого организма, который только с тех пор и сознал себя благополучным, как утратил способность мыслить и словеса позабыл?

Но возвращаюсь к рассказу.

Воротились пошехонцы домой, вымокшие, иззябшие, сердитые. Некоторые, впрочем, надеялись, что во сне бог счастия пошлет; но так как легли спать на голодное брюхо, то сны видели лютые. То будто мохнатый зверь животы у них выеда-

ет, то будто куш в лотерею выиграли, да лотерейный билет потеряли. Так ничего и не выспали. И наутро встали еще более мрачные и обескураженные.

К тому же и публицист Скоморохов не молчал, а все пуще да пуще разжигал сердца пошехонцев. Именно в это самое утро он разразился громовой передовицей:

«Говорят, что мы отрезвились,— писал он в «Уединенном пошехонце»,— но есть два сорта отрезвления: одно — страдательное, заключающееся в пассивном уклонении от бесчестных приманок шутовского либерализма; другое — деятельное, которое преследует либерализм в самом корне, или, точнее, в самых носителях этого шутовства. Первое из этих отрезвлений есть отрезвление неполное, робкое и в практическом смысле дающее лишь скудные результаты. Человек отрезвился, стряхнул с себя иго отвратительной хмары, заслонявшей перед его глазами здоровую действительность, сделался преданным и честным членом своей муниципии — конечно, это прекрасно и заслуживает всяческого поощрения. Но можно ли сказать по совести, что на этом одном и должен завершиться процесс отрезвления? Нет, всякий, кому дороги интересы Пошехонья, не может не сознаться, что личное отрезвление есть только первый этап на пути отрезвления действительного и плодотворного. Недаром «Norddeutsche Zeitung», говоря о нашей склонности к чрезвычайным полетам в область преуспеяния, побуждает нас и впредь действовать в том же направлении. Недаром он усматривает в этом залог нашей способности выходить сухими из воды. Орган железного канцлера, который зорко следит за каждым нашим шагом, не может в данном случае иначе и поступить. Он *должен* назвать силою то, что, в сущности, составляет нашу слабость: это его прямая выгода. В его интересах обольщать и убаюкивать нас. Но мы обязаны стоять на страже против подобных обольщений; мы должны смотреть на них как на засаду, устраиваемую ловким врагом с целью застигнуть нас врасплох. Поэтому, сделавши первый шаг в смысле отрезвления, мы обязываемся не ограничиваться им, но идти к намеченной цели неуклонно, не обходя ни одного указания, предъявляемого строгой логикой. А логика говорит так: только то отрезвление целесообразно, которое имеет характер деятельный.

Нас часто укоряют в том, что мы слишком охотно доверяемся «фразе», и надо сознаться, что укор этот вполне нами заслужен. Шутовская либеральная суматоха, которая и поныне еще не признает себя побежденною, чуть было навсегда не осудила нас на бесплодие, в смысле саморазвития. Да и наверное успела бы в своем дерзком предприятии, если б

случайность не выдвинула вперед забытый и забитый пошехонский здравый смысл и не дала ему возможности восторжествовать. Что торжество получилось полное и бесспорное (и притом в самое короткое время) — в этом нынче уже никто не сомневается; но не следует забывать, что торжество, вооружая нас значительными правами, налагает на нас и обязанности. Какие же это обязанности? в чем должна заключаться главная задача осенившего нас отрезвления? — На эти вопросы мы можем дать только один ответ: задача, нам предстоящая, заключается в том, чтобы от фразы перейти к делу. Не к тому *широковещательному*, *полному* бесплодных обольщений делу, благодаря которому мы двадцать пять лет кряду висели на воздухе, а к тому простому, вразумительному и для всех доступному делу, которое приглашает нас не замыкаться в личной благонамеренности, но вывести эту последнюю на арену плодотворных практических применений.

И прежде всего нам предстоит заявить без малейших колебаний, что процесс отрезвления касается не только отдельных индивидуумов, но *всех вообще обывателей, и притом в равной степени. Все обязаны отрезвиться, даже те, которые не чувствуют* к тому особенной склонности. Это необходимо для того, чтобы обеспечить задачи отрезвления в будущем. Задач этих покуда мы не называем, но имеем полное основание сказать, что их предвидится немало, и притом совершенно неожиданных. Надо своевременно и без остатка устранить все, что может послужить препятствием для всестороннего разрешения этих задач. Ибо от такого исхода зависит *общее* благо, а ежели кто не желает этого общего блага, тот, очевидно, не может желать и своего собственного, личного блага. Такой отщепенец как бы говорит нам: «Извергните меня из среды своей, ибо я одичалый член вашего общежития! Не щадите меня, ибо я и сам каждым шагом своим доказываю, что не желаю вашей пощады!» Спрашивается: справедливо ли мы поступим, ежели не выполним требования, предъявляемого нам самим отщепенцем?

Будем же справедливы, будем деятельны. Выйдем из нашей замкнутости, ибо в настоящем случае она представляется не только неряшливою, но и преступною. Пусть каждый в каждом проследит успехи, сделанные отрезвлением, пусть каждый каждому предъявит тот обязательный minimum, неподчинение которому должно угрожать очень серьезными (а не мнимыми, как было до сих пор) последствиями для неподчиняющегося. Да исчезнет тьма, да восторжествует свет! — вот девиз, который должен отныне руководить нами. Говорят о свободе совести, о праве на свободу исследования — прекрасно! Мы

первые готовы защищать все эти свободы, но не там, где идет речь об *общем благе*. Ввиду этой последней цели все свободы должны умолкнуть и потонуть в общем и для всех одинаково обязательном единомыслии.

Viribus unitis res parvae crescunt [1]. Вперед!»

Передовица была написана ловко, гладко, с огоньком. Собственно говоря, это была диффамация, во время чтения которой пошехонцы чувствовали, как во всем теле разливается зуд. Но как только чтение диффамации оканчивалось, так перед ошеломленными читателями назойливо восставал вопрос: «Что же сим достигается?» И они снова начинали перечитывать, и снова разливался у них в теле зуд. Во всякой строке все было налицо: и подлежащее, и сказуемое, и связка; даже периоды, законченные и округленные, катились один за другим как по маслу; одного только не было: «Что сим достигается?»

— Ах, волки тя ешь, зудень чесоточный! — бормотали озадаченные пошехонцы,— и без него тошно, а он... вишь, как зудит?

Тем не менее требования диффамации были настолько настоятельны, что медлить было небезопасно. Пришлось опять собираться к каланче, и притом с мыслью, что на этот раз, пожалуй, и не отмолчишься. Как примется ужо каждый каждого исповедовать да каждый каждому припоминать — такое ли пойдет самоедство, что только держись! Ввиду этого многие думали: «Хоть бы Согожа (река, на которой Пошехонье стоит) разлилась после дождей да проходы и проезды затопила, или бы мост провалился!» Но Согожа продолжала скромно журчать по дну оврага, а мост хоть и не являл надлежащей для движения прочности, но пошехонцы исстари уж с этим помирились: «Таковский!»

А Мазилка в это самое утро имел с Скомороховым совещание. Мазилка смотрел на дело глубже и солиднее; Скоморохов плавал мелко, но зато цепко хватался за подробности.

— Знаю я, что за вами блох много,— говорил Мазилка,— да не ваше, сироты, дело друг над дружкой расправу чинить. Мое это дело. Я здесь начальник — я и помыкать вами буду. Захочу — сегодня расправлюсь; не захочу — до завтра отложу. А вы, сироты, должны ждать и ни в худую, ни в хорошую сторону на власть мою не наступать. И ты это непригоже, зудень чесоточный, делаешь, что друг против дружки однообщественников натравляешь!

[1] От соединения сил растут и малые дела.

— Ваше высокородие! позвольте с полною откровенностью доложить? — взывал Скоморохов.

— Изволь, братец!

Разумеется, Скоморохов тут же сердце свое, как на ладони, выложил. Выходило так, что непременно нужно общество пошехонское оживить. Не потому, чтоб этого требовал интерес казны, а потому, что, по обстоятельствам, избежать этого невозможно.

— Коли мы общество не оживим, так оно само себя оживит,— развивал свою мысль проворный пошехонский публицист,— потребность такая в нем народилась, и ничего ты с ней не поделаешь. Прежде этого не бывало, а нынче спят-спят пошехонцы, да вдруг и проснутся. Так уж пусть лучше мы сами оживим их... в пределах. Пускай друг дружку пощупают, вреда от этого не будет!

— Ты говоришь: «в пределах» — а вдруг оно за пределы поехало?

— На этот предмет, ваше высокородие, пожарную трубу в готовности содержать надлежит.

— Я-то готов, да ты вот... Смотри ты у меня, сорванец! на языке у тебя мед, да на душе-то... Петля, а не человек — вот ты что! Сколько раз листья вон эта береза переменила, столько же раз и ты менялся! Ну, да ин быть по-твоему!

На этом совещание кончилось. Но Мазилке до такой степени были несимпатичны проекты об оживлении общества, что он не выдержал и вдогонку уходящему Скоморохову крикнул:

— Только помни, что согласия моего не было! Это ты меня, зудень, раззудил, а я... не согласен!

Через час после этого площадь перед каланчою уже кипела народом. Пошехонцы чуяли, что придется друг друга исследовать, и примеривались. Но так как у всех был еще в памяти недавний «шутовской либерализм», то приходилось действовать с крайнею осторожностью. Заведет пошехонец один глаз на соседа — ан и ему навстречу соседний глаз глядит. Ну, и спасуют оба, уставятся глазами в пространство и глядят, словно на уме ничего канальского нет. Однако урывочками да ущипочками порядочно-таки высмотрели... Эх, кабы Мазилка разрешил «секрет» ему объявлять! Приходите, мол, други милые, хоть днем, хоть ночью, завсегда моя дверь потихоньку для вас открыта! То-то бы народу повалило! Так нет вот: извольте расправляться всенародно... сами!

Для Скоморохова этот момент был решительный. Каждый день он доказывал, что пошехонцы созрели, что торжество здравого смысла вполне обеспечено; стало быть, теперь при-

ходилось подтвердить это на деле. Поэтому он несказанно суетился, появляясь то в одном, то в другом конце толпы и ежемгновенно взывая: «Кто про кого что знает — сказывайте, православные, сказывайте!»

По-настоящему, следовало бы его, как первого, который «пасть разинул», в щепы расщепать, но пошехонцы не только не сделали этого, но даже поощряли вызовы бесшабашного писаки робкими улыбками. Скоморохов был не свой между ними. Он явился откуда-то издалёка, и покуда пошехонцы хлопали на него глазами, уселся и сразу взял засилие. Всем он в свое время был: и либералом и антилибералом, и реформенником и антиреформенником, и всегда с успехом. Преднамеренно смешивая развитие с изменой, он утверждал, что только дураки не меняют убеждений, и, раз заручившись этим афоризмом, бесцеремонно сам себя побивал всякий раз, когда это, по обстоятельствам, требовалось. Опасность он представлял великую, ибо тайну каждого пошехонца знал, с каждым и реформенно, и антиреформенно по душе беседовал и потому каждому прямо и бесстыдно объявлял: «Ты меня не проведешь!»

Однако пошехонцы не только не ободрились под влиянием вызывающих скомороховских речей, но еще пуще вчерашнего заробели. Они хотя и трепетали перед Скомороховым, но в то же время чувствовали к нему непреодолимую гадливость. Они уже настолько отрезвились, чтобы понимать, что неспроста негодный писачка перед ними гарцует, но еще не настолько созрели, чтобы признать его личность достолюбезною. Поэтому если у кого и чесался язык, чтобы вымолвить: «А нуте, господа атаманы, давайте сказывать... Господи благослови!» — то скомороховские подстрекательства скорее унимали, нежели раздражали этот зуд. И очень возможно, что дело взаимного исследования совсем бы не выгорело, если б в самую критическую минуту не показался вдали Иван Рыжий.

Рыжий опоздал на вече, да, признаться сказать, и теперь не спешил, а шел обыкновенной своей ленивой походкой, как будто наперед знал, что никакого народоправства не будет. Это был смирный и степенный обыватель, которого политические убеждения главным образом в том состояли, что ежели начальство, по упущению, и неправильно чего-нибудь требует, то и тогда следует требование его беспрекословно выполнить. Во времена оны эта теория представлялась не только безопасною, но даже обеспечивающею безнедоимочный сбор податей. Но уже и тогда находились пуристы, которые при словах: «ежели и неправильно начальство требует» — сомнительно покачивали головами.

— То же бы ты, дурак, слово, да не так бы молвил! — участливо предостерегали его и предлагали изменить редакцию так: «Всякое начальственное требование от природы правильно, а потому и следует его выполнить». Но он одно твердил: «По-моему — лучше!» — и устоял на своем. Тем не менее до сих пор ересь сходила ему с рук, и даже Скоморохов каким-то образом ее проглядел. Но теперь, как увидели православные, что он «идет не идет», а ногами «вавилоны выделывает», да вдобавок еще руками машет, так и загорелись у всех сердца! Так и просияло во всех умах: «А ведь это он самый и есть!»

— Иду! — откликнулся между тем Рыжий.

Час от часу не легче: первый пасть разинул (Скоморохова не считали). Он! он самый и есть! Что бишь он в ту пору говорил? Какими такими бунтовскими речами народ сомущал?

В одно мгновение толпа поглотила Рыжего и начала его молча перекидывать. Некоторое время он мелькал, но потом вдруг скрылся. Какого рода тут народоправство совершилось — неизвестно, но, к счастию, Мазилка не дремал. *Вторично отворились ворота съезжего дома, и струя* воды, более обильная, нежели накануне, окатила вечевых людей.

Совершивши такое дело, пошехонцы сочли свою миссию конченною. Взаимно поощряя друг друга веселыми подзатыльниками, они направились восвояси, в полной уверенности, что теперь, когда они уже фактически доказали свое отрезвление, они найдут дома не тюрю с водой, как накануне, а щи с убоиной.

Но ни щей, ни убоины не было; даже тюри как будто убавилось. Задача усложнялась самым безнадежным образом.

Ибо пошехонская обида в том главным образом и состояла, что атаманы-молодцы уж давно ничего, кроме тюри с водой, не едали. Разумеется, встречались в этом смысле и исключения — «особливо отмеченные люди», как называл их Скоморохов,— но и те прикидывались лазарями. По крайней мере, тюря была самым наглядным фактом из всего, что заставляло пошехонцев роптать на судьбу. Убоина до того поднялась в цене, что даже в среде «правящих классов» не всякий мог свободно распоряжаться ею. А было время — и большинство его помнило,— когда и средний пошехонец мякоть ел сам, а кости бросал собакам. Во многих семьях были живы дедушки, которые передавали отощавшим внукам (и сами отощав-

шими желудками к своим россказням тоскливо прислушивались) почти баснословные предания о древнем пошехонском изобилии, когда свиньи, куры, утки и проч. свободно бродили по улицам, а домой возвращались только для превращения в снедь. И все это пошехонцы *сами* ели: убьют скотинину и едят... *сами*. А нонче ежели есть у кого яичко, так он на него только поглядит да скорее на «элеватор» несет, а оттуда уж оно само собой на машину идет. Свистнула машина — и поминай как звали! Яичко твое немец съест, а ты за него денежки получи да другое яичко неси! Смотришь, ан рубль-то в цене и поправился!

Тем не менее относительно причин, обусловивших исчезновение убоины, мнения разделились. Пошехонцы-горланы, те, которые на вечах голос имели, утверждали, что беда в том, что все Пошехонье поголовно чуть не двадцать лет кряду в эмпиреях витало, а что̀ под носом у него делается, не видело. И что, следовательно, ежели от эмпиреев вполне отрезвиться, то и опять свиньи с утками все улицы запрудят. Но бабы пошехонские с этим не соглашались. «Что-то мы об эмпиреях не слыхивали,— возражали они,— а вот что народ нынче слаб стал, последнюю тряпку из дому в кабак тащит, так это мы знаем. Курочка-то еще не снеслась, а уж «он» над нею стоит; норовит, как бы яичко-то тепленькое к кабатчику снести!»

— Дуры вы, дуры! — кричали на них мужики-горланы,— много вы смыслите! Кабы мы в кабак не ходили, откуда бы казна-матушка деньгами разжилась?

— Казна-матушка сама знает, где раки зимуют,— огрызались бабы,— и без вас пропойцев довольно найдется! А вы побольше работайте да баб, с пьяных глаз, поменьше калечьте!

Но находились и такие, которые говорили: «От эмпиреев и от вина — от всего отрезвиться не штука; но вот штука: что потом делать? Трезвому-то на голодный желудок, пожалуй, и еще тошнее покажется — как тогда поступить?»

Ввиду этих разногласий всяк начал предлагать свое. Одни говорили, что надо элеваторы устроить; другие: «Устроим элеваторы — пойдет воровство». Одни говорили: «Транзит закрыть надо»; другие: «Закроется транзит — пойдет воровство». Одни говорили: «Всему причина Финляндия»; другие возражали: «Тронь Финляндию — пойдет воровство!» Словом сказать, выходило так: что ни придумай — везде окажется воровство. Но ни толку, ни убоины не выходило. Насилу-насилу старики угомонили расходившихся горланов.

— Уймитесь, атаманы-молодцы! — усовещивали они,—

того гляди, вы все Пошехонье вверх дном перевернете! Прежде чем об элеваторах-то думать, спросите-ка себя: точно ли вы *все* отрезвились? нет ли еще за кем блох?

Этого же мнения был и Скоморохов.

«Старики наши правы,— писал он на другой день после приключения с Рыжим,— хотя отрезвление и провозглашается у нас бесспорно совершившимся фактом (не он ли, бессовестный, несколько дней тому назад и провозгласил это!), но действительно *ли* мы *все* отрезвились — на это и ныне никто, по совести, утвердительно ответить не может. Напротив, можно скорее ожидать отрицательного ответа, а вчерашний случай с Иваном Рыжим как нельзя убедительнее доказал это. Мы не отрицаем, что здравый смысл пошехонцев и на сей раз восторжествовал, но тот же здравый смысл должен был подсказать им, что Рыжий не мог злоумышлять один, без пособников и укрывателей, а между тем где эти пособники и укрыватели? Мы их не видим по той простой причине, что никто их не искал. Нет, господа! одной жертвы недостаточно! Как ни прискорбно сознавать, что *общее благо* достигается только ценою человеческих жертв, но так как исторический опыт возвел это правило на степень аксиомы, то не следует уже останавливаться *ни* перед количеством, *ни* перед качеством жертв. Многие полагают, что принадлежность к «интеллигенции», как смехотворно называют у нас всякого не окончившего курс недоумка, обеспечивает от исследования, но это теория несправедливая. Это теория, отживающая свой век и совершенно неприменимая в таком глубоко-демократическом обществе, как пошехонское. У нас исключение в этом смысле могут составлять лишь те «особливо отмеченные», которых имена слишком неразрывно связаны с историческими судьбами Пошехонья, или же те, кои постоянным трудом и отличными способностями приобрели выдающиеся по своим размерам материальные средства. Но и эти исключения допускаются единственно потому, что описанные выше качества заключают сами в себе достаточный залог благонадежности. Затем *все,* богатые и бедные, знатные и незнатные, интеллигентные и неинтеллигентные, *все* должны подлежать исследованию. И чем больше приведет за собой это исследование искупительных жертв, тем действительнее будут результаты».

Прочитавши эту передовицу, сильнейшие из горланов сейчас же пристроились к сонму «особливо отмеченных» и затем устранили себя от дальнейших хлопот по части отрезвления. Испытывать же и истреблять друг друга остались горланы средние да та безымянная «горечь», которою кишели пошехонские пригороды и солдатские слободки.

Поэтому третье пошехонское вече, состоявшееся у каланчи, было уже далеко не столь блестяще, как два предыдущие. Собралась по преимуществу рвань и дрань. Обманутые насчет плодотворных последствий вчерашней расправы с Иваном Рыжим, оставленные Мазилкою и не сдерживаемые «особливо отмеченными» людьми, пошехонцы всецело поддались злобным внушениям Скоморохова, который, как и накануне, гоголем мелькал во всех местах и с пеной у рта взывал к отмщению. Он сам не отдавал себе отчета, во имя чего он взывает, но чувствовал, что, по мере того как с его языка срываются проникнутые ядом слова, сердце его все больше и больше лютеет. И сердце у него было порожнее, и ум подобный упраздненной храмине, так что лютость во всякое время отыскивала в них свободное убежище и оттуда управляла всеми его действиями.

Прислушиваясь к его речам, пошехонцы и с своей стороны постепенно лютели. О вчерашней боязни взаимного самообличения не было уже и речи; напротив того, какая-то беззаветная смелость овладела всеми умами. Казалось, все понимали, что конец неизбежен и что ежели после этого «конца» уцелеют лишь немногие, зато у этих немногих будут и элеваторы, и транзит, и щи с убоиной.

Некоторое время в толпе раздавалось только глухое рокотание, но наконец атаманы-молодцы не выдержали и заговорили все разом. Сначала раздались праздные слова, потом пошли в ход лжесвидетельства, а затем загремела и клевета. Клевета и по головам шла, и по земле ползла, и по-собачьи лаяла, и по-змеиному шипела, настигая и уязвляя всякого, кого по пути заставала врасплох. И по мере того, как она разливала свой яд, толпа убывала и редела. Но не в бегстве обретали пошехонцы спасение от нее, а на месте таяли.

Явление это было так поразительно, что не могло не обратить на себя внимания Мазилки. Заметив, что ревизские души неведомо куда исчезают, он совершенно основательно встревожился, встретившись лицом к лицу с вопросом: «Ежели людишки друг друга перебьют без остатка, кто же будет чинить исполнение по окладным листам?»

— А вы бы не всяко лыко в строку, атаманы-молодцы! — крикнул он с вышки каланчи,— пошпыняли друг дружку — и будет! Прочее можно и простить!

В третий раз ворота съезжего дома заскрипели, и в третий раз обильная струя воды окатила расходившихся вечевых людей.

Хоронили Ивана Рыжего. Четыре мужика, с белыми новинáми через плечо, через весь город несли к кладбищу сосновую домовину, в которой лежала жертва фантастического пошехонского отрезвления. Сначала за гробом шла только молодая вдова Рыжего с сиротами, но по мере того, как погребальное шествие подвигалось к центру города, толпа за гробом росла и густела. Рыжий женился всего пять лет тому назад, но имел уже четырех детей и был в семье единственный добытчик. Вдова его, красивая и кроткая женщина, в одночасье потеряла и мужа, и кормильца. Она усиливалась не плакать, но слезы сами собой лились из ее глаз; она сдерживала рыдания, но тяжкие, задушенные вопли сами собой вырывались у ней из груди. Она, очевидно, изнемогала от горя и боли, но так как ношàтые шли шибко, то и она спешила за ними, спотыкаясь и неся в одной руке полуторагодового ребенка, а другою рукой волоча за руку трехлетнюю девочку, которая с трудом поспевала за нею (грудной ребенок оставлен был дома под надзором старшей сестренки).

Зрелище было необыкновенно унылое и само по себе, и по обстановке. Осеннее небо, отягченное серыми облаками, так низко опустилось над городом, что, казалось, собиралось его задавить. Из облаков сеялся мелкий, но спорый дождь; навстречу шествию дул холодный ветер, который крутил и захлестывал старенький покров, лежавший на домовине. Толпа шла за гробом угрюмая и сосредоточенно-безмолвная. Только «особливо отмеченные» люди не присоединились к кортежу, но и они выходили из домов и набожно крестились. Мазилка, с своей стороны, почтил память умершего тем, что вышел на площадь во главе пожарных и сделал шествию под козырек.

Сознавала ли толпа в эти скорбные минуты, что смерть Рыжего дело ее рук, анализировала ли она этот факт, мелькал ли перед нею призрак потрясенной совести — для нее самой эти вопросы были загадкой. Скорее всего, она чувствовала себя под гнетом безотчетной и безысходной тоски, которая захватила ее всю, со всех сторон, которая истребила в ней мысль, забила воображение. Вчера, под наитием тоски, температура ее поднялась до истерического бешенства; сегодня то же самое наитие разрешилось упадком духа, унынием, бессилием. И что всего важнее, толпа даже не искала в самой себе помощи против удручающего ее чувства, а только беспокойно озиралась, как будто желая засвидетельствовать, что ее насквозь пронизала какая-то безымянная боль.

Когда шествие достигло кладбища, церковная ограда едва могла вместить толпу. День был будний, и потому обедни не

пели; гроб прямо поставили у края свежевырытой могилы. Началось отпевание, и когда клир запел «Со святыми упокой» — вся толпа, словно послушное эхо, повторяла за клиром щемящий душу напев. Во многих местах раздались истерические рыдания и крики, которые вконец истерзали сердца. Что-то громадное вдруг поднялось от земли вокруг этого бедного гроба, словно сама земля вопияла о ниспослании неведомого чуда...

И чудо совершилось: незаметное существование заурядного пошехонского обывателя нашло для себя апофеоз — в форме трупа.

Наконец замолк последний звук, и толпа медленно сплыла с кладбища...

НЕДОКОНЧЕННЫЕ БЕСЕДЫ

(«МЕЖДУ ДЕЛОМ»)

I

Приятель мой Глумов — человек очень добрый, но в то же время до крайности мрачный. Ни одной веселой мысли у него никогда не бывает, ни одного так называемого упования. Еще будучи в школе, он не питал ни малейшего доверия ни к профессорам, ни к воспитателям. По выходе из школы он перенес тот же безнадежный взгляд и на более обширную сферу жизни. Самое отрадное явление жизни, от которого все публицисты приходят в умиление, он умеет ощипать и сократить до таких размеров, что в результате оказывается или выеденное яйцо, или пакость. На самые светлые чаяния он в одно мгновение ока набрасывает такой сермяжный мундир, что просто хоть не уповай! Это до такой степени тяжело, что когда он приходит ко мне, человеку «упований», по преимуществу, то мне положительно становится не по себе.

И не то чтобы Глумов был обойден судьбою, был беден или по службе терпел неудачи — нет, в этом отношении он устроился очень удовлетворительно. А просто ропщет — и все тут. Придет, сядет, задумается, обопрется головой об руку и начнет через час по ложке задавать самые неожиданные, можно сказать, даже щекотливые вопросы. Куда девалось наше молодое поколение? Отчего в настоящее время люди так охотно лишают себя жизни? Отчего у нас нет критики? Правда ли, что на днях должно последовать, в административном порядке, окончательное решение женского вопроса? Правда ли, что в газете «Чего изволите?» готовится ряд статей об учреждении единой и нераздельной железнодорожной станции? и т. д. По всем этим вопросам он рассуждает пространно и озлобленно, и хотя я не раз пытался поворотить его на путь упований, но должен сознаться, что все мои усилия в этом смысле остались тщетными. Теперь я большею частью выслу-

шиваю его молча и только в случае крайней необходимости играю роль актера, подающего реплику.

Но, несмотря на постоянно придирчивое настроение духа моего приятеля, я считаю его человеком в высшей степени для меня полезным. Мы оба воспитывались в одном и том же заведении, оба принадлежим к школе сороковых годов, но он пошел по пути озлобления, а я по пути упований. Что ж! если нам так нравится, то в этом еще большой беды нет. Для меня даже удобно, что мы идем разными дорогами, потому что, при моем беспечном характере, Глумов играет в моей жизни роль memento mori, возвращающего меня к чувству действительности. По-видимому, мое существование идет вполне благополучно, ибо я постоянно живу в сфере сладкой уверенности, что со временем все разъяснится. Вчера я был в Михайловском театре — видел «La fille de m-me Angot»; [1] сегодня иду в театр Буфф — увижу «La fille de m-me Angot»; завтра отправляюсь в Мариинский театр — и опять возобновляю в своей памяти «La fille de m-me Angot». Что может быть благополучнее этого не разнообразного, но зато совершенно верного благополучия! Нет у меня ни митингов, ни парламентов, зато есть «La fille de m-me Angot» в трех интерпретациях; а быть может — на милость образца нет! — будет и «Timbale d'argent» [2]. Хожу я беспечно по солнечной стороне Невского проспекта и напеваю:

Pour qu'on admire tes appas,
Il faut que les miens ne se montrent pas! [3] —

и вдруг, несмотря на полнейшее благополучие, чувствую, что мне чего-то хочется. Чего именно хочется — этого, по беспечности характера, я и сам с достоверностью определить не могу. Может быть, хочется парламента (с жиру какие фантазии не забредут в голову!); может быть, съесть чего-нибудь; может быть, опять послушать «La fille de m-me Angot» в четвертой интерпретации; может быть, забраться в какую-нибудь канцелярскую комиссию и там заснуть... Но заснуть...

...не тем холодным сном могилы,

а так, чтоб и день, и ночь надо мною заливались канцелярские соловьи...

И вот в эту-то тяжкую минуту недоумений, когда я от нечего делать готов осведомиться у первого встречного, на ка-

[1] «Дочь мадам Анго».
[2] «Серебряный кубок».
[3] Чтобы можно было восхищаться твоими прелестями, // Нужно, чтобы не показывались мои!

кой улице помещается наш парламент, со мною равняется мой озлобленный друг и озадачивает меня вопросом:

— Да скоро ли же, наконец, начнется печатание ряда статей о единой и нераздельной железнодорожной станции? Что они мямлят!

Услышавши этот вопрос, я вдруг возвращаюсь к чувству действительности и начинаю понимать, чего мне хочется. Да, говорю я себе, не нужно для моего благополучия ни парламентов, ни митингов, ни земских собраний! А нужно только, чтоб газета «Чего изволите?» каждый день неупустительно твердила мне, что Россия тогда только будет счастлива, когда вполне исчерпается вопрос о необходимости учреждения единой и нераздельной железнодорожной станции.

«Господи! — думаю я,— сколько разнообразнейших эпизодов заключает в себе этот, по-видимому, бросовый вопрос! у скольких читателей можно будет вымотать душу, если умненько развивать его и не торопясь доводить до пределов последней ясности!»

Так вот об этом-то приятеле я и намереваюсь от времени до времени беседовать, или, лучше сказать, не столько об нем самом, сколько о тех мрачных вопросах, которыми он имеет обыкновение возвращать меня к чувству действительности. Если обстоятельства позволят, я постепенно переберу бо̀льшую часть занимавших нас вопросов, а чтоб не откладывать дела в долгий ящик, начинаю теперь же с одного из капитальнейших: куда девалось наше молодое поколение?

На днях приходит ко мне Глумов, как-то особенно мрачно настроенный. Садится, подпирает рукой голову, закуривает сигару и начинает исподволь рычать.

— Черт знает что делается! Отвратительно становится жить! — разражается он наконец.

Я сижу как на иголках, в ожидании, что вот-вот он сейчас огорошит меня.

— Правда ли,— говорит он наконец, с трудом сдерживая свой гнев,— правда ли, что газета «Чего изволите?» предполагает в будущем году украшать столбцы полным переводом заграничных путеводителей Бедекера?

— Послушай, мой друг! отчего у тебя всегда такие унылые мысли?

— Гм... унылые! почему же ты называешь их унылыми?

— Потому что это, наконец, бог знает какой отчаянный скептицизм! Кто же когда-нибудь сомневался, что под тою или другой формой, а «Чего изволите?» *непременно* напечатает полный перевод *всех* «путеводителей» Бедекера!

— Так, стало быть, правда?

— Столь же истинно, как и то, что вслед за Бедекером предполагается перепечатать географию Ободовского со всеми выпусками, сделанными цензурою в первом ее издании!

Наступило несколько минут тягостнейшего молчания, в продолжение которого лицо моего друга делалось все мрачнее и мрачнее. Ясно было, что эффект, произведенный на меня вопросом о Бедекере, не удовлетворил его и что он обдумывает средства так меня огорошить, чтоб я, как говорится, не усидел, не устоял. Наконец идея созрела. Он поднялся с кресла и почти угрожающим тоном обратился ко мне:

— Ну, черт с ним, с Бедекером! Нет, ты мне вот что скажи: куда девалось наше молодое поколение?

Переход был так неожидан, что поначалу я не вдруг собрался с мыслями. Мне показалось, что я не в первый раз слышу этот вопрос, что и в моей голове когда-то мелькало нечто подобное. Но отчего же вопрос этот только мелькал и ни разу не нашел для себя ясной формулы? оттого ли, что мысль моя слишком робка и ленива для разработки подобных сюжетов, или оттого, что самый вопрос неоснователен и не имеет никаких корней в современной действительности?

Вскоре, однако ж, я оправился от смущения. Обратившись к своей памяти, я нашел в ней такую бесконечную вереницу молодых адвокатов, молодых земских деятелей, молодых бюрократов, молодых фельетонистов (они же, по нужде, и публицисты), что подозрительность моего друга-мизантропа показалась мне просто смешным парадоксом.

— А наши адвокаты? — начал я,— надеюсь, что ты не будешь отрицать...

— Адвокаты, ты говоришь? Но разве их можно называть представителями, а тем более руководителями интеллигенции? Люди, которые занимаются отниманием чужой собственности! разве это свойственное «молодому поколению» занятие? разве это занятие вообще?

— Позволь! ты сказал: люди, занимающиеся отниманием чужой собственности! По-моему, это не совсем верно. Есть, конечно, адвокаты, которые свою деятельность посвящают преимущественно отниманию, но я уверен, что есть многие, которые занимаются не отниманием, а только возвращением собственности от незаконного владельца к законному!

— Во-первых, разграничить это очень трудно, если не невозможно. Адвокат не исповедник, и самый честный из них не может поручиться, что ему известна интимная сторона дела, а между тем она-то, собственно говоря, и составляет настоящую суть. Поэтому ни ты, ни он не в состоянии определить, где кончается «отнятие» и где начинается «возвращение».

А во-вторых, это даже и не существенно для меня. Отнимает ли адвокат собственность или возвращает ее,— все-таки он занимается ремеслом, к которому молодое поколение, взятое в смысле двигающей интеллигенции, должно относиться совершенно безразлично.

— Но ведь если гражданский суд существует, нельзя же его игнорировать, душа моя! Есть истцы, есть ответчики — не может же общество...

— Обойтись без адвокатов? — Совершенно верно. Общество нуждается в самых разнообразных профессиях, я это понимаю. Но ведь есть бесчисленное множество молодых сапожников, молодых слесарей, молодых золотарей,— и никому, однако ж, не приходит в голову сопричислить их к «молодому поколению»! А ежели говорить по совести, так, пожалуй, эти почтенные ремесленники имеют даже больше прав на это название, нежели адвокаты. Их мысль не изувечена, в их действиях нет злостности. Если сапожник шьет тебе сапоги, то он делает это без предвзятого намерения устроить у тебя на ногах мозоли, между тем как большинство адвокатов именно одну мозоль и имеет в виду.

— Как хочешь, но это парадокс, mon cher! [1]

— Очень возможно, но я того мнения, что слово «парадокс» глупые люди выдумали. Те люди, которым не по нутру истина и которые в то же время не знают, что возразить против нее. А, впрочем, парадокс так парадокс: меня, брат, жалкими словами не огорошишь! Постараемся быть еще парадоксальнее. Хочешь ли ты, например, знать, какое старинное ремесло напоминает мне ремесло современных русских адвокатов?

— Любопытно...

— Ремесло не помнящих родства бродяг. Эти люди никогда не могли определить себе заранее, где они проведут следующий час или, по крайней мере, следующую ночь. Так точно и современный русский адвокат: он никогда не может сказать, в каком вертепе проведет следующий час своей жизни, в вертепе ли «возвращения» или в вертепе «отнимания».

— И опять-таки парадокс! Блестящий... но парадокс!

Мой друг взглянул на меня, удивленными глазами и потянулся за шляпой.

— *Блестящий... но парадокс!* — *передразнил он меня*,— и откуда ты выражаться так научился! Ему дело говорят, а он: «блестящий... но парадокс!» И кто дал тебе право думать, что я желаю блистать перед тобой? Прощай.

[1] мой милый!

— Постой! зачем уходить! Поговорим. Ты знаешь: du choc des opinions... [1]

— Оставь!

— Ну, хорошо, хорошо! не буду! Но согласись, что и между адвокатами... ведь не все же чужую собственность... возвращают! Я знаю очень многих, которые даже к мысли о вознаграждении относятся без особенной страстности, а просто увлекаются тонкостями ремесла. Юридическая практика, душа моя, представляет такой разнообразный мир, который сам по себе может увлечь... право, даже независимо от вознаграждения!

— Ну?!

— Есть, братец, такие юридические вопросцы, разрешение которых даже в общечеловеческом смысле далеко не бесполезно. Например, представь себе, что я обещал тебе подарить что-нибудь — что означает это действие? Представляет ли оно обязательство или только обольщение? В законах-то, брат, на этот счет бабушка надвое сказала, а между тем для человечества... Как же тут не увлечься... даже помимо мысли о предстоящем вознаграждении?

— А я, стало быть, должен разыгрывать роль anima vilis [2], на которой ты будешь упражнять свою юридическую любознательность? Прощай.

— Да постой же. Ну, пожалуй, уступаю тебе адвокатов. Коли хочешь, уступлю еще и бюрократов...

— Слава богу! еще на двугривенный уступил!

— Ну, да, уступаю тебе и адвокатов, и бюрократов! Que diable! [3] В самом деле, какое же это «молодое поколение»! Какую двигающую мысль они собой представляют! Одни исполняют предначертания начальства, другие находят более выгодным исполнять предначертания своих клиентов! Да, я согласен: тут даже интеллигенции нет никакой! Но что ты скажешь, например, о наших земских деятелях?

— Это о тех, что ли, что в земских-то собраниях гудят?

— Гудят? — опять-таки резкое выражение, и ничего больше. Гудят или не гудят — это ведь безразлично, мой друг! Для нас важно одно: сила это или не сила?

— Сила... комариная!

— Комариная... позволь! Но ведь и комар иногда может... вспомни-ка басню о комаре и льве!

— Так ведь тот комар умный был! он в самую мякоть залез! а наши земские комары и места-то такие излюбили, от-

[1] из столкновения мнений...
[2] гнусной душонки.
[3] Кой черт!

куда их всего удобнее смахнуть можно! Смахнул — и нет его! Да и какое это «молодое поколение»! Я, брат, прошлым летом в «своих местах» был, так на земское собрание взглянуть полюбопытствовал: все подряд сивое мериньё сидит.

— Ну, вот видишь! как же тебе не сказать, что ты парадоксы говоришь! Сивое мериньё!.. Но разве у стариков не могут быть молодые мысли?

Но Глумов даже не ответил на мой вопрос. Он ходил взад и вперед по кабинету, хмуря брови и что-то вполголоса напевая. По временам он останавливался против меня, вперял в меня мутно-сосредоточенный взгляд и как бы машинально произносил:

— Душка!

Однако я далеко не сознавал себя побежденным. Мне даже показалось несколько обидным, что он так легко относится к моим мнениям. Душка! что это за слово! разве это опровержение! И я пустил ему в упор:

— Так и земские деятели не угодили тебе! Отлично! Люди, которые так охотно сами себя облагают сборами... которые так смело выразились по вопросу о всеобщей воинской повинности... Это не интеллигенция! И не забудь, что, независимо от сейчас названных вопросов, у них на плечах все мосты и перевозы! И это не интеллигенция... прекрасно! Что же ты после этого скажешь о нашей новой литературе? Надеюсь...

— Надейся!

— Душа моя, это не ответ! Если ты хочешь диспутировать, то диспутируй серьезно! Прежде всего надо уважать мнения своего противника!

— Хорошо. Хоть я и не согласен насчет «уважения» (ведь уважение достается само собой, а не предписывается), но пусть на этот раз будет по-твоему. Давай диспутировать. Хочешь ли ты знать, что такое твоя *новая* литература?

— Желаю знать.

— Изволь. Это средней руки кокотка, которая утратила даже сознание, что женщине легкого поведения больше, нежели всякой другой, необходимо соблюдать опрятность.

— Ого-го!

— Ты не думай, однако ж, что я говорю это в видах защиты старой литературы нашей. Я знаю, что литература у нас во все времена занималась гимнастикою недомолвок и изнурительным переливанием из пустого в порожнее. Но у старой литературы была известная опрятность, без которой податливая женщина делается просто отвратительною. Она умела вовремя остановиться, умела видеть в читателе честного челове-

ка. А нынче даже руководящий принцип опрятности утратил свою обязательность.

— И опять-таки пара...— заикнулся было я, но, вспомнив, что употребление слова «парадокс» строжайше воспрещено, продолжал: — Подумай, однако ж, мой друг! не отзывается ли такой взгляд на нашу новую литературу слишком исключительным ригоризмом? Воля твоя, а это ригоризм!

— И «парадокс», и «ригоризм» — два родные братца. Впрочем, это я только к слову, и если ты окончательно не можешь без того обойтись, то, сделай милость, уснащай свою речь ригоризмами, парадоксами и вообще всеми пустопорожними выражениями, которыми так богат пенкоснимательный лексикон. Затем прошу тебя понять мою мысль. Я сам не щепетилен, и ежели мне приходится выбирать между славословием и сквернословием — я всегда предпочту последнее. Что делать? таков, братец, дух русского языка! Сквернословие образнее, а образность — слабость моя. Поэтому я не о внешней опрятности говорю, которая может нравиться и не нравиться, но которая ни в каком случае не задевает внутреннего человека. Я говорю о той внутренней опрятности, которая заставляет человека если не бороться с нечистоплотными мыслями, то, по крайней мере, не так свободно выбалтываться!

— Примеров, душа моя, примеров!

— Примеров? а какой афоризм выработала новейшая русская литература в качестве руководящего жизненного принципа? — этот афоризм: «Наше время — не время широких задач». Разве это не довольно погано? С каким словом обращалась литература к нашему «молодому поколению»?..

— Вот видишь, ты, стало быть, сам признаешь, что у нас есть молодое поколение? — перебил я.

— Было, да сплыло... но не перебивай, об этом речь еще впереди... Итак: с каким словом обращалась литература к «молодому поколению»? с словом глумления и много-много с словом дряблого соболезнования! Укажи мне на то увлечение, которое не было бы в нашей литературе забрызгано грязью и не возведено в квадрат! Скажи, когда в другое время литература, сколько-нибудь опрятная, позволила бы себе остановиться на мысли, что жизнь есть непрерывная игра в бирюльки, и кто больше бирюлек вытащит, тот больше и заслужит перед любезным отечеством! «Наше время — не время широких задач»! И это говорится в такую минуту, когда ни широким, ни каким задачам доступа в литературу нет! Растолкуй, что это такое: отупелость, подвиливание или просто глупость?

— Но ведь нельзя же, черт побери, запрещать людям вы-

сказывать свои убеждения! Если мое убеждение таково, что наше время — не время широких задач, то почему же я, из-за каких-то ложных опасений, стану воздерживаться и насиловать себя?

— Да по тому же закону приличия, по которому ты воздерживаешься от некоторых естественных отправлений в публичных местах. Но если таково твое *убеждение*...

— Постой. Я совсем не говорю, что это мое убеждение. Напротив, я сам всегда говорил, что приведенная тобой фраза чересчур уже решительна. Я сознаюсь, что можно бы и другую форму употребить... а пожалуй, даже и никакой формы не употреблять... Но ведь ежели отбросить форму, ежели взглянуть только на сущность... согласись, qu'au fond il y a du vrai dans tout ceci! [1]

Но он опять оставил мое возражение без ответа и молча ходил по кабинету, так что я имел нелепый вид человека, говорящего «мысли вслух», адресуемые в пространство. Может быть, его рассердила моя заключительная французская фраза. Он всегда говорил мне, что я с своими французскими фразами, пересыпанными «парадоксами», «ригоризмами» и проч., представляю счастливое сочетание кокодеса и пенкоснимателя. Как бы то ни было, но через минуту после того он вновь остановился против меня, вперил в меня не то беспредметный, не то лукавый взгляд и, ущипнув меня за обе щеки (что делать! ради старого товарищества я даже эту фамильярность прощаю ему), произнес:

— Душка!

Потом, проскакав на одной ножке из одного конца в другой (что было в нем признаком редкого прилива веселости), подпевал:

Ах! не могу я не сознаться!
Но и признаться не могу!

— В этих словах вся суть современной русской литературы! — сказал он, обращаясь ко мне.— Тут есть все: и малодушие, исправленное малоумием, и малоумие, ищущее для себя смягчающих обстоятельств в малодушии!

— Но разве ты не знаешь условий нашей литературы! Разве не ужаснейшее это положение: надобно говорить, а говорить нельзя!

— Или, другими словами: хоть тресни, а говори! Прекрасно. Но в таком случае будь же опрятен. Не забегай, не заискивай! Не гаркай во все горло афоризмов, которые ничего,

[1] в сущности, во всем этом есть правда!

даже сострадания в литературных меценатах, возбудить не могут!

— Согласись, однако ж, что при необходимости говорить ежедневно не мудрено и провраться!

— У кого есть в голове царь, кто выработал себе известный взгляд на общность жизненных явлений, тот таким капитальным образом не проврется. Но довольно об литературе. Резюмируем наш спор. Из трех образчиков современного молодого поколения, на которые ты указал, одни занимаются отниманием чужой собственности, другие представляют собой принцип бессодержательного гудения и комариной силы, третьи, наконец, провозглашают: не торопитесь! ждите разъяснений! наше время — не время широких задач! Где же молодое-то поколение?

На этот раз задумался и я. Во мне происходила борьба. С одной стороны, слова этого лишенного упований человека действовали на меня заразительно; с другой — я никак не мог победить в себе мысли: как же это так? каждый день я гуляю по Невскому и вижу пропасть молодых людей всевозможных оружий,— и вдруг вопрос: куда девалось наше молодое поколение?

— Душа моя! — сказал я тоскливо,— да сообрази же ты, сделай милость! ведь если бы не существовало молодого поколения, не прекратился ли бы человеческий род?!

— Чудак! разве я в жеребячьем смысле с тобой говорю! — ответил он мне с нетерпением,— я ведь знаю, что в *производителях* нигде никогда недостатка не бывало!

Опять горькое сомнение! ужели вся эта молодежь, гремящая саблями о тротуары, наполняющая воплями наши суды, изливающая на всю Россию поток циркуляров, увлекающаяся вопросами о дарении, об единоутробии, об истинных признаках взлома, произносящая в земских собраниях угнетающие речи о неизбежности мостов и переправ, добросовестно пережевывающая в литературе вопросы о необходимости ожидать дальнейших разъяснений,— ужели все это только производители, способные лишь на то, чтобы производить других таких же производителей?

Если это так, если Глумов говорит правду, то что же ожидает нас впереди? Не должна ли, при подобных условиях, самая история прекратить течение? Положим, что наше, то есть ныне действующее молодое поколение — отпетое; допустим, что за него, в смысле двигающей силы, нельзя дать полгроша,— но в таком случае как же мы живем? Вопросы о неизбежности мостов и перевозов, о необходимости ожидать разъяснений — все это вопросы бесспорно полезные, но разве ими

человечество живет и движется, разве они составляют содержание истории? Должна же быть где-нибудь эта необходимая двигающая сила! Быть может, она скрывается в школах; быть может, разъединенная, но умудренная опытом, она продолжает дело движения, изменив лишь обстановку его и набросив на него до поры до времени пелену непроницаемости?

— Есть у нас, наконец, целый мир учащихся! — рискнул заметить я.

— Да, есть; есть учащие, должны быть и учащиеся.

— Неужели же ты и их не причисляешь к молодому поколению?

— Вот видишь ли, любезный друг! я имею привычку говорить только о том, что доподлинно знаю, а разве можно что-нибудь знать об учащихся! Учащееся поколение находится вне арены исторической жизни; в массе это материал, на котором так или иначе может отразиться дух современности, но не агент этого духа. Взгляни на каплунов-пенкоснимателей современной литературы! ведь и они были когда-то учащимся поколением и даже, пожалуй, горели энтузиазмом к Грановскому — а что из них вышло!

— Но если я не ошибаюсь, наша литература именно в учащихся и видела «молодое поколение», когда указывала на некоторые особенности современной русской жизни?

— Да ведь это, братец, делалось для того, чтоб смешнее вышло. В последнее время наша литература поставила себе совершенно новую задачу: изобразить в смешном виде все цели, к которым стремилась передовая мысль. Каким образом достичь этого? заставить начальника отделения рассуждать «о пище» по Молешотту и «о происхождении видов» по Дарвину — пожалуй, выйдет и смешно, но смех над такими «особами» нежелателен. Заставить действительного представителя молодого поколения о тех же предметах беседовать — того гляди, не будет смешно. Стало быть, лучше всего взять подростка и предоставить ему изъяснять своим родителям, что они от обезьяны происходят. И пронзительно, и смешно. Ведь я же говорил тебе, что новейшая русская литература есть средней руки кокотка, которая позабыла, что для нее прежде всего обязателен закон чистоплотности!

— Однако нельзя же предполагать, чтобы литература так нагло лгала. Вероятно, было же нечто подобное, если даже наша нечуткая литература о том засвидетельствовала?

— Еще бы не было! Дело детское. Но ведь подобные факты доказывают только одно: что в обществе в данный момент го-

сподствует известное направление. Если в обществе царствует вкус к военным упражнениям — дети маршируют, играют в солдатики и бьют в барабаны; если общество озабочено только ограждением общественной безопасности — дети фискалят, наушничают и т. п.; если в общество проникает стремление проверить авторитеты, дотоле руководившие им,— дети начинают объяснять родителям, что они происходят от обезьян. Это вопрос педагогический, а не политический, а потому тот, кто хочет рисовать общество, а не карикатуру на него, должен брать предметом для своих исследований взрослых, а не детей.

Таким образом, и эта попытка отстоять существование «молодого поколения», в качестве действующей двигающей силы, рушилась. Нет молодого поколения. Есть адвокаты, есть земские деятели, есть литераторы, сапожники, золотари, производители — все, что угодно, исключая «молодого поколения»!

— Да ведь ты сейчас же сам обмолвился, что оно *было,* это искомое «молодое поколение»? — обратился я к Глумову.

— Не «обмолвился», а говорил утвердительно, и теперь утвердительно повторяю: было!!

— Где же оно?

— Это, брат, история длинная и горестная. Может быть, расскажу ее тебе — но *в другой раз...*

II

Первый час утра; вслед за сильным звонком вбегает в мой кабинет Глумов, на лице которого я читаю, что он намерен в чем-то поймать или уличить меня.

Накануне мы с ним таки поспорили. По обыкновению, он предложил загадку: отчего умственный уровень упал везде, во всех отраслях человеческой деятельности, исключая железнодорожной? — и, по обыкновению же, я отвечал, что прежде надобно еще доказать понижение умственного уровня, а потом уж искать причину, так как, по мнению моему, умственный уровень не только не понизился, но, с божьею помощью, идет все в гору и в гору. В подтверждение я сослался на музыку и указал на блестящую плеяду молодых русских композиторов, на ее стремление осмыслить мир звуков, приспособить его к точному выражению разнообразнейших жизненных функций, начиная от самых простейших и кончая самыми сложными.

— Прежде,— говорил я,— музыка выражала только неясные ощущения печали и радости, да и тут все зависело не столько от содержания звуковых сочетаний, сколько от замедления или ускорения темпа. Теперь же найдены такие звуковые сочетания, в которых можно уложить даже полемику между Сеченовым и Кавелиным. И ты ни разу не ошибешься определить: когда полемизирует Сеченов и когда — Кавелин.

— То есть тебе скажет Неуважай-Корыто: вот это поет Сеченов, а это — Кавелин,— и ты должен верить.

— Нет, не Неуважай-Корыто, а ты сам поймешь, что Сеченов — basso profondo [1], а Кавелин — tenore di grazia [2].

— Да ведь и Катков, братец, basso profondo!

— Ну, нет, Катков — это симфония особого рода!

Тем бы, может быть, разговор наш и кончился, но Глумов вдруг запел. Сначала он прогремел коронационный марш из Мейерберова «Пророка», а вслед за тем проурчал несколько тактов из Vorspiel'я [3] к «Каменному гостю». Проделавши это, он как-то злорадно взглянул на меня.

Признаюсь: при всем несовершенстве голосовых средств Глумова, разница была так ощутительна, что мне сделалось неловко. Действительно, думалось мне, есть в этом Vorspiel'е что-то такое, что скорее говорит о «посещении города Чебоксар холерою», нежели о сказочной Севилье и о той теплой, благоухающей ночи, среди которой так загадочно и случайно подкашивается жизненная мощь Дон-Жуана.

— Да ты Неуважай-Корыто знаешь? — вдруг спросил меня Глумов.

— Немного знаю, а что?

— Ладно. Завтра скажу.

Он ушел, не произнеся больше ни слова. Теперь он явился.

— Идем! — сказал он, злорадно потирая руки.

— Куда? зачем?

— Говорю: идем!

Через четверть часа мы были в квартире Неуважай-Корыта. Я с любопытством осматривался кругом, ибо здесь, в этих стенах, разработывался тип той новой музыки, которой предстояло изобразить полемику Сеченова с Кавелиным. Лично Неуважай-Корыто не был композитором (он, впрочем, сочинил музыкальную теорему под названием «Похвала равнобедренному треугольнику»), но был подстрекателем и укрывателем. Он осуществлял собой критика-реформатора, которого день и

[1] глубокий бас.
[2] лирический тенор.
[3] Вступления.

ночь преследовала мысль об упразднении слова и о замене его инструментальною и вокальною музыкой. Мы застали его в халате, пробующим какой-то невиданный инструмент, купленный с аукциона в частном ломбарде (впоследствии это оказалась балалайка, на которой некогда играл Микула Селянинович). Это был длинный человек, с длинным лицом, длинным носом, длинными волосами, прямыми прядями падавшими на длинную шею, длинными руками, длинными пальцами и длинными ногами. Халат у него был длинный, обхваченный кругом длинным поясом с длинными кистями. Это до такой степени было поразительно, что самый кабинет его и все, что в нем было, казалось необыкновенно длинным.

— Вот тебе, Никифор Гаврилыч, новый адепт! — представил меня Глумов.

— Очень рад! очень рад! Мы немного знакомы, но на почве музыки покуда еще не встречались... позвольте приветствовать!

Он протянул мне обе свои длинные руки и так сжал мои в своих костлявых пальцах, что мне показалось, словно я попал в передел к самому «Каменому гостю».

— И скажу вам,— продолжал он,— что вы пожаловали очень кстати, потому что Василий Иваныч здесь.

— Василий Иваныч? кто же такой этот Василий Иваныч? — легкомысленно спросил я.

Неуважай-Корыто сначала удивился и даже откинулся корпусом назад, но потом вспомнил нечто, ударил себе по лбу и снисходительно улыбнулся.

— Да! что ж я! — воскликнул он,— я и забыл, что вы новичок! Вы знаете Мусоргского, Римского-Корсакова, Кюи — и думаете, что с вас этого будет! Но мы, батенька,— совсем другое дело! Мы так легко не удовлетворяемся! Мы не отдыхаем-с! Мы ищем, и находим-с! И находим — Василья Иваныча-с!

Сказавши это, он троекратно вздрогнул от наслаждения и начал длинными ногами шагать по длиному кабинету, ежеминутно длинными руками отбрасывая назад длинные волосы.

— Да-с! — продолжал он,— Василий Иваныч — это, доложу вам, своего рода аэролит-с! Бывает это! Бывает, что вокруг царствует полнейшее и гнуснейшее затишье — и вдруг словно камнем по лбу хватит! Это — Василий Иваныч!

— Да что за Василий Иваныч такой? откуда ты его выкопал? — заинтересовался Глумов.

— Ну, нет! Это покуда еще секрет! Он у нас еще под спу-

дом! Вот мы его сначала выдержим, вышлифуем, а потом и отдадим Ларошам на поругание!

— По крайней мере, покажешь ты его нам?

— Нет, и не покажу. Услышать вы его услышите, а видеть — ни-ни. Вот он у меня здесь, в этой комнате, рядом. С полчаса тому назад он позавтракал и теперь спит. Вообще он ведет удивительно правильную жизнь: половину дня ест и спит, другую половину — на фортепьяно играет. Представьте себе, он никогда никакой книги не читал, кроме моих критических статей да еще полного собрания либретто, изданного книгопродавцем Вольфом!

— Но ежели он ничего не читал, то ведь умственный его кругозор...

— Должен быть ограничен, хочешь ты сказать? — Я совершенно с тобою согласен. Но мы нашли его так недавно, что ничего еще не успели сделать для умственного его развития; это придет со временем. Впрочем, дело не в том, откуда он почерпает содержание для своего творчества, а в том, что у него есть это содержание, и он относится к нему вполне правильно. Жизнь целой вселенной есть не что иное, как бесконечный контрапункт — вот исходная точка. До сих пор он поднял только один край завесы, он наблюдал только простые и несложные явления, но надобно видеть, с какою изумительною осязаемостью он их воспроизвел! Засим, когда он от простых задач постепенно будет переходить к более и более сложным, то сам собою придет и к воспроизведению бесконечного: это уж наша забота, как направить его!

При этих словах он инстинктивно оттопырил губы и испустил звук вроде трубного. Вероятно, под влиянием идеи бесконечного он вспомнил о Страшном суде.

— Он скоро проснется! Вы услышите его! — продолжал он после кратковременной остановки, подойдя к спущенной портьере и заглядывая в соседнюю комнату.— Вот он уже плюнул — верный знак, что скоро проснется!

И действительно, не прошло минуты, как мы услышали такое чудовищное зевание, что я разом перенесся воображением в зало Мариинского театра, в одно из представлений «Псковитянки».

— Каков пошиб зевоты! — воскликнул Неуважай-Корыто и вдруг ударил себя по лбу,— ба! идея!

Он подбежал к письменному столу и что-то наскоро написал на листе бумаги. Потом он взял этот лист и поднес его к моим глазам. Я прочитал: «Симфоническая рапсодия (A-dur): чиновник департамента разных податей и сборов, зевающий над чтением музыкального обозрения г. Лароша».

— Департамент разных податей и сборов уже не существует,— сказал я,— он распался надвое: на департамент окладных сборов и департамент неокладных сборов.

— Благодарю вас! ваше замечание важнее, нежели вы полагаете! Мы обязаны изображать в звуковых сочетаниях не только мысли и ощущения, но и самую обстановку, среди которой они происходят, не исключая даже цвета и формы вицмундиров. Все должно быть слажено так, чтоб никто не мог уличить нас в клевете.

В это мгновение из соседней комнаты донесся новый звук: Василий Иваныч отдувался.

— Опять идея! — воскликнул Неуважай-Корыто, снова подбегая к письменному столу.

Я прочитал: «Симфоническая идиллия (f-moll): Ной, после известного злоупотребления виноградным соком, просыпается и не понимает, что вокруг него происходит».

— Это для Василия Ивановича?

— Да, для него. Разумеется, постепенно. Сначала он обработает тему о чиновнике департамента окладных сборов, а потом и к Ною приступит. Кстати, не забыть бы! надо купить для Василия Ивановича Священную историю...

— Ты, брат, с картинками! — посоветовал Глумов.

— Господи! прости наши прегрешения! — вдруг раздалось в соседней комнате.

— Слышите! слышите! кажется, он говорит! — как-то испуганно засуетился Неуважай-Корыто.

— Да; а что?

— Он никогда... никогда не говорит! Это новость! Василий Иваныч! батюшка! что с вами?

— Му-у-у!

— Вот это — так! Он всегда выражает свои ощущения простыми звуками! Иногда это очень оригинально выходит. Однажды он вдруг крикнул: «ЫЫ!» — и что бы вы думали! сейчас же после этого сел за фортепьяно и импровизировал свою бессмертную буффонаду: «Извозчик, в темную ночь отыскивающий потерянный кнут»!

— И ты так-таки и не покажешь нам автора этой бессмертной буффонады? — упрекнул Глумов.— Господи! хоть бы глазком на него взглянуть!

— Нельзя, душа моя! Я тебе говорю: он под спудом у нас! Пускай он там, в той комнате, для нас поиграет, а мы его отсюда послушаем! Василий Иваныч! — крикнул он,— пришли господа, которые желают вас послушать! Сыграйте, голубчик! И знаете ли что: сыграйте-ка сначала «Поленьку»!

— Го-го-го! — откликнулся Василий Иваныч.

Мы сели все трое на диван: Неуважай-Корыто посередке, мы с Глумовым — по бокам. Раздался аккорд.

— Слушайте! слушайте! дишканты! заметьте работу дишкантов! — шепнул нам Неуважай-Корыто, сдерживая дыхание.

Действительно, дишканты работали сильно; Василий Иваныч необыкновенно быстро перебирал пальцами по клавишам верхнего регистра, перебирал-перебирал — и вдруг простукал несколько нот в басу.

— Это — няня Пафнутьевна! — шепотом объяснил Неуважай-Корыто.

Опять дишканты; щебечут, взвизгивают, и все словно на одном месте толкутся, и вдруг — бум! — опять няня Пафнутьевна! Бум-бум-бум! — и снова дишканты! Защебетали, застрекотали — бум! — и затем хаос... Руки забегали по всей клавиатуре от верхнего конца до нижнего и наоборот...

— Поленька поссорилась с Пафнутьевной...

Пауза. Неуважай-Корыто, не сводя глаз с портьеры, хватает нас обеими руками за рукава сюртуков, как бы желает воспрепятствовать, чтобы мы не ушли. Глумов открывает рот, чтобы что-то сказать, но Неуважай-Корыто мгновенно закрывает ему рот рукою и делает головою жест не то умоляющий, не то приказательный. Пауза длится пять минут, после чего игра возобновляется. В деле принимают участие уже только две самые верхние октавы, на пространстве которых пальцы Василия Ивановича без устали переливают из пустого в порожнее; темп постепенно замедляется и впадает в арпеджио.

— Поленька просит прощения! — чуть дыша, произносит Неуважай-Корыто.

Бум! — Пафнутьевна не прощает! Звуки сливаются; дишканты, басы, средний регистр — все смешалось. Руки Василия Иваныча аккордами забегали по клавишам... бац! кто-то всем телом сел на клавиатуру и извлек...

— Это примирение! — воскликнул Неуважай-Корыто и поднял такой гром ладонями, что можно было подумать, что они у него костяные.

— Каково? — обратился он к нам, когда в соседней комнате водворилась тишина.

— Хорошо, братец! — ответил Глумов,— только вот чего я не понимаю: почему это «Поленька», а не «Наденька»?

— Глумов! ты ничего не смыслишь! ты не понимаешь даже, что у Наденьки совсем другой музыкальный образ, нежели у Поленьки! Наденька мечтательна и сентиментальна, Поленька — бойка и игрива. Наденька никогда не ссо-

рится с Пафнутьевной, Поленька — на каждом шагу! Наденька — f-moll, Поленька — C-dur. Неужели, наконец, это не ясно?

— Ясно-то ясно, а все-таки...

— Глумов! ты профан! Василий Иваныч! душенька! Слышите, Глумов утверждает, что это «Наденька», а не «Поленька»!

— Цырк!

— Вот видишь — он рассердился! И он не будет больше играть! Нельзя так, душа моя! Ведь он художник! он очень на эти вещи чувствителен!

— Цырк! цырк! цырк! — раздавалось за портьерой.

— Теперь — кончено! теперь — он ни за что не станет играть! А кто виноват? Нельзя так, мой друг! Ежели ты ничего не смыслишь в музыке, то это тем меньше дает тебе прав оскорблять человека... художника!

— Господи, да разве я намеренно? разве я знаю ваши обычаи? Ты бы сказал, что сомнений не допускается! Хочешь, я у него прощения попрошу?

— Хорошо, только это еще вопрос! Он художник, а для художника раскаянье — еще не все! Не в том дело, что ты просишь забыть о своей опрометчивости, а в том, что тут есть прискорбный факт, которого уничтожить нельзя! Это не какой-нибудь Мендельсон-Бартольди, у которого («Гебриды») нельзя понять, море ли плещет или пьяные матросы покачиваются (однако и у него есть уже представление о «качке»! — прибавил он, приложив длинный палец к длинному лбу),— это Василий Иваныч... понимаешь? Тот Василий Иваныч, у которого всякий звук так типичен, так ясен и реален, что он имеет полное право требовать, чтоб слушатель, без всякого предуведомления, прямо, сказал: да! это она! это «Поленька»! И ежели нашелся слушатель, который этого не сказал, ежели...

— Постой! я все-таки попробую! может быть, он и простит! Василий Иванович! батюшка! — обратился Глумов по направлению к соседней комнате,— по глупости ведь я! Ну, какая же это «Наденька», ежели вы говорите, что это «Поленька»! Простите же, голубчик, да сыграйте еще что-нибудь!

Но Василий Иваныч ни одним звуком не ответил на мольбу Глумова. Мы приняли бы это молчание в неблагоприятную сторону, если б Неуважай-Корыто не успокоил нас.

— Не цыркает — значит, смягчается! — шепнул он,— самолюбив он у нас — страшно! У всех этих художников раны какие-то — точно под Севастополем они изувечены! Прикоснись только — беда! Просите, просите еще!

— Ты-то что ж стоишь! проси! — толкнул меня Глумов.

— Василий Иваныч! — начал я,— за что же я-то наказан! Я-то, собственно, ведь ни на минуту даже не усумнился, что это «Поленька»!

— Му-у-у! — слабо раздалось по ту сторону портьеры.

— Ну, вот! слава богу! отлегло! — более знаками, чем словами, объяснил нам Неуважай-Корыто и, обратившись к портьере, громко прибавил: — Василий Иваныч! милейший! И в самом деле! сыграйте-ка... ну, что бы такое? ну, вот хоть ваш «симфонический tableau de genre»: «Торжество начальника отделения департамента полиции исполнительной по поводу получения чина статского советника»... сыграете?

— Го-го-го!

Мы опять в том же порядке уселись на диван; но Неуважай-Корыто выпятился несколько вперед и простер перед нами руки.

— Начинается! — шепнул он.

Tremolo в нижнем регистре, потом tremolo в среднем регистре, наконец tremolo в верхнем регистре. Pianissimo, piano, sforzando, forte, fortissimo, потом diminuendo, piano, pianissimo — раз десять одно и то же.

— Это *он* мечтает. Что лучше,— спрашивает он себя,— чин статского советника или орден святыя Анны второй степени?.. Заметьте эту фразу: святы-ы-ыя Анны-и! Заметьте, как он вдруг обрубил: Анны-и!

Василий Иваныч пальцем ударяет в нескольких местах по клавишам — это «переход». Затем следует трель, которая попеременно проделывается во всех регистрах и из-за которой смутно выступает какой-то мотив. Не то «во лузях», не то «по улице мостовой», не то «шли наши ребята»...

— *Он* охорашивается перед зеркалом... слышите: ззз? — Это щетка по голове ходит... А вот и песни... слышите, русская песня раздается? — это *он* детство вспоминает... *Он* — сын попа... слышите эту трель в дишканту — это вйца! вйца свистит!

Минутная пауза («он идет в департамент!»). Несколько раз сряду повторяется звук, образуемый двумя соседними клавишами, ударяемыми одновременно («он пришел в департамент и снимает калоши... слышите, шлепают!»), потом рррр... («это сторож Михеич харкает!») и вдруг — бум! буми-бум! бум-бум!

— Директор звонит! — в ужасе шепчет Неуважай-Корыто.

Coda; отдаленные звуки альпийского рожка и тирольской песни... чок-чок-чок!

— Директор целует *его!*

Sforzando, forte, fortissimo... Дишканты звенят, средний регистр подзванивает, басы рокочут... Общий торжественный гимн — во вся. Раздаются несколько аккордов «Славься!» — и утопают в невыразимой трескотне.

— Слышите: какофония? — это поздравляют его разом все прочие начальники отделения, а также сослуживцы и подчиненные. Слышите: оттолчка в басу? — это экзекутор! Но так как все они не имеют ни малейшего понятия о правильной постройке звуковых сочетаний, то понятное дело, что хор выходит, как говорится, кто в лес, кто по дрова...

Первая часть кончена. После пятиминутного антракта начинается вторая часть. Я не буду, впрочем, следить за игрой Василия Иваныча, а поделюсь с читателем только объяснениями Неуважай-Корыто.

— *Он* возвращается домой и передает жене о случившемся. Allegro energico, в котором выражается *его* признательность начальству. Слышите! слышите! дишканты! дишканты! Это дети веселой гурьбой врываются в комнату и поздравляют отца. Но вот и дети, и жена уходят, *он* остается один. Чу! звуки пастушьей свирели! Lentamente con tranquilezza. Опять отзывается прошлое. Воспоминания плывут, плывут... Серый дом, нетопленная печь, отец — поп, мать — попадья, на столе — полштоф сивухи... Слышите: буль-буль — это они наливают вино... А на дворе — *он! Он* засучил рубашонку и шлепает по грязи... шлеп! шлеп! шлеп! Трах! полетели брызги — *он* упал в лужу... слышите: в дишкантах! — это брызги! — Вот он барахтается, а в это время издали доносится удалая песня дьячка, возвращающегося из кабака... Ближе, ближе — и вот...

Целый гром льется на нас из-за портьеры. Я прислушиваюсь и узнаю «Вниз по матушке по Волге»... Но под пальцами Василия Иваныча она скорее похожа на «херувимскую» Львова, нежели на разгульную бурлацкую песню.

— Чи-рик! Чи-рик! — продолжает объяснять Неуважай-Корыто,— allegro giocoso... Это поздравляют департаментские сторожа. Слышите, как отбивает нижнее do,— это Михеич; а там вверху, словно брызгами, вторит ему si-bemol — это разливается директорский курьер Семенчук... Пятирублевая бумажка — заметьте, как мимоходом удивительно обрисован Дмитрий Донской! — полагает предел этим восторгам. Общий гимн, на манер «Тебе бога хвалим»...

Вторая часть кончена.

Часть третья. Содержание ее: пирушка по случаю получения чина статского советника. Подают пирог («с сигом и с капустой! слышите! слышите! как запахло! слышите, как звякают ножи и вилки, как сыплются на тарелки крошки сига, как чавкает экзекутор Иван Михайлыч!»). Чи-рик! чи-рик! Agitato. Входит отставной, похожий на старинной формы подсвечник, губернатор, находящийся двадцать лет под судом и пользующийся лишь половинной пенсией. Выпив предварительно рюмку очищенной, он начинает «рассказ» о претерпенных им бедствиях. Двадцать лет, говорит он, я был губернатором и двадцать же (tremolo) лет нахожусь под судом! Самое дело о моих гнусных преступлениях пропало в сенате,— а меня все не реша-а-а-а-ют, и я все еще нахожусь на половинной пенсии! И вот теперь, вместе с многими другими генералами, я состою в качестве загонщика при Самуиле Соломоныче Полякове! («Заметьте этот рассказ! он весь держится на одной ноте, то замедляемой, то ускоряемой!») — Милости просим, ваше прево-о-о-сходительство! — говорит виновник торжества,— хоть я и забыл вас пригласить, однако в такой день и для незваных кусок пирога найдется! («Заметьте эту фразу: «х'ть я и забы-ы-ы-ыл ва-ас пригл'сить»... а какова язвительность этого sol-dièze! [1] заметьте, как отодвигаются стулья, чтобы дать место новому гостю... тррр... тррр... изумительно!») Опять еда; ножи звякают, крошки пирога сыплются. Подают шампанское. Василий Иваныч по ту сторону, а Неуважай-Корыто по сю сторону портьеры подражают губами хлопанью пробок. Входит еврей. «Насе вам поцтение! — подпевает Неуважай-Корыто,— кольцы, броски хороси! и помада, и духи!» («Понимаете? это, собственно говоря, полемический прием! Это Мендельсон-Бартольди и Мейербер... жиды!») Жида обступают, торгуются с ним и в заключение показывают свиное ухо. Жид убегает. Общий хор (alla capella), оканчивающийся приглашением на преферанс.

Четвертая часть. Иван Михайлыч объявляет семь в червях. Отставной губернатор подсматривает в карты и, видя, что Иван Михайлыч принял туза пик за туза червей, провозглашает: «Вистую и приглашаю — в темную!» Мгновенно обнаруживается роковая ошибка. Трио: он (я) без трех! — к которому незаметно присоединяются голоса прочих. Тррах! — раздается раздирающий уши звук...

— Конец еще не доделан,— объясняет Неуважай-Корыто,— мы даже не знаем, следует ли остановиться на четвертой части или написать еще с десяток частей. Некоторые из

[1] соль-диез.

«наших» говорят, что надо ограничиться четвертою частью, но Василий Иваныч, а вместе с ним и я полагаем, что необходимо продолжать. Не забудьте, что вслед за праздником у виновника торжества должно последовать приглашение от Ивана Михайлыча, у которого, кстати, жена родила, потом приглашение (на селедку) от находящегося под судом губернатора, где гости уличают хозяина в нечистой игре в карты; потом наш герой едет благодарить директора (который знакомит его с своею женою), потом — министра, и наконец, поблагодарив всех, убеждается, что ему ничего больше не остается, как благодарить создателя. Ежели ограничиться только четырьмя частями, то придется все это оставить. Не правда ли, жалко?

— Да еще как жалко-то! Не оставляй! Слушай! у него поясница... надежная?

— Поясница у него — удивительная!

— Пусть продолжает! пускай пишет все десять частей!

— Василий Иваныч! голубчик! вот и Глумов на нашей стороне! он тоже говорит, что надо продолжать!

— Му-у-у!

— Итак, будем продолжать! — говорил Неуважай-Корыто, весело потирая руки,— а теперь, господа, не хотите ли чего-нибудь легонького, буффонаду какую-нибудь... например: «Извозчик, отыскивающий в темную ночь потерянный кнут»?

Но мы уже ничего не слушали. Мы наскоро простились с гостеприимным хозяином, наскоро накинули шубы на плечи и выбежали на улицу.

Некоторое время мы шли подавленные, ошеломленные.

— И ты не хочешь понять, отчего нынче так много самоубийств! — вдруг обратился ко мне Глумов.— Вот хоть бы этот самый Василий Иваныч... как освободится он от этих звуков, которые со всех сторон осаждают его, которые, как он ни беги от них, все-таки настигнут его? Одно средство... прорубь!

III

На этот раз Глумов пришел в настроение самообличения.

— Да, брат,— сказал он,— все мы только по наружности об каких-то новых порядках разглагольствуем, а разбери-ка хорошенько: ведь мы только и дышим тем, что̀ в нас от старой закваски осталось, да еще теми лазейками, которые эта закваска отыскивает для себя в так называемых новых порядках.

— Не чрез край ли ты, однако ж, хватил? — возразил я,— ведь жить тем, что мы прячем, в чем не можем открыто соз-

наться — право, дело довольно трудное. Как бы ни сильно говорила в нас старая закваска, мы все-таки чувствуем, что обнаруживать ее не совсем для нас удобно: как же жить, опираясь на такой сомнительный материал? Да и сама формальная обстановка современной жизни так уж сложилась, что волей-неволей приходится оставить старую закваску.

— Что касается до того, что мы не имеем смелости открыто обнаруживать живущую в нас старую закваску, то это обязывает нас совсем не к тому, чтобы расстаться с нею, а только к тому, чтобы действовать исподтишка. Поэтому для своего прикрытия мы выдумали целую бессодержательную фразеологию; мы изобретаем каждый день новые обстановки, в которых новое представляют, собственно, только формы; одним словом, потихоньку блудим и пакостим в руку старине. И ежели все это, взятое вместе, действительно представляет очень сомнительный жизненный материал, то усилия, которые мы употребляем для ограждения его от погибели, все-таки доказывают, что он нам дорог, несмотря на свою негодность. А что касается до влияния формальной обстановки современной жизни, то само собой разумеется, что я не полезу в уездный суд с просьбой, коль скоро знаю, что уездные суды упразднены. Это так, это влияние я признаю.

— Послушай! ведь это у тебя уж привычка такая — все в странном свете представлять. Не одни уездные суды, а кой-что и другое. И даже не кой-что, а очень многое. Разумеется, старики, вот как мы с тобой...

— Да я об стариках-то, собственно, и говорю, потому что покуда они одни и стоят на виду. Что будет с подрастающим поколением, как будет оно действовать и какие чувства проявлять — этого я не знаю, хотя приблизительно и могу догадываться, что оно будет лучше, да и ему будет лучше. Я говорю о деятелях минуты — кто эти деятели? Ведь это, брат, мы с тобой, мы, пропитанные насквозь преданиями крепостного права, мы, для которых упразднение старых судов, например, означает только, что отныне до такой-то суммы человек мировому судье подсуден, а свыше этой суммы — окружному суду.

— Нет, с этим я положительно согласиться не могу. Не говоря уже о том, что, кроме нас и наших сверстников, в числе современных деятелей найдется достаточно и молодых людей, почти чуждых преданиям крепостного права, я утверждаю, что даже мы, старики,— да, и мы изменились к лучшему. Скажу, например, про себя. Конечно, отмена крепостного права встречена была мною с сочувствием преимущественно с точки зрения идеальной, как величайшая и либеральнейшая мера нашего времени; конечно, личные матерьяльные мои интересы

были настолько задеты ею, что я... ну да, я сознаюсь в этом... я не мог не *почувствовать* последствий ее... Но ведь в человеке есть ум, душа моя, ум, который доказывает, что в известных случаях возврата не может быть. Я понял, что личное чувство мое должно подчиниться... я убедил себя, я делал в этом смысле усилия...

— И успел в этих усилиях?

— Да, успел.

— И никогда тебя не подмывало дать подножку новым порядкам? Никогда, даже инстинктивно, ты не старался утянуть что-нибудь, устроить какую-нибудь возможность... ну, хоть возможность тыкать вперед руками?

— Никогда!

Глумов посмотрел на меня не то проницательно, не то с укором, как смотрят на человека, от которого не ждали, чтоб он солгал.

— Ну, исполать тебе! — произнес он,— а вот я, постепенно об себе размышляючи, знаешь ли, на какое открытие я набрел?

— На какое?

— А на такое, что и до сих пор, несмотря ни на какие новые порядки, нет для меня удовольствия выше, как на травлю смотреть.

— Как так?

— Да так вот. Люблю, братец, видеть, как связанного человека бьют. Нет для моего нутра усладительнее этого зрелища! Искажения человеческого лица, корчи, подавленные вздохи... прелесть!

— Да где же ты ухитряешься нынче отыскивать подобные зрелища?

— Везде, голубчик, на каждом шагу; а чтоб не захватывать слишком широко, ограничимся хоть камерою суда.

— Помилуй! отправление правосудия...

— Отправление правосудия — само собой, а травля — сама собой. В том-то и вещь, душа моя, что отправление-то правосудия интересует меня на золотник, а от травли — у меня дыхание в зобу спирается. И я тоже думал, как крепостное-то право рухнуло: ну, думаю, пропали мы теперь! Теперь и досугов наших девать нам некуда, потому что отныне все на тонкой деликатности пойдет. И вдруг меня словно озарило: сéм-ка на уголовное судоговорение схожу. Пришел — и духом обновился: так на меня из старой кладовой и пахнуло. Боже ты мой! как они его били! Сперва вышел один молодой человек — и с маху по щеке ударил; потом разбежался другой молодой человек — и вырвал клок волос; потом выступил развязным шагом третий молодой человек — и запустил живого ежа в

глотку; четвертый молодой человек, ради шутки, встал сбоку — и облил помоями. Бойко, весело, остроумно, с полной уверенностью в безнаказанности... ах, молодые люди!

Я молча выслушал эту диатрибу и некоторое время раздумывал, что бы такое возразить. Мысль Глумова поражала странностью, почти неожиданностью. Я знал очень хорошо, что в современном уголовном судопроизводстве действуют представители так называемых «сторон», которые и устраивают промеж себя обвинительно-защитительный турнир, но чтобы можно было по этому случаю набрести на мысль о «травле» — это и в голову мне не приходило. Поэтому разоблаченье Глумова произвело на меня отупляющее впечатление. Проверяя это впечатление, я не мог, впрочем, не сознаться сейчас же, что и во мне таится какое-то словно бы болезненное пристрастие к современному русскому уголовному процессу. Тем не менее до сих пор я старался объяснить себе это явление некоторыми сочувственными мне формами, в которые этот процесс облечен: публичностью, скоростью, равноправностью обвинения и защиты, наконец, присутствием присяжных заседателей, выражающих живую общественную совесть. И вот является человек, который говорит мне: не то! совсем не отправление правосудия тебя занимает, а травля! Конечно, Глумов преувеличивает, но почему же, однако, когда я прочитывал стенографические отчеты, например, процессов супругов Непениных или игуменьи Митрофании, у меня то и дело вырывались восклицания: «молодец!», «хорошенько его!», «так его, так... катай!» Какое отношение имели эти восклицания к «отправлению правосудия»? Не говорило ли во мне в этом случае, напротив, то животное чувство травли, которое заставляет человека сосредоточивать внимание исключительно на защитительно-обвинительном турнире, совершающемся по поводу процесса, а не на содержании самого процесса или на предполагаемом исходе его?

— Да, брат, люблю видеть, как связанного человека бьют! — продолжал между тем Глумов, как бы отвечая на мои тайные размышления,— да ведь и вообще вся наша публика это любит и только иезуитствует, ссылаясь на какой-то либерализм. Почему из всех новшеств современной жизни она вполне примирилась только с преобразованным уголовным судопроизводством? Почему ко всему прочему она отнеслась с легкомыслием, с тревогой и даже с желанием подставить ножку, а к публичной уголовщине стремится с ненасытной жадностью, и ежели по временам и поварчивает, то потому только, что суды-де воров и убийц слишком часто оправдывают: нужно бы их, канальев, в три кнута! А потому, мой друг,

что только уголовная реформа не произвела в русском человеке внутренней ломки, что она одна не нарушила его инстинктов, одна дозволила ему остаться самим собою, то есть тем же любителем травли, каким он всегда был.

— Душа моя! — собрался я наконец с духом,— очевидно, ты смешиваешь травлю с судоговорением и в тех спасительных обвинительно-защитительных пререканиях, без которых немыслимо произнесение правильного приговора, видишь...

Но он только махнул рукой, словно бы отогнал докучливую муху, и продолжал:

— Знаешь ли ты, что я не пропускаю ни одного заседания, в котором есть надежда услышать, как связанному человеку кинут публично в глаза, что он вор и злодей; что он был таковым в утробе матери и пребудет таковым до могилы; что он попрал законы божеские и человеческие; что он святотатственной рукой подорвал основы, на которых зиждется общественность; что он оскорбил человеческую совесть; что украденный им рубль вопиет к небу; что нужно немедля, сейчас же, сию минуту отсечь этот омерзительный, гангренозный член, дабы оградить общественный организм от ежечасно угрожающего ему разложения! Знаешь ли, что, слыша эти горячие слова, я чувствую, что кровь бьет в голову, что еще одна минута, еще одно обвинительное усилие — и я зарычу, как скотина? Знаешь ли ты, что мне даже этого мало, что я все газеты перечитываю, чтобы быть, так сказать, очевидцем всякого удара, наносимого связанному человеку по всему лицу нашего обширного отечества?

— Воля твоя, а ты на себя клеплешь! — прервал я,— ты вообще человек неумеренный в выражениях, и вот...

Но он, опять-таки не слушая, продолжал.

— И никогда,— говорил он,— зрелище травли не было сопряжено с такими удобствами, как теперь. И прежде русский человек любил взглянуть, как бьют связанного человека, но он делал это келейно, где-нибудь на конном дворе, а под конец, когда уже стали показываться признаки освобождения, то начал понимать, что такого рода зрелища даже не безопасны. И прежде почтеннейшая публика охотно смотрела на развязку уголовной драмы, в виде торговой казни на площади, но при этом она вынуждалась вытерпеть множество неудобств: спозаранку встать, стоять и ждать на открытом воздухе, подвергаясь неблагоприятным атмосферическим влияниям, видеть обнаженную спину осужденного, наблюдать, как плеть, свистя в воздухе, симметрически укладывает один рубец подле другого, пока не образуется сплошной кровавый полумесяц, и проч., и проч. Все это воздерживало от зрелищ,

налагало на охотников узду. Теперь это дело обставлено удивительнейшим комфортом. Утром ты встаешь в свое время, не торопясь пьешь чай, прочитываешь газету и в урочный час отправляешься в суд. Там ты в теплой комнате, сидишь на скамье, даешь своему телу то положение, какое находишь для себя удобнейшим, ищешь в толпе знакомых, рассуждаешь, споришь, шутишь. Тсс... вдруг все замерло! Это он... Это «связанный человек»! Он еще не осужден, он предполагается еще невинным, но по унынию, разлитому в его лице, ты замечаешь, что он смутно о чем-то догадывается, нечто предчувствует. И точно: подожди час-другой, и по тому, ка̀к он замечется и скорчится на скамье своей, ты убедишься, что самые горькие его тревоги были ничто в сравнении с огорошившею его действительностью. А! ты еще не осужден! ты еще предполагаешься невинным! Так вот же тебе, вот! вот! вот!

— Но надобно же, чтоб общество в лице...

— Постой! знаю я и «общество», и «в лице» — все знаю. Дай кончить. Корчится «связанный человек», а между тем ты не видишь ничего режущего, ничего бьющего в глаза, ничего такого, что могло бы видимым, осязательным образом быть причиной этих корчей. Перед глазами твоими нет ни обнаженной спины, ни кровавого полумесяца, ничего такого, что некогда заставляло «даму приятную во всех отношениях» опускать стыдливо глаза. Теперь она может дать волю и зрению, и слуху, потому что действующим лицом в новейшей травле является не плеть, а психология. Под действием ее обвиняемый (не обвиненный, а обвиняемый!) обливается по̀том, бледнеет, краснеет, бросает то умоляющие, то дурацки-угрожающие взгляды... «Что, если этой психологии поверят? — мерещится ему,— что, если мой защитник в ответ на эту обвинительную психологию не выдумает такой же защитительной психологии?» А ты, едва сдерживая дыхание, не пропускаешь ни одного моментального подергиванья мускулов лица, которое обличает разнообразные нравственные судороги, *его* обуревающие,— и тебе не стыдно, и ты не опасаешься, что тебя уличат в зверских инстинктах, как уличали (хоть изредка, да уличали!) наших отцов, когда они злоупотребляли помещичьей властью. Вот видишь: прежде все-таки хоть особенный вид преступления был, называвшийся «злоупотреблением помещичьей власти» и именно означавший неумеренную страсть к травле, а нынче даже и этого нет. Да и кому же, в самом деле, придет на ум выдумать такой вид преступления, который назывался бы «злоупотреблением хождения в суды для присутствования при уголовных судоговорениях»?

Он остановился наконец, чтоб перевести дух.

— Ну, вот, видишь ли,— поспешил я воспользоваться этой паузой,— сам же ты говоришь, что нет ни обнаженной спины, ни крови, и хоть, по словам твоим, все это с избытком возмещается психологией, но я убежден, что внутренно ты все-таки согласишься, что тут есть разница...

— Разница, разумеется. Во-первых, психология казнит обвиняемого, не выжидая его осуждения, а во-вторых, она принимает в расчет брезгливость «дамы приятной во всех отношениях» и освобождает ее от обязанности выказывать хотя внешние признаки стыда. Разница капитальная.

— Любезный друг! я не об даме приятной во всех отношениях говорю: и ей, и тебе вольно присутствовать или не присутствовать при уголовном судоговорении. Но я утверждаю, что психология, как средство разобраться в многоразличии признаков, сопровождающих преступление, есть все-таки прогресс сравнительно с тем действием дикого самовластия или уединенной канцелярской казуистики, которые еще так недавно творили суд и расправу по всему лицу земли русской.

— И которые... впрочем, не будем вдаваться в полемику с «временами возрождения»... Ты ошибаешься, мой друг! Психология, в смысле орудия травли, не только не прогресс, но шаг назад. Она менее убеждает, нежели плеть и пощечина, и больнее уязвляет, ибо захватывает не только тело человека, но и его внутреннее существо. Даже предки наши, вообще не большие психологи, понимали это и охотно допускали вмешательство психологии в тех случаях, когда нужно было совершить что-нибудь действительно зверское, поражающее.

— Надеюсь, что ты не докажешь этого!

— Не надейся. Разумеется, я не об тех временах говорю, когда наши предки были чистыми дикарями, когда они, вместе с татарами, печенегами, самозванцами и прочими охочими *людьми — их же имена ты, господи, веси!* — предавали огню и мечу Россию. Тогда психологии действительно не существовало. Подвиги этих людей были грубы, составляли, так сказать, modus vivendi[1] тех времен и свидетельствовали не о преднамеренной жестокости, а о молодечестве и благородной жажде славы. Но как только нравы начали смягчаться, так тотчас же отцы наши догадались, что без психологии обойтись нельзя, и от огня и меча перешли к «застенку» и «дыбе». Ведь допрос-то с пристрастием немыслим без участия психологии!

— Гм!.. хождение по спицам, вздержка на дыбу... хороша психология!

[1] образ жизни.

— Не одна вздержка, а с аккомпанементом... с аккомпанементом психологии, милый друг! «Давно ли ты скверный свой замысел задумал? И кто тебе таковое противное дело внушил? и кому ты оные скверные слова говорил? И во время тех разговоров не было ли кого еще?» — что это, как не психология? Люди, чуждые психологии, не допрашивают: они просто бьют — и дело с концом. Что психология застенка была недостаточно упорная и недостаточно *белая* — с этим я, пожалуй, соглашусь; но причина ее слабости заключалась не в ней самой, а в тесноте арены и в недостатке публичности. Отцы наши сознавали себя слишком властными господами, чтобы доводить истязание внутреннего человека до конца, при помощи одной бескровной, белой психологии. Их раздражало всякое препятствие, им хотелось *поскорее*... Отсюда внезапные переходы от психологии к дыбе и спицам. «А! психология-то, видно, не пронимает тебя, так попробуй-ка по спицам пройтись!» — вот как рассуждали они. Но это нимало не устраняло идеи об уместности психологических приемов, которые и призывались на помощь во всех случаях, когда простое наказание по телу оказывалось бледным и сознавалась необходимость более утонченного уголовного фестиваля.

Итак, вот оно, вот откуда ведет начало психология! — думалось мне, покуда Глумов разъяснял свою теорию родства психологии с пыткой. Прекрасно; но почему же, однако, вмешательство психологического расследования в сферу телесных истязаний все-таки повсюду принимается как признак смягчения нравов? Почему даже этот слабый проблеск деятельности человеческой мысли представляет уже успех сравнительно с той темнотой, которая облекает простые, бессознательные заушения? Не потому ли, что мысль имеет такие разлагающие свойства, перед которыми все неустойчивое, дрянное обязывается непременно сойти со сцены и пропасть? Вот она как будто на первых порах и скрасила пытку, но, в сущности, уничтожила ее. А затем, конечно, поведет свою разлагающую работу и дальше. Уж и теперь она изобрела чистую, бескровную, *белую* психологию, а, может быть, со временем она же эту самую белую психологию... ну, впрочем, там еще что бог даст! Правда, Глумов говорит, что эта *белая* психология и есть самая язвительная... ну, нет, это он врет! Конечно, она уязвляет не тело, а внутреннее существо человека, да как же иначе поступить? Ведь надо же как-нибудь выяснить, выйти из лабиринта противоречий, которые, как облако, окутывают преступление? Да и притом ежели существует психология обвинительная, то рядом с нею существует и психология защитительная, а следовательно, du choc des opinions

(знаю я, что Глумов недолюбливает этих афоризмов, да и без них, однако, нельзя!)... С одной стороны, психология обвинительная, с другой — защитительная... нашла коса на камень! чья-то еще возьмет! А между тем у меня рубль украли — надо удовлетворить и меня. Конечно, ущерб не бог знает какой, но для меня, как для человека развитого, важно не рубль отыскать, а то, чтобы идея правды и справедливости была отомщена. Ни я, ни другие не знают, кто украл мой рубль, а между тем открыть и обличить укравшего — необходимо, потому что иначе почва ускользнет у нас из-под ног и никто не будет знать, где кончается приобретение и где начинается воровство. А как же обличить без психологии, как доказать подозреваемому, что никто другой не может быть вором, кроме его, не покопавшись в его внутренностях, не выяснив, перед лицом почтеннейшей публики, его всегдашнее нравственное тяготение к воровству? Не спорю: в этом случае могут быть недоразумения очень прискорбные. Может случиться так, что сперва обругают человека, припомнят, что он, еще в школе будучи, колбасу у товарища украл, а потом окажется, что в данном случае он совсем не виноват. Но, во-первых, errare humanum est [1], а во-вторых, «ошибка в фальшь не ставится». Это не мы выдумали, это сама мудрость веков говорит. А главное все-таки: как иначе поступить? Я уверен, что Глумов не ответит на этот вопрос. Вот то-то и есть! Все эти желчные люди, страдающие недугом самообличения, не довольные ни собой, ни другими — все они таковы! И то им не нравится, и другое не по нутру, а спроси-ка: каким образом в сем случае поступить? — они сейчас и в кусты!

— Уж на что, кажется, было аляповато, грубо и пошло наше крепостничество, разбросавшееся по деревенским захолустьям и медвежьим углам,— продолжал умствовать Глумов,— а и оно было не чуждо психологии, как средства поставить травлю на известную высоту. Не говоря уже о помещиках, даже между дворовыми встречались психологи очень искусные. У нас был, например, повар Кузьма, который собаку Полкана избрал предметом своих психологических исследований. Он не бросал в него мимоходом осколками кирпича, не ошпаривал зря кипятком, как обыкновенные дворовые — не психологи, но создал целый мартиролог, в основании которого лежала эксплуатация наклонностей и инстинктов Полкашки, или, говоря высоким слогом, истязание его внутреннего пса. Задача, впрочем, была не трудная, потому что у Полкашки, что у малого ребенка, все инстинкты спали,

[1] человеку свойственно ошибаться.

кроме непреодолимого стремления к еде. И Кузьма воспользовался этим инстинктом широкой рукой. Каждый день, во время поварской работы, он по целым часам беседовал с Полкашкой, ласкал его, обольщал зрелищем всевозможных мясных обрезков, заставлял умиляться, взвизгивать, вилять хвостом, и вот, в тот момент, когда кушанье было уже отпущено, когда Полкашка уже с уверенностью взирал на кучу костей, красовавшуюся на столе,— Кузьма мгновенно его ошпаривал, а кости и обрезки выбрасывал другим собакам. И что всего замечательнее, несмотря на ежедневное повторение этой проделки, Полкашку так и тянуло к Кузьме. Каждое утро, в один и тот же час, он являлся на кухню, садился на задние лапы, присутствовал при варении и жарении, облизывался, вилял хвостом, и каждый же день, без перемены, в один и тот же час, получал свою порцию кипятка. Надеюсь, что это была психология!

— Но надеюсь также, что ты возмущался... этою психологией!

— Не помню: я был в то время слишком мал, чтоб отдавать себе отчет в получаемых впечатлениях. Но я знаю наверное, что подобная психология имела в наше время громадное воспитательное влияние. Кузьма был воистину праотцем нынешней уголовной психологии, хотя совершил свою воспитательную задачу в безвестности и исчез со сцены никем не оплаканный. Но я-то ведь помню его, и потому каждый раз, как мне приходится присутствовать при современном обвинительно-защитительном турнире,—всякий раз мне словно живой представляется повар Кузьма, ведущий неустанную психологическую игру с Полканом.

— Зачем же ты ходишь смотреть на эти турниры, коль скоро они для тебя омерзительны?

— То-то и есть, что не омерзительны. Разумом-то я, пожалуй, и смекаю, что зрелище травли не есть человека достойно, да нутро вот унять не могу. Ведь ни домашнее воспитание, ни публичная школа просто-напросто не дали нам никаких идеалов,— чем же тут жить? С детских лет нами управляло лишь представление о дозволенном и недозволенном, и так как понять, почему одно называлось дозволенным, а другое недозволенным, было очень трудно, то весьма естественно, что дисциплина являлась единственным средством, с помощью которого можно было регулировать поведение молодых людей. Дисциплину эту мы ненавидели и употребляли все усилия, чтоб освободиться от нее. К чему же привели нас эти усилия? — с одной стороны, к лицемерию, с другой — к подсматриванью и наматыванью на ус. Мы рано подсмотрели,

что в действительной жизни первое место занимала травля. И она нравилась нам, потому что представляла нечто положительное, широкое, возбуждающее, тогда как дисциплина вся состояла из недомолвок. Вспомни, душа моя, что даже наименее испорченные из наших сверстников — и те только теоретически тяготились видом «связанного человека». На практике же «связанный человек» до того вошел в обиход, что не внушал ничего, кроме инстинктивных проявлений, свойственных тому или другому темпераменту.

— Заметь, однако, что именно эти-то проявления и сделались невозможными в настоящее время.

— Уступаю. Действительно, нынче сфера заушений материальных значительно сузилась. Но, повторяю, все это отлично заменено психологией. Последняя до такой степени усовершенствовалась, что человек уже не чувствует нужды ни в материальной пытке, ни в заушениях. Она сама по себе представляет высшую пытку, и я уверен, что человек умственно развитый охотнее предпочтет даже незаслуженное наказание, лишь бы не заставляли его проходить через психологию, составляющую обязательное преддверие к краткому «да, виновен» или «нет, невиновен», изрекаемому старшиной присяжных заседателей.

— Воля твоя, а тут есть что-то недосказанное. Положим, что та психология, о которой ты говоришь, имеет свои неприятные стороны, но ежели это единственно доступное средство обличить, доказать...

— В том-то и дело, что психология только делает вид, что доказывает, а в действительности ничуть ничего не доказывает. Она только для формы признает своим исходным пунктом суровый факт, называемый поличным, но на деле сейчас же оставляет его и сочиняет по поводу его роман, роман косвенных улик, который по очереди принимает то обвинительный, то защитительный характер. Призывают, например, в свидетели прошлое обвиняемого и говорят: на основании таких-то и таких-то данных, подтвержденных достоверными свидетельскими показаниями, письмами, журналом подсудимого, его отрывочными, невольно вырвавшимися признаниями,— вы должны считать это прошлое не просто косвенною уликою, но уликой, имеющей почти характер поличного. С помощью психологических приемов это сделать очень удобно. Психология или искусно скрывает те первоначальные положения, из которых она выходит, или же предлагает их как нечто непогрешимое и обязательное. Затем она начинает группировать факты: одни оставляет в тени, другие подводит ближе к свету. В результате получается очень тонкая, почти кружевная ра-

бота, которая может нравиться, но в которой никак нельзя отличить, что правда и что налгано. Но, должно быть, налгано достаточно, потому что следом приходит другой психолог и начинает именно с того пункта, как и его предшественник. Этот новый психолог тоже имеет в запасе целый роман, темою которого служит нравственное перерождение. «Я,— говорит он,— нимало не отрицаю того интереса, который могут иметь экскурсии в прошлое обвиняемого, и с наслаждением следил за превосходным исследованием моего почтенного сопсихолога. Но в данном случае превосходная работа его оказывается сделанною втуне. Дело в том, что незадолго до того момента, когда произошла кража со взломом рубля, составляющая предмет настоящего судоговорения, в подсудимом совершился полный нравственный перелом, который делает немыслимым всякое предположение о влиянии на него его порочного прошлого. Он тосковал, пил, а многие даже слышали, как он проклинал час своего рождения. Мой сопсихолог коснулся этого факта лишь слегка и для того только, чтобы видеть в нем *признак нераскаянности*. Я же не *только* не *вижу* здесь нераскаянности, но, напротив того, усматриваю несомненные признаки боли, той сердечной боли, которой не может не ощущать человек, решившийся окончательно рассчитаться с заблуждениями прошлого и идти по новой стезе». Затем опять начинается группированье, опять одни факты освещаются, другие оставляются в тени, словом сказать, развивается целый роман... Или вот тебе еще один пример: человек совершил убийство. Он сам уже признал себя убийцей, но для психологии важно определить — и Христос ее знает, зачем это так важно для нее! — с обдуманным ли намерением или без обдуманного намерения совершено преступление. Прежде всего она обращается к орудию преступления, которым оказывается тяжелая трость с налитым свинцом набалдашником. Этою тростью преступник прямо угодил в темя своей жертве. Вопрос: метил ли обвиняемый в темя или это сделалось случайно, помимо его воли? Подсудимый говорит на это: «Нет, я не целился, я очень хорошо помню, что бил его как попало, срывая свой гнев и не имея никакой мысли о нанесении смертельного удара». Но перед этим тот же подсудимый, относительно множества обстоятельств, сопровождавших совершение преступления, показал, что совершенно ничего не помнит. Отсюда повод для психологической игры. Один психолог говорит: «Как! вы *это* помните? вы забыли вот это, вот это, вот это, вы утеряли из памяти все несущественные факты и помните только один факт, тот, который помогает вам выпутаться из беды!» На это другой психолог возражает: «То, что кажется стран-

ным моему сопсихологу, в сущности представляется явлением очень обыденным в области психологии. Душевный мир есть мир пробелов, по преимуществу, и хотя существование ассоциации идей не подлежит сомнению, но я думаю, что величайший из психологов, Шекспир,— и тот отказался бы соследить ее в таком сложном, необычайном случае. Он сказал бы: «Да, подсудимый *все* забыл; он только *это* помнил!» Представь себе теперь положение присяжных при таком судоговорении! что̀ могут они вынести из этого разговора, кроме мысли, что подсудимый с обеих сторон оболган: и в видах обвинения, и в видах защиты. А еще лучше: представь себе, что и со стороны обвинения, и со стороны защиты стоят лицом к лицу два равносильных Шекспира: каково должно быть положение подсудимого, слышащего, что его с двух сторон возводят в перл создания и делают героем двух взаимно друг друга уничтожающих романов, которые вдобавок не имеют ничего общего с действительным романом его жизни?

— Гм!.. а хорошо бы Шекспира послушать — вот хоть бы на месте г. Шайкевича. Как ты думаешь, обелил ли бы Шекспир мать Митрофанию или не обелил бы?

— Полагаю, что обелил бы. Он сумел бы нарисовать и поставить фигуры. Но и за всем тем это было бы только произведение его личного художественного гения, которое, несмотря на свой оправдательный тон, быть может, гораздо сильнее подавило бы мать Митрофанию, нежели даже восхождение на Синай, предпринятое г-м Плевако. Да знаешь ли, впрочем! я думаю, что Шекспир одинаково отказался бы и от роли защитника, и от роли обвинителя. Ведь его психология чувствовала себя гораздо свободнее и независимее, имея под руками Гамлета и Ричарда III, нежели тот уголовный матерьял, который украшает скамьи подсудимых в современных судах.

— Стало быть, по-твоему, окончательный-то исход дела зависит от того, кто кого переврет?

— Понимай, как знаешь.

— Так что, ежели я, например, совершая преступление, имею возможность рассчитывать на психологическую помощь Спасовича, то я рискую меньше, нежели другой, которому угрожает психологическая помощь адвоката, назначаемого от казны?

— Стало быть.

— Однако, брат, очень печально!

— Печалься; не возбраняется.

— Ну, хорошо; оставим печаль в стороне и резюмируем наш разговор. Из сказанного тобой выходит: во-первых, что

мы не только не воспользовались благами возрождения, но и до сих пор продолжаем жить остатками старинной дикости; во-вторых, что характеристический выразитель этой дикости, травля, не упразднилась, но при помощи психологии получила характер более утонченной жестокости, и притом сделалась, так сказать, à la portée de tout le monde[1]. Так, кажется?

— Верно.

— Теперь, спрашиваю тебя, ответь мне по совести: как же, по твоему мнению, в этом случае поступить? что нужно сделать, чтоб избежать этого?

Я формулировал этот вопрос не без торжественности. По моему мнению, все человеческие стремления, негодования, анализы, утопии — все это приводится к вопросу: прекрасно, но как в сем случае поступить? Поэтому я надеялся настигнуть Глумова в последнем его убежище, заставить его перенести дело на практическую почву и затем уж поговорить по душе о перемещениях и увольнениях, о разъяснении такой-то статьи и дополнении такой-то... Но, к удивлению, Глумов не только не тронулся моею торжественностью, но даже отнесся к ней как бы иронически.

— Прежде всего,— сказал он,— я не вижу никакой надобности «поступать». А потом, ведь под словом «поступать» нельзя же разуметь исключительно: совершить мероприятие, предписать, воспретить, дозволить. Констатировать факт — тоже значит «поступать». Вот я и «поступаю», то есть констатирую факт.

IV

Я — русский литератор и потому имею две рабские привычки: во-первых, писать иносказательно и, во-вторых, трепетать.

Привычке писать иносказательно я обязан дореформенному цензурному ведомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, как будто поклялось стереть ее с лица земли. Но литература упорствовала в желании жить и потому прибегала к обманным средствам. Она и сама преисполнилась рабьим духом и заразила тем же духом читателей. С одной стороны, появились аллегории, с другой — искусство понимать эти аллегории, искусство читать между строками. Создалась особенная, рабская манера писать, которая может быть названа езоповскою,— манера, обнаруживавшая заме-

[1] для всеобщего употребления.

чательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств. Цензурное ведомство скрежетало зубами, но, ввиду всеобщей мистификации, чувствовало себя бессильным и делало беспрерывные по службе упущения. Публика рабски восторженно хохотала, хохотала даже тогда, когда цензоров сажали на гауптвахту и когда их сменяли. На место смененных цензоров являлись другие, которых также сменяли и сажали на гауптвахту. А публика вновь принималась хохотать и зачитывалась статьями, вроде «Китайские ассигнации» или «Австрийский министр финансов Брук» (см. «Русский вестник», издатель-редактор М. Катков). И существовала эта манера долго-долго, существует и доныне, так что объявление в 1866 году воли книгопечатанию почти совсем не повлияло на нее. Аллегорический, рабий язык продолжает пользоваться правом гражданственности, хотя справедливость требует сказать, что современные молодые писатели стараются избегать его. Я не берусь определить, хорошо ли, или дурно они поступают, но думаю, что, ввиду общей рабьей складки умов, аллегория все еще имеет шансы быть более понятной и убедительной и, главное, привлекательной, нежели самая понятная и убедительная речь. Ясная речь уместна там, где уже народился читатель, которого страшными словами не удивишь, но там, где читатель, с повода и без повода, привык разевать рот, там простая и бесфигурная речь может только свидетельствовать о рабьем самомнении и наложить еще новый балласт на плечи писателя, то есть ко всем прочим не легким обязанностям прибавить еще новую и тягчайшую: обязанность ежемгновенно трепетать.

Привычке трепетать я обязан послереформенному цензурному ведомству. Я не стану распространяться о том, что̀ именно сделало это последнее, чтобы заставить меня трепетать — похвала живым может быть принята за лесть,— я только констатирую факт. Я знаю, что, с тех пор как мы получили свободу прессы,— я трепещу. Покуда я пишу — я не боюсь. Иногда я даже делаюсь храбр; возьму да и напишу: напрасно, мол, думают некоторые, что благожелательное и ничем, кроме почтительности, не стесняемое обсуждение действий (заметьте аллегорию: я даже умалчиваю, чьих и каких действий) равносильно нападению с оружием в руках... Но как только процесс писания кончился, как только статья поступила в набор, боязнь чего-то неопределенного немедленно вступает в свои права. И она усиливается и усиливается по мере того, как исправляется корректура и наступает час, с которого должен считаться четырехдневный для журналов и семидневный для

книг срок нахождения произведений человеческого слова в чреве китовом. Чудятся провинности, преступления, чуть не уголовщина. И в то же время ласкает рабская надежда: а может быть, и пройдет! Я знаю, что это надежда гнусная, неопрятная, что она есть не что иное, как особое видоизменение трепета, но я знаю также, что она не только лично для меня, но и вообще представляет единственную руководящую нить в современном литературном ремесле. Избавиться от нее, правда, очень легко; стоит только забросить перо, распроститься с корректурами и, как чумы, обегать типографии, но вот подите же... Сдается, что, не будь этой надежды, пожалуй, не было бы и русской литературы, а были бы одни «Московские ведомости»...

Само собой, однако ж, разумеется, что я всячески стараюсь скрывать и мой рабий трепет, и мои рабьи надежды. Я — либерал и потому прежде всего стараюсь выказать, что очень хорошо понимаю свои права. «Нет! теперь уже шалишь! — твержу я и устно, и письменно,— теперь цензору до меня, как до звезды небесной, далеко!» И начинаю горячиться, начинаю рассказывать анекдоты из дореформенной цензурной практики и доказывать, что сравнительно мое нынешнее положение... «Помилуйте! да теперь я сознаю себя господином своего слова; хочу — скажу, хочу — не скажу; вспомните, что̀ мы были прежде и чем сделались теперь! Теперь ежели что, так ведь я и тово... Я ведь и сам когти покажу... нет, теперь не так-то легко меня обездолить!» Говорю я все это, даже кричу, чтоб пуще себя ободрить, и — о ужас! — в это же время чувствую, как невидимый трепет ползет по всему моему организму, ползет, ползет и незаметно разрешается сладкой надеждой, что, «может быть, и пронесет»...

Но приятели мои понимают, что все это с моей стороны не больше, как напускное хвастовство, напоминающее те «невидимые миру слезы сквозь видимый миру смех», о которых упоминал еще Гоголь. И так как они — люди русские, веселые, то нередко я служу для них предметом довольно жестоких шуток, канвою которым служат: слухи о преднамерениях и предначертаниях, сведения, почерпнутые «из достоверных источников», канцелярские тайны и проч. Иногда рассказываются даже целые сцены, рассказываются в лицах, так жизненно и с такими характеристическими подробностями, не поверить которым нет никакой возможности. Как тут не вдаться в обман, как не счесть себя погибшим, когда и сам уж заранее, так сказать, признаешь, что погибель есть только снисходительно-отсроченное возмездие за те неключимости, которые, с помощью пера, содеяла правая рука твоя?

Но особенную озорливость в этом смысле являет приятель мой Глумов. Он отлично знает мою наклонность увлекаться трепетом и надеждами и потому каждый раз, как я попадаю в чрево кита (а это случается почти ежемесячно), является ко мне с специальною целью наблюсти, в какой степени я боюсь. Изредка он бывает и в добром расположении духа, и тогда мы вместе твердим: «Небось! ничего! может быть, и пронесет!» Но чаще всего он приходит преисполненный глумливого подстрекательства, в котором я никогда не могу отличить искренности от неискренности и которое поэтому еще более увеличивает мой страх.

Именно в таком озорливом настроении явился он ко мне на днях. Уже три дня лежал я в чреве; оставалось еще двадцать четыре мучительных часа... Пронесет или не пронесет?

— Да, брат, видно, быть бычку на веревочке! — сразу огорошил он меня, войдя в кабинет.

— Что? что такое? разве что-нибудь слышно? — встрепенулся я.

— Как не слыхать! слухом земля полнится! Да, брат, нельзя! Нельзя, мой друг, таким образом... невозможно!

— Что такое случилось? Говори, сделай милость, не мямли!

— Покуда еще ничего не случилось, но признаки есть, и признаки серьезные... сейчас иду я к тебе, и вдруг навстречу мне человек один... понимаешь? Идет этот человек к месту служения, и на челе у него: нельзя!

— Господи!

— «Нельзя» — только одно это слово! Но ты понимаешь: завтра тебе срок, а сегодня... понимаешь?

— Как не понимать! Но как же это, однако... нельзя? И что это за слово «нельзя»? Нельзя! ведь это даже понять трудно!

— Нельзя — и все тут.

— Да ты, может быть, ошибся! Может быть...

— Неужто ж мне в первый раз на лбах-то читать! Да и напроказничали же вы, должно быть! Идет «он» и словно обдумывает: какую бы пытку на вас изобрести.

Затем мы начали горевать. Я, как истинный либерал, оглашал стены кабинета возгласами: «За что же? господи! за что?» Глумов подавал мне реплику, большею частью пословицами. Наконец, когда я достаточно высказал, что все мои обычные разглагольствования о каких-то якобы правах разлетаются, как дым, от прикосновения одного слова: «нельзя», тогда Глумов сознался, что никого «идущего к месту служения» он не видал, ни на каких лбах ничего не читал и что во-

обще вся эта история была им выдумана в видах испытания, в надлежащей ли степени я боюсь. И вновь сладкая надежда озарила мою душу, и вновь я стал предаваться работе проникновения в мрак будущего: пронесет или не пронесет?

— Нет, ты уж эти глупости-то оставь! — прервал меня Глумов,— это, брат, дело исследовать нужно!

— Какое дело?

— А вот хоть то, что вы, русские писатели, обязываетесь не только услаждать досуги публики вашими писаниями, но и периодически подвергаться унизительному трепету.

Но я, разуверенный насчет предстоящей опасности, уже настолько ободрился, что взглянул на друга моего не только самоуверенно, но почти нахально.

— Я не знаю,— сказал я,— о каком ты трепете говоришь! Я думаю, что в настоящее время положение мое, как русского писателя...

— Пхе — вот твое положение! Дунуть на тебя — ты и погас!

— Ну, нет, любезный друг, это не совсем так! Я свои права...

— А кто сейчас восклицал: за что, мол, о судьба прежестокая!.. кто восклицал?

— Еще бы! ты бы побольше выдумывал!

— Да как же иначе с тобой поступать? Как иначе остепенить твое малодушие? Взгляни ты на себя, сделай милость, ведь даже понять нельзя, каким образом ты эту пытку выдерживаешь! Двадцать шесть дней в месяц ты приготовляешься к трепету, а четыре дня — трепещешь! где, скажи, в какой сфере деятельности возможно такое существование!

— Ну, хорошо! Положим, что в настоящую минуту мое положение... ну, да, допустим это. Но дело ведь не в одной той минуте, которую мы переживаем, а в тех залогах, которые представляет нам будущее...

— А ты про эти залоги слыхал?

— Не только слыхал, но даже из достоверных источников знаю...

— Срамник ты — вот что!

Сказавши это, Глумов так строго взглянул на меня, что я совершенно явственно почувствовал, как краска разлилась по моему лицу.

— Так ты до того доволен своим положением,— продолжал он,— что даже не хочешь подумать о том, почему ты всегда должен чего-то бояться, хотя, в сущности, никакой вины за тобой нет?

— Ну, как никакой вины? Вин-то, любезный друг, за нами — слава богу!

— И опять-таки страмник! Сам на себя клеплет, да еще ломается! Никаких, понимаешь ты, *никаких* за тобой вин нет, и ты на себя небылиц не выдумывай! До такой степени нет никаких вин, что тебе даже и в голову не приходило разобрать, дурно или хорошо твое положение и отчего оно так устроилось, а не иначе. Ведь если б что-нибудь за тобой было — уж, наверное, ты хоть бы понять постарался, что̀ тут такое есть!

— Да; действительно, я как-то мало об этом думал; корректура, знаешь, спешная работа...

— И это говорит человек, который весь по уши погряз в литературное ремесло! Человек, у которого не только умственные, но и материальные интересы, словом, вся жизнь до такой степени связана с литературой, что завтра отними у него возможность писать, и он исчез — без следа! И тебе не совестно сознаваться, что ты ни разу не подумал, отчего литературное ремесло у нас так странно поставлено, что, занимаясь им, почти трудно оставаться порядочным человеком! Вечно холопствовать, вечно думать о каких-то «обстановочках»! — помилуй, да самый последний мастеровой, и тот не выдержит этого! и тот прежде всего позаботится о том, чтобы сделать свое положение, по возможности, независимым от случайностей! А вы, литераторы, вы, люди, называющие себя выразителями умственного уровня страны,— вы только и делаете, что бегаете, как угорелые, обдумывая, как бы так схорониться, чтобы и найти вас никто не мог!

— И прибавь еще, что как ни хоронимся, а все-таки нас умеют найти!

— Да уж не думаешь ли, что вас оттого находят, что видят в вас что-нибудь опасное? Как бы не так! Просто видят в вас, во всей русской литературе (даже исключения, и те допускаются нѐхотя, скрепя сердце) что-то омерзительное, какую-то пресмыкающую гадину, при виде которой, без всякого повода, приходит на мысль: а дай-ка я ее раздавлю! Кто вас читает? скажи по совести: кто читает вас?

— Ну, брат, что касается до читателей, то это — факт несомненный, что число покупающих книги и подписывающихся на журналы с каждым годом все увеличивается и увеличивается.

— Да, это — явление действительно загадочное. Число читателей как будто и в самом деле увеличивается, если судить по расходу книг и журналов. Но, скажи по совести, знаешь ли ты своего читателя? Можешь ли ты указать, к кому именно

ты обращаешь свою речь? Кого ты хочешь воспитывать? Нет, ты не ответишь на эти вопросы, потому что современный русский читатель до того разбросан, что делается неуловим. Во всяком случае, что касается до влиятельных классов, до так называемых представителей культурного слоя, то они, честью тебя заверяю, до такой степени игнорируют вас, писателей, что единственное твердое сведение, которое они имеют о русской литературе, заключается в том, что она омерзительна.

— Но какая же надобность литературе до этого! Что ее игнорирует, а пожалуй, и презирает небольшая кучка выродившихся людей, размыкивающих свои досуги по Баден-Баденам, Висбаденам и Вильдбаденам, разорвавших всякую связь с Россией, за исключением получки доходов, и составляющих себе библиотеки из Монтепенов, Февалей и Самаровых,— так ведь это еще небольшая потеря!

— Постой! Покуда я назвал только один из числа игнорирующих вас классов — класс людей, именующих себя культурными,— но можно ведь идти и дальше. Вообще, я думаю, гораздо легче ответить на вопрос, кто *не читает* русских книг, нежели на вопрос, кто их *читает*. Знает ли вас народ? — Нет, он даже не подозревает о существовании русской литературы. Знает ли вас молодое поколение? Нет, оно хуже нежели не знает: оно относится к современной русской литературе, как к чему-то недомысленному, лишенному каких бы то ни было прав на воспитательный авторитет. Знает ли вас так называемое ученое сословие? — Нет, и оно смотрит на литературу, как на проявление легкомыслия, которое в благоприятном случае можно считать бесполезно-невинным, а в большей части случаев имеет характер раздражающий и, стало быть, вредный. Кто же, спрашивается, читает вас? От кого вы ждете оценки для себя? На кого думаете влиять?

— Согласись, однако, что если бы нас не читали, если б влияние русской литературы не существовало, то и внимания никто бы на нее не обращал, и писателю не для чего было бы ни лукавить, ни бояться.

— И с этим не соглашусь. Повторяю тебе, современный русский читатель неуловим и рассеян по лицу земли, как иудеи. Он читает в одиночку, он ничего не ищет в литературе и ни с кем не делится прочитанным. Печатное русское слово не зажигает сердец и не рождает подвигов. Нигде и ни на чем не увидишь ты следов влияния действующей русской литературы. И благонамеренность и неблагонамеренность одинаково зреют и развиваются вне ее воздействия. И ежели, за всем тем, на литературу обращают внимание и заставляют вас тре-

петать, то это отчасти по старой укоренившейся привычке, а отчасти по недоразумению...

— Однако ж...

— Да, именно по недоразумению, потому только, что культурный-то слой наш очень уж плох — и плох, и пуглив. Вот ты сейчас сказал, что для литературы еще не большая потеря, что ее презирает шайка людей, которая шляется по Баденам да Висбаденам; но встань на практическую почву, да и отвечай мне: отчего трепет-то твой происходит?

— Да оттого, полагаю, что строго нынче уж очень. Руководств надлежащих не издано, которые содержали бы отчетливую и для всех внятную классификацию предметов, которыми может или не может заниматься литература,— вот и путаются, словно в тенётах.

— Ты не остри, а вникнуть старайся. Строго, ты говоришь? да отчего строго-то, то есть даже и не строго, а простонапросто презрительно? А оттого, любезный друг, что эти самые культурные люди, которые размыкивают за границей свое отвращение к России, вот они-то уж слишком большую силу взяли! Шипят они, душа моя, клевещут, сплетничают, смуту сеют! А ты вот тут сидишь да обдумываешь: как бы мне так мою мысль выразить, чтобы никто не поймал?

— Ну, это уж ты преувеличиваешь! Конечно, когда происходит процесс печатания и выхода книжки — я не изъят от некоторых беспокойств; но пишу я всегда...

— Стой! сейчас же тебя поймаю! Вот хоть бы теперь: ты пишешь и хочешь выразить самую простую и отнюдь не зажигательную мысль. Ты желаешь сказать: бессилие русской литературы зависит, во-первых, от того, что у ней нет достоверного читателя, на которого она могла бы опереться, и, во-вторых, от того, что в составлении ее репутации слишком большое участие принимают так называемые культурные люди, то есть бродяги, оторванные от всех интересов России. Такова ли твоя мысль?

Я должен был сознаться, что такова.

— Ну, так смотри же, сколько ты обходов должен был сделать, чтобы пустить в ход эту совершенно простую мысль, на которую нигде в другом месте не обратили бы внимания, да, пожалуй, в другом-то месте она и у самого тебя, за неимением повода, зародиться бы не могла... Во-первых, ты должен был затеять статью в печатный лист, тогда как все дело ясно из пяти-шести строк; во-вторых, ты должен был выдумать, что у тебя есть какой-то приятель Глумов, который периодически с тобой беседует, и пр. Сознайся, что ты этого Глумова выдумал только для реплики, чтоб объективности припустить, на тот

случай, что ежели что̀, так иметь бы готовую отговорку: я, мол, сам по себе ничего, это все Глумов напутал!

И с этим я должен был согласиться.

— Что касается до меня,— продолжал Глумов,— то я тебе извиняю. Потревожил ты меня, друг любезный, ну, да это — еще небольшая беда! Но зачем ты все это делал? зачем ты мозги свои беспокоил? ведь все-таки никто из культурных людей мыслей твоих не узнает и с объективностью твоей не познакомится!

— Да, но ведь ты сам же сейчас сказал, что ежели человек чувствует себя нехорошо, то прежде всего он должен уяснить себе, отчего это нехорошее ощущение происходит. Ну, я и выбрал для достижения этого тот способ, который мне показался наиболее подходящим.

— И прекрасно. Стало быть, я послужил к тому, что заставил тебя высказаться,— и то барыш. Теперь ты знаешь источник твоего трепета; следовательно, остается только разработать эту тему, и буде возможно, то идти и дальше. А так как без объективности ты все-таки не обойдешься, то я, с своей стороны, всегда к твоим услугам готов!

Итак, причина сказалась, хотя, быть может, и не единственная, но, во всяком случае, одна из причин. Глумов прав: достоверного, веского читателя современная русская литература не имеет, а между тем культурные Бобчинские и Добчинские до того уж расщебетались, что даже, по-видимому, совсем позабыли, что еще очень недавно Сквозник-Дмухановский без церемонии называл их «сороками короткохвостыми». Не будь короткохвостых сорок, сплетничающих, стрекочущих, праздно порхающих — много бессмысленной кутерьмы умерло бы в самом зародыше, не опутывая своими тенётами добропорядочных людей. Но спрашивается: что̀ же тут делать? как унять сорочье племя? как, по крайней мере, сделать безвредным его стрекотание? убеждать их? но разве можно иметь дело с сплетничающим племенем, которое прежде всего не знает даже предмета своих сплетен? Сделать их сплетни безвредными? но ведь для этого нужно еще доказать, что сорока — ни больше, ни меньше, как дрянная и не заслуживающая доверия птица; а какая же возможность достигнуть этого, когда весь мир склонен видеть в Бобчинских представителей культуры, и уж по малой мере носителей благонадежных элементов? Сколько раз были делаемы попытки в этом роде! Сколько раз я сам и убеждал, и удостоверял, и даже до начальства доходил!

— Ваше превосходительство,— говорил я,— ведь это — птица!

— Ну-с, дальше-с.

— Ведь птица, ваше превосходительство, глупа и робка. Ей, с глупости да со страху, бог весть что привидеться может... Птицы это, ваше превосходительство, птицы!

— Птицы да птицы — затвердили одно! Знаю, что — не люди, но есть случаи, когда птица... Птицы, милостивый государь, не волнуют общественного мнения, не смущают умов, а люди, а вы-с...

Это — единственный результат, которого я добился ценою многолетних усилий. Неужели же мне предстоит опять приниматься за ту же работу убеждения, то есть возобновлять сейчас приведенный разговор? Но если бы я и действительно мог убедить, что не я волную и смущаю, а именно Бобчинские и Добчинские, которые своими бессмысленными сплетнями сеют повсюду не менее бессмысленную панику, то разве его превосходительство поцеремонится ответить мне:

— Ну что же-с! пусть будет и так-с! Они и смущают, и волнуют — я с вами согласен-с! Но Бобчинские нам милы, в Добчинских мы уверены, а в вас-с...

И дело с концом. Ужели я и тут еще не умолкну? «Они нам милы», «мы в них уверены» — разве этого мало? кого же, наконец, и баловать, как не людей, относительно которых существует уверенность, что уж они-то никаких затруднений представить для нас не могут!

Ставши на эту почву, мнительное мое воображение уже не останавливалось в созидании перспектив, исполненных всякого рода препятствий. Мне чудилось, что я стою среди бесчисленной стаи сорок и держу им такую речь: «Сороки короткохвостые! понимаете ли вы, что̀ такое литература и что̀ такое, в сравнении с нею, ваше сорочье стрекотанье? Литература, о легкомысленнейшие из птиц! есть воплощение человеческой мысли, воплощение вечное и непреходящее! Литература есть нечто такое, что, проходя через века и тысячелетия, заносит на скрижали свои и великие деяния, и безобразия, и подвиги самоотверженности, и гнусные подстрекательства трусости и легкомыслия. И все, однажды занесенное ею, не пропадает, но передается от потомков к потомкам, вызывая благословения на головы одних и глумления на головы других. Понимаете ли вы все бессилие ваше ввиду этого неподкупного и непоколебимого величия? Ежели вы этого не понимаете, то подумайте хоть то, что есть суд веков и что у вас есть дети; что если вы лично и равнодушны к суду истории, то ваши дети могут, ради вашего всуе звенящего срамословия, изнемочь под его тяжестью! Остановись же, Бобчинский, и не извергай яда легкомыслия на то, что недоступно твоему скуд-

ному пониманию! Ибо сын твой, который будет несомненно лучше и прозорливее тебя, угадает твои деяния — и, быть может, устыдится признать в тебе отца своего!»

Одним словом, я спускаюсь на почву чисто практическую, хватаюсь за самую живую струну — за детей, хочу растолковать, что ради их, этих многолюбимых детей, не бесполезно держать язык за зубами, даже в том случае, ежели имеется в перспективе медаль за спасение погибающего культурного общества. И что ж! сороки сначала смотрят на меня и друг на друга недоумевающими глазами, но потом мало-помалу осмеливаются, щеголевато подскакивают к самым моим ногам, расправляют крылья, чистят носы и, как ни в чем не бывало, продолжают прерванное стрекотание... «А наплевать нам на историю! наплевать на детей! и мы — навоз, и история — навоз, и дети наши — навоз!» — слышится мне среди безнадежного хаоса звуков...

Ах! никогда я не знал ничего более унизительного и до боли гнетущего, как это праздное сорочье стрекотанье! Есть в нем что-то посрамляющее слух человеческий и в то же время дразнящее, подуськивающее. Бобчинские не вызывают гнева, а именно только дразнят, нахально опираясь при этом на свою сорочью невменяемость. Делая пакости, иногда равносильные злодеяниям, они вовсе не сознают неключимости своего творчества, но лишь выполняют провиденциальное свое назначение. И вот к этому-то подневольному, невменяемому и вдобавок неопрятному виду человека я должен обращаться, должен думать об нем, объяснять его и обличать сорочье его щебетание! Где, в какой стране возможен подобный подвиг, исключая тех постылых сорочьих углов, где Бобчинские и Добчинские дают тон жизни, где, быть может, даже совсем погасла бы жизнь, если б не будило ее их назойливое стрекотание!

Да и с каким правом я обращу свою проповедь к Бобчинским? где тот противовес, на который я мог бы опереться при этом? где он, где тот загадочный русский читатель, от которого я имел бы право ожидать оценки и одобрения?

Покуда я таким образом размышлял, Глумов молча ходил по комнате и, по-видимому, тоже что-то обдумывал. Наконец он остановился против меня и сказал:

— Знаешь ли что? ведь я на днях Петьку Износкова встретил!

— Ну, и бог с ним!

— Да ты слушай. Идет он по Морской, а в глазах у него так и светится культурность. Словом сказать, производитель во всех статьях. Встретились — ничего. Других культурных

людей поблизости не случилось — стало быть, и мне втихомолку руку подать можно. Постояли, поглядели друг на друга, школьную жизнь вспомнили. Выправился он, раздобрел — страсть! В плечах — косая сажень, грудь колесом, тело крупитчатое, румянец так и хлещет во всю щеку. Та́к вот весь, всем нутром словно говорит: а хочешь, я сейчас тебе целую десятину унавожу! А картавит как — заслушаешься!

— И охота тебе говорить об нем!

— Вот видишь, любезный, ты об нем и говорить не хочешь, а он об тебе вспоминал! «Где, говорит, он? я, говорит, слышал, что он с мерзавцами связался?»

— И ты, разумеется, подтвердил?

— Еще бы! Да, говорю, жаль малого! скружился!

Затем Глумов, по своему обыкновению, засыпал меня анекдотами из жизнеописания русского культурного человека, так что мало-помалу и меня самого увлек в область воспоминаний об нашей совместной школьной жизни.

— А помнишь ли,— сказал я,— как мы в школе родословную Износкову сочинили: отец — Бычок, мать — Светлана, бабка — Резвая, от Громобоя и Гориславы, прапращур — сам Синеус?

— А дядя, который в то время полковником в гусарах служил,— серый в яблоках Борисфен? А помнишь, как он рассказывал: «У меня maman такая слабенькая, что даже родить меня сама не решилась, а тетеньке поручила»?

— Да, да, да! как давно, однако, все это было! и сколько воды с тех пор утекло!

— Так много утекло, что он даже поумнеть успел. Серьезно говорю. Прежде, бывало, только зубы показывал, белые-разбелые, а нынче и говорить начал. «Пальто, говорит, у меня от Шагмега, панталоны — от Тедески, жакетка — от Жогжè!» И об заграничном житье тоже: «В Германии, говорит, горы зеленые, в Швейцарии — горы голые, в Италии — небо синее, а в Риме — римской папа сидит!» Словом сказать, ведет светский разговор, да и шабаш!

— В администраторы, чай, метит?

— Нет, эта в нем благородная черта есть: без дела слоняться предпочитает. А то как бы не попасть! ведь ему графиня Нахлесткина теткой родной приходится. Да ему и незачем: и без того его положение завидное. Нынче, брат, такой особенный чин народился: всякий, кому голову преклонить некуда, представителем культурного слоя себя называет. Вот он приписался к этому чину, да и щеголяет в нем по белу свету. Летом — на водах и в Швейцарии, осенью и весной — в Париже, на зиму — в Петербург; ест и пьет он отлично, спит в меру,

желудок у него варит на славу, огорчений никаких — чего еще, каких еще почестей нужно!

— Да, брат, хорошо бы хоть годок так пожить! А то маешься-маешься, словно бы и дело делаешь, а результат один: воочию видишь, как подтачивается и засыхает твоя жизнь!

— А я тебе, знаешь ли, что́ хотел предложить? Сходим-ка вместе к Износкову!

— Это зачем?

— Во-первых, для разогнания хандры. По моему мнению, что́ с Износковым подвидаться, что́ на хороший пирог с начинкой посмотреть — одинаково сердцем расцветешь. А во-вторых, хотелось бы и предполагаемого читателя твоего тебе показать — ведь ты говоришь, что у вас их много,— чтобы ты сам убедился, как он на тебя смотрит и об тебе разговаривает.

— Да ведь Износков, пожалуй, сделает вид, что не узнаёт меня! Или и узнает, да какую-нибудь глупость брякнет!

— А мы, для предосторожности, такой час выберем, когда у него культурных людей не бывает. Часов, этак, около половины двенадцатого утра. В это время он всегда отлично себя чувствует. Выспался превосходно, пищеварение совершилось благополучно... добр он тогда! Много-много что легонький репримандец сделает; ну, да ведь ты насчет репримандов-то — травленый волк!

По обыкновению, я некоторое время слегка противоречил и, по обыкновению же, в конце концов сдался.

———

Мы застали Износкова за занятием, которому он, по-видимому, придавал большую важность. Он сидел за туалетным столом перед зеркалом, в брюках, без жилета, в тончайшей и белой, как снег, рубашке и повязывал на шею галстух. Подтяжки так и врезывались в его пухлые плечи. Я уж лет двадцать пять не встречался с Износковым, и мне вдруг почудилось, что я вновь очутился в школе и что Петька Износков показывает мне свои ослепительно-белые зубы. Высокий, широкогрудый, румяный и белый, он подавлял своим могучим здоровьем, которое так и лучилось из всех его пор. На лице ни единой морщинки; глаза с каким-то сизо-металлическим блеском, словно сейчас отчеканенные пятиалтынные сорок второй пробы; губы пухлые, алые, осененные тоненькими усиками, вытянутыми в нитку; щеки чистые, румяные; тело, правда, несколько тучное, но крепкое; грудь высокая, почти женская. Одним словом, время скользнуло по нем, не оставив ни на одной части его организма никакого следа.

— Ба! литератор!— воскликнул он, протягивая руки с тем порывистым жестом, который употребляют актеры Михайловского театра, когда хотят выразить радушие,— какими судьбами?

— Да вот, как видишь!

— Постой! встань-ка ближе к свету! вот так! Постарел, душа моя! Все стихи пишешь?

— Какие же он стихи пишет! — вступился Глумов,— отродясь, я чай, ни одного стиха не сочинил!

— Ну, все равно — прозой пишет! Я, признаюсь откровенно, с русской литературой не знаком. C'est à dire, я, конечно, знаю... Derjavine, Karamzine, Pouschkine, le comte Sollogoub...[1] Но тебя, мой друг,— каюсь! — не читал! Но как ты, однако ж, непозволительно постарел! Эта седая борода, этот землистый тон лица, эти морщины... Я пари готов держать, что все это у тебя от стихов!

— Ну, а ты так совсем не изменился: как в школе красавцем был, так и теперь молодцом глядишь!

— Да, но ведь это— целая наука, mon cher![2] Конечно, не столь трудная, как, например, стихи писать!

Он сел и усадил меня против себя, держа за руки и смотря мне прямо в глаза. При этом лицо его озарилось не то глупою, не то лукавою улыбкой, как будто он хотел сказать: хоть я стихов и не пишу, но тебя вижу! и даже насквозь тебя, голубчик, понимаю!

Я помню, эта улыбка еще в школе меня ужасно смущала, хотя я никогда не мог хорошенько определить, в чем собственно состоит ее смущающее свойство. Сидит перед вами человек, смотрит вам прямо в глаза и улыбается. Хочет ли он этим сказать: «Я глуп несомненно, но мне нимало этого не совестно» — или желает выразить мысль более сложную: «Посмотри, как я чист сердцем (у нас сердечная чистота очень часто считается непременным спутником глупости); а ты?» И начинает вдруг казаться, что этот улыбающийся человек, при всей его глупости, все-таки себе на уме; что он знает нечто больше, нежели можно ожидать от его простодушия, и знает именно то, что́ пуще всего хотелось бы скрыть... А ну, как он «ляпнет»! Умный человек — тот посовестится и не «ляпнет», а дурак — ведь *недаром же говорят, что дураку море по колено,— ляпнет он*, непременно ляпнет!

— Постой, об стихах говорить незачем,— сказал между тем Глумов,— а вот мы лучше об чем поговорим. Сейчас ты

[1] То есть... Державин, Карамзин, Пушкин, граф Соллогуб...
[2] мой милый!

промолвил, что есть какая-то наука, благодаря которой ты до сорока пяти лет прожил, а все еще тридцатилетним мужчиной смотришь. Так объясни ты нам, сделай милость, что́ это за наука такая?

— Mon cher! Главный секрет этой науки состоит в том, чтоб начертать себе известный esprit de conduite[1] и затем все делать в свое время и не упускать ни одной подробности из того режима, который ты однажды признал для себя полезным,— отвечал Износков.— Если ты твердо решился следовать этой линии — твое дело выиграно; если же ты хоть однажды что-нибудь пропустил или сделал не вовремя — все пропало!

— Да, но ведь ты понимаешь, что с одним хорошим поведением...

— О! что касается до средств, то с этой стороны мы совершенно обеспечены. Нам остается только протянуть руку и черпать. Это даже невероятно, какие громадные успехи сделала в последнее время туалетная химия, туалетная механика и туалетная гигиена! Нет самой ничтожной безделицы, которая не была бы предусмотрена, нет того cosmétique[2], действие которого не было бы определено с величайшею точностью! Конечно, ошибки могут быть и здесь... Так, например, в газетах сплошь и рядом мы читаем объявления об разных dentifrices, eaux de Vénus[3] и так далее — ну, разумеется, к этим средствам необходимо относиться с некоторою предусмотрительностью...

— Как же тут быть предусмотрительным! — как бы недоумевал Глумов,— ну, прочитал, например, в газетах: мазь для ращения волос... взял, намазался ею на ночь —ан на утро у тебя вместо головы голое колено!

— Да, ежели ты только эмпирик — оно непременно так и случится. Я сам, когда вышел из школы, тоже сгоряча прибегнул к *одной crême d'odalisque*[4], *которая, судя по объявлению,* должна была сообщить моей коже «un velouté jusqu'ici inconnu»[5]; но на поверку вышло, что я целую ночь проспал с щеками, вымазанными какою-то мерзостью, а наутро у меня по всему лицу выступили прыщи. Ошибки, мой друг, неизбежны; но они-то и должны нам указывать, до какой степени необходимо во всяком деле быть осмотрительным. Нужно пользоваться

[1] правило поведения.
[2] косметического средства.
[3] зубных порошках, водах Венеры.
[4] крем одалиски.
[5] бархатистость, неизвестную до сих пор.

этими ошибками, но не для того, чтобы вновь впадать в них а для того, чтобы их не повторять.

— Это ты правду сказал насчет ошибок-то. Но легко ведь говорить: будь осмотрителен, а как ты будешь осмотрителен, когда пред тобой все неизвестность и мрак?

— Откровенно скажу тебе, что я в этом случае — консерватор. Литератор! — обратился он ко мне,— может быть, тебя это слово шокирует, но уж извини меня, душа моя: я ведь — везде и во всем консерватор! Во всем, ты понимаешь?.. Я революций не терплю... никаких!.. А впрочем, об этом после. Итак, я — консерватор и потому в большей части случаев прибегаю к таким средствам, надежность которых уже испытана. Конечно, я допускаю и новые пути; я не до такой степени упорен, чтобы не понимать, qu'il y a quelque chose à faire[1], но на этот конец я имею таких субъектов, которым я плачу и которые на себе испытывают действия средств, кажущихся мне интересными. Сверх того, везде существуют такие шимисты и ижиенисты[2], которых специальность составляет туалетная химия и таулетная ижиена. Я, например, имею на этот предмет в Петербурге годового доктора, которого советы были всегда для меня драгоценны. Но, кажется, разговор наш не занимает тебя? — опять обратился он ко мне с тою же глупо-лукавою улыбкой,— ведь ты привык говорить о предметах возвышенных... об революциях, например?

— Помилуй, любезный друг! — испугался я,— да я и сам...

— Оставь его! — вступился за меня Глумов,— нравится или не нравится ему наш разговор — какое нам до этого дело! Главное, чтобы нам нравился. Ну-с, так продолжаем. И много у тебя времени берет эта туалетная гигиена?

— Да как тебе сказать? — почти что весь день! Нынче разделение труда доведено до такой степени, что каждая часть тела служит предметом особенного ухода, особенных попечений. Вот хоть бы сегодня. Я встал в восемь с половиной часов и до сих пор — теперь половина двенадцатого — не успел еще кончить моего туалета. Разумеется, главное уже кончено; а все таки необходимо дать последний coup de main[3]. С вашего позволения, господа!

— Сделай одолжение! мы и во время туалета можем вести разговор!

Износков позвонил француза-лакея и опять отправился к туалетному столу. Последовал обряд надевания жилета и жакетки, во время которого Износков повертывался перед зерка-

[1] что кое-что еще предстоит сделать.
[2] химики и гигиенисты.
[3] штрих.

лом на собственной оси, подергивал плечами, слегка постукивал пальцами по груди, как бы взбивая ее, а француз-лакей не ходил, а как-то беззвучно плавал вокруг него, следя за всеми его движениями и стараясь уловить на лету всякую его мысль. Наконец все было слажено, все сидело как вылитое, хотя ничто не обличало мучительной работы, предшествовавшей последнему coup de main. Мы отправились в столовую, где уж был сервирован завтрак на три персоны.

— Ну, а насчет пищи и пития как? — поинтересовался Глумов.

— Увы! ты затронул самое больное место моего существования! — ответил Износков,— да, хромает у меня эта часть, сильно хромает! Хотя, конечно, и в этом отношении я делаю все, что можно, tout ce qui est humainement possible! [1]

— А например?

— Вот видишь ли, чтоб ты мог понять меня вполне, я расскажу тебе весь свой петербургский день. Литератор! это не обеспокоит тебя?

— Да нет же! Я даже не понимаю, почему ты предполагаешь! — поспешил я разуверить его и при этом улыбнулся так глупо, так глупо, что, право, кажется, глупее самого Износкова.

— Ну, так слушайте же меня! — серьезно начал Износков, предварительно налив нам по стакану превосходного лафита.— Я пробуждаюсь утром всегда в восемь с половиной часов. Почему в восемь с половиной, а не в восемь и не в девять — это я вам сейчас объясню. Во-первых, раньше восьми с половиной в Петербурге зимой редко бывает достаточно светло; во-вторых, если б я встал раньше, мой француз был бы не готов, а без него я не могу сделать шага; если бы же я встал позднее, то сам непременно бы везде опоздал; в-третьих, это — именно тот час, когда пищеварение у меня уже совершилось, а в-четвертых, с восьми с половиной часов передо мной, по крайней мере, два с половиной часа, в продолжение которых никто — вы понимаете: *никто!* — не может мне помешать. Затем, ceci posé, continuons [2]. Вставши с постели, я сейчас же сажусь в ванну. В ванну в двадцать два градуса, ни больше, ни меньше, и с двумя фунтами savon dulcifiant [3], предварительно распущенного в воде. В ванне я сижу ровно двадцать две минуты, и в девять часов я уже там, в той комнате, в которой вы меня застали. Я начинаю свою работу с того, что мою губкой лицо, руки, чищу ногти, прополаскиваю себе рот,

[1] все, что в человеческих силах!
[2] установив это, продолжим.
[3] душистого мыла.

чищу зубы, язык, и проч. и, вытеревши себя досуха особого рода впитывающим влажность полотенцем, прихожу на свой пост, к моему туалетному столу. Здесь я прежде всего начинаю с исследования: внимательно рассматриваю свое лицо, и ежели замечаю где-нибудь прыщ или красноту, то стараюсь припомнить проведенный мною накануне день, чтобы вполне точно определить причину накожного раздражения. Кончивши исследование, сообразивши те средства, которые мне могут потребоваться, и расположивши стклянки так, чтобы они были как можно ближе под рукою, я начинаю работу практических применений, то есть делаю все, что нужно, чтоб получить в результате лицо вполне приличное. Ma foi, messieurs! [1] если б вы пришли ко мне часом раньше, то не ручаюсь, что вы не увидели бы меня с лицом, засыпанным пудрою и покрытым различными onguents! [2] Затем, покуда все это сохнет, я начинаю отделку ногтей. Ногти, messieurs, то есть ногти порядочного человека,— вещь очень важная и вполне зависящая от нас самих. Ни носа, ни глаз, ни даже зубов мы ни удлинить, ни укоротить не можем; с ногтями же мы можем сделать все, что̀ только в состоянии придумать изящный вкус, согласованный с требованиями современности. Ногти порядочного человека должны быть ни очень коротки, ни очень длинны (при этом изречении Износкова я невольно взглянул на свои ногти: они были обгрызенные!). Слишком длинный ноготь с трудом поддается обделке и скоро принимает неряшливый роговой цвет; слишком короткий ноготь придает пальцу неприличный мясистый тон. Et puis un ongle doit être effilé [3] и иметь розовый цвет — вот (он показал нам *свои* ногти)! Отделка ногтей берет у меня около двадцати минут и требует, в практическом смысле, большой опытности. Я употребляю при этом до двадцати названий разных ножниц, ножичков, подпилков, щеточек — по этому одному вы можете судить о том, до какой степени в этом деле доведено разделение труда! Покончивши с ногтями, я пью свой кофе и терпеливо ожидаю действия тех средств, к которым счел нужным прибегнуть перед отделкой ногтей. В одиннадцать часов я умываюсь вновь, обтираюсь с особенною тщательностью, и непременно перед зеркалом. Потому что если б я вытирался не перед зеркалом, то из этого могли бы выйти следующие последствия: во-первых, не все части моего лица и рук были бы вытерты равномерно и досуха, а во-вторых, я мог бы допустить некоторые недосмотры, которые потом было бы гораздо труднее поправить, нежели теперь, по горячим следам.

[1] Честное слово, господа!
[2] мазями!
[3] И вот ноготь должен быть продолговатым.

Справившись окончательно с лицом и руками, я начинаю причесываться, приступаю к одеванию и завязыванию галстуха. Здесь — опять целая наука. Вот эти панталоны — посмотрите, ка̀к они схватывают ляжку и ка̀к потом незаметно, почти нечувствительно спускаются-спускаются и наконец... ложатся на сапог! Они — от Тедески. В Петербурге есть довольно хороших портных, но что касается панталон — это Тедески! Тедески — это ваятель, который создаст ногу почти неожиданно, точно так же, как Микешин совсем неожиданно создал памятник тысячелетию России. Затем, жилет и фрак должны быть от Жоржѐ. Но этого еще мало — одеться! Нужно еще знать, во что̀ одеться, нужно понимать толк в цветах. Во всем необходима гармония, и ежели, например, при панталонах gris perle[1] ты надел зеленый жилет, то, как бы отлично все это ни сидело на тебе, ты никогда не будешь порядочным человеком. Все это необходимо взвесить и сообразить, и вы поймете, почему я только теперь, в двенадцать с половиной часов, то есть через четыре часа после пробуждения, могу принять вас за завтраком. Не забудьте, что я опустил еще множество интересных подробностей, которые также требуют времени. Так, например, я утром *непременно* осматриваю весь гардероб и распределяю мои костюмы на целый день; утром же я регулирую мои счеты и т. д. Так что, говоря по совести, если б я захотел исполнить все как следует — мне мало было бы и двадцати четырех часов в сутки. Но что же делать! à l'impossible nul n'est tenu![2] Я — человек, я имею обязанности относительно общества, и потому...

— Ты покоряешься? понятное дело, душа моя! — прервал Глумов,— ах, голубчик! ведь то-то в тебе и дорого, что отделка наружности у тебя — сама по себе, а обязанности относительно общества — сами по себе!

— Благодарю, ты понял меня. Есть люди, господа (Износков взглянул строго, но ни на кого в особенности), которые думают сами и внушают другим, что мы исключительно заняты разными mésquineries[3], но это доказывает только, что нас совсем не знают. Но оставим это. Итак, мы остановились на том, что в половине первого я завтракаю и принимаю друзей. В час мой завтрак уж кончен, и я выхожу делать мою первую прогулку, причем стараюсь как можно больше себя утомить. В это время в гостиных не принимают, следовательно, нет еще большой беды, если мое тело даст и испарину. В эти же часы я позволяю себе сделать один короткий деловой визит — один

[1] жемчужно-серых.
[2] нельзя требовать невозможного!
[3] мелочными делами.

за раз, никак не больше,— и в два с половиной часа я снова дома.

— Ты говоришь, один визит? но отчего не два, например? — заинтересовался Глумов.

— А потому, мой друг, что два или больше деловых визитов утомили бы меня. Вообще это — правило, которое почти не терпит исключений: деловой элемент должен входить в жизнь лишь настолько, *насколько этого требуют самые-самые* нетерпящие обстоятельства!

— Помилуй, душа моя! Как же ты-то можешь это говорить, когда ты сам, можно сказать,— мученик дела! когда ты с утра до вечера...

— Да, но это — совсем другое. То дело — моя специальность, тут я вполне в своей сфере. Тогда как под «деловыми визитами» я разумею собственно те, к которым обязывают меня общественные отношения. Я — человек партии, друг мой! я — консерватор, и притом один из представителей великого культурного слоя России. Одно это звание уж налагает на меня тьму обязанностей. Лично для себя я не ищу ничего — я не честолюбив, я вполне обеспечен и люблю свободу; но во мне имеют нужду люди моей партии, и тут — il faut que je m'exécute! [1]

— Что и говорить! Тому местечко, другому крестик или чин — культурные люди должны поддерживать друг друга, благо обстоятельства сложились благоприятно для них.

— Вот это и есть моя мысль. Но ты понимаешь, что все эти ходатайства, просьбы и рекомендации не могут же быть особенно интересны. Тем больше, что нередко нас осаждают такие шалопаи, которые впоследствии ставят в большое затруднение само правительство...

— *А ты бы за таких не ходатайствовал!*

— Нельзя, mon cher. Во-первых, я, к сожалению,— не сердцеведец, а во-вторых, нам нужны люди. Необходимо, чтобы ряды наши были наполнены, чтобы мы всегда были в состоянии противостоять. Но, во всяком случае, эти ходатайства составляют одно из больных мест моего существования, и потому очень понятно, что, относительно деловых визитов, я не могу допустить более одного в день.

— Однако, брат, и у тебя... шипы-то, верно, у всякого есть!

— И какие еще шипы! На днях Коля Персиянов, наш общий товарищ и человек, которого мнением я больше всего на свете дорожу, прямо в глаза мне сказал: «душа моя! ты всегда рекомендуешь или глупцов, или негодяев! один из твоих

[1] я должен жертвовать собою!

protégés[1] на днях у Доминика пирог украл!» Каково мне было слышать это! Правда, он тут же поспешил прибавить: «А впрочем, все эти прекрасные незнакомцы, которые являются к нам под личиной консерваторов,— все они большой руки шалопаи»... но все-таки мне было очень и очень неприятно!

— Еще бы! ведь мнение Коли Персиянова...

— Ах, мой друг! это — такой человек! такой человек! Наш ровесник — и уж правая рука. Ma tante, la comtesse Nakhliostkine[2], называет его государственным юношей. Et avec ça, d'une bonté, d'une prévenance...[3] ни один проситель не уходит от него не очарованным! Добр и в то же время тверд, особливо если дело коснется принципов. Уж он по шерстке не погладит... ни-ни!

— Ну, об Персиянове после. Ты так интересно рассказываешь свой день, что я, право, заслушался. Продолжай, пожалуйста.

— К половине третьего я возвращаюсь домой. Тут я опять освежаю себе лицо и руки; но, понятно, уж не с тем вниманием, как утром. Истинное достоинство моей системы в том и состоит, что утром вся главная работа уже сделана, и затем, в продолжение дня, я отдаюсь одним поправкам. Освежившись, я надеваю костюм, предназначенный для визитов, и в три часа, если погода благоприятствует, выхожу на Невский — это вторая моя прогулка, которую я делаю, уже не утомляя себя. Тут я встречаюсь с знакомыми, узнаю новости дня и около четырех часов сажусь в карету и отправляюсь с визитами. И так как главные новости дня мне известны, то понятное дело, что недостатка в sujets de conversation[4] не может быть. Но ежели новости скудны, то у меня всегда есть в запасе различные impressions de voyage[5], которые очень легко припоминаются и всегда как-то новы. Время проходит быстро, так что и не увидишь, как наступит половина шестого, момент, когда я должен быть вновь на своем посту, то есть дома, за туалетным столом. Здесь я опять освежаю лицо и руки и надеваю фрак или сюртук, смотря по тому, куда отправляюсь обедать. Все это делается быстро, очень быстро, потому что в шесть часов я должен быть на месте. Вот тут-то именно и начинаются те затруднения, о которых я уже говорил.

— Насчет пищи и пития, что ли?

— Именно. До сих пор я был сам себе господином, я рас-

[1] покровительствуемых.
[2] Моя тетка, графиня Нахлесткина.
[3] И вместе с тем доброта, предупредительность...
[4] предмете для разговора.
[5] впечатления от путешествий.

поряжался и своим временем, и своими действиями по плану, мною самим составленному и обдуманному. Лично — я очень умерен. Мой каждодневный завтрак вы видите: это — добрый кусок мяса, блюдо сладкого и полбутылки, много бутылка, лафита. Этого, конечно, достаточно, чтоб насытить, но пресыщения тут быть не может. Между тем вне дома я уже не завишу от себя. Я не пользуюсь достаточной суммой свободы, которая необходима, чтобы благоразумие и строго рассчитанная система действий не переставали служить руководящей нитью моих жизненных отправлений.

Износков задумался на минуту, потом взгрустнул и вдруг впал в сентиментальность.

— Да, господа,— сказал он,— иногда я завидую вам! Я завидую той умеренности, которая так просто вам достается, завидую тем скромным обедам, после которых чувствуется так легко на душе! Что̀ вам! Вы зайдете в какой-нибудь маленький ресторанчик, спросите себе обед в полтинник — и довольны. Вы счастливы, веселы, вы возвращаетесь домой, ни в каком смысле не чувствуя обременения. Однажды в Париже я именно таким образом провел мой день. Нас было трое, и мы условились отобедать самым простым и дешевым образом. Отправились в один из établissements de bouillon [1], заказали обед в два с половиной франка с человека, и, поверите ли, никогда я не чувствовал себя так хорошо, так свободно, как в это памятное послеобеда! Потом мы отправились в какую-то третью галлерею театра Gaieté [2] и оттуда в Jardin Bullier [3], где до такой степени развеселились, что незаметно кончили ночь au violon [4]. И вот тогда-то я сказал себе: если обстоятельства мои изменятся, если я сделаюсь беден, comme Job [5],— я всегда буду жить таким образом! Да, господа, я вам завидую!

— Что и говорить! с этой стороны мы действительно обеспечены,— сказал Глумов,— разумеется, лучше иметь спокойную совесть, нежели переполненное брюхо. А все-таки и еще было бы лучше, если б совесть с брюхом-то как-нибудь примирить!

— Да, но мир так устроен... Entre nous soit dit [6], я ведь и сам — немножко социалист; я сам не раз задумывался об этой «курице в супе», которую так желал Генрих IV для своих верноподданных. Но я убедился, что пути провидения ведут

[1] дешевый ресторан.
[2] Веселье, шалость.
[3] Сад Буйе.
[4] под арестом.
[5] как Иов.
[6] Между нами говоря.

человечество иначе — и вот в чем, собственно, заключается то громадное различие, которое существует между мною и распространителями превратных идей. Мы, русские, все более или менее социалисты, но я — я борюсь со страстями, а другие — беспрекословно отдают себя им в плен. Вот и все.

— И хорошо делаешь, что борешься. Потому что если каждый день всякому по курице — сколько бы куриц надо было! А потом, пожалуй, и курицами перестали бы удовлетворяться— захотели бы бифштексу!

— C'est ce que je me suis toujours dit[1]. Мы, консерваторы, понимаем это ясно. Но вот... Литератор! ты кàк об этом думаешь?

— Помилуй! Совершенно так же, как и ты!

— Là! la main sur la conscience? [2]

— Ну, ей-богу! — поклялся я.

— Я тебе верю. Итак, будем продолжать. Повторяю: сам по себе я умерен; но, к сожалению, обед без общества для меня немыслим. Я охотно обедал бы в семействах, но увы! направление нашего века таково, что об семейных обедах никто нынче не помышляет, и даже сами семейные люди находят, что эти обеды годны только для воспитанников военно-учебных заведений, отпускаемых по праздникам домой. Тонкий обед в ресторане, обед с немногими друзьями, оживленный непринужденным и живым разговором,— вот идеал нашего времени. Но, понятно, что в смысле menu такой обед должен быть совершенством, а это — уже слишком серьезное дело, чтобы можно было положиться единственно на самого себя. Menu обеда должно быть дебатировано и резонировано, ибо только тогда получится действительный гастрономический результат. К сожалению, такого рода результат не всегда согласуется с результатом гигиеническим, и вот что, по мнению моему, образует ту страшную пропасть, которая разделяет l'homme de la nature et l'homme civilisé! L'homme de la nature se nourrit de matières premières; [3] его кухня — вся вселенная. Он ловит рыб, птиц и зверей — и съедает их почти живыми. En fait de légumes [4] — у него под руками бесчисленные корни и злаки. И при этом он ест и пьет, и заметьте — пьет только воду! именно столько, сколько ему надо, чтобы утолить голод и жажду. Но по мере того, как цивилизация прикасается к человеку, таинственная книга природы мало-помалу закрывается для него.

[1] Это же самое и я всегда говорю.

[2] Вот как! По совести?

[3] человека природы от цивилизованного человека! Человек природы питается продуктами природы в их первоначальном виде.

[4] Что касается овощей.

Уже наш мелкий петербургский чиновник с презрением отворачивается от внутренностей какого-нибудь оленя и, как подспорье к воде, изобретает квас. Но питание чиновника все-таки еще довольно близко подходит к питанию человека природы, потому что главный характер его составляют умеренность порций и преобладание воды, хотя бы и замаскированной под формою кваса. Затем, чем ближе человек подходит к состоянию культурности, тем больше он удаляется от первообраза питания, предлагаемого природой, и тем неудержимее стремится к переполнению желудка. Являются комбинации, вследствие которых matière première[1] до того изменяет свой интимный характер, что делается почти неузнаваемою. Сначала говядина сортируется, причем сорты жесткие и трудно проглатываемые достаются в удел людям, питающимся в греческих кухмистерских, а сорты мягкие и легко проглатываемые — культурному человеку. Но этого мало: вместо говядины, просто вареной или жареной, выступает на сцену бифштекс, ростбиф, languettes de boeuf[2], то есть говядина идеализированная,— говядина, которая одним наружным видом свидетельствует об усилиях человеческого разума, работавшего над ее просветлением. Но и этого недостаточно: наступает эпоха соуса. Соус — это высшее выражение современного кулинарного гения; соус — это преобразователь, по преимуществу. И, что всего важнее, заслуги его состоят не в прошедшем, не в том, что̀ уже им совершено, а в тех бесчисленных перспективах, которые он позволяет предвидеть в кулинарном будущем. Ах, messieurs![3] вы не можете иметь даже приблизительной идеи о том, что̀ совершило кулинарное искусство в последнее время! Карэм был велик и, вероятно, не повторится больше, но идея его жива и будет жить вечно. Ученики его разрабатывают эту идею так неутомимо и добросовестно, что каждый из них в своей специальности непременно представил какое-нибудь изобретение или пролил новый свет на какое-нибудь блюдо! Впрочем, у нас, в Петербурге, еще нельзя иметь полного представления той неизмеримой высоты, на которой стоит современное искусство хорошо есть. Наши рестораны недурны — и только; но надобно быть в Париже, в этой благословенной Франции, которая со всех концов шлет что-нибудь съедомое, чтоб убедиться, до какой степени развития может дойти кулинарный гений. Каждый француз — природный повар, каждая француженка — природная повариха, в

[1] первобытная материя.
[2] бычьи языки.
[3] господа!

самом возвышенном, благородном значении этих слов. Ни один французский король не умер, не оставив потомкам какого-нибудь кулинарного изобретения, и весь народ стремился подражать ему. Заметьте, что даже революции имеют у них кулинарный характер, потому что всем хочется попробовать той «курицы в супе», которую так великодушно пообещал Henri IV![1] Каждый раз, как я приезжаю в Париж, я не верю глазам своим. Казалось, что уже найдены были геркулесовы столбы, что здание и увенчано, и переувенчано,— ничуть не бывало! Oh! il y a encore immensément à faire![2] скажет вам всякий француз, и скажет святую истину, потому что, например, то, что̀ вы в прошлом году ели под именем rognons sautés[3],— уже совсем не то, что вы едитие теперь под тем же именем. В прошлом году вы должны были размалывать мясо почки зубами; теперь вы только присасываетесь к почке языком — и она растаяла. А Бисмарк думал своими пятью мильярдами раздавить эту страну! Да она одними трюфелями уплатит сто таких контрибуций, одними poulets de Mans[4] подорвет всю его жалкую политику! Правда, он отрезал у Франции Страсбург... Strasbourg!

Он поник головой, как бы оплакивая участь Страсбурга.

— Да, брат, Страсбург... не видать теперь французам страсбургских пирогов, как своих ушей! — сказал Глумов,— но вот что, душа моя! Слушаю я тебя и удивляюсь: сколько ты должен был и поработать, и подумать, чтобы представить себе всю эту картину в такой поразительной ясности! Прогресс человечества в связи с кулинарным искусством! — какая грандиозная идея! Эти дикие, которые едят животных сырьем, эти чиновники, которые питаются в греческих кухмистерских произведениями кухни, так сказать, свайного типа, и, наконец, этот венец созданий божиих, культурный человек, который уже употребляет бифштекс и постепенно возвышается до соуса... изумительно! Поверишь ли, я даже сотой части того не подозревал, что теперь, после твоего изложения, так ясно мне представляется!

— Да, мой друг, и поработал я, и подумал, а все-таки в конце концов могу сказать только одно: я знаю, что я ничего не знаю. Или ещѐ точнее: я знаю, что благодаря развитию кулинарного искусства у меня иногда в один вечер пропадают целые недели упорных гигиенических усилий. Трудно быть

[1] Генрих IV!
[2] О! остается еще массу сделать!
[3] жареных почек в соусе.
[4] цыплятами из Мана.

осмотрительным, когда все вокруг приглашает к неосмотрительности, и хотя я никогда не позволял себе крайностей, но все-таки каждый раз с наступлением лета чувствую потребность ремонтировать себя в Карлсбаде! Но пора уж и кончить. В изложении остального я буду краток, потому что приближается время моей первой прогулки. Вечер я обыкновенно провожу в балете или у французов и оканчиваю свой день на рауте или бале. Я *никогда* не ужинаю — это принцип, от которого я не позволяю себе отступить ни на йоту. Домой я возвращаюсь отнюдь не позднее двух часов ночи. Ночной туалет берет у меня не меньше получаса, потому что это — время, когда я применяю те средства, которых действие продолжительно. Но раз в постели, я засыпаю как убитый. В этом отношении я сумел так дисциплинировать себя, что утром все повязки на голове и лице оказываются всегда на тех самых местах, на которых они были с вечера. Затем опять начинается утро, и таким образом идут дни за днями, почти не изменяясь даже в подробностях. Зная мой один день, вы знаете всю мою жизнь. Что сказать вам еще? Я здоров, я мало состарелся, мне никогда не бывает скучно, и я способен даже теперь совершать некоторые exploits [1], которые впору человеку лишь самой цветущей молодости. Но, повторяю, все это достается мне далеко не легко.

— Еще бы! — воскликнул Глумов,— каждый шаг рассчитан, каждое притирание обдумано,— какая тут легкость! Но вот что̀: ты сказал сейчас, что тебе никогда не бывает скучно,— действительно ли это так?

— Никогда. L'ennui est l'ennemi de l'utile [2]. Я гоню скуку, потому что она приводит за собой дурные фантазии. Вот вы, господа... Литератор! я уверен, например, что ты даже теперь не знаешь, куда деваться от скуки?

— Теперь — нет; но вообще не могу сказать, чтоб жизнь была весела.

— Недоволен? революций хочется? Да, á propos! [3] скажи, пожалуйста, правда ли, что ты требовал cent milles têtes à couper? [4]

— Опомнись! Христос с тобой!

— Да, да, да; мне сказывали. Я лично по-русски давно ничего не читаю,— я считаю нашу литературу помойной ямой, в которую сваливаются все общественные нечистоты,— но знаю из достоверных источников... Ах, голубчик! голубчик! зачем ты это делаешь?

[1] подвиги.
[2] Скука — враг полезного.
[3] кстати!
[4] отрубить сто тысяч голов?

— Да что̀ делаю-то? говори!

— Постой! твоя речь впереди. Неужели ты можешь думать, что *нас* это меньше заботит, нежели тебя?

— Что̀ заботит? Ничто меня не заботит!

— Неужто ты можешь думать, что мы не видим, qu'il y a encore immensément à faire? [1] Что мы сами от души не желали бы, чтоб все шло к общему удовольствию, чтобы эти широкие идеи, toutes ces idées généreuses, enfin... [2]

— Да что̀ ж это, наконец! Глумов! объясни ему, сделай милость!

Но Износков уже ничего не слышал.

— Друг мой! — продолжал он, беря меня за руки и сильно сжимая их,— я, конечно, не имею никакого права!.. но ради бывшего нашего товарищества убеждаю тебя: оставь! Laisse, mon cher! [3] Оставь другим заботу волновать общественное мнение, а ты — будь с нами! Право, Россия не так безобразна, как это кажется с первого взгляда! А ежели бы она и в самом деле была так непозволительно дурна, то, право, мы, русские, мы, люди культуры, должны пожалеть об ней!

Он говорил это таким дурацки-убежденным тоном, что я стоял как ошеломленный и, ничего не понимая, глядел ему в лицо. Но там было все загадочно. Ясно было только то, что в эту минуту он и любил меня, и жалел; любил, не зная за что̀, и жалел, не зная за что̀. Наконец он спохватился и взглянул на часы.

— Ба! пять минут второго! — воскликнул он торопливо,— ну, господа, прошу извинить! Надеюсь, что мы видимся не в последний раз! Литератор! ведь ты не сердишься на меня? Ты понимаешь, что я от души... Оставь, мой друг! Право, жизнь не так дурна, как это кажется господам революционерам, которые по природе своей склонны все видеть в черном свете! До свидания, господа!

Выходя, я готов был взять Глумова за горло: до такой степени изумила меня последняя сцена.

— Это — все ты! — упрекал я его,— ты привел меня к этому шалопаю! по твоей милости я наслушался его наставлений! Ты говорил мне: пойдем на культурного человека посмотреть, а этот культурный человек, того и гляди...

— Не горячись! — прервал меня Глумов,— во-первых, беды от Износкова не может быть никакой. Он уж и в настоящую минуту, вероятно, забыл не только о своих наставлениях, но

[1] что нужно еще массу сделать?
[2] все эти благородные идеи, наконец...
[3] Оставь, мой милый!

и об тебе самом. Во-вторых, ты все-таки в выигрыше, потому что видел лицом к лицу подлинного русского культурного человека и знаешь, ка̀к он относится к твоему ремеслу.

V

1-й золотарь. Давеча мне дядя Николай говорит: «Не понимаю я, дядя Павел, как вы, золотари, это делаете? и должность свою справляете, и хлеб едите». А я ему: «Не твоего разума эта задача, дядя Николай! зато мы в день целковый получаем, а тебе и вся цена грош».
2-й золотарь. Ну, а он что на это?
1-й золотарь. Ничего. «Отчаянные! — говорит.— Ин и вправду об вас забыть нужно!»

Из неизданной книги: «Житейские разговоры в отходной яме»

От времени до времени наша печать оживляется, и поводом для этого оживления обыкновенно служат уголовные скандалы. Много и безбоязненно было писано об матери Митрофании; еще более обильную пищу для литературных излияний дал купец Овсянников; наконец, выступил на сцену уголовный процесс г. Кронеберга...

Процесс этот немногосложен: г. Кронеберг сек свою дочь и давал ей пощечины. О существовании этой дочери он узнал уже спустя значительное время после ее рождения, и потому первоначальное ее воспитание было более чем небрежное. Немедленно по появлении на свет она была отдана своею матерью в одно крестьянское семейство в Швейцарии, где и нашел ее г. Кронеберг. Затем он отдал ее в семью пастора в Женеве, но и тут удовлетворительных результатов не получил. Оставалось поселить ребенка вместе с собою и лично заняться его воспитанием, что̀ г. Кронеберг и исполнил. Но, задавшись мыслью сделать из свой дочери «женщину не блестящую, но полезную», молодой отец с огорчением заметил, что в ребенке уже укоренились некоторые дурные привычки, при существовании которых женщина хотя и может быть блестящею (в благонамеренном мире кокоток), но ни в каком случае не имеет права на название полезной. Надлежало воздействовать на эти привычки, устроить так, чтоб ребенок забыл об них. Намерение отличное, но, к сожалению, г. Кронеберг —

педагог-самоучка, и притом человек раздражительный, пылкий и самонадеянный. Он сказал себе: не нужно мне никаких советов, ничьей помощи! я сделаю все сам. Но так как человек, не приготовленный к известного рода деятельности, может только производить путаницу, то весьма естественно, что самонадеянный педагог на первых же порах должен был сознаться в своей несостоятельности и, за недостатком времени для изучения новейших педагогических систем, прибегнуть к тем воспитательным приемам, которые в ходу в той среде, где он живет. А в среде этой педагогика одна: плюхи, ежели дело не терпит отлагательства, и розги, ежели можно вести дело искоренения пороков с чувством, с толком, с расстановкой. И действительно, розги, пополняемые плюхами, поступили на сцену.

Но система телесных воздействий имеет троякую невыгоду. Во-первых, она действует медленно, ибо относится к злой воле ребенка не непосредственно, а при участии некоторых посредствующих членов, которыми являются: со стороны воспитывающего — розги и кулак, а со стороны воспитываемого — бренная оболочка бессмертной его души и преимущественно задние ее части. Понятно, что через спину, и притом при помощи розги, не имеющей в себе ничего духовного, гораздо труднее проникнуть до души, нежели при помощи убеждения, которое, как начало тонкое, имеет свойство действовать на душу непосредственно. Во-вторых, телесные наказания, не удовлетворяя условиям быстроты действия,— что́ собственно и ожидается от них педагогами-самоучками,— раздражают последних и заставляют их тем сильнее упорствовать в избранной системе, чем сомнительнее получаемые от нее результаты. В-третьих, они вынуждают наказываемых свидетельствовать об испытываемой ими боли более или менее громкими криками, которые впоследствии могут служить не совсем приятным для педагогов поводом для начатия против них судебного преследования.

Это последнее обстоятельство в особенности важно; оно оказалось и в деле г. Кронеберга. Мария Кронеберг так сильно и часто кричала, что возбудила сострадание в двух сердобольных женщинах (дворничихе и кухарке), которые и заявили в участке об *истязаниях*. Педагогические эксперименты были прерваны; на сцену явился участковый пристав, затем прокуратура, врач, судебный следователь, судебная палата и проч. А г. Кронеберг поспешил обратиться к помощи г. Спасовича, о котором даже стены судебных зданий вопиют: vir bonus, dicendi peritus [1].

[1] муж добрый, искусный оратор.

Судебное следствие состоялось и, как следовало ожидать, было направлено к разъяснению следующих трех капитальных пунктов: 1) не было ли каких посторонних причин, заставивших упомянутых выше двух сердобольных женщин довести до участка дело об истязаниях? или другими словами: заявили ли они об этом деле бескорыстно или же руководились какими-либо личными непохвальными побуждениями? 2) заслуживала ли Мария Кронеберг, чтобы на порочную волю ее воздействовали при посредстве розог и оплеух, то есть обладала ли она такими наклонностями, которые могли ей впоследствии воспрепятствовать сделаться полезною женщиной? 3) выходили ли употребленные г. Кронебергом меры и исправления из пределов, очерченных законом, настолько, чтобы потребовать вмешательства в форме судебного преследования?

По первому вопросу на возбудительниц была накинута сильная тень. Дворничиха была замешана в историю о пропавшем цыпленке, за что̀ подвергнута г. Кронебергом вычету из жалованья в количестве 80-ти копеек. Кухарка же состояла с девочкой в каких-то преступных отношениях, которые, однако ж, на судоговорении разъяснения не получили. Вообще этот вопрос был поставлен довольно ребячески, и защита поняла, что опираться на него нет надобности; но сомнение все-таки было возбуждено, и чистый образ сердобольной дворничихи значительно потемнел в глазах людей, которые из всех побуждений, двигающих человеком, верят только в побуждение, заставляющее ради 80-ти копеек предавать своего ближнего.

По второму вопросу свидетельница, доктор Суслова, показала, что девочка занималась онанизмом и не умела управлять своими естественными нуждами. Да, именно так, в этих словах и показал доктор, четко и ясно, как будто боялся что-нибудь упустить из вида. Другие показывали о «пороках» Марии Кронеберг уклончиво, как бы не желая компрометировать ребенка, и без того уже самым возмутительным образом обвинившего себя в воровстве и лганье, но доктор Суслова показывала именно так, как «перед богом и страшным его судом показывать о сем надлежит». Там, где другие останавливались перед мыслью, что девочке предстоит еще долгое поприще жизни, доктор Суслова, с солдатскою, можно сказать, откровенностью, не усомнилась выдать ей аттестат на всю жизнь. Затем, из других показаний, хотя и не столь веских, как сусловское (их давали: подсудимый Кронеберг, г-жа Жезинг и пастор Комба́, который уже выказал свою несостоятельность в деле воспитания), можно заметить, что Мария Кронеберг позволяла себе лгать и однажды даже подала повод заподозрить ее в намере-

нии присвоить себе из запертого помещения (кража со взломом) принадлежащий г-же Жезинг чернослив.

I таким образом перед присяжными невольно возникла следующая дилемма: ежели уже до начала судебного преследования Мария Кронеберг не умела управлять своими естественными надобностями, то не будет ли вынесенный подсудимому обвинительный приговор косвенным для нее поощрением и впредь упорствовать в том же ложном направлении?

По третьему пункту свидетели неученые отчасти показывали, что наказания были жестокие, отчасти отзывались неведением. Свидетели ученые, то есть эксперты-врачи, путались. Врач Лансберг сначала высказывался не в пользу г. Кронеберга, но потом начал мало-помалу отступать и кончил тем, что, собственно говоря, провести границу между легкими и тяжкими повреждениями «мы не можем» и что иногда и от легких повреждений люди умирают, а другие и от тяжких выздоравливают. Так что когда г. Спасович обратился к нему с вопросом, нашел ли он на теле прорезы кожи или только пятна и полосы (этот вопрос следовало бы вырезать золотыми буквами на мраморной доске и повесить последнюю в зале заседаний совета присяжных поверенных), то г. Лансберг ответил уже совсем темно, что «повреждения относятся к тяжким по отношению наказания, а не по отношению нанесенных ударов», желая этим, вероятно, выразить, что солдат мог бы вынести такие повреждения без особенного вреда, но для ребенка они могли составить и вред. Врач Чербишевич свидетельствовал по части рубцов и выразил то мнение, что повреждения особенного влияния на здоровье ребенка не имели, но рубцы остались на всю жизнь и, судя по форме их, произошли не от ушибов, а от ударов прутьями. Давность же происхождения рубцов г. Чербишевич определил так: может быть, за несколько лет, а может быть, и за три недели. Эксперт Флоринский тоже отнес наказание не к тяжким, причем присовокупил, что Мария Кронеберг принадлежит к числу таких субъектов, у которых раздражение кожи бывает резче, чем у других. Наконец, эксперт доктор Корженевский выразился, что девочка принадлежит к субъектам, малейшее прикосновение к телу которых производит синяки. Словом сказать, экспертиза не только не внесла никакой ясности в дело, но еще более запутала в лабиринте противоречий и оговорок. Никто ничего не сказал прямо, по-сусловски, так что для слушателей этого бесплодного разговора защиты с экспертами мог даже возникать совсем особого рода вопрос: да уж не Мария ли Кронеберг виновата тем, что принадлежит к числу субъектов, малейшее прикосновение к телу которых производит синяки? Хотя, с дру-

гой стороны, слушателям более сообразительным мог представиться и такой вопрос: для чего же, однако, г. Кронеберг предметом своих педагогических воздействий избрал дочь, а не солдата, малейшее прикосновение к телу которого, наверное, синяков не произведет?

Господин Спасович бесподобно воспользовался неопределенным характером матерьяла, добытого на судебном следствии. Вообще, независимо от талантливости, это самый солидный и дельный из ныне действующих адвокатов. Он всегда стоит на почве фактов и прежде всего интересуется не тем, действительно ли преступление имело место, а тем, не имеется ли для него оправданий в законе и могут ли быть опровергнуты представляющиеся в деле улики. Он не допускает чувствительности и бесплодных набегов в область либерального бормотанья. Он помнит, что он адвокат, только адвокат, а не философ и не публицист, и приглашает присяжных заседателей помнить об этом. В его глазах преступление не имеет в себе ничего чудовищного, изумляющего, и он мало ожидает, чтобы суды перестали действовать, за прекращением уголовных преступлений. Он знает законы со всеми продолжениями и дополнениями, умеет толковать их и всегда хранит про запас кассационный повод. Свидетеля он изучил до тонкости и потому не учит его и не надоедает назойливыми вопросами, а только слегка направляет, ибо знает, что свидетель, предоставленный самому себе, гораздо скорее преподнесет ему сущий мед, нежели свидетель, которого адвокат берет под опеку. Присяжных заседателей он тоже проник и нередко упрощает их обязанности, объясняя (обыкновенно в заключение), что о преступлении уже по тому одному не может быть и речи, что самое судебное преследование возбуждено несогласно с такими-то и такими-то требованиями закона. Сверх того, судя по репутации, г. Спасович принадлежит к числу адвокатов, не обуреваемых жаждой легкого и быстрого стяжания, что̀ еще больше влечет к нему сердца подсудимых.

Таков адвокат, выступивший в роли защитника г. Кронеберега на судоговорении 23 января.

Сделавши довольно краткий, хотя, нужно сознаться, не особенно замечательный очерк жизни и семейных отношений подсудимого, г. Спасович прежде всего приступает к вопросу: имеют ли право родители наказывать своих детей? — и разрешает его не на основании каких-либо произвольных умозаключений, но ссылкою на статью закона, которая гласит прямо, что родители, недовольные поведением детей, могут наказывать их способами, не вредящими их здоровью и не препятствующими успехам в науках. Отсюда вывод: да, г. Кроне-

берг наказывал свою дочь, и имел на это право, гарантированное ему законом. Но, может быть, он злоупотреблял этим правом и пускал в ход такие способы наказания, которые могли вредить ее здоровью? — чтоб разрешить этот вопрос, Спасович входит в подробное, хотя и утомительное рассмотрение качества побоев, следы которых найдены на теле ребенка. Знаки от побоев разделяются на три категории. Прежде всего представляются *знаки на лице*, которых так много, что, по признанию самой защиты, «если пристально вглядеться в лицо ребенка, то это лицо точно исписано по всем направлениям тонкими шрамами». Но это ничего не значит, ибо показания экспертов так неопределенны, что защите нет никакого труда вывести заключение, что «нет ни одного знака, о котором можно было бы сказать, что он произошел от удара, нанесенного отцом». Жаль, что подсудимый сам сознался в пощечинах, а не будь этого сознания, не было бы и пощечин, так как нет на лице синих и сине-багровых пятен. Но ежели и были синяки, то разве присяжным не памятно показание доктора Корженевского, который удостоверил, что существуют субъекты, малейшее прикосновение к телу которых производит синяки? Ребенок золотушный, изобилующий лимфой,— что же тут мудреного, что тело его покрыто синяками! Итак, знаки на лице есть, но нет уверенности, нет улик и доказательств, что они произошли от побоев, нанесенных отцом. И притом это знаки мелкие, ничтожные, знаки, которых не заметила даже доктор Суслова, заметившая, что Мария Кронеберг не умеет справляться с естественными надобностями. Затем, следуют знаки *на руках и на ногах*. Что касается до них, то они произошли очень просто: девочку держали за руки и за ноги во время сечения. Сечение — было; этого никто не отрицает; сам подсудимый сознался в этом, и на этот раз сознался кстати, потому что иначе нельзя было бы объяснить происхождение знаков на руках и на ногах. Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde [1], сказал некогда Ламартин и прибавил: alea jacta est! [2] то есть когда собираешься сечь, то имей в виду, что секомого нужно будет держать за руки и за ноги, вследствие чего у него, несомненно, образуются синяки. Дальше, переход от знаков на руках и на ногах к знакам *на задних частях тела* — самый естественный. Эти знаки тоже есть; но, прежде всего, сам эксперт Лансберг засвидетельствовал, что «прорезов кожи» не было, а были только сине-багровые пятна и полосы; а коль скоро «прорезов кожи» не было, то стоит ли о

[1] Все переплетено, все связано в этом мире.
[2] жребий брошен!

подобных знаках и толковать! хотя же, сверх полос и пятен, найдены были на ягодицах следы струпьев, то струпья эти, по объяснению эксперта Корженевского, суть не что иное, как местное омертвение кожи, которая сходила и заменялась новой. Да и самый вопрос этот не медицинский, а педагогический, ибо медик не может определить ни пределов власти отца, ни силы неправильного наказания(?),— все это могут определить только инспекторы и учители гимназий. Но на столе, в числе вещественных доказательств, тем не менее лежит пук розог, которые эксперт Флоринский назвал шпицрутенами, и несомненно бывший в употреблении, и именно в руках г. Кронеберга,— этого, конечно, отрицать нельзя! Нельзя, однако ж, отрицать и того, что г. Кронеберг пользовался этим педагогическим орудием *только один раз*. Он сорвал эти рябиновые прутья за несколько дней до наказания, а срывая их, *быть может,* не знал, что придется употреблять их в дело. Правда, что случай не заставил себя ждать; но до тех пор г. Кронеберг наказывал свою дочь только «маленькими ветками», да и то раза три, в промежутках времени довольно значительных. Хотя же некоторые и показывают, что девочка кричала сильно и часто, но она вообще «кричать горазда, кричит и тогда, когда ее ставят в угол или на колени».

Итак, о происхождении знаков на лице нельзя сказать ничего верного; что же касается до сечения, то хотя оно и производилось, но при посредстве совсем «маленьких веток», за исключением лишь *одного раза*, когда употреблены были в дело шпицрутены, срезанные за несколько дней до наказания, но без ясно сознанного намерения употребить их в дело. Можно ли назвать тяжким это *единократное* наказание, не сопровождавшееся даже прорезами кожи? — ответ на это дает кассационная судебная практика, из которой до очевидности ясно, что в настоящем случае самое возбуждение подобного вопроса представляется немыслимым.

Совсем иное дело вопрос: была ли достаточная причина для употребления меры домашнего исправления в тех увеличенных размерах, которые допущены были при том единократном наказании, когда г. Кронеберг употребил шпицрутены? Само собою разумеется, что была. Нужно отдать справедливость чистоплотности г. Спасовича: он ни на минуту не остановился на солдатски-откровенном показании доктора Сусловой. Но в этом не было и надобности, потому что девочка имеет много других пороков, которые требуют педагогического воздействия: она — лгунья и воровка... Пропадает сахар, чернослив, и, наконец, является поползновение (следствием, впрочем, не подтвержденное) добраться и до денег. Равнодуш-

но к таким поступкам относиться нельзя. «Я полагаю,— сказал г. Спасович,— что от чернослива до сахара, от сахара до денег, от денег до банковых билетов — путь прямой, открытая дорога». Слова сильные, но неосновательные, свойственные тем остервенелым педагогам, которым до того опостылело воспитательное ремесло, что они в каждом воспитываемом готовы усматривать будущего злодея. Едва ли также можно согласиться с мнением г. Спасовича, что отец, наказывая своего сына (как?), избавляет его от каторжных работ и поселения, а наказывая дочь, избавляет ее от того, чтоб она не сделалась распутною женщиной; ибо можно указать на множество лиц, которые, никогда не быв сечены ни с рассечением кожи, ни без рассечения оной, не только не угодили на каторгу, но занимают более или менее значительные общественные должности. Тем не менее, несмотря на парадоксальность и ребяческую несостоятельность подобных мнений, высказывать их в защитительной речи, обращенной к присяжным заседателям, все-таки недурно. Хорошо поразить воображение присяжного, сказав: вот девочка, которая была на пути к банковым билетам, но г. Кронеберг ее остановил! И еще: секи своего сына, ибо это избавляет его от каторги! секи свою дочь, ибо это воспрепятствует ей сделаться жертвой распутства! Нужды нет, что все это вздор и галиматья и что подобные мнения отзываются не то старческим бессилием, не то ребяческими пеленками,— г. Спасович очень хорошо знает, что существуют аудитории, в среде которых подобные перспективы пользуются силою почти неотразимою, и покуда эти аудитории будут существовать, до тех пор и он будет рисовать свои перспективы в интересах подсудимых, которые прибегнут к его адвокатской помощи.

Из всего изложенного выше оказывается, что г. Кронеберг отнюдь не истязатель, а только плохой педагог. Наказывая девочку сильно, больно, так что остались следы наказания (вот кабы найти такой способ, чтобы можно было наказывать сильно и больно, а следов бы не оставалось!), он «сделал две логические ошибки: во-первых, поступил слишком рьяно, предположив, что можно одним ударом искоренить все зло, которое годами посеяно в душу ребенка и годами же взрощено», и, во-вторых, он «действовал не как осторожный судья и не вошел в исследование обстоятельств, которые склоняли девочку к краже».

Плохой педагог, неосторожный судья — и больше ничего. Вот если б его за это предали суду, тогда был бы другой разговор! Тогда его можно было бы даже присудить к высшей мере наказания, то есть к отдаче на покаяние в педагогическое

общество (но тогда можно было бы также доказать, что суждение о достоинстве той или другой педагогической системы до присяжных не относится), а то, помилуйте! предают человека суду за истязание! Да где же оно? где его признаки? вот вам свод законов, вот кассационная судебная практика и вот, наконец, показания экспертов-врачей! Истязания! тяжкие повреждения! И это говорится ввиду показаний, совершенно определительно установивших, что не было даже просечения кожи!

Одним словом, как адвокат, г. Спасович исполнил свое дело вполне исправно. С знанием законов и кассационной судебной практики, с тонким пониманием свидетелей и присяжных заседателей. С своей стороны, и присяжные отнеслись к его усилиям с полным доверием и вынесли г. Кронебергу оправдательный вердикт.

Собственно говоря, здесь бы и следовало кончить настоящую статью. Все сделали свое дело. Г-н Кронеберг сек свою дочь, но без просечения кожи, а ежели она кричала, то потому только, что вообще «кричать горазда». Г-н Спасович исполнил свое провиденциальное назначение бесподобно, то есть доказал, что клиент его наказывал не произвольным аллюром, но на точном основании указаний, представляемых кассационною судебною практикой. Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт. Во всем этом нет ничего ни необычного, ни удивительного. Не удивительно даже и то, что в таком деле фигурировал г. Спасович, а не адвокат чувствительной школы, г. Языков. Ведь г. Спасович, помнится, уже заявил однажды, что адвокатская деятельность должна не посторонними какими-либо соображениями руководствоваться, но преследовать лишь те чисто художественно-юридические цели, которые непосредственно вытекают из свода законов и кассационной судебной практики...

Но есть в защитительной речи г. Спасовича одна сторона, которая как-то не клеится с идеалом чисто художественно-юридических целей, рекомендуемым им адвокатскому сословию. В начале этой речи существует небольшое вступление, в котором знаменитый адвокат желает как бы выгородить свою личную солидарность с розгами и пощечинами и внушить слушателям, что его личные понятия насчет способов педагогического воздействия далеко не сходны с теми, которые исповедует г. Кронеберг. Ввиду такого заявления, конечно, всего естественнее было бы обратиться к г. Спасовичу с вопросом: если вы не одобряете ни пощечин, ни розог, то зачем же ввязываетесь в такое дело, которое сплошь состоит из пощечин и розог? Но, по-видимому, это нравственное и умственное двое-

гласие имеет особенную и вполне уважительную причину, а именно: г. Спасович, не будучи лично сторонником пощечин и розог (и он родился в Аркадии, и он не чужд *посторонних соображений!*), видит в них тем не менее своего рода воспитательный пантеон, к которому надо приближаться с осторожностью, а всего лучше ожидать с терпением, пока он сам собой рухнет. А не рухнет он никогда, невольно проговаривается при этом уважаемый оратор и адвокат.

Вот об этой-то стороне защитительной речи и предстоит теперь сказать несколько слов, тем более что она значительно подрывает солидно-деловую, изъятую от всяких мечтательностей, деятельность г. Спасовича как адвоката.

Существует в Европе и, вероятно, в целом мире политическое и философское учение, известное под именем учения о компромиссах и сделках. Сущность этого учения заключается в том, что человечество должно подвигаться вперед, отступая. Некоторые адепты этого учения еще сохранили память о кой-каких идеалах и собственно ради их достижения рекомендуют уступки и компромиссы; но другие до того завертелись в беличьем колесе компромиссов, что уже ничего впереди не видят и ничего назади не помнят, а смотрят на жизнь как на исторически организованную игру, в которой никакой цели никогда не достигается, хотя все формы неуклонного поступательного движения имеются налицо. Игра эта бывает более или менее сложная, смотря по большей или меньшей сложности замысла и большему или меньшему количеству сил, которые в нее введены, но, во всяком случае, она с избытком наполняет досуги людей.

В настоящее время в Европе существует как бы поветрие на компромиссы и сделки. Всюду чувствуется смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: «Осторожнее! Не спешите! Отступайте! Заманивайте! Не раздражайте!» На этой наклонности компромисса основан союз германских национальных либералов с Бисмарком, и этим же явлением объясняется и то, что происходит теперь во Франции.

Практика компромиссов до такой степени втягивает, что заставляет забывать прежние связи и прежних друзей. Люди делаются придирчивыми, подозрительными, приходят в одичание и в конце концов до такой степени погрязают в мелочах, что начинают все прикидывать на золотники и вершки и от этих вершков ставить в зависимость успех поступательного движения в беличьем колесе. Каждый открытый шаг друзей-единомышленников кажется компрометирующим, каждое слово, разоблачающее действительные цели стремлений партии, представляется рискованным, преждевременным. Хотелось бы

достигнуть этих целей «потихоньку», не в смысле большей или меньшей медленности процесса достижения, а так, чтобы никто не заметил. Все бы на минуту задремали, а мы бы взяли да и воспользовались. И так как, при таком беспокойном состоянии ума, последний все усилия направляет лишь к устройству внешних форм движения, то есть к дисциплине и субординации, то нередко случается, что первоначальные цели мало-помалу стираются и отходят очень далеко назад. Так что не без удивления можно видеть, что человек, который первоначально ни о чем не хотел слышать, кроме maximum'а, преспокойно съезжает себе на minimum и упорно сидит в новосозданной им раковине умеренности до тех пор, пока новая горячая волна жизни не вымоет его оттуда.

Веяние времени, носящееся в воздухе, сказывается до того решительно, что подчиняет себе, например, даже Луи Блана, который до сих пор гораздо сочувственнее относился к требованиям «мечтателей», нежели к «политике рассудка» и «политике результатов». В письме, обращенном в 1875 г. к избирателям XIII округа города Парижа, он уже прямо выражается, что уступки необходимы и что одним скачком очутиться у цели невозможно...

То же явление встречается и в современной России, хотя и в иных применениях. У нас нет широких интересов, волнующих Францию и Германию; у нас человеческая мысль может от времени до времени высказываться лишь по поводу частных случаев, проявляющихся преимущественно на судоговорениях. Поэтому и в деятелях чувствуется некоторая разница: во Франции проводителями учения о компромиссах являются Гамбетта и Луи Блан, у нас — г. Спасович. С этою оговоркой письмо Луи Блана, без всякой натяжки, может стоять рядом с речью г. Спасовича, и читателю, при сравнении их, остается только уменьшать размеры в той степени, в какой он сам заблагорассудит.

Изложив свою избирательную программу и установив те политические общественные идеалы, торжеству которых была всецело посвящена его жизнь и в пользу коих он и впредь обязывается неленостно ратовать, Луи Блан вдруг делает переход, в сущности, ничем не мотивированный, кроме смутного представления: а что̀, ежели честный солдат Мак-Магон, за такие мои слова об республиканских идеалах, республику прихлопнет, а нам всем «фельдфебеля в Вольтеры даст»? Вот этот переход: «Мне, конечно, не безызвестно, любезные сограждане, что в трудном шествии человечества к царству правды необходимы известные станции; что победы прогресса не совершаются в один день; что нужно терпение, нужна осто-

рожность, нужен практический смысл вещей; что, идя вперед с излишней быстротой, человечество рискует быть поставленным в необходимость отступить». То есть, другими словами: ваше превосходительство! господин маршал Мак-Магон! Вы слышали, что̀ я сейчас говорил о рабочем вопросе, о церкви, о народном образовании, но ведь это *Улита едет — когда-то будет.* Желая всем сердцем реформ в моем отечестве, я, однако ж, понимаю, что на хотенье есть терпение и что в настоящее время мы уже и тем совершенно счастливы, что имеем такого снисходительного начальника, как ваше превосходительство. Успокойтесь же насчет нашей благонамеренности и имейте в виду, что ежели в 1880 году потребуется устроить для вас новый септеннат, мы, хотя, быть может, ради приличия, не будем деятельно участвовать в этом торжестве, но и препятствовать оному не станем, так как идеалы наши трудные, и в 1880 году пословица «скорость потребна только блох ловить» будет существовать в той же силе, как и в настоящую минуту.

То же говорит и г. Спасович в той скромной сфере сечения, в которой он, в качестве адвоката, вынужден вращаться. «Я, гг. присяжные,— объясняет он,— не сторонник розги; я вполне понимаю, что может быть проведена система воспитания, из которой розга будет исключена, но... нормальные меры употребляются в нормальном порядке вещей». Или, другими словами: хорошо воспитание без розги, но нужно запастись терпением, осторожностью и практическим смыслом вещей и с этим ждать нормального порядка вещей. А до тех пор следует довольствоваться необходимыми станциями, в числе коих г. Кронеберг составляет такую, на которой поезд, стремящийся в царство правды, останавливается для сечения до тех пор, покуда об этом не будет заявлено в участке.

Далее Луи Блан продолжает: «Было бы несомненно неблагоразумно думать, что можно одним прыжком очутиться у цели путешествия, для совершения которого потребно продолжительное время». А г. Спасович, из скромной сферы розог вступая в еще более скромную сферу пощечин, объясняется так: «Остается открытым вопрос о пощечинах и о тех синяках, которые были, *может быть* (г. Спасович твердо держится показания доктора Корженевского о принадлежности Марии Кронеберг к таким субъектам, малейшее прикосновение к телу которых производит синяки, и только по страсти к компромиссам допускает, что синяки, *может быть*, произошли и от пощечин), последствием пощечин. Кронеберг давал пощечины ребенку — это верно: он сам признает, что ударил девочку по лицу раза три или четыре. *Я признаю, что пощечина не может считаться достойным одобрения способом отношения отца к*

дитяти. Но я знаю также, что есть весьма уважаемые педагогики, которые считают удар рукой по щеке нисколько не тяжелее, а может быть, и предпочтительнее, в некоторых отношениях, сечения розгами. Причины, почему пощечина считается особенно обидным ударом, кроются в нравах, в прошедшем. Следя в истории за возникновением этого понятия, мы отыщем его в те рыцарские времена, когда рыцари ходили в шлемах с забралом, когда ударять их по лицу в обыкновенном их наряде было невозможно, а подобные удары сыпались только на смердов, на вилланов. Разбирая же власть родительскую, трудно сказать, чтоб она не доходила ни в каком случае до пощечин; от постороннего человека удар по лицу может сделаться кровной обидой, но не от отца». Иными словами, то же самое, что говорит и Луи Блан, только переведенное на язык пощечин. Шествуйте вперед к царству, изъятому от пощечины, но знайте, что вас ждет путь долгий и трудный, у цели которого нельзя очутиться одним прыжком; и что путь этот весь усеян пощечинами. Конечно, Луи Блан был бы очень изумлен, узнав, что существует «открытый вопрос» о пощечинах, но по нашему месту и это сойдет с рук.

Сходство, впрочем, на этом и оканчивается. Высказав изложенные выше мысли насчет уступок, Луи Блан прибавляет: «Но необходимо иметь идеал и никогда не терять его из вида, даже в тех случаях, когда допускаются жертвы в пользу действительности. Неразумно думать, что один прыжок достаточен для того, чтобы достигнуть цели долгого пути, но еще неразумнее пускаться в путь, не зная, куда он ведет, и выбирать окольные дороги, не будучи уверенным, что они ведут именно к тому пункту, которого предполагаешь достигнуть». Г-н Спасович, напротив того, дав сначала понять, что для него вполне понятна система воспитания без розог и без пощечин и что, следовательно, нельзя отрицать возможности и действительных, вполне беспощечинных отношений родителей к детям, тем не менее относится к этому идеалу беспощечинности мрачно, почти безнадежно. «Я,— говорит он,— так же мало ожидаю совершенного и безусловного искоренения телесного наказания, *как мало ожидаю, чтоб вы* (присяжные заседатели) *перестали в суде действовать, за прекращением уголовных преступлений и нарушений той правды, которая должна существовать, как дома, в семье, так и в государстве»*.

Люди придирчивые могут сказать, что последние, подчеркнутые сейчас, фразы или затем только пущены в ход, чтоб сделать гг. судьям и присяжным заседателям комплимент, внушив им, что царствию их не будет конца, или же представляют собой набор пустых и бессодержательных слов, выска-

занных без всякого соображения с историей тех усилий — историей далеко не бесплодною,— которые делаются в видах ежели не окончательного и немедленного упразднения преступлений, то, по крайней мере, значительного сокращения числа их. Есть выражения готовые, к которым уже исстари приучено человеческое ухо и к которым, в случае отсутствия мысли, можно прибегать точно так же, как прибегают к магазину готовых платьев, чтобы выйти оттуда франтом. Но пусть будет так, как утверждает г. Спасович: пусть розги не прекратятся, пусть пощечины господствуют вечно; пусть преступления умножаются и процветают на утешение адвокатам, in secula seculorum;[1] спрашивается: зачем же было заводить разговор о педагогических идеалах? Зачем было говорить: «Я вполне понимаю, что может быть проведена система воспитания, из которой розга будет исключена»? Странное дело! объявлять себя «не сторонником» розги и в то же время вступаться в дело, в основании которого лежит исключительно розга! намекать на возможность каких-то беспощечинных педагогических идеалов и вслед за тем объявлять, что идеалы эти следует положить в шкаф и навсегда запереть на ключ!

Ежели слова о возможности существования беспощечинной педагогики были высказаны не ради щегольства (чего даже нельзя предположить со стороны г. Спасовича, зная его всегдашнюю трезвость в этом смысле), то их не следовало говорить совсем, особливо ввиду того, что вся остальная речь представляет лишь категорическое опровержение этого опрометчиво выраженного афоризма. Правда, жалкие слова имеют еще очень большое значение в современном обществе, но все-таки туман, ими напускаемый, начинает мало-помалу рассеиваться. Ясно, что г. Спасович вышел из своей роли и сделал ошибку. Его ум, по преимуществу деловой, наклонный к политике результатов, должен тщательно отметать от себя чувствительные примеси, которые составляют удел тех, которые за прогоны готовы посетить какую угодно область теоретических общностей. И, наверное, речь г. Спасовича не утратила бы своей ценности и не сделалась бы менее убедительною, если б он, не выгораживая своей личности от подозрений в солидарности с пощечинами, выразил прямо и просто, чего он требует от присяжных заседателей. Скомпанованная таким образом речь могла бы иметь приблизительно следующий вид: «Гг. судьи! гг. присяжные заседатели! перед вами на скамье подсудимых находится г. Кронеберг, который обвиняется в истязании своей дочери. Для того чтобы вы могли судить пра-

[1] во веки веков.

вильно, действительно ли г. Кронеберг виноват в том преступлении, *за которое он преследуется* (всякий опытный адвокат должен подчеркнуть эти последние слова, чтоб присяжные не смешивали: подсудимый может быть и виноват, но *не в том* преступлении, за которое судится), необходимо разрешить три вопроса: 1) имел ли г. Кронеберг право подвергать свою дочь телесному наказанию? — ответом на этот вопрос служит такая-то статья свода законов, которая вполне это право за ним подтверждает; 2) подавала ли Мария Кронеберг повод для педагогических воздействий на теле? — на это служит ответом энергическое показание доктора Сусловой, и 3) можно ли назвать употребленные г. Кронебергом педагогические приемы истязанием? — на это даст вам ответ, во-первых, кассационная судебная практика и, во-вторых, достаточно удовлетворительный вид, который представляли ягодицы Марии Кронеберг при освидетельствовании. Я кончил».

И только.

Можно быть уверенным, что эта простая и безыскусственная речь оказала бы на присяжных заседателей по малой мере такое же влияние, как и те темные намеки, которые допустил г. Спасович, чтобы установить свою личную непричастность к педагогической практике г. Кронеберга.

Кажется, не будет ошибки, ежели сказать, что все указанные выше оговорки и недомолвки суть плод неясных отношений, в которые стала русская адвокатура к органам нашей печати, носящим назавание «либеральных». Адвокатура наша поначалу довольно горячо заявила о своей солидарности с вопросами жизни и потому весьма естественно встретила со стороны либеральной прессы самое горячее сочувствие. Но, симпатизируя защитнику вдовы и сироты, литература, как старшая сестра в либерализме, до того простерла свое усердие, что, подвергая действия адвокатов неусыпному контролю, заявила претензию держать это сословие в постоянной опеке. Начались обличения, взыскания, выговоры, почти угрозы, и долгое время сходило это с рук, потому что в самой среде адвокатов не установилось еще совершенно определенных понятий о тех целях, которым она призвана служить.

Такое отношение литературы едва ли может быть названо правильным. Франция — классическая страна адвокатуры, представители которой со времени первой революции играли в ее истории очень значительную политическую роль, но и там об адвокатах, как об адвокатах, в литературе нет и речи. Адвокат, за очень редкими случаями, никого не занимает, покуда из него не образуется политический деятель, а раз сделавшись министром, сенатором, депутатом, он уже и сам за-

бывает в первородном грехе, в котором валялся до того времени. В последнее время, как политические деятели, адвокаты утратили много из прежнего обаяния. Перенося на политическую и административную арену изнурительные привычки своего ремесла, они никогда не приходили к действительно плодотворным результатам, а только вертелись в беличьем колесе, вследствие чего в настоящее время Франция, после четырех революций, и находится под начальством у Мак-Магона. Поэтому на избирательных сходках в Париже уже слышатся голоса, что адвокатов довольно. Но, во всяком случае, как служителей своего ремесла, и литература, и даже публика (кроме нуждающихся в их услугах) их игнорирует, и, право, едва ли можно указать на пример, чтобы в последнее время в каком бы то ни было французском органе печати было заявлено кому-либо из адвокатов, что он поступает недостойно, защищая французских Овсянниковых и Мясниковых. Единственное исключение составляет защита Базена адвокатом Лашо, но это статья особенная.

У нас ремесленное значение адвокатуры, по-настоящему, должно бы выказаться еще резче, потому что наши адвокаты уже окончательно не имеют никакого отношения к политической жизни государства. Не вопросы жизни стоят для них на первом плане, а вопросы, истекающие из свода законов и из кассационной судебной практики. Ловкое обращение с статьями законов — вот что имеется прежде всего в виду, точно так же, как в некоторых ремеслах главную роль играет ловкое обращение с иглою, шилом, заступом и т. д. Спрашивается: почему никому не приходило в голову обвинять в недостоинстве башмачника, который шьет матери Митрофании башмаки, или портного, который одевает Овсянникова, и напротив того, отовсюду сыплются обвинения на адвоката, который, видя Овсянникова покрытым сажею пожарища, взялся омыть его банею пакибытия?

Наша печать долгое время не решалась принять этого взгляда, но в последнее время сама адвокатура решилась заявить, что он представляет единственное правильное мерило, с которым можно относиться к ней. Опекунские замашки печати произвели неизбежную реакцию в той самой среде, которая еще так недавно увлекалась желанием доказать, что ничто человеческое ей не чуждо, хотя на самом деле всегда имела в виду только то, как бы «слопать боженьку», чтоб никто этого не заметил. Возник бунт; долгое время он тлел, так что нельзя было разобрать, откуда гремит гром, из тучи или из навозной кучи, но наконец в адвокатскую похлебку попал такой жирный кус, что долго сдерживаемые страсти не устояли.

Поводом к разрыву с литературой послужило знаменитое Овсянниковское дело, и, помнится, г. Спасович (конечно, как добрый товарищ, ибо лично он играл в этом деле роль противо-овсянниковскую) первый поднял знамя бунта, сказавши на каком-то обеде, что адвокатура должна шествовать *своим* путем, независимо от внушений и контроля печати. За ним последовал и г. Потехин, который без церемонии обвинил русскую литературу в идиотстве.

Вероятно, эти случаи изменят взгляд нашей печати на русскую адвокатуру и укажут, какой должен быть характер их *взаимных отношений. Во всяком случае, это не могут быть* отношения товарищества, ибо общей почвы для этого здесь найти нельзя, кроме разве того, что и литератор и адвокат обладают одним и тем же орудием для достижения своих целей — словом. Затем, и объект действия, и характер его — все разное. Литература служит обществу, адвокатура — клиенту; честность литературы состоит в разработке идеалов и перспектив будущего, честность адвокатуры — в строгом согласии с действительностию и подчинении идеалам, выработанным в прошедшем и вверенным охране положительного закона. А что касается до общего орудия — слова,— то ведь оно раздается и на Сенной.

Коль скоро адвокатура выказала намерение отмежеваться от области общих умственных и нравственных интересов, надо воспользоваться этими ее поползновениями, не навязывать ей общения и отвести то место, которое она должна действительно занимать в кругу разнообразных ремесл. Что адвокатура ничего не выиграет от этой эмансипации — это несомненно. Тяготея все больше и больше к независимости от общих интересов жизни, она скоро очутится в том же незавидном положении, в каком еще недавно находились ябедники и строчнтели просьб. То есть настоящей независимости не достигнет, а только переменит господина и вместо литературы приобретет себе такового в лице клиента, который до сих пор сдерживал свои инстинкты именно благодаря тому, что думал, будто адвокатура и печать солидарны друг с другом. Что же касается печати, то, освободившись от кошмара кляузы, она несомненно выиграет. Кляуза в последнее время отнимала слишком много досуга у публики и заслоняла от ее глаз другие интересы, гораздо более важные. Это не соответствует ее действительному значению в общей экономии жизни общества, и, к счастию для человечества, у него на очереди стоят вопросы, гораздо более животрепещущие, нежели вопрос об отношениях адвокатов к клиентам и к суду.

VI

На дворе знойно; Петербург опустел и наполнился смрадом. С «вопросами» тихо; даже еврейский вопрос, наделавший было изрядного переполоху,— и тот словно изныл. Но кой-где еще скребут перьями; вероятно, это какая-нибудь невзначай уцелевшая комиссия доскребывает свою последнюю песню... Ну, что бы стоило окончательно сказать: оботрите перья, спрячьте в ящик бумаги, заприте на ключ и бегите куда глаза глядят — какой бы мир во все души эти простые слова пролили! Так нет, об этом еще не слыхать: не приспело, знать, время. А тут вдобавок еще дернуло околоточного на Петербургской стороне две души загубить! Думаешь: нет ли тут внутренней политики и не отразится ли это происшествие на литературе, яко попустительнице и укрывательнице...

И все эти сомнения рождаются в такую пору, когда неслыханный зной так и прожигает насквозь, когда не только возиться с вопросами, но и фривольные мысли в голове содержать тяжело. Говорят, будто в такой зной хорошо сено убирать и хлеб жать, но насколько это справедливо — сказать не умею. Не сеял, не жал, а только в еде себе не отказывал. На днях, впрочем, видя, как дворник Иван ловко машет косой, обкашивая лужайку перед дачей, я рискнул-таки полюбопытствовать:

— А что, брат Иван, я думаю, что в такое благоприятное для уборки время и душа радуется косить-то?

Но он, вместо того чтобы по душе покалякать, процедил сквозь зубы:

— Попробуйте!

Так я и не узнал, радуется или не радуется у человека душа, когда он машет косой при тридцати градусах по Реомюру.

Нынешним летом я не поехал за границу, а устроился на даче под Петербургом. В сущности, пора бы свой собственный угол где-нибудь припасти, но столько нынче во всех местах «вопросов» развелось, что поневоле берет оторопь. На юг заберешься — там еврейский вопрос у всех в свежей памяти; на север — там о каких-то аграрных вопросах поговаривают. Даже в Петербурге нынче своим домком завестись жутко: а ну, как столица-то?.. Катков с Аксаковым в Москву зовут, Булюбаш — в Полтаву, а потом, глядишь, и в Саратове свой собственный патриот объявится: пожалуйте в Саратов!

Главным образом, я потому не поехал за границу, что вестей туда из России доходит мало, а знать хочется. Думал: поселюсь-ка в сорока верстах от Петербурга — всего наслу-

шаюсь. И что же! в сорока-то верстах еще меньше известий из России, нежели за границей! Точно она сквозь землю провалилась, голубушка. Те же газетные листы, что и за границей, и те же в них голые факты. А какие загадки скрываются за этими фактами и какие загвоздки готовят они в будущем — молчок.

Довольно поболтали. Налгали с три короба, насуетились — и будет. Теперь попробуем, не лучше ли будет, если сядем и будем сидеть, уставив брады. Но какой переход!

Как опознаться в этом Concertstück[1], где мажорные тоны внезапно сменяются минорными, минорные — мольными и, наконец, наступает отсутствие всяких тонов?..

Паровозы между тем чуть не ежечасно выбрасывают на дачную платформу целые массы людей с потфелями и без портфелей, людей, которые ежедневно, в урочный час, уезжают от нас в Петербург и, настряпавши там целые вороха внутренней политики, в урочный же час приезжают обратно глотнуть дачного воздуха. Вяло вылезают эти люди из вагонов и, лениво перебирая по платформе ногами, направляются к извозчикам. Глаза померкли, губы запеклись, в носу залегло, голова пуста... После, в портфеле, опять все без труда отыщется, и опять голова наполнится внутреннею политикой, но покуда утренняя стряпня взяла все силы, какие только могла взять. А тут, как на грех, зной, словно из ушата, так и льет на опустелую голову...

— Что новенького? — слышится где-то сонный вопрос.

— А? что? — тоже словно сквозь сон раздается из чьей-то утробы.

Одним словом, предположенная цель: остаться в России, чтобы жить в оной,— оказывается недостигнутою. Живешь неведомо где, слышишь загадочные звуки, видишь протянутые веревки, на которых качается масса юбок и кальсонов (вот фуфайка главы семейства, а вот кальсоны матери семейства!), и от времени до времени освежаешься мыслью, что, того гляди, явятся прекрасные незнакомцы и потребуют: пожалуйста паспорты! Паспорты, паспорты, паспорты — вот в чем состоит прелесть нынешней дачной жизни...

— Кто вы, прекрасные незнакомцы? Дворник! следует ли отдавать им паспорты?

— Помилуйте, вашескородие! стало быть, следует, коли требуют!

А впрочем, в последнее время наша жизнь уразнообразилась еще слухами о воровствах. Здешние воры довольно снис-

[1] концертном номере.

ходительны. Придут и попробуют, подается ли окно или не подается; ежели подается, то влезут, если же не подается, то, не настаивая, идут дальше. На их счастие, дачи ремонтируются редко, и оконные переплеты почти всегда ветхи. Но и в таком случае здешние воры не задерживаются, а возьмут первое, что попадется под руки, и уйдут. Очевидно, что главным мотивом тут является не ненависть к людям и не протест против неравномерного распределения богатств, а выпивка. Хочется выпить, а денег нет,— вот они и пробуют, прочны ли оконные рамы. При этом всего чаще достается ложкам, которые везде, в ягодный сезон, валяются неприбранные. Иногда попадается несколько настоящих серебряных ложек — тогда вор радуется и называет обворованного «хорошим господином»; но иногда ложки попадаются мельхиоровые — тогда вор ропщет, называет обворованного обманщиком и сравнивает его поступок с тою мельхиоровою внутреннею политикой, которая суетится и сулит, но, корме мельхиоровых дел, ничего после себя не оставляет.

Однако, покуда не было опубликовано происшествие на Петербургской стороне, мы не очень тревожились. Но зверски-бессмысленный поступок околоточного Иванова заставил и нас встрепенуться. Сейчас же у всех окон появились наружные ставни, сквозь которые просовываются железные болты, и теперь, с десяти часов вечера, мы сидим запершись и ничего не боимся. Сверх того, я лично, ложась спать, на каждое окно кладу по ложке и по две, в расчете, что вор прямо возьмет, что следует, и затем ему уже не будет надобности убивать. А так как у нас околоточного нет, а есть урядник, то я и с ним на всякий случай имел разговор.

— Уж вы, Семен Парфеныч, ежели вам нужно, лучше спросите!

— Я, вашескородие, завсегда лучше спрошу!

— Пожалуйста. Я тоже лучше десять, двадцать пять рублей отдам, нежели жизнь!

Устроившись таким образом, я сплю тем спокойнее, что на днях нам сделан сюрприз: нанят ночной сторож. Сторож этот слепенький, на оба уха не слышит, на одну ногу хромает, а другую волочит; однако еще дышит. А это все, что нужно, потому что на здешнего простодушного вора один вид человека движущегося действует спасительно. Иногда, впросонках, я слышу, как наш сторож зевает, а по временам нет-нет, да и потрещит в трещотку: спите, мол, я тут! А я ему в ответ: бди, калека, за восемь целковых в месяц, бди!

Ах, этот Иванов! Мало того, что две души загубил, но, что еще хуже, целое ведомство своим поступком скомпрометиро-

вал. Вместо того чтобы держать знамя полиции высоко, а он, смотрите, что выдумал! И как нарочно, сряду два таких случая. Один с Ивановым, а другой с господином — не помню уж фамилии,— который в магазине пять байковых платков стянул. Поймали, привели к мировому.

— Кто таков?

— Чиновник департамента государственной полиции.

Ах!

К счастию, оказалось, что он соврал. Никогда он в департаменте государственной полиции не служил, а только от времени до времени исполнял отдельные поручения. Исполнит поручение, а вслед за тем воровать пойдет; потом опять поручение исполнит, и опять воровать. Делу время, и потехе час. А в департаменте, по рассмотрении его поручений, распоряжения идут: штандарт скачет, андроны едут, паровоз свистит...

Кто ж ему, однако ж, в душу влезет! думали, что он просто курицын сын, а он оказался... орел!

Как бы то ни было, но в обоих приведенных случаях внутренней политики нет и следа, и те, которые полагают, что здесь примешан вопрос о расширении полицейской компетенции, очень грубо ошибаются. Равным образом заблуждаются и те, которые утверждают, что ничего подобного не могло бы произойти при «правовом порядке» (псевдоним). Ибо псевдоним этот давно уж у нас существует, только мы, по недоразумению, другими псевдонимами его называем. Ничего нам не нужно: ни реформ, ни упорядочений, ни правовых порядков. Все у нас есть. А ежели есть, сверх того, и много лишнего, то стоит только построже предписать: чтоб не было — и не будет.

Ведь справляются же с литературой. Не писать о соборах, ни об Успенском, ни об Архангельском, ни об Исаакиевском — и не пишут. Вот об колокольнях (псевдоним) писать — это можно, но я и об колокольнях писать не желаю. Бог с ними, с псевдонимами вообще.

В старину опытные губернаторы именно так и поступали. Прослышит, бывало, генерал, что в вверенном ему крае неблагополучно — сейчас циркуляр: «Дошло до моего сведения... чтоб не было!» И разом все воровства, грабежи, убийства — всё как рукой снимет. А отчего? оттого, что в старину администраторы знали, чего хотят, и в согласность с сим требовали; об журавлях не разговаривали, а прямо указывали на синицу. Зато уж если потребовал генерал синицу, то хоть тресни, а подай; а не пòдал — умри!

А нынче, с комитетами да с комиссиями, совсем мы спутались. Понаделали комиссий, думали, что польза выйдет, а

вышли псевдонимы. Реформа — псевдоним, упорядочение — псевдоним, правовый порядок — псевдоним. Понятно, что никакая комиссия такого множества псевдонимов не выдержит. И вот они нарождаются и умирают, умирают и опять нарождаются. А мы ходим между ними, словно по полю, усеянному мертвыми телами. Идешь и думаешь: почили, неисправимые празднословы! — смотришь, ан между ними уж кудрявые купидоны резвятся и тоже об чем-то празднокартавят... ах, дети, дети!

Жалко смотреть на этих детей. Едва из колыбели, а уж не знают иных игрушек, кроме трупов! И каких трупов! таких, которые заведомо сделались оными от руки псевдонимов! Ведь псевдонимный-то яд силен; живые трупы давно стали мертвыми трупами, а яд и теперь витает над полем смерти! И молодые легкие вдыхают испарения его и постепенно заражаются ими. Не успеет купидон подрасти — глядь, уж новое мертвое тело присовокупляется к числу прежних таковых... Бедные, нерасцветшие дети!

В том-то и беда наша, что часто мы сами не знаем, чего хотим. По крайней мере, в Москве давно уж твердят, что только тогда мы будем благополучны, когда на фронтисписе нашей жизни будет написано: А = А. Вот это верно. Все равно как в старые годы кресты на дверях мелом писали, чтобы холера в дом не входила. Но ежели и затем холера входила, то умирали.

Однако довольно о псевдонимах — еще беды с ними наживешь. Поговорим лучше об евреях. Ибо хотя нынче с этим вопросом и тихо, но, право, даже теперь, как вспомнишь, что происходило месяца три-четыре тому назад, мороз по коже подирает.

Не так давно и в печати, и в обществе в большом ходу были толки о «народной политике» и о необходимости практического ее применения. Но, к удивлению, эти толки более смущали, нежели радовали.

Не потому смущали, чтобы выражение «народная политика» представляло для кого бы то ни было загадку: у всех народов оно имеет одно и то же значение и на всех языках имеет соответствующий термин. Означает оно такую правительственную систему, в результате которой является здоровый рост народа, как физический, так и духовный. Процветание наук, промышленности, искусств, литературы, общее довольство, обеспеченность и доверие — вот в нескольких словах программа «народной политики». Ясно, что такого рода явление, в глазах всякого здравомыслящего человека, может быть только желательным.

Но у нас, вследствие укоренившейся привычки говорить псевдонимами, понятия самые простые и вразумительные получают загадочный смысл. У нас выражение «народная политика» означает совсем не общее довольство и преуспеяние, а, во-первых, «жизнь духа», во-вторых, «дух жизни» и, в-третьих, «оздоровление корней». Или, говоря другими словами: мели, Емеля, твоя неделя.

Вот эта-то «народная политика» и взялась покончить с еврейским вопросом. Она всегда и за все бралась с легкостью *изумительной. И «ключей» требовала, и Босфору грозила*, и в Константинополе единство касс устроить сбиралась, и на кратчайший путь в Индию указывала. Но нельзя сказать, чтобы с успехом. Если б она меньше хвасталась, не так громко кричала, сбираясь на рать, поменьше говорила стихами и потрезвее смотрела на свою задачу — быть может, она чего-нибудь и достигла бы. Но она всегда продавала шкуру медведя, не убивши его,— понятно, что ни «ключи», ни «проливы» не давались ей, как клад. И вот, после целого ряда проказ по части оздоровления корней, ей подвертывается пресловутый еврейский вопрос.

Читатель, помните ли вы сказку о «Диком помещике»? Содержание ее очень незамысловатое. Не весьма умный помещик, огорченный крестьянской реформой и начитавшийся россказней о белой кости и алой крови, взмолился к богу, прося, чтобы он освободил его от мужика. «Одной только милости прошу,— вопиял он,— чтобы мужичьим духом у меня во владениях не пахло!» И бог внял мольбе неразумного (конечно, с тем, чтобы он впоследствии сам сознал свое неразумие): в одно прекрасное утро поднялся вихрь и, в глазах помещика, унес из его владений весь мякинно-мужичий рой...

Какие плоды вкусил помещик от мужичьего исчезновения — это сюда не относится. Но очевидно, что легенда о легком исполнении помещичьей прихоти увлекла наших народных политиков. Стесняясь еврейскою назойливостью и видя, что тут ничего не поделаешь ни «жизнью духа», ни «духом жизни», ни даже «оздоровлением корней», они избрали легчайший путь: попробовали применить к постылым евреям тот же летательный процесс, какой был применен «диким помещиком» к постылым мужикам. И точно, поднялся вихрь, но при этом случилось нечто неожиданное: улетели народные политики, а евреи остались. До такой степени остались, что даже на днях я видел: ходит еврей у нас по дачам, как будто полотно продает, а сам подслушивает, не наклевывается ли где-нибудь революции — точь-в-точь как полноправный русский гражданин!

Итак, евреи остались, но вместе с тем остался нетронутым и еврейский вопрос.

История никогда не начертывала на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский. История человечества вообще есть бесконечный мартиролог, но в то же время она есть и бесконечное просветление. В сфере мартиролога еврейское племя занимает первое место, в сфере просветления оно стоит в стороне, как будто лучезарные перспективы истории совсем до него не относятся. Нет более надрывающей сердце повести, как повесть этого бесконечного истязания человека человеком. Даже история, которая для самых загадочных уклонений от света к тьме находит соответствующую поправку в дальнейшем ходе событий,— и та, излагая эту скорбную повесть, останавливается в бессилии и недоумении.

Очевидно, что в ненормальном положении еврейского вопроса играют фатальную роль такого рода запутанности, которые с течением времени не только не смягчаются, но даже больше и больше обостряются. В ряду этих запутанностей главное место, несомненно, занимает предание, давно уже утратившее смысл, но доселе сохранившее свою живость. Затем к числу причин, содействующих незыблемости предания, следует отнести, во-первых, несознанные капризы расового темперамента и, во-вторых, совершенно произвольное представление об еврейском типе на основании образцов, взятых не в трудящихся массах еврейского племени, а в сферах более или менее досужих и эксплуатирующих.

Нет ничего бесчеловечнее и безумнее предания, выходящего из темных ущелий далекого прошлого и с жестокостью, доходящей до идиотского самодовольства, из века в век переносящего клеймо позора, отчуждения и ненависти. Не говоря уже о непосредственных жертвах предания, замученных и обесславленных, оно извращает целый цикл общественных отношений и на самую историю налагает печать изуверской одичалости. Но бесчеловечие явится еще более осязательным, если припомнить, что нет вещи более общедоступной, как предание, и что, следовательно, последнее прежде всего становится достоянием толпы, и без того обезумевшей под игом собственного злосчастия. Именно этою-то общедоступностью и обладает предание, поразившее отчуждением еврейское племя. Когда я думаю о положении, созданном образами и стонами исконной легенды, преследующей еврея из века в век на всяком месте,— право, мне представляется, что я с ума схожу. Кажется, что за этой легендой зияет бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и в этой пропасти безнадежно

агонизирует целая масса людей, у которых отнято все, даже право на смерть.

Ни один человек в целом мире не найдет в себе столько творческой силы, чтобы вообразить себя в положении этой неумирающей агонии, а еврей родится в ней и для нее. Стигматизированный он является на свет, стигматизированный агонизирует в жизни и стигматизированный же умирает. Или, лучше сказать, не умирает, а видит себя и по смерти бессрочно стигматизированным в лице детей и присных. Нет выхода из кипящей смолы, нет иных перспектив, кроме зубовного скрежета. Что бы еврей ни предпринял, он всегда остается стигматизированным. Делается он христианином — он выкрест; остается при иудействе — он пес смердящий. Можно ли представить себе мучительство более безумное, более бессовестное?

Мне скажут, быть может: однако ж мы видим, что промышленные центры переполнены евреями, которые нимало не стесняются своим еврейством. Биржи, театры, рестораны, будуары самых дорогих кокоток — все это кишит веселонравными семитами, которые удивляют вселенную наглою расточительностью и нелепою привередливостью прихотей и вкусов. Да, таких субъектов существует достаточно (их-то одних мы и знаем), но ведь в них еврейство играет уже далеко не существенную роль. Это обыкновенные гулящие люди (многие называют их «татями», но я не вижу надобности следовать этой терминологии), члены той международной аффилиации гулящих людей, в которую каждая национальность вносит свой посильный вклад. Об еврействе в этих людях говорят только некоторые ухватки, но ведь ухватки самые резкие легко стушевываются в пучине всевозможных интернациональных утонченностей. Тем не менее можно сказать с уверенностью, что даже подобные личности по временам переживают нестерпимо горькие минуты. Ибо и во сне увидеть себя евреем достаточно, чтобы самого неунывающего субъекта заставить метаться в ужасе и посылать бессильные проклятия судьбе.

Несмотря, однако ж, на это организованное мучительство, евреи живут. Какая загадка таится за этим фактом — это вопрос трудный. Одни объясняют еврейскую живучесть надеждой на отмщение, другие — мудростью, третьи — просто привычкой. Но кажется, что главную роль тут играет тот общечеловеческий закон самосохранения, в силу которого племя, однажды сознавшее себя племенем, никогда добровольно не налагает на себя рук.

Как бы то ни было, но уничтожить силу предания или даже

ослабить ее — задача настолько сложная, что даже люди очень убежденные отступают перед нею. Предание наслоялось веками, и каждое новое наслоение прибавляло к нему новую жестокую черту. Да и кто всего упорнее хранит эти предания? — их хранит толпа, которая сама насквозь пропитана злосчастием и в отношении которой всякий укор был бы несправедливостью и всякое решительное воздействие — делом в высшей степени щекотливым. Даже поднятие общего уровня образованности, как это показывает современное антисемитское движение в Германии, не приносит в этом вопросе осязательных улучшений, потому что до сих пор мы были свидетелями только *относительного* поднятия этого уровня, которое не обладает достаточной силой для водворения принципа абсолютного равноправия. Следовательно, чтобы упразднить предание, необходимо, чтобы человечество окончательно очеловечилось. А когда это произойдет?

Перспектива бессрочная и тем более безнадежная, что в союзе с преданием против еврейского племени действуют и несознанные капризы расовых темпераментов. Эти капризы, переходя из поколения в поколение, в свою очередь образуют предание, столь же компактное и не менее преисполненное всякого рода баснословий, как и изукрашенная веками легенда о несмываемом еврейском клейме.

И образ жизни еврея, и внешняя его складка, его манера говорить, ходить, одеваться — все дает пищу для неосмысленной досады, которая проявляет себя тем беспрепятственнее, что выражение ее почти всегда сопровождается безнаказанностью. Никто так мастерски не боится, как еврей, никто не создал для себя такого странного внешнего облика. Еврей самый солидный напоминает внешним своим видом подростка, путающегося в отцовских штанах. Для темной массы этого вполне достаточно, чтобы видеть в еврее всегда готовый источник потех и издевок. Никому нет дела до причин, породивших «странности», ибо в глазах чересчур уж живо мечется грубый факт, который заслоняет и проклятое прошлое, и презренную обстановку настоящего. Смешной ламбсердак, нелепые пейсы, заячья торопливость, ни на минуту не дающая еврею усидеть на месте,— чего еще нужно? Еврей и ходит не так, как люди, и говорит не так, как люди, и смотрит не так, как люди. От еврея — пахнет; еврей не смотрит, а глаза у него бегают; он не живет, а блудит. А как смешно и даже гнусно он шепелявит!

— Что, еврей, губами мнешь?

— Дурака шашу́!

То ли дело Дерунов с Колупаевым! Никогда они не скажут:

«шашу́», а прямо отчеканят: «сосу дурака» — и шабаш. И правильно, и для потехи резонов нет: слушай и трепещи!

Давно ли власть имеющие лица стригли у евреев пейсы и снимали с них ламбсердаки? Давно ли, как лакомство, выслушивались рассказы о веселонравных военных людях, ездивших на евреях и верхом, и в экипажах, занимавшихся травлей их и не знавших более высокого наслаждения, как подстеречь еврея с каким-нибудь членовредительным сюрпризом и потом покатываться от уморы при виде *смешного* ужаса, который являлся естественным последствием сюрприза. И что же! разве это прошлое так и кануло в вечность? — нет, оно только видоизменило формы, а сущность передало неприкосновенною, так что в настоящее время пропаганда еврейской травли едва ли не идет шире и глубже, нежели когда-либо.

Говорят, будто выражение «дурака шашу́» представляет девиз, которым определяются отношения *всякого* еврея к окружающей среде. Но в таком случае отчего же не допустить подобного же толкования и для выражения «сосу дурака», которое на практике имеет отнюдь не менее обширное применение. По существу, они оба одинаково омерзительны, да и на практике имеют одинаковое применение. Но и в том, и в другом виде доступны совсем не всякому встречному, а только могущему вместить.

Сосать простеца или «дурака» (он же рохля, ротозей, мужик и проч.) очень лестно, но для этого нужно иметь случай, сноровку и талант. Дерунов и Колупаев — сосут, а Малявкин и Казявкин хоть и живут с ними по соседству — *не* сосут. Первые обладают всеми нужными для сосания приспособлениями, вторые — теми же приспособлениями обладают наоборот. Тот же самый закон имеет силу и в еврейской среде. И между евреями правом лакомиться «дураком» пользуются лишь сильные организмы, а Малявкин и Казявкин не только не лакомятся, а, напротив, представляют собой материал для лакомства.

Вся разница в том, что коренной Дерунов, присасываясь к Малявкину, называет его «крестником» и не чуждается прибауток, вроде: «По̀ милу да по-божецки, ты за меня, я за тебя, а бог за всех!» А Дерунов-еврей сосет без прибауток, серьезно. Возьмет дурака двумя пальцами, пососет и скорлупу выплюнет; потом возьмет другого дурака и опять скорлупу выплюнет. Ужасно видеть это серьезное выплевывание скорлупок, но, право, и прибаутки слушать не слаще.

Кому же, однако, приходило в голову указывать на Разуваева как на определяющий тип русского человека? А Разу-

ваева-еврея непременно навяжут всему еврейскому племени и будут при этом на все племя кричать: ату!

Но для Дерунова-еврея есть даже смягчающее обстоятельство: он чаще всего сосет вотще. Ибо как только он начинает насасываться досыта, так тотчас на него налетает ревизия: *показывай, жид, что у тебя в потрохах?* И всякий, кому не лень, берет оттуда часть. Как все-то разберут — много ли останется? И какую надобно иметь силу воли, какую удачливость, чтобы, претерпев все ревизии, благополучно вынырнуть в мир концессий и банкирских гешефтов и там, сбросивши с себя узы еврейства, кормить обедами тайных советников, а некоторых из них иметь даже в услужении...

Почему же, однако, мы с такою легкостью отожествляем еврея сосущего с евреем *не* сосущим, почему мы так охотно вымещаем на последнем досаду, которую пробуждает в нас первый? Не потому ли, что сосущий еврей есть сила, за которою скрывается еще сила, и даже не одна, а целый легион? Весьма вероятно, что в этом предположении есть очень значительная доля правды, хотя это и не приносит особенной чести нападающей стороне. Но, во всяком случае, в бесчеловечной путанице, которая на наших глазах так трагически разыгралась, имеет громадное значение то, что нападающая сторона, относительно еврейского вопроса, ходит в совершенных потемках, не имея никаких твердых фактов, кроме предания (нельзя же, в самом деле, серьезно преследовать людей за то, что они носят пейсы и неправильно произносят русскую речь!).

В самом деле, что мы знаем об еврействе, кроме концессионерских безобразий и проделок евреев-арендаторов и евреев-шинкарей? Имеем ли мы хотя приблизительное понятие о той бесчисленной массе евреев-мастеровых и евреев — мелких торговцев, которая кишит в грязи жидовских местечек и неистово плодится, несмотря на печать проклятия и на вечно присущую угрозу голодной смерти? Испуганные, доведшие свои потребности до минимума, эти злосчастные существа молят только забвения и безвестности, и получают в ответ поругание...

Даже в литературу нашу только с недавнего времени начали проникать лучи, освещающие этот агонизирующий мир. Да и теперь едва ли можно указать на что-нибудь подходящее, исключая прелестного рассказа г-жи Оржешко «Могучий Самсон». Поэтому те, которые хотят знать, сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием,— пусть обратятся к этому рассказу, каждое слово которого дышит мучительною правдою. Наверное, это чтение пробудит в них добрые, здоровые

мысли и заставит их задуматься в лучшем, человечном значении этого слова.

Знать — вот что нужно прежде всего, а знание, несомненно, приведет за собой и чувство человечности. В этом чувстве, как в гармоническом целом, сливаются те качества, благодаря которым отношения между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно: справедливость, сознание братства и любовь.

VII

Пришел и Новый год. Пришел и, по обыкновению, новое счастие принес. Счастие пока еще не определилось, но надежд и уверенности более чем достаточно. Не было, я полагаю, того угла в целом Петербурге, где бы в ночь с 31 декабря на 1 января не ободряли себя приятными перспективами. Конечно, и в прошлом году в этот момент точно так же все поздравляли себя с новым счастием и льстили себе новыми надеждами (как в старину добрые дети родителям писали: «Льщу себя, милый папенька, надеждою, что новый год принесет новое счастие, которое поможет вам многие лета в сей печальной юдоли благополучно провести»), но нынче пожелания выражались как-то настойчивее и убежденнее, так что можно было догадываться, что поздравляющие понимают, с чем поздравляют друг друга.

С первого же дня газеты предприняли ревизию старого года. Рассматривают его во всех смыслах и очень хвалят. Многое уже выполнено, а остальное — не замедлит. Во всяком случае, и того, что сделано, уже достаточно, чтобы считать почву будущего подготовленною. Все процвело и преуспело, кроме литературы, которой прошлый год принес одни утраты. И таковы эти утраты, что даже недавний юбилей российской Академии [1] не заставил об них позабыть.

Надо сказать правду: тон общественного мнения за последние годы изменился к лучшему. Вместо прежних колебаний — солидность, вместо витания в эмпиреях — стремление к «настоящему» делу и уверенность обрести его. Встречаются множества людей, которые еще недавно легкомысленно восклицали: «sursum corda!» [2] и которые теперь, видимо, озабочены тем, чтобы их недавние возгласы были преданы забвению. И надо думать, что усилия их увенчаются успехом, потому что у нас насчет возгласов просто: сотрясение воздуха — и

[1] Замечательно, что редакции русских журналов не были на это торжество приглашены. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] «Горè имеем сердца!»

больше ничего. Имеющий уши их слышит и сейчас же забывает, а не имеющий ушей хоть всю литургию верных пропой — он все равно ничего не услышит.

Резонность и солидность — вот лозунг настоящего. Это, вероятно, и при поздравлениях с Новым годом имелось в виду. Sursum corda! что это такое? зачем? по какому случаю? разве где-нибудь горит? То ли дело: поспешишь, людей насмешишь — тут, по крайней мере, реальный прием слышится. Не воздухоплавание, а достоверная поездка вокруг света на сдаточных. Давно уж мы эти sursum corda-то слышим, да путного мало из них вышло. Стало быть, пора и образумиться; пора понять, что при известных условиях прежде всего о том памятовать надлежит, что маленькая рыбка лучше, нежели большой таракан.

Это нынче все говорят. И прежде говаривали, но машинально, по привычке; а нынче — с толком, с чувством, с расстановкой. Точно порох выдумали. Иные при этом слегка краснеют (но все-таки отчетливо все слова выговаривают). но большинство говорит прямо, не краснеючи. Советую, впрочем, и первым как можно скорее победить пагубную привычку краснеть, так как, чего доброго, их, в противном случае, в сонмище укрывателей эмпирейных витаний зачислят. Потому что как ни искренно их обращение, но все-таки на них, как на новообращенных, смотрят еще с некоторою подозрительностью. Все равно как с вотяками бывает: есть вотяки «старокрéщены» и есть «новокрéщены». В «старокрéщенах» никто не сомневается, но относительно «новокрéщена», хоть он всякий праздник что следует попу отдает, а все-таки кажется: вот-вот он сейчас в керемсть убежит. И согласно с сим принимаются меры.

Итак, надо «дело» делать — вся задача в этом состоит. Только «дело» может поднять наш дух и восстановить нас и в собственном мнении. и в мнении наших сограждан. Об этом и не спорит никто. Спросите в любой мелочной лавке: что лучше, дело или безделье? — наверное, вы получите в ответ: как же возможно, безделье или дело! И сейчас же вам назовут бесчисленное множество дел, которые тут же, в стенах мелочной лавки, и совершаются. Отвешивать, отмеривать, упаковывать, принимать, отпускать, следить за выручкой, наполовину гнилой лимон показать здоровою половиной и проч. Голова кругом идет. То же самое происходит в кабаке, в портерной и, наконец, в каждой богом хранимой хижине. Везде дела прямые. ясные, осязательные. То же самое и нам, людям интеллигенции, для себя придумать предстоит.

Но на беду, чем выше сфера человеческих отношений, тем

меньше замечается точности в определении признаков «дела». Вместо прямых указаний, вроде: отмеривать, отрезывать (а в иных случаях даже прямо «производить»), мы встречаемся с такими же отвлеченностями, как sursum corda, только низменного и даже глупого свойства. Между тем именно для этой-то высшей сферы и требуется отыскать подходящее дело. Именно она, а не сфера хижин богохранимых, страдала обилием эмпиреев, и она же в последнее время заговорила, что вне дела для нас нет спасения. И тут-то вот, несмотря на всеми чувствуемую потребность, мы не находим ни малейших указаний ни насчет места нахождения «дела», ни насчет подлинного его названия. Конечно, и здесь вы услышите ответ: «как можно сравнить, безделье или дело!» — но вслушайтесь в интонацию голоса, которым произносятся эти слова, и вы убедитесь, что в ней звучит: «Безделье-то, пожалуй, лучше»...

Все затруднение оттого происходит, что интеллигентный человек думает, что он в некотором роде «правящий класс», и потому для себя какого-то особенного дела требует. Даже самые неинтеллигентные из интеллигентных так об себе полагают. Скажу более: чем глупее интеллигентный человек, тем он сильнее за титул «правящего класса» цепляется. Слышал, что где-то на теплых водах правящие классы в свое удовольствие живут, и себе того же желает. Но каким образом попасть в такие «правящие классы», которые в свое удовольствие живут, не знает. Ежели в эмпиреях витать, так опыт практически доказал, сколь сие вредно; ежели «дело» делать — так укажите, сделайте милость, в чем оное заключается. Вот кабы вход в крепостное право каким-нибудь чудом опять открылся, сейчас бы мы все правящими классами сделались! И «дело» тогда само бы собой выскочило, а ты только знай жезлом помахивай!

Вообще, с тех пор, как начались толки об «деле», противоречий не оберешься. С одной стороны, несомненно, что витания и парения приводят к самообольщению, но, с другой стороны, как только раздумаешься об «деле» — вдруг, словно сам собою, начнешь парить и витать. Не под носом у себя «дела» ищешь, а в сторону заглядываешь, и все как-то в сторону «теплых вод». Эта привычка у нас еще от крепостных времен осталась; и тогда мы были убеждены, что в России можно оброки и дани получать, а жить в свое удовольствие только на теплых водах можно. Но нынче оказывается, что в подобных заглядываниях спасения не обретешь. Почему оказывается — об этом опять-таки никто не сказывает (сказывать-то, должно быть, нечего)... Оказывается — только и всего. Как бы то ни было, но для того, чтобы спастись, нужно не

«чужое», не «иностранное», а «свое собственное» и притом «настоящее» дело найти... Что бы такое? ну, например?

Такой это интересный вопрос, что нет той минуты, чтоб я не думал об нем. И все, что от меня зависело, в видах его правильного разрешения — все я предпринимал. И к говору трактирных завсегдатаев прислушивался (vox populi[1]), и в участке справлялся, и с сведущими людьми совещался — ничего не поймешь! заладили одно: дело делать! Господа! да ведь это то же, что «sursum corda»! только наоборот...

Говорят, будто славянофилам что-то об этом «самостоятельном» деле было известно; но они свой секрет в могилы унесли. Теперь, на смену славянофилам, появились какие-то выморочные бонапартисты, которые могут только в трубы трубить, но секрета не знают.

Говорят еще, будто в газетах каждый день об «делах» разговаривают — ну, да какие уж это «дела»!

Наконец я обратился с вопросом к моему другу Глумову:

— Не знаешь ли, друг любезный, каким бы самостоятельным «делом» наши «правящие классы» угостить?

И что ж! он в ту же минуту все мои сомнения разрешил.

— Как «какими»! да вот в одних со мной меблированных комнатах отставной статский советник Культяпка живет, так он с утра до вечера дело делает. Утром — проекты нравственного и умственного оздоровления (да с картинками, братец!) сочиняет; среди дня — извещения пишет, а вечером — по коридору ходит и к дверям уши прикладывает. Однажды ему даже лоб нечаянно дверью раскроили. Надеюсь, что это достаточно «свое собственное» дело.

И не успел я настоящим манером его ответ обдумать, как он продолжал:

— А то еще молодой человек у нас живет. Утром — коричневый галстух перед зеркалом повязывает; перед обедом — черный галстух; вечером — белый. Или возьмет в руки шляпу и сам с собой перед зеркалом раскланивается. Чем не дело?

А в заключение повествовал следующее:

— Что же касается до особ дамского сословия, то об них и заботиться нечего. Их существование не только наполнено, но даже, можно сказать, битком набито. Утром «она» встает — утренний костюм надевает; в три часа по магазинам или гулять едет, или идет — гуляльный костюм надевает; перед обедом — над обеденным костюмом думу думает; вечером,

[1] глас народа.

ежели в театр едет — театральный костюм, ежели на бал — бальный. И всякий раз перед зеркалом целая драма происходит. То подойдет, то отойдет, то сядет, то как ужаленная вскочит. Иная, коли на бал ехать собралась и нужно определить меру декольте, то даже особенную систему зеркал устраивает и на коленки становится. И сверху, и с боков, и сзади, и спереди — отовсюду разом видно. Сверху — это «les messieurs» [1] смотрят; с боков — члены общества распространения грамотности, братчики, отставные дипломаты и проч. А издали, совсем в перспективе — муж. И ему взглянуть хочется. Тут, брат, коли все-то в точности исполнить, так и на бал, пожалуй, к шапочному разбору попадешь.

То-то я смотрю: давно ли все на скуку жаловались, а нынче ее и в помине нет. Ан оно вон что: «дело» найдено.

Слухами о сезонных увеселениях все стогны петербургские полны. Извозчики только об том и говорят, что господа опять веселиться начали. В газетах пишут: у одной дамы на балу, независимо от глубокого декольте, бриллиантовую подкову на спине видели. Теперь эта подкова всех наших статских советниц с ума сведет. Будут они, каждая к своему статскому советнику, до тех пор приставать, покуда целых созвездий на спины не получат...

Придется-таки статским советникам изворачиваться; придется «дела» изобретать, евреям-гешефтмахерам душу продавать. И когда, наконец, ювелир влепит в поясницу статской советницы целое бриллиантовое солнце, то в лучах его будут играть кавалеры всех сортов оружий и пера, а соответствующий статский советник будет в это время гешефтмахера обучать, како наилучшим манером любезное отечество подкузьмить...

А какая новая эра занятий и дел для статских советниц откроется! Ежели вечером на бал ехать, так ведь с утра приседать перед зеркалом придется! Солнце-то ведь не шутка, умеючи надо его показать! Суп на столе, дети есть просят, статский советник копытами землю в нетерпении роет, а статская советница то вскочит, то опять присядет! «Да скоро ли, матушка?» — кричит разъяренный муж, стучась в запертую на ключ дверь. «Ах, да обедайте без меня... несносные! я после... одна!» И действительно, между приседаний чего-нибудь перехватит, но зато к одиннадцати часам — готова!

[1] господа.

Факт, по-видимому, сам по себе ничтожный, а между тем по милости его процветает промышленность. Мудрено как будто это согласовать, а между тем оно так. В Петербурге на балу у барона Гинцбурга, например, статская советница Коромыслова на бриллиантовом солнце сидела, а у крестьянина деревни Комаринской, Павла Антипьева, от этого ее действия в мошне два с полтиной прибыло. И прибыло совершенно резонно. Еще доктор Кенѐ, глава физиократов и друг Тюрго, говаривал: «Дама, которая покупает шаль, подает милостыню бедняку». Вот эту-то истину и зарубили статские советницы у себя на носу. Подумайте, в самом деле: солнце-то, на которое статская советница Коромыслова села,— где оно сделано? — Оно сделано в мастерской, в которой сын Павла Антипьева, комаринский мужик Иван Павлов, работал. На свой пай он половину луча этого сделал и за это получил пять рублей, а из них два с полтиной домой в село Комаринское послал. Так вот.

Но этого мало. Получив два с полтиной, Павел Антипьев распорядился с ними так: на рубль купил у другого комаринского мужика сена, на рубль — у третьего комаринского мужика муки да на полтину у четвертого комаринского мужика — соли. В результате оказалось: прислано было два с полтиной, а процвели на них: во-первых, Павел Антипьев — полностью на все два с полтиной и, во-вторых, трое его односельцев — все вместе тоже на два с полтиной. Итого, на пять рублей. То же и с остальными двумя с полтиной случилось: во-первых, Иван Павлов полностью на все процвел (пропил), да кабатчик, у которого он вино пил,—тоже па два с полтиной. Опять на пять рублей. Вот она экономистическая арифметика-то какова: пущено в оборот пять рублей, а в процветании оказалось десять. Это относительно только половины луча, а сколько у солнца полных лучей — сочтите! Да фабрикант, наверное, вдесятеро, чем все комаринские мужики в совокупности, процвел. И все это статская советница Коромыслова одним движением поясницы произвела!

Не знаю, шепнуло ли ей об этом солнце, покуда она на нем сидела, но знаю, что к началу шестой фигуры г-жа Коромыслова была вполне убеждена в целесообразности своих поступков и действий.

— Вы не подумайте,— сказала она млевшему подле нее кавалеру,— что я легкомысленничаю, садясь на бриллиантовое солнце. Я этим действием на целое комаринское село благоденствие изливаю!

Очень возможно, что нечто вроде этих соображений приходило в голову Нерону, когда перед его глазами пылал Рим.

Или купцу Овсянникову, когда горела его фабрика. И они, каждый по-своему, подавали милостыню бедному.

Вот почему, когда я вижу, как дамочка изнуряет себя перед зеркалом, то никогда не осуждаю ее, но говорю: это она промышленность оживляет, ценность кредитного рубля поднимает, милостыню бедняку подает. Одним словом, по мере своего дамского разумения, «дело» делает.

Вот и адвокатура наша собралась дело делать. Правда, что она и прежде себя преимущественно с этой стороны уже зарекомендовала; но лет пять-шесть сряду об ней как-то совсем не было слышно, точно она сквозь землю провалилась. А теперь опять всплыла.

Я помню, что когда адвокатское сословие впервые выступило на арену общественного служения, я был очень этим обрадован. Как хотите, а чрезвычайно приятно живое слово слышать, хотя бы оно раздавалось по поводу подтопа принадлежащих корнету Отлетаеву лугов мельницею купца Подзатыльникова. Это слово казалось тогда как бы естественным продолжением другого слова, которое, при помощи печатного станка, посвящало себя пробуждению в сердцах добрых чувств. Подобно печатному тогдашнему слову, и адвокатское устное слово на первых порах звучало такою убежденностью и страстностью, что Отлетаев и Подзатыльников ничего не понимали, а только чувствовали, что слезы градом льются из их глаз; суд же, по выслушании сторон, в величайшем смущении удалялся в совещательную камеру, не зная, кому присудить протори и убытки. И большею частью постановлял такие решения, которые приводили за собой сначала апелляцию, потом кассацию, потом новое решение и так далее, до тех пор, пока кто-нибудь из тяжущихся не пропустит срока. Тогда, делать нечего: подтопляй, купец Подзатыльников, отлетаевские луга! А ты, Отлетаев, вперед не зевай!

Но, озаряя новые суды блеском своего красноречия, адвокаты, кроме того, были осмотрительны как в выборе дел, так и в исходатайствовании исполнительных листов и во взысканиях по оным. Этого тогда не было, чтоб адвокат говорил клиенту: «вашего дела ни по какой статье выиграть нельзя, но попробуем: может быть, кривая и вывезет!» Напротив того, один адвокат своему клиенту (истцу) говорил: «Ваше дело вот по такой-то статье выиграть можно»; а другой адвокат — своему клиенту (ответчику): «ваше дело вот по какой статье выиграть можно!» И каждый шел в суд, убежденный, что его статья победит. Да и того тоже не было, чтобы деньги по ис-

полнительному листу получить и в свою пользу употребить; напротив того, все силы-меры употреблялись, чтобы всё до копеечки клиенту предоставить, разумеется, за исключением процентов, заранее выговоренных за беспокойство.

А беспокойств в то время немало набиралось, потому что больших бар в то время между адвокатами почти не было, и всякий свою работу сам делал: и имущество должника сослеживал, и при описях присутствовал; словом сказать, в пользу клиента себя в струнку вытягивал.

Помню я, как на моих глазах один молодой адвокат карьеру свою обстроивал. Взыскивал он с меня в то время должок, и взыскивал, надо сказать правду, чрезвычайно благородно: и до суда не доводил, и не теснил насчет уплат. Есть деньги — возьмет и расписку даст; нет денег — завтра придет. Частенько он ко мне таким образом хаживал, и когда я совестился, что так много ему беспокойств доставляю, то говорил: «Ничего! это наша обязанность!» Даже от моих папирос отказывался, а вынет из серебряного портсигара («это мне клиент подарил!») собственную папироску и с удовольствием выкурит. Так вот, бывало, придет он ко мне, полный рвения, но бледный и утомленный.

— Что вы как будто нынче устали? — спросишь его.

— Да вот имущество ответчика одного наконец сследил! — ответит он и по порядку расскажет, какую ему бог радость послал. Совсем было на чужую квартиру должник имущество-то переправил, а он, адвокат, и на чужую квартиру проник. Пришел, а его там дама встречает: «Как вы смеете, говорит, в чужой квартире распоряжаться! Это мое имущество!» Однако нет, извините-с! Ведь он, адвокат, не нахалом в чужую квартиру пришел, а на законном основании. И даже привел с собою свидетелей, которые тут же и удостоверили: «Помилуйте, сударыня! мы не раз у Моисея Исаича (имя должника) на этом диване сиживали!»

И таким образом он иск своего доверителя обеспечил, а об укрывательнице-даме составил, при содействии полиции, протокол.

А на другой день после этой удачи опять придет, еще более утомленный.

— Неужто вы и сегодня какого-нибудь должника сследили? — спросишь его.

— Нет, сегодня я при описи и оценке имущества присутствовал. Представьте себе, девятьсот шесть предметов и между прочим тридцать стклянок из-под одеколона. А нельзя! каждую вещь надо особенно в реестр занести.

Так вот каковы были первые христиане... то бишь адвокаты.

чувствительные, скромные и притом непьющие. Однако ж в «Московских ведомостях» и тогда уж писали, что они основы потрясают; а об том, что они в эмпиреях витают и куда-то далеко уду закидывают,— об этом пóходя во всех харчевнях рассказывали.

Но эта идиллия была непродолжительна. Пришлось мне года на полтора за границу уехать; возвращаюсь и первое, что слышу: такие нынче адвокаты дела делают, такие куши рвут, что даже евреи-железнодорожники зубами скрипят. А чтобы клиенту помочь, как прежде бывало, имущество должника соследить — об этом нынче и не заикайся! Сам ищи!

Дальше — хуже. Подошло Овсянниковское дело; разыгралось несколько крупных банковских краж. Куши так и лились. И тоже торговля процвела, но не столько суровским, сколько бакалейным товаром. По фунту икры зараз съедали опытные адвокаты, а неопытные — по ящику сардинок. А ужины у Бореля с кокотками — само по себе. Одним словом, ни один дореформенный откупщик в целую неделю столько не проедал, сколько в один вечер какой-нибудь Балалайкин.

Ужасно это меня огорчило. Я надеялся, что по возвращении в отечество храм славы увижу, а увидел — помойную яму. Вся литература того времени гремела адвокатскими безобразиями, но гремела бессильно. И бессилие это совершенно естественно объяснялось тем, что адвокатура сознавала себя стоящею прочно на почве «дела». Многие адвокаты так-таки прямо и заявляли: у нас свое дело есть, а что думает об нас литература и общественное мнение — это для нас безразлично.

Однако же раз адвокатура освободила себя от контроля литературы и общественного мнения, раз она признала для себя обязательным только тот контроль, который приводит за собою больший или меньший размер гонорара,— понятно, что она сделалась с нравственной стороны неуязвимою. Но в то же время она утратила способность к самосовершенствованию в какой бы то ни было сфере, кроме процессуальной кляузы.

Затем слухи о подвигах адвокатуры как-то вдруг замолкли. И сами адвокаты попритихли, перестали бакалейную торговлю оживлять, да и безмерно они всем своими апелляциями и кассациями надоели. Но, главное, обстоятельства такие пристигли, что не до адвокатов было...

Но нынче для адвокатов опять золотое время пришло. На сцену выступили толки об «деле», а у них оно уж давно готово. Теперь они, вместе с банкирами (купить — продать, продать — купить) и всех сортов оздоровителями, покажут нам,

какие размеры может принять процветание страны, ежели все ее обитатели настоящим трезвенным делом заняты. В эмпиреях они не витают, широких задач не преследуют, а долбят скромненько с утра до вечера: апелляция — кассация, кассация — апелляция...

И для начала выбрали дело о травле городских обывателей в пользу общества водопроводов. Контракт, говорят, будто бы дозволяет обывателей негодной водой отравлять. Что ж, коли контракт, так, разумеется, приходится пить воду по точному оного пониманию. Видишь: § такой-то, пункт такой-то... читай! И пей отравленную воду, и молчи. Та́к это ясно, точно и даже свято (в контракте — святость прежде всего), что, сказывают, будто целое скопище адвокатов за общество водопроводов горой стоит и что ради этого дела забыты связи дружества и даже узы родства! Еще бы!

Но неужели и теперь еще будут говорить, что адвокаты основы потрясают и в эмпиреях витают?!

Таким образом, все «правящие классы» постепенно присасываются к делам. Адвокаты, дамочки, банкиры, земцы, оздоровители и проч. Одна литература продолжает ни при чем состоять. Дела для нее решительно не отыскивается, а в эмпиреях витать — и не ко двору, и не ко времени.

Да и читающая публика нынче равнодушна к эмпиреям стала. Ничего не хочет знать, кроме газет. Прочтет кой-какие столбцы, а остальное время твердит: купить — продать, кассация — апелляция...

Впрочем, это я об той части литературы говорю, деятели которой называются «разбойниками печати» и «мошенниками пера» (клички эти непременно надо сохранить в назидание потомству, как исторический документ). Что же касается до остальной литературы (преимущественно газетной), то она, наравне с прочими оздоровителями, нашла для себя «настоящее» дело и, по-видимому, ведет его с полным успехом.

VIII

А вот и еще «дело» нашлось.

«Мой собственный корреспондент» прислал мне из Одессы очень любопытное объявление. К сожалению, он не сопроводил свою присылку никаким объяснительным письмом, так что я не знаю ни личности самого корреспондента, ни его фамилии, ни того, когда был издан доставленный им документ.

Из пометок, имеющихся в конце объявления, видно, что оно разрешено к печатанию полицеймейстером Буниным и тиснуто в Одессе, в типографии «Труд» В. Семенова. Ни года, ни месяца, ни числа — не значится.

Во всяком случае, документ этот в педагогическом отношении настолько поучителен, что я решаюсь привести его здесь досрочно, не изменяя и несколько произвольной его орфографии. Вот он:

ШКОЛЬНЫЕ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ СИСТЕМЫ КУНЦА
И
КУШЕТКИ
ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ

Эти кушетки имеют преимущество пред скамьей старинных школ и в гигиеническом, и экономическом отношениях. Кушетка гигиеническая состоит из скамьи в аршин шириною. На одной ее стороне находится подвижной на шалнерах деревянный футляр в виде четвероугольной коробки дном кверху. Длина ее 6 четвертей и 4 ширина с высотою в 5 четвертей. Три боковые наружные стороны, а также и верхняя состоят из толстой проволочной решетки с крупными до 3 кв. в. промежутками. Со стороны, обращенной к скамье, вместо решетки вставляется подвижная сверху вниз доска с дугообразным вырезом. С другой стороны скамьи такой же подвижной ящик в 5 вер. вышины и до 17 длины. Когда подвигается 1-й ящик, то он закрывает голову, грудь и большую часть спины. Опускная доска с вырезкой охватывает спину и не допускает движений наказываемого ни вперед, ни назад. Точно так же 2-й футляр прикрывает ноги и не допускает свернуться в сторону. Таким образом избегается вредного держания наказываемого, когда училищная прислуга притискивает обыкновенно голову наказываемого мучительным образом, так что он одной щекой и искривленной шеей плотно прижат к скамье, и вместе с тем лакей давит всей силой мускулов на нежную грудь мальчика. Шея, наискось прижатая в искривленном положении, производит полузадушение. Все жилы головы наливаются кровью. Лицо и белки глаз краснеют, начинается головокружение, а иногда и обморок. Этот прилив крови к мозгу надолго оставляет головные боли и неспособность к умственным занятиям. Держащий сторож, конечно, в это не вникает и, раздосадованный обыкновенно конвульсивными движениями наказываемого в припадках жгучей боли в оконечности позвоночного столба, начинает как попало надавливать на голову и плечи, сжимая, как в клещах, верхнюю часть туловища. Гигиеническая кушетка, оставляя свободными шею, грудь и голову, мешает в то же время движениям средней части тела, которую оставляет в полное распоряжение экзекутора почти неподвижною. В экономическом отношении она избавляет заведения и пансионы от содер-

жания лишних двух человек прислуги для держания. Имея эту скамью-кушетку, сторож каждого училища может служить делу.

Удобство также заключается и в том, что голова наказываемого закрыта, а то иногда страдальческое и умоляющее выражение лица мальчика подкупает секущего, и он невольно облегчает удары и боль, что, со стороны правдивой педагогики, совсем нежелательно — напротив, наказание должно быть соединено с болезненным и продолжительным страданием без малейшего послабления и внимания к стонам и крикам, как единственная педагогическая.

ЦЕНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИХ КУШЕТОК:

Ясеневого дерева, раздвижная, годящаяся для всякого возраста с шалнерами и винтами из николя и всех металлических частей работы Фрелиха	50 р.
Нераздвижная для младшего возраста	30 »
» » старшего »	40 »
Для употребления в семействах, смотря по отделке, в ненужное время могут заменять шкапы и столы от . . .	25 »
Простые для народных училищ и т. п.	20 »

Вот сколь несправедливы те, которые ропщут, что у нас «дела» нет. Помилуйте! одни гигиенические кушетки захватывают целую массу заинтересованных личностей. Родители, опекуны, попечители, всех сортов воспитатели и воспитательницы, члены общества гувернанток, педагоги и педагогички, директора, инспектора, ревизоры и, наконец, сами секуторы, или экзекуторы, как их вежливо величает объявление. Ежели все-то как следует поймут святость лежащих на них обязанностей, тут такая уйма «дела» найдется, что даже червь неусыпающий — и тот придет в отчаяние. Одни — укладывают пациента на кушетку и прилаживают ящики, другие — воздействуют на «среднюю часть тела», третьи — присутствуют при воздействии и приговаривают: «Шибче!», четвертые инспектируют самое орудие гигиены, все ли в исправности и не представляется ли возможности для поблажки. Словом сказать, хлопот полон рот.

Ведь если у нас идет плохо воспитание детей, то именно потому, что несерьезно слажены относящиеся к тому орудия. Иной родитель или воспитатель и рад бы сечь, да, кроме розог, все прочие приспособления находятся в таком младенческом состоянии, что смотреть больно. Начать хоть бы с того: как приступить к делу? Ежели ущемить ребенка между коленами, то он будет биться, не предоставит родителю «в полное распо-

ряжение средней части тела». Ежели позвать на помощь служителей, то, во-первых, не у каждого родителя таковые обретаются, а во-вторых, служители имеют обычай «мучительным образом притискивать голову наказываемого». А многих, кроме того, «подкупает страдальческое и умоляющее выражение лица наказываемого». Повозится-повозится родитель, два-три раза хлестнет лозой наудачу (ах, да и рубашонку-то бог знает как подняли!) и бросит: пускай родное детище погибает!

Тогда как, с введением гигиенических кушеток, все разом явится к услугам, слаженное, соображенное, очищенное от всяких случайностей и даже от страдательного выражения лица: бери в руки розги и секи. Секи шибче, секи не смущаясь! ибо все то добро, все то на пользу. Смело пиши всяко лыко в строку, ибо корни сечения горьки, но плоды его сладки. И знай, что, прибегая к гигиенической кушетке, ты не токмо детищу своему счастие в будущем уготоваешь, но и для самого себя создаешь «дело», вполне, по обстоятельствам, достаточное.

Объявление украшено картинками. Изображена очень красивая кушетка, и ящики нарисованы в таком виде, как в момент сечения их подобает приладить. Только «средней части тела» не изображено — ну, да ведь и воображению почтеннейшей публики что-нибудь надо оставить. И дешево. Обыкновенная, «для употребления в семействах» кушетка стоит всего 25 рублей, да притом еще может, «в ненужное время», заменять шкапы и столы — обедать можно. А для народных училищ и всего-то двадцать рублей за штуку. То-то народное образование процветет!

Допустите, что население России простирается до 101 442 242 души («Русский календарь» за 1884 г.); предположите, что на это население в настоящее время, при несовершенстве современных секуторских средств, производится в день по 500 000 секуций (по одному человеку на каждых 200 обывателей — право, немного!) и что каждая секуция (с раздеваниями, укладываниями и прочею церемонией) длится не больше четверти часа,— окажется, что 500 тысяч секуций ежедневно требуют 125 тысяч рабочих часов. Принимая же в расчет, что рабочий день состоит из десяти часов, мы придем к тому выводу, что двенадцать тысяч пятьсот человек имеют определенное «дело», которое не дает им досуга парить в эмпиреях и тем навлекать на себя подозрение в вольномыслии. Это теперь, при отсутствии гигиенических кушеток — что же будет, когда, с введением кушеток, сечение сделается почти общедоступным? Очевидно, что сообразно с сим возрастет и охота к сечению, а в то же время утроится, учетверится — отчего же не удесятерится? — и масса людей, занятых определенным делом, свободных от

парений и ко всему равнодушных, кроме той «средней части тела», которая оставляется «в полное распоряжение экзекутора почти неподвижно». Почему же, однако, «почти» неподвижно? почему не «вполне»? Совершенствовать так совершенствовать. Или, быть может, в деле сечения вредны только впечатления, производимые умоляющим выражением лица, а не те, которые производятся непроизвольными движениями «средней части тела»?

Но, право, я все-таки очень рад, что кушетки эти изобрел Кунц, а не Иванов. Почему рад — я и сам объяснить не могу, но мне кажется, что если б это изобретение принадлежало Иванову, то каторги за него ему было бы мало. А Кунцу — как раз впору. Даже приятно было бы познакомиться. Herr[1] Кунц! не угодно ли позавтракать на той самой кушетке (обращенной в стол), на которой только сейчас Иванова, за неплатеж недоимок, высекли?

Но еще больше я рад тому, что изобретение Кунца, несмотря на осязательную пользу, как будто у нас не привилось. По крайней мере, я лично ничего о кушетках не слыхал. Должно быть, думал нас удивить немец, а мы взяли да еще больше его удивили: дерем через пень колоду, как в древности драли, и горюшка нам мало, какое выражение имеет лицо наказуемого и в каком направлении двигается «предоставляемая в распоряжение часть тела».

Замечательно, но в то же время и совершенно естественно, что всякий раз, как идет речь об розге, воспоминания детства так и встают перед глазами, словно живые. Счастливое детство!

Впрочем, я не припомню, чтоб лично я много страдал от розги; но свидетелем того, как терпела «средняя часть тела» за действия и поступки, совсем не по ее инициативе содеянные, бывал неоднократно. Публичное воспитание я начал в Москве, в специально-дворянском заведении, задача которого состояла преимущественно в подготовлении «питомцев славы». Заведение, впрочем, имело хорошие традиции и пользовалось отличною репутацией. Во главе его почти всегда стояли ежели не отличнейшие педагоги, то люди, обладавшие здравым смыслом и человечностью. В первый год моего пребывания в заведении директором его был старый моряк, С. Я. У., о котором, я уверен, ни один из бывших воспитанников не вспомнит иначе, как с уважением и любовью. Об сечении у нас не было слышно, хотя оно несомненно практиковалось, как и везде в то время.

[1] Господин.

Но, во-первых, практиковалось только в крайних случаях и, во-вторых, келейно, не задаваясь при этом ни теорией устрашения, ни теорией правды и справедливости, якобы вопиющей об отмщении именно на той части тела, которую г. Кунц именует среднею. Присутствовал ли при этих экзекуциях лично сам директор — не знаю; но уверен, что ежели и присутствовал, то не для того, чтоб кричать: «Шибче-с!», а для того, чтобы своевременно скомандовать: «Довольно-с!»

Через год старый директор, однако, вынужден был удалиться. На его место был назначен бывший инспектор, добрый человек, но не самостоятельный, а в качестве инспектора явился молодой человек, до тонкости изучивший вопрос о роли, которую должна играть «средняя часть тела» в деле воспитания юношества. Этот молодой человек почему-то вообразил себе, что заведение, отданное ему в жертву, представляет собой авгиевы конюшни, которые ему предстоит вычистить, и, раз задавшись этою мыслью, начертал для ее выполнения соответствующую программу.

Программа эта немногим отличалась от всех вообще воспитательных программ того времени и резюмировалась в одном слове: сечь. Но у нее была язвительная особенность, заключавшаяся в том, что она выводила сечение из его изолированности и делала его наглядным (à la portée de tout le monde). Каждую субботу, *по выходе от всенощной,* воспитанники выстраивались по обе стороны обширной рекреационной залы и в глубоком молчании ожидали появление инспектора. Многие припоминали совершенные за неделю грехи, шептали молитвы и крестились; напротив того, воспитанники «травленные» (в заведении образовался особый контингент, как бы сословие, для которого «субботники» вошли почти в обычай) держали себя довольно развязно и интересовались только тем, которому из двоих урядников в данном случае будет поручена экзекуция. Ежели дежурным оказывался урядник Кочурин, то смотрели в глаза будущему с доверием; ежели же дежурным был урядник Купцов, то даже самые храбрые задумывались. Кочурин был солдат добрый и сек больно, но без вычур; Купцов сек и в то же время как бы мстил секомому. Посредине залы между тем стояла простая, совершенно не гигиеническая скамейка, около которой ожидали: дежурный секутор и двое дядек, обязанных держать наказываемого за плечи и за ноги.

Наконец *он* появлялся в глубине залы. Прямой, как аршин, с несгибающимися коленками и с заложенными за спину руками, он медленным шагом подходил к скамье и бесстрастным голосом выкрикивал по списку имена жертв (список хранился в секрете до самого часа экзекуции), приговаривая: «За ле-

ность! за дерзость! за буйство! за воровство!» Вызывалось обыкновенно от 8 до 10 человек, но почти каждую субботу слышались одни и те же фамилии и «посторонних» бывало немного. Число розог определялось от пяти до шестидесяти (за самые тяжкие вины, вроде искалечения, воровства, повторенного пьянства и т. д.). «Травленные» выступали твердо, сами спускали с себя штаны и сами ложились, причем некоторые доводили ухарство до того, что просили: «Разрешите, господин инспектор, чтоб меня не держали!» Но все-таки, ложась па скамью, инстинктивно крестились. Напротив, «посторонние» стонали и упирались, так что инспектор вынуждался напомнить: «Хуже будет, господин такой-то, ежели я прикажу привести вас силой!» Затем дядьки овладевали плечами и ногами пациента, секутор прицеливался, и розги выполняли свое воспитательное назначение. Раздавались пронзительные крики, но выискивались и такие воспитанники, которые, закусив нижнюю губу до крови, не испускали ни звука. Последних называли «молодцами».

Так длился целый год, после чего я оставил заведение и сведений о дальнейшей судьбе субботников уже не имею.

Не знаю также, что сталось с изобретателем субботников; но уверен, что ежели он еще не перестал быть деятельным членом общества, то, наверное, принадлежит к контингенту тех, которые настойчиво требуют перехода от фразы к делу. Оно, впрочем, и естественно: кто с младых ногтей вращался в сфере «дела», тому сфера «фразы» должна быть тяжела и противна.

Но вот вопрос: не присутствовал ли, хоть невидимкою, педагог Кунц при наших «субботниках»? И не тогда ли созрела в нем идея гигиенических кушеток? Ибо, в сущности, и субботники, и кушетки имели одну общую цель: сделать сечение общедоступным (à la portée de tout le monde).

С окончанием масленицы прекратился и сезон зимних утех. Многие опасались, что промышленность опять упадет, но опасения оказались преувеличенными. Торговцы шелковыми и галантерейными товарами действительно несколько приуныли, но барыши истекшего сезона помогут им бодро перенести печальные дни великого поста. Больше всех, впрочем, пострадает Ворт из Парижа (см. газетные описания балов) да берлинские псевдо-Ворты, но, с точки зрения народной гордости, это, пожалуй, и не дурно: пускай иностранные зазнайки почувствуют, что вся их торговля находится в руках русских жен и дев! Но зато несомненно процвела торговля грибами и моченою морошкой. Радуйся, Кола! ликуй, Судиславль! А на пасху грибам и морошке скажем шабаш, а на их месте процветет тор-

говля яйцами, куличами, молочным товаром, ветчиной. И таким порядком пойдет круглый год.

Вот как у нас просто делается. Тайный советник щи со снетками ест — смотришь, кто-нибудь и процвел; супруга его с кузеном на тройке на острова поехала — опять кто-нибудь процвел; лакей его барские сапоги ваксой чистит — и еще кто-нибудь процвел! И непременно процвел меньший брат, а старший брат только жует да на тройках катается.

При крепостном праве русская интеллигенция строго соблюдала посты, в особенности же Великий и Успенский. Многие даже раков и устриц не ели, не зная, как их счесть, скоромными или постными. Соблюдая посты, правящие классы и сами очищали души от греховных помыслов, и подавали пример воздержания меньшей братии. Дни поста бывали днями тишины и успокоения, и контраст между последним, безумным днем масленицы и чистым понедельником даже в столицах был поразителен. Сильные мира смирялись и изобретали грибные соусы, меньшая братия довольствовалась толокном, но в то же время, под влиянием общего молитвенного настроения, чувствовала прилив каких-то надежд.

С упразднением крепостного права соблюдение постов — да и то самых кратковременных — стало уделом преимущественно женского пола; что же касается до интеллигентных мужчин, то они предпочитали отделываться по этому поводу парадоксами. Пример подавать стало некому, а вопрос о спасении души был до того затемнен и запутан беспрерывными реформами, что даже из числа действительных статских советников многие сомневались, есть ли у них душа или нет. При таком настроении общества пост сделался как бы продолжением масленицы, с тою лишь разницей, что блины заменялись ропотом на устарелость предрассудков, мешающих пользоваться жизнью «по-человечески». Грибы осиротели; морошка плеснела и выкидывалась, белозерские снетки совсем исчезли с рынка. Целые местности, которых процветание было тесно связано с процветанием постов, увидали себя обездоленными.

Теперь смута устранена. Посты восприяли прежнее дореформенное действие, и те же самые действительные статские советники, которые не могли утвердительно ответить на вопрос, есть ли у них душа? — ныне положительно, твердо и ясно восклицают:

Ты прав, Платон, ты прав! наш дух не умирает!
Сам бог, живущий в нас, в сей правде уверяет!

Я лично знаю тайного советника, который в течение всей первой недели поста говорил по-славянски, как бы опаса-

ясь оскоромиться русским языком. А другой тайный советник даже совсем от дара слова отказался и проводил время в том, что молча созерцал свой пупок. Но это, по-моему, уж ригоризм.

В согласность с этим новым веянием, и движение на улицах в чистый понедельник значительно сократилось сравнительно с реформенным временем. Оживление замечалось только около бань и вблизи больших чиновнических центров. Давно так бойко не торговали банщики, и никогда так исправно не посещали чиновники своих департаментов, никогда так свято не хранили канцелярской тайны. Придут ранехонько, возьмутся за перья, сделают свое дело и затем — молчок. Слышно только, что плодом этой великопостной ретивости ожидается великое множество отрезвительных проектов. Проекты эти к будущему великому посту будут переписаны набело, а постом 1886 года их положат под сукно. Suum cuique [1], или: нет худа без добра. Но, как подспорье к грибам, эти проекты неоценимы; они оживляют ум и утверждают в публике убеждение, что страна, в которой с такою легкостью предпринимаются всевозможные оздоровления, не оскудеет.

Не только об раутах, но даже о простых вечеринках не было слышно в течение целых шести дней, так что и немцы отпраздновали свою масленицу келейно, без публичных оказательств. Редко-редко в каком окне мелькнет огонь, да и то скромный, трепещущий, при свете которого ничего другого и делать нельзя, как сосредоточенно смотреть себе на пупок. Сквернословие, столь обычное на улицах в скоромные дни, уступило место скромным и солидным афоризмам, вроде: «Всяк сверчок знай свой шесток» и т. д. «Московские куранты» целых два дня сряду появлялись в Петербурге без передовой диффамации.

Однако со второй недели уже ощущается довольно заметное оживление. Освещенные окна попадаются столь же часто, как и в сезонные дни; бани пустеют, портерные наполняются; выражения: катанье на тройках, раут, декольте — слышатся чаще и чаще. Сквернословие вступает в свои права; куранты свирепеют.

Раут — это самая скучная из всех форм общежития, участники которой думают только об том, как бы от нее улизнуть. Люди собираются пестрые и подозрительные; разговоры ведутся шаблонные, неискренние; пересказываются новости дня, которые всеми выслушиваются с удовольствием или негодованием (смотря по содержанию новости), но никто ни в это

[1] Всякому свое.

удовольствие, ни в это негодование не верит; старики изрекают приличные обстоятельствам афоризмы и стараются проникнуть в намерения Бисмарка; младшие почтительно с ними соглашаются, но внутренно думают: да, брат, порядком-таки ты от старости ошалел! Разносят чай, прохладительные, устроено несколько буфетов; там и сям разложены карточные столы; но никто ни к чему не прикасается, точно боятся, что это может задержать лишнюю минуту. Редко кто даже садится, потому что всякому думается, что на ходу ловчее можно улетучиться. А хозяева стеснены больше всех. Они стоя принимают беспрерывно появляющихся гостей и с тоскою взглядывают на входную дверь, откуда должен показаться тот «полезный человек», ради которого затеяна вся эта история. Но «он» не появляется, ибо знает себе цену, а вместо него дефилируют сотни неполезных и неинтересных людей. Словом сказать, всюду царствует деланное оживление, деланный говор, деланные поучения, деланное гостеприимство, деланная почтительность... И вдруг среди этой щемящей скуки и бесцельной сутолоки появляется... декольте! Но такое блестящее, ослепительное, с таким изумительным вырезом на спине, что у тайных советников мгновенно спирается в зобу дыхание. Смотрите! вот еле дышащий старец, который за минуту перед тем мечтал, как было бы хорошо намазаться на ночь оподельдоком, надеть на голову белый колпак и залечь с Матреной Ивановной спать. Он уже заносит ногу, чтоб привести этот проект в исполнение, он уже приближается к лестнице и мысленно видит себя в шубе и теплом картузе — как вдруг останавливается, как вкопанный, и начинает чихать. А ослепительное декольте торжествующе смотрит на это сонмище тщетно усиливающихся проникнуть намерения Бисмарка мудрецов и всеми своими вырезами бросает им в лицо: ага! вы думали, что наступил великий пост? — так вот же вам... масленица!

Но повторяю: рауты сами по себе так безмерно скучны, что даже наиболее возбуждающие декольте могут сообщить им лишь скоропреходящее оживление. Посещают их, по преимуществу, старцы, которые уже наяву сны видят, да подростки лет эдак пятидесяти, из которых одни уже овладели «делом», а другие сгорают нетерпением засвидетельствовать о готовности перейти от фразы к делу. Для подобных засвидетельствований раут самая подходящая арена; но и тут все зависит от того, успеет ли жаждующий подросток попасть в район зрения подростка полезного или не успеет. И никакое искусство, никакие подходы не принесут пользы, если не придет на помощь удача. Иной и очень старается, а его или другие чающие ототрут, или же сам полезный подросток так поме-

стится, что не видит своего обожателя, да и шабаш. Другой, напротив, не успел войти, как уже сорвал банк. Смотришь, через четверть часа он уже ходит с полезным подростком под руку, а прочие перед ними расступаются и едят их глазами. Это интимное хождение служит поводом для бесконечных комментариев. Стараются угадать его смысл и определить результаты в будущем. А наиболее прозорливые прямо прорицают: «теперь только держись!» Ежели у счастливца-подростка имеется, кроме того, в запасе программа, то комментаторы заранее приискивают компромиссы и соглашения. Ежели нет программы или есть маленькая — чего изволите? — то комментаторы говорят: «Во всяком случае, хуже не будет». И вдруг, под шумок этого переполоха, оба подростка делают внезапное фланговое движение, врезываются в толпу и исчезают в ней. Туда-сюда — растаяли! Куда они направили бег свой? что знаменует это внезапное исчезновение? какими новыми загадками разрешится завтрашний день? — Опять комментарии, комментарии без конца...

Как бы то ни было, но положение чающих подростков совсем незавидное. Удача достается в удел немногим, а большинство толчется на одном месте, ведет пустопорожние разговоры и агонизирует. Поэтому некоторые мудрецы предпочитают действовать посредством своих жен, ежели последние обладают исправным декольте. Такого рода мудрецов называют дипломатами, и усилия их нередко дают хорошие плоды. Но, по моему мнению, это уж подлость.

Гораздо интереснее и веселее проводится время на простых интимных вечеринках, которых в нынешнем посту особенно много. Здесь на первом плане фигурирует молодежь, та особливая нынешняя молодежь, которая не страстностью речей и телодвижений, а солидным образом мыслей и скромным поведением умеет заслужить и доверие дев, и мимолетную ласку жен, и покровительство мужей и отцов. В этой молодой среде стремление к «делу» и забота об его осуществлении являются ныне преобладающим элементом. Чаще всего под словом «дело» здесь разумеется карьера, но карьера, приобретаемая не в видах удовлетворения эфемерного честолюбия, а в видах достижения определенных общественных идеалов. Нынче редко можно встретить людей, подобных Кротикову или Козелкову, которые еще так недавно мечтали о губернаторских и иных местах, единственно ради целей любоначалия, осложненного любострастием. Нынешние молодые люди на первом плане ставят общую пользу, а потом уже — если время позволит — преследуют и любовные подспорья, помогающие не изнемочь под бременем служебного подвига. Подвиг этот не

легкий, хотя и не имеющий реального, обязательного содержания. Дело, предстоящее этим людям, не в том заключается, чтобы самим дело делать, а в том, чтобы заставить делать дело других и, в случае нужды, облегчить переход от фразы к делу. А средства для выполнения этой программы общеизвестны. Это, с одной стороны, неуклонность, а с другой — строгость. И наоборот.

— У меня, дяденька, не зазеваются! — говорил мне на днях один из моих племянников, молодой человек, на которого можно вполне положиться. И, говоря это, он отлично понимал, что, имея в запасе такое испытанное средство, как строгость, можно всего достигнуть: и изобилия, и оживления промышленности, и хорошего денежного рынка, и элеваторов, и транзитов — словом, всего, что смущает воображение современных отощавших празднословов.

Самую излюбленную принадлежность таких интимных вечеров представляют так называемые спиритические сеансы. Наше интеллигентное общество всегда было склонно к волшебствам, но нынешние спиритические радения имеют совсем отличный характер от прежних. Прежде молодые люди по преимуществу вызывали усопших дам. Из древних: Семирамиду, Клеопатру, Агриппину, Мессалину; из позднейших Монтеспаншу, Ментеноншу, Помпадуршу и др. Разумеется, происходил игривого свойства colloquium [1], от которого молодые адептки спиритизма алели, но не гневались, и который адепты сопровождали еще более игривыми комментариями. Нынче усопших дам оставляют в покое, а вместо них вызывают лиц, оказавших услуги благоустройству и благочинию. Например: Шешковского, фон Фока, Булгарина. Но должно сознаться, что от времени до времени тут не обходится без печальных недоразумений.

Вызывают, например, однажды Шешковского и предлагают ему вопросы. Старик, конечно, очень рад посодействовать, хотя, из кокетства, и жалуется на ревматизм.

— Всего больше,— говорит он,— надо избегать путаницы. Затеявши предприятие, необходимо зрело обдумать оное, не обращая внимания на подстрекательства темперамента и в особенности не дозволяя себе несвоевременной болтовни. Язык мой — враг мой, говорил я себе всякий раз, когда собирался в поход, и никогда не раскаивался в том, что содержал эту пословицу в памяти. То же самое нужно сказать и относительно самого выполнения предприятий. Никогда не следует спешить и суетиться, ибо, спеша и волнуясь, мы девяносто

[1] собеседование.

девять раз из ста рискуем попасть пальцем в небо. Конечно, юридическая ошибка сама по себе не представляет важности, но часто она увлекает нас совсем не в ту сторону, куда надо. Многое даже не бесполезно предоставить времени. Ибо ежели мы действуем благоразумно и притом воспитательно, то и время, или, лучше сказать, дух оного, постепенно принимает споспешествующий характер. По крайней мере, я всегда так поступал. Всякий раз, как предприятие ставило меня в тупик, я говорил себе: *пускай лучше дело полежит!* И никогда не раскаивался.

Высказавши это, Шешковский вновь повторяет жалобы на ревматизм и улетает.

— Какой у этого старика замечательный деловой смысл! — дивятся молодые люди.

— Да, был в старые годы смысл! был смысл! — вздыхает тайный советник (из ропщущих), который, за простоту, допущен в среду молодой компании.

— Какая отчетливость! какое глубокое знание споспешествующих свойств времени!

Но в другой раз с тем же Шешковским случилась целая история. Зовут его, стучат — не идет, да и полно. «Уж не позвал ли его на партию в ламуш граф Ушаков?» — догадываются некоторые, как вдруг появляется урядник Купцов (не тот, который в тридцатых годах стегал «питомцев славы», а предок его, современник и сотрудник Шешковского) и докладывает, что Шешковского бесплодно ждать, потому что душа у него была смертная и вместе с телом без остатка истлела...

Поднимается суматоха; дебатируется вопрос: кто же являлся под именем Шешковского в прошлый сеанс? И что ж открывается? — что в прошлый сеанс разговаривал чревовещатель, которого любезный хозяин посадил в соседнюю комнату.

В сей крайности решаются вызвать фон Фока. Последний является и отсырелым голосом объявляет, что хотя душа у него и не вполне смертная, но частица ее порядком-таки попорчена...

— Однако какая жестокая будущность! — провозглашает один из присутствующих.

— Ежели, впрочем, и тут опять не замешался вантрилок,— прибавляет другой.

Смотрят одновременно и под столом, и в соседних комнатах — нет никого. Очевидно, на сей раз являлся подлинный Купцов и подлинный фон Фок. Остается последнее средство: послать за Булгариным. И точно: Булгарин является на первый же стук и сразу начинает хрюкать:

— Призывает меня однажды Леонтий Васильич. Прихожу — рвет и мечет. Увидел меня, вскочил, подбежал, забрызгал: «Бездельник!» — «Слушаю, отец командир!» — «Ренегат!» — «Рады стараться, отец командир!» — «Уж и на меня ябеды сочинять начал!» — «Виноват, отец командир!» — «Пошел вон, сатана!» — «Кубарем, отец командир!»

Водворяется молчание, во время которого, однако, слышится легкий шелест. То реет над собравшимися булгаринская душа.

— Продолжайте! — предлагает один из участников.

— Только и всего.

— Ничего другого вы сказать не имеете?

— Все в этом роде.

— Но было же что-нибудь...

— Вся жизнь — в этом роде.

— Однако!

— Ах, господа, господа! Посмотрю я на вас: слышите вы звон и не знаете, откуда он! Да ведь это-то самое и нужно!

С этими словами душа Булгарина улетает восвояси, а в комнате распространяется легкий смрад. Большинство в недоумении оглядывается по сторонам, но у некоторых уже спадает с глаз пелена.

— «Это-то самое и нужно»,— задумчиво повторяет один из присутствующих (из молодых, да ранний) и прибавляет: — le vieux cochon a raison... peut-être! [1]

Возвещают, что сервирован ужин. Общество поднимается и в сладком сознании, что вечер проведен «дельно», следует в столовую.

А в заключение, и Петербургская городская дума нашла себе дело. Чествует приезд в «здешнюю столицу» немецкого романиста Шпильгагена, а когда получатся окончательные подробности насчет взятия французами Бак-Нина, то, конечно, будет чествовать и взятие Бак-Нина. Вина в погребах много; «уры» накопилось в сердцах видимо-невидимо — надо же как-нибудь распорядиться и тем и другим.

Что Шпильгаген очень талантливый писатель и в шестидесятых годах имел значительное влияние и на русскую литературу, и на русское общество — это бесспорно; но Дума-то петербургская тут при чем?

Шпильгагена чествуют, а вот про то, что в Петербурге существует Общество для пособия русским литераторам и уче-

[1] старая свинья права... быть может!

ным, которое на днях втихомолку праздновало свое двадцатипятилетие,— никто знать не хочет. А, право, ведь это учреждение сотни Шпильгагенов стоит. Подумайте! оно одно поддерживает (насколько может) интересы пишущего пролетариата, одно, которое без ужимок признает свою солидарность с русскою литературой! Каких еще больше прав на внимание общества!

Бедный русский Литературный фонд! Он всецело разделяет судьбы русской литературы. Подобно ей, он находится в забвении, подобно ей, влачит унылое и скудное существование. Коли хотите, это логично, но как-то горько мириться с этою логикою. Все думается: куда было бы лучше, если б благоденствовала литература и вместе с нею благоденствовал бы и Литературный фонд!

В русской литературе встречаются имена, принадлежащие лицам вполне обеспеченным. Литература дала им все: и деньги, и славу, а вспомнили ли они об ней! Уделили ли они Литературному русскому фонду что-нибудь, кроме жалких крупиц! Многие из них так и сошли в могилы, не вспомнив о своих бедствующих собратиях по литературе.

А книгопродавцы? а те, которые на костях литературы создали свои более или менее значительные состояния? Знают ли они даже, что существует русский Литературный фонд, который, приходя на помощь к бедствующему литературному деятелю, косвенно содействует созданию той самой «книжки», которая легла в основание всех этих капиталов в виде многоэтажных домов, акций и облигаций?

Право, лучше *бросить* (ведь у нас иначе жертва и не понимается, как в форме *бросанья*) деньги на поддержание русского Литературного фонда, нежели на чествование Шпильгагена, как бы ни почтенна была литературная деятельность последнего. Подумайте об этом, милостивые государи! и ежели вы полагаете, что встреча, устраиваемая вами Шпильгагену, есть в своем роде оказательство в смысле сочувствия к просвещению, то поймите, что оказательство это выразится гораздо решительнее, ежели оно явится в форме сочувствия к русскому Литературному фонду.

IX

Я с величайшим любопытством слежу за той частью нашей публицистики, которая сама себе присвоила название охранительной. Я знаю, что многие ее не любят за ее проделки, и даже сам вполне разделяю эту нелюбовь. Она недобросовестна, назойлива, недальновидна, всегда находится под гнетом тем-

перамента и любит, в угоду ему, солгать, подсидеть, подтасовать, извратить самый ясный факт. И при этом как-то беспардонно нагла, так что ни одной своей срамоты не скрывает: на, смотри! Читать гадко. И все-таки надо читать, потому что это и любопытно, и отчасти даже утешительно. Любопытно, потому что извивы лукавой мысли, которая суетливо пенится в пустом пространстве, сами по себе представляют очень замечательное психологическое явление; утешительно — потому что все усилия этой мысли настолько проникнуты легкомыслием, что, в сущности, и обмануть никого не могут. Не умеет русская охранительная пресса шить свои диффамации иначе, как белыми нитками; не умеет прятать концы в воду. Сегодня она пустит в ход агитацию по какому-нибудь небезынтересному для нее делу, будет ссылаться на ходатайства, постановления, подписи и т. п., а завтра, натолкнувшись на другую, встречную агитацию (тоже с постановлениями, ходатайствами и подписями), станет утверждать, что агитации вообще ничего не доказывают, что они скорее вредны, нежели полезны для дела. Даже лазейки для себя не будет приискивать, а просто отопрется, солжет. И так как она каждый день повторяет эту историю, каждый день только что не говорит: читатель! все, что я ни предполагаю, можно видеть только во сне! — то понятно, что и самому простодушному профану наконец надоест принимать сновидения за действительность.

Я понимаю, что может такой казус случиться, что, не имея за душой ничего, кроме праха, поневоле приходится им одним торговать, но ведь и с прахом следует обходиться бережно. Прах так прах; но пускай же он будет один и тот же всегда и везде, ибо только тогда он сделается владыкой мира. Отрицайте разум, прогресс, правду, человеческое право на счастье — прекрасно. Называйте все это опасной утопией, источником заблуждений и потрясений — еще того лучше. Утверждайте, что завтрашнего дня нет, что перспектив не полагается, а есть только то, что торчит под носом,— и это хорошо. Но держитесь этих отрицаний твердо и не призывайте разума, человечности и проч. ни на помощь, ни в свидетельство. Совсем не произносите этих слов, так как вы выходите из принципа, который признает их праздными. Не пишите, в смысле порицания: такое-то действие противно разуму, ибо, согласно вашей программе, это-то и есть действие, достойное похвалы. Не угрожайте завтрашним днем, потому что вы раз навсегда установили, что завтрашнего дня нет, а вместо него зияет черная дыра, о которой вы и будете калякать тогда, когда в ней очутитесь. Проводите ваш прах логично, а не пестрите его поправками, не перескакивайте легкомысленно от одного праха к

другому. Ибо ничто так не вредит возведению праха в принцип, как его пестрота.

Вспомните, читатель, что́ вопияла охранительная публицистика года три тому назад по адресу так называемой интеллигенции. Все кривды и беззакония, какие только можно совместить в наиболее извращенной человеческой личности, она, нимало не стесняясь, приурочивала к интеллигенции. Приурочивала, надрываясь, волнуясь и кипятясь, не считая даже нужным приискивать какие-нибудь аргументы. И не к той интеллигенции приурочивала, которая умеет в винт играть, которая устраивает катанье на тройках и пикники и в этом усматривает свое провиденциальное назначение, а именно к той, которая руководится какими-либо умственными и нравственными интересами. Именно на эти-то интересы и указывалось, как на источник всякого рода пагубы. Этого мало: она не ограничивалась платоническими воплями, но инсинуировала и практическое воздействие. Столбцы охранительных газет приятно пестрились корреспонденциями простецов-обывателей, которые простодушно предлагали топить интеллигентов, делать им встряски. И все это говорилось и предлагалось во имя здравого смысла народа, во имя «исконных русских начал». Любопытно бы знать: пуская в обращение эти наивные подстрекательства и ссылаясь на оные, как на документ, спросил ли себя кто-либо из охранителей-публицистов, что же такое он сам? Что он причисляет себя к сонмищу интеллигентов — в этом не может быть сомнения; что он понимает слово «интеллигент» не в смысле умения играть в винт — это тоже не требует доказательств. Ибо каким бы прахом ни было наполнено его существо, как бы малоинтеллигентно ни вел он свое дело, все-таки это дело, и по форме, и по существу, свойственное только интеллигенции. А следовательно...

Вот до этого-то «следовательно» никогда и не договариваются люди, которые называют себя охранителями, а в сущности охраняют только прах. Многие думают, что они *не хотят* договориться, но я решительно склоняюсь в пользу выражения: *не могут.* В минуты паники они теряют и память, и способность делать обобщения, а часто ли бывают такие минуты, когда бы они не находились под гнетом паники? Все пробуждает в них панику, все приводит их в исступление. Не только политическая смута, но и спокойное отправление правосудия, и действия акцизных чиновников, и дело Зографа, и дело Мельницкого, и элеваторы, и направление железных дорог, и транзит. Везде они видят не сущность дела и даже не обстановку его, а какой-то блуждающий огонь, за которым скрывается измена. И ради этого огня забывают все. И себя, и пред-

мет, на защиту которого вышли, и применения, и выводы, к которым подают повод их вопли.

И все-таки повторяю: это фаталистическое свойство, в силу которого прах на каждом шагу изобличает и побеждает самого себя, есть своего рода благо, которое необходимо принимать в расчет. Я знаю, что бойкие слова подкупают, но знаю также, что, пущенные на ветер, утопленные в массе противоречий, они могут иметь успех лишь минутный. Нельзя верить публицисту, который никогда ни к какому логическому выводу не приходит, который слоняется из угла в угол, сегодня говорит *за,* а завтра *против,* не сознавая даже, что и в том и другом случае дело идет о предметах вполне однородных, хотя бы и обозначенных различными рубриками. И действительно, ему редко кто доверяет, хотя, к сожалению, еще слишком часто говорят: «вот ведь какое перо!»

По моему мнению, это результат далеко не безнадежный. Потому что, если б прах проводил себя вполне логично, как в былые времена, например, в Китае, тогда нельзя было бы дышать. А теперь все-таки еще можно, хотя проворство, с которым глаголемые охранители отыскивают прахи и играют ими, во всяком случае, делает роль очевидца и современника этих игр довольно тяжелою.

Но продолжим наши воспоминания. Посылая прямые и косвенные укоризны вдогонку интеллигенции, которая и без того в авантаже никогда не обреталась, охранители указывали на «здравый смысл» народа и в нем одном находили надежное убежище против подвохов растлевающей цивилизации. В народе, говорили они, сохранились во всей неприкосновенности исконные русские начала, которые и помогут победить умственную и нравственную смуту, угрожающую нам окончательным разложением. И такова, дескать, живоносная сила этих начал, что, раз доверившись им, уже не представится надобности ни в сложных мероприятиях, ни в обременительных затратах, которые такие мероприятия неизбежно за собою ведут. Здравый смысл народа восторжествует без всякой посторонней помощи. Все устроится само собой, мирно, но грозно, без притязаний на блеск, но достаточно внушительно.

Казалось бы, чего лучше? Власть, доверяющая здравому смыслу народа, и народ, естественно, без предвзятой мысли, идущий навстречу этому доверию! От осуществления такой перспективы, полагать нужно, и либералы не прочь. Никто не видит идеала в антагонизме для антагонизма; никто... кроме, быть может, охранителей, которые никогда не смотрели на народ иначе, как на помеху в деле благоустройства и благочиния. Но на этот раз даже они говорят нам: «Да, в доверии к

народным массам единственное наше спасение!» Стало быть, и действительно уже неоткуда больше ждать помощи.

Но кто допускает известную цель, тот, конечно, должен допустить и соответствующие этой цели средства. Кто возлагает на народ все упования, тот, хотя бы и притворно, обязывается рисовать его образ чертами не только вполне сочувственными, но даже с примесью некоторой идиллии. Народ, мол, это не какие-нибудь рядские сорванцы, которые способны лишь на то, чтобы по сигналу: взы-взы! — набрасываться на всякого встречного потому только, что он одет в кургузку. Нет, это собрание благомысленных мужичков (что ни мужичок, то хоть сейчас в бурмистры... если б крепостное право опять народилось!), которые за десятым самоваром истово калякают о мирской крестьянской правде да о поровёнке, а о том, каким образом с мошной поступить,— помалчивают. Вот это какой народ!

Нужды, мол, нет, что «благомысленные», между прочим, и о поровёнке разговаривают,— ведь это только издали страшно. Сегодня у них поровёнка в ходу, а завтра, «глядя по времю», и другие разговоры найдутся. «На то щука в море, чтобы карась не дремал!» — чем это не разговор! Или: «Не плачь, казявка! только сок выжму!» — хоть какому благомысленному не стыдно! Сначала поровёнку в ход пустим, потом «сок выжмем», а потом и опять, пожалуй, за поровёнку примемся! А самовары между тем со стола не сходят. Пьют себе благомысленные чашку за чашкой, в ус не дуют, да мошну поглаживают! Мы, мол, не горланы, не рядские сорванцы, не кулаки, не мироеды, не захребетники — мы «благомысленные»! А ежели, мол, карась к щуке в хайло попал, так он сам же и виноват: не зевай!

О достолюбезные дети природы! Как не довериться вам, коль скоро вы не только здравый смысл и русские начала в неприкосновенности сохранили, но при сем и мошну из вида не упустили!

Вот в каком виде следовало бы консерваторам-публицистам живописать русский народ, если бы они могли вести свое дело последовательно. Положим, что это вышел бы не заправский народ, а харчевня, наполненная идиллическими мироедами; но ведь русская публика на этот счет невзыскательна: идиллия в соединении с поровёнкой да с мошною и до сих пор на нее без промаху действует.

Да; это было бы с их стороны «очень ловким шагом» (специальное выражение охранителей-публицистов, когда они хотят охарактеризовать какой-нибудь подвох) и сразу отбило бы у либералов хлеб, на который они рассчитывают. Ротозеи!

они воображают, что они одни секретом «рассказов из народного быта» обладают... милости просим! Да мы, охранители, такую по этой части ахинею за пазухой держим, что в нос бросится... да! Мужички! милые! что вы там заробели-спрятались! Вылезайте, не бойтесь! Покажите, какие такие в вас русские начала сидят? какой такой здравый смысл? Ах, хорош здравый смысл!

Истинно говорю, что либералы не только остались бы ни при чем, но, может быть, и в помине об них уж давным-давно не было бы!

Но охранители наши не могут быть последовательны. Малодушные, всецело угнетенные темпераментом, то необузданно ликующие, то сеющие бессознательный страх, они бросают на ветер слово и сейчас же забывают об нем. Забывают, потому что в данную минуту не видят в нем надобности; но ежели встретят таковую, то и опять вспомнят. Увы! не понимают они, что подогретому слову цена уже грош...

В самом деле, тот же самый темперамент, который только что продиктовал им теорию обращения к здравому смыслу народа, тут же, кряду, подсказывает и картины самого несомненного отсутствия этого смысла. Тот народ, который, за несколько столбцов перед тем, являлся вместилищем исконных русских начал, представляется теперь лишенным всякого нравственного инстинкта, почти безумным. Прислушаемтесь, например, хоть к такого рода фактам [1].

«Леса рубятся безнаказанно, на лугах — перекосы и потравы; с полей воруют снопы с каждым годом все сильнее и сильнее; поджигают друг друга; доходит дело до того, что начинают отравлять скотину друг у друга...»

Так повествует охранитель-корреспондент из нижегородской деревни. Кто же все это делает? не интеллигенты ли? Нет, это делает тот самый народ, о здравом смысле которого, чуть ли не в том же номере, охранитель-публицист начертал пространную и убедительную передовицу. Таковы понятия *этого* народа о собственности; а вот его понятия о справедливости:

«Ничего не поделаешь; некуда обратиться за помощью. В крестьянское общество? но в нем чинит суд и расправу пропившаяся голь деревенская, которая и производит все эти безобразия; степенный мужик давно уже потерял вес... хлопочет только о том, чтоб его оставили в стороне... В волостной суд? но и там сопьют с виноватого и пустят на все четыре стороны...

[1] Факты эти, или, лучше сказать, рассказ об них не вымышлен мною, а заимствован, в подлинных выражениях, из одной охранительной газеты, которую, впрочем, я не вижу надобности называть. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

К мировому? но выйдет еще хуже: оштрафуют на полтину, а конфузу тебе на рубль... Следователь ответит на твою жалобу, что ясных улик нет... И деревенская вольница прекрасно понимает силу своей безнаказанности и неуязвимости. Она так набаловалась тем, что все сходит ей с рук, что, не стесняясь, говорит старшине на сходе: разве ты не понимаешь, что ноне вся сила в нас? делай нам в угоду: нас, брат, много! Вдумайтесь в эти слова: вольница, объединяемая, поддерживаемая и просвещаемая кабаком, поняла, что с нею заигрывают, за нею ухаживают, и подняла голову».

Таковы понятия «народа» о справедливости. Вот так подоплека! Но отношения его к собственному самоуправлению едва ли еще не любопытнее:

«Вот, например, деревня выбирает старосту. Выбор падает на мужичонка-воришку, который к тому же и деревенский живодер, и пастух крестьянского стада, словом, последний человек... Через полгода — начет в 60 рублей, удаление от должности и новый выбор, на этот раз горького пьяницы. Чем же объясняются эти изумительные выборы? а вот чем. «Ноне страху стало мало. В начальство идти путному человеку — только казниться; ты с него подать собирать, а он посмеивается: ничего, говорит, за мир посидишь. Правов не стало».

Так самоуправляются эти представители здравого смысла. И заметьте объяснение: «страху нет»! Страх — это альфа и омега наших охранителей-публицистов. Будь страх — и все пойдет хорошо. Но вот, в заключение, и самый здравый смысл налицо. Слушайте. «Летом, среди горячей деловой поры, мир постановляет: праздновать три-четыре дня подряд. В первый день сходят в церковь, а потом начинают гулять. Ветер выхлестывает спелую рожь, и заботливый хозяин с грустью смотрит на свою трудовую ниву, но взять серп в руки не смеет: за ним зорко следят десятки глаз и только ждут, чтобы содрать четверть водки за нарушение мирского приговора. Вот другое дело «по́мочь» — там за вино работать можно. Кулак, разумеется, и пользуется этим; весело потирает руки и друг его, кабатчик...»

Итак, вот каков этот народ, который, в случае нужды, прославляют, как носителя русского здравого смысла и исконных русских начал, и который, по миновании надобности, топчут в грязь! С одной стороны — единственное убежище, оплот, купель силоамская; с другой — обезумевшая от водки толпа, сборище воров, поджигателей, отравителей, не могущих управлять своими действиями, не имеющих ни малейшего понятия о правде, не понимающих даже той простой истины, что без пищи нельзя существовать. И все это рядом, через несколько

столбцов, в одной и той же охранительной газете. Правда, в последнем случае народ не называется народом, а говорится о какой-то вольнице: но ведь это только шутливая кличка, которая позволяет подойти к предмету вольным аллюром. В сущности, эта вольница и есть именно «народ»; это та самая масса, которая знает, что «ноне вся сила в нас», за которою ухаживают, с которою заигрывают...

Кто ухаживает? кто заигрывает? — положительно не кто иной, как те самые, которые и вкривь, и вкось именуют себя охранителями. Ибо невозможно себе представить, чтобы, наделяя народ «здравым смыслом», они разумели только «степенных» да «путных». Во-первых, потому, что если даже прибавить к этим «путным» кулаков и кабатчиков, то и тогда их будет чересчур мало, чтобы фигурировать в качестве народа, а во-вторых, и потому, что эти «степенные», по наивному сознанию самих охранителей, хлопочут только о том, чтоб их оставили в покое. Какая же корысть обращаться к здравому смыслу таких людей? Ведь он давно уже превратился у них в трусливое вожделение покоя, которое, впрочем, нимало не препятствует им разыгрывать, в своем месте, роль благомысленных сельчан.

Нет, как хотите, а все это именно бред, ничего, кроме бреда. И здравый смысл, и антиздравый смысл, и «народ», и вольница — все это сказалось внезапно, невзначай, в угоду темпераменту, без разумения. Бог справедлив: он поражает наглых людей глухотою, слепотою, безумием. Если б не это, они, несомненно, не только ближних своих, но и самого господа бога давно бы слопали.

Повторяю и повторяю: хотя противоречия, в которых путается блудливая мысль псевдоохранительной прессы, в высшей степени постыдны, но в данном случае они весьма знаменательны, ибо поселяют уверенность, что существуют известные пределы, за которыми и бойкие слова оказываются просто-напросто глупостью.

В последнее время особенным вниманием охранительно-публицистического лагеря пользовался вопрос о расхищении власти. До сведения публики доводилось, что рядом с законным самодержавием возникло несколько самочинных самодержавий, которые открыто отрицают авторитет власти, нахально провозглашают себя независимыми от нее и противодействие ее распоряжениям вменяют себе в обязанность и в заслугу. Стоит заправскому властителю дум засадить Ивана Непомнящего в кутузку, как самочинный властитель дум в ту же минуту вырастает из-под земли и освобождает Ивана из

кутузки; и наоборот, не успеет заправский властелин поощрить Ивана Благонамеренного, как самозванец уже тащит его на скамью подсудимых. И всё — нарочно.

Что всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с обычным церемониалом русской жизни (в особенности провинциальной), имеет вполне достаточные сведения о явлении, именуемом расхищением власти,— это не подлежит никакому сомнению. Летописи наши изобилуют и преизобилуют подобными фактами. Кто не помнит целой организованной шайки, благодаря которой произошло уфимско-оренбургское земельное расхищение? Кому не известны лукавые рабы, которые, под прикрытием обаяния власти, обделывают свои личные делишки? Кто, наконец, еще в детстве не слыхал о целой массе мелких самоуправцев, по милости которых существование в провинции становится год от году более и более загадочным? Все эти люди, без всякого сомнения, имеют полное право на кличку расхитителей власти. Они посевают вокруг себя скудость материальную, умственную и нравственную, они вносят озлобление и смуту в умы, они умерщвляют народную силу в самом источнике и, совершая все это, в качестве органов власти и ее именем, неизбежно подрывают доверие к ней. Они хуже чем расхищают власть, они бесчестят ее. Указывать на подобные расхищения власти, предлагать способы к их устранению — вот задача публицистики, сознающей себя действительно охранительною. Вот в сторону каких расхитителей должны быть направлены ее самые бойкие фразы, если уж без бойкости нельзя обойтись.

На деле, однако же, видится совершенно противное. О подлинных расхитителях охранительная публицистика в большинстве случаев проходит молчанием, а некоторых из них — например, самоуправцев — даже похваляет. Название же расхитителей власти присвоивается ею тем учреждениям и лицам, которые, по самому свойству своих обязанностей, не могут иметь никакой прикосновенности ни к расхищениям при помощи воровства, ни к расхищениям при помощи самоуправства...

В особенности часто прилагается ныне это клеймо к новым судебным учреждениям. И слепая ярость, и клевета, и раскатистый хохот — все по их поводу считается пригодным, дозволительным и уместным. Не странно ли видеть, что в сфере охранительной может существовать пресса, которая слово «легальность» произносит не иначе, как с прибавлением паскудного «risum teneatis, amici?» [1] А между тем это не фантазия, а действительность. Надрывают охранители животы со смеху,

[1] «воздержитесь ли от смеха, друзья?»

да и полно. Судей так-таки прямо в лицо и называют «несменяемыми» и «независимыми», а для присяжных заседателей даже сугубо уморительную кличку придумали: «непогрешимые»! И всё ведь в насмешку...

Я не к тому заговорил о судах, чтобы произносить в их пользу защитительную речь. Прежде всего я не сознаю себя достаточно компетентным в этом деле, а затем лично нахожу, что как бы ни были хороши суды, все-таки лучше совсем не иметь в них хождения, нежели состоять с ними в непрестанном общении. Так что ежели бы ко мне явился адвокат Балалайкин и стал убеждать, что я без всяких прав могу наверняка оттягать у соседа каменный дом (какой-нибудь охранительный Иудушка наверняка сказал бы по этому случаю: бог послал!), то я и тогда, наверное, отказался бы от предъявления иска. Но и за всем тем, наравне со всеми неодержимыми «колером» членами русской семьи, я убежден: во-первых, что судебная реформа исходит от той самой власти, на защиту которой выходят самозванные охранители; во-вторых, что «легальность» не только не подрывает власти, но, напротив, укрепляет ее и что, следовательно, если оба эти выражения употребляются рядом, то смешного в этом ничего нет; и в-третьих, что в практике новых судебных учреждений, со времен их преобразования, решительно ничего такого не произошло, что угрожало бы опасностью государству или вызывало бы хохот. Так что даже кличка «непогрешимости», присвоенная суду присяжных, есть, в сущности, только паясничество, ибо нигде и никогда суд присяжных не признавался символом непогрешимости, а считался только выразителем известного уровня общественного и народного самосознания.

Вот если б охранительная публицистика хлопотала о поднятии этого уровня — это было бы с ее стороны заслугой. Но в том-то и дело, что интересы ее заключаются совсем не в этом (пожалуй, чем ниже уровень, тем даже лучше, покойнее, благочиннее), а в том, чтобы учинить подтасовку, которая помогла бы подлинных расхитителей власти подменить расхитителями мнимыми.

Подтасовка это совершенно в нравах нашей охранительной публицистики и могла бы представлять серьезную опасность, если б последняя не умерялась значительной примесью недомыслия и бестолковости. Благодаря этому обстоятельству читатель, наиболее наивный и терпеливый, начинает уже видеть в подтасовках только дурную привычку, и больше ничего.

В сущности, по поводу вопроса о расхищении власти происходит такое же столпотворение, как и по поводу обращения к исконным русским началам. И в том, и в другом случае из-

вергаются только бойкие слова, нимало не вяжущиеся с предметом, о котором заведена речь. О выводах или о пожеланиях нет и в помине. Людям более или менее подозрительным может показаться, что вот-вот сорвется с языка что-нибудь решительное, вроде «закрепощения» или восстановления старой судебной волокиты — отнюдь не бывало! Даже этих немудрых слов нет. Вообще никаких слов, кроме бойких, да и бойкие-то слова вырываются как-то внезапно, исключительно под влиянием всполошившегося темперамента. И в результате — ни шествия вперед, ни возврата назад, ничего, кроме бессодержательной пропаганды паники.

Если б охранительная публицистика была способна формулировать свои вожделения, если б она ясно и отчетливо произнесла те слова, вокруг которых она ныне только бессмысленно мечется,— она, наверное, выполнила бы свое назначение с успехом. У нее нашлись бы адепты — не особенно много, но кучка порядочная (ведь и до сих пор встречаются старички, которые облизываются при воспоминании о старых порядках),— с помощью которых она, чего доброго, провела бы в жизнь и закрепощение, и судебную волокиту. Словом сказать, она могла бы принести вред действительный, грандиозный, могла бы уязвить не того или другого из своих противников, а всех, всех вообще... Всех, кто носит человеческий образ, или, по крайней мере, мыслит и чувствует, как человеку мыслить и чувствовать надлежит.

К счастию, этого нет. Как ни беспредельно злопыхательство охранительной прессы, но бессилие ее мысли таково, что последнее непременно положит конец и бойким словам, и распространенному ими ошеломлению. Не перед разумом сложит оружие злопыхательство, а перед собственною бессмыслицей. Это настолько верно, что те из адептов, которые лучше других понимают, чье мясо кошка съела, начинают уже недоумевать и сердиться.

— Топчется на одном месте златоуст-то наш — ни взад, ни вперед! — жаловался мне на днях один старичок, который с 1862 года все ждет, что бог его простит,— мы было надеялись, что он «возвестит», а он только знай захлебывается.

Кстати о публицистике. В одной из газет я вычитал, что в одном из «Пошехонских рассказов» изображена «довольно темная аллегория, в которой, между прочим, действует «газетчик», отыскивающий революционеров для представления по начальству».

Это положительно неверно. Аллегория рассказа, о котором

идет речь (если тут есть аллегория), заключается в том, что пошехонцы, застигнутые затруднениями, не находят другого выхода, кроме личных репрессалий, распри и взаимных пререканий задним числом. Вероятно, они предполагают, что если достаточно друг друга перекалечат, то у них, по щучьему веленью, явится и panis [1], и circenses [2]. Однако же ничего, кроме исконных пустых щей (panis) и синяков на теле (circenses), не получают; и не получают по той простой причине, что ни из разгромления, ни из опустошения, ни из калечения (сих излюбленных пошехонских панацей) никакого приварка не извлечешь, а извлечешь только безлюдье и всеобщую одичалость.

Эта особенность пошехонских оздоровительных приемов и пошехонского миросозерцания известна не со вчерашнего дня: все летописные рассказы наполнены примерами усобиц и пререканий. Искони пошехонцы любили заниматься расследованием корней и нитей, то есть переборкой отдельных персон, и искони же уклонялись от выяснения самим себе действительных, а не персональных причин постигшего затруднения. И потому-то, быть может, как они ни надсаживаются, подсиживая друг друга, а пустые щи и до сегодня не сходят у них со стола.

Бесспорно, что отыскать для жизни новые, более плодотворные основания гораздо труднее, нежели дать ближнему оплеуху; но ведь, с другой стороны, оплеуха, с какой стороны на нее ни взгляни, все-таки не больше, как оплеуха. А дальше что?

Говорят, будто пошехонцы недостаточно подготовлены для того, чтобы думать о новых основаниях для жизни, так надо же, дескать, в ожидании лучшего, хоть что-нибудь предпринимать... Помилуйте! да ведь есть же, наконец, честность, есть здравый смысл! Допустим, что без серьезной подготовки на прочное строительство надеяться нельзя, но, право, и одной честности достаточно, чтобы произвести что-нибудь более прочное, нежели этот паскудный обмен оплеух, который и заушающихся, и заушаемых одинаково доводит до полного нравственного растления.

Вот мысль, которая положена в основание рассказа о фантастическом пошехонском отрезвлении. Ежели это аллегория, то необходимо допустить, что и вся вообще пошехонская жизнь есть не что иное, как аллегория.

Что же касается до «газетчика», то он привлечен к рассказу вовсе не в качестве «отыскивателя революционеров для

[1] хлеб.
[2] зрелища.

представления по начальству», а в качестве подстрекателя в том бесплодно-самоедском направлении, благодаря которому пошехонцы мечутся, изнуряются и все-таки живут впроголодь. Хотя тип такого газетчика и не встречается в пошехонских летописях, однако ж и он не представляет животрепещущей новости. Развелось этих газетчиков очень достаточно, и муть от них большая идет.

Право, небесполезно напоминать литературе (особливо ввиду неравномерной растяжимости правила: «audiatur et altera pars[1]), что сдержанность для нее обязательна, что существуют задачи более ей приличествующие, нежели злая и притом явно бесплодная травля одних посредством других. Кругом то и дело раздаются вопли: «Довольно фраз! за дело пора, за дело!» — а вслушайтесь-ка попристальнее в смысл этих воплей, и вы убедитесь, что, в сущности, кроме травли, никакого дела и не предвидится. Стало быть, что-нибудь одно предстоит: или дознаться, в чем же именно состоит это пресловутое, беспрерывно возвещаемое «дело», или же положить предел лицемерному галденью.

Я знаю, впрочем, что ни «рассказами», ни вообще литературным воздействием ни того, ни другого добиться нельзя. Газетчики того типа, о котором идет речь, никогда ничего не скажут о сущности «дела», потому что они сами этой сущности не знают, и никогда не перестанут галдеть, потому что галдение составляет их ремесло. Но ведь речь писателя имеет значение скорее воспитательное, нежели непосредственно-практическое. Он обращается к обществу не за тем, чтобы пристигнуть такое-то лицо или такое-то действие, а с целью воздействовать на общественную совесть, на общественное самосознание.

Чтение газет наводит иногда на мысли совершенно неожиданные, но в то же время и не бесполезные. В жизни встречается великое множество явлений, которые пропускаются без внимания единственно потому, что уж очень всем примелькались. И вдруг о чем-нибудь в этом роде начинает разговаривать газета. Разговаривает строго, с пафосом, с примесью так называемой аттической соли (ныне, благодаря безакцизности, она дешева) и даже как бы с затаенным опасением. С первого взгляда никак не поймешь, что именно случилось, и, только пристально вдумавшись, догадаешься: ба! да ведь это оно самое и есть!

Возьмем для примера хоть такой факт: каким образом за-

[1] пусть будет выслушана и другая сторона.

чинались наши Пошехонья? как и по какой причине возникли в них каланчи? — Много ли найдется любознательных людей, которых интересовали бы подобные вопросы? Я, по крайней мере, никогда, до последнего времени, не думал о них. Проезжая мимо того или другого Пошехонья, я осведомлялся у ямщика, как оно называется, и, получив удовлетворительный ответ, менял на станции лошадей и следовал дальше, по направлению к следующему Пошехонью. Проезжая мимо каланчи, я машинально восклицал: «Вот она, каланча-матушка!» — и не давал этому восклицанию ни особливого значения, ни дальнейшего развития. И таким образом, чего мудреного, я и в могилу сошел бы, не давши себе отчета в собственных впечатлениях и восклицаниях...

По необъяснимой случайности, вопрос о происхождении русских Пошехоний и о постройке в них каланчей с особенною настоятельностью предстал передо мной после прочтения газетных статей о деле волчанского исправника Зографа. Читал-читал — и вдруг мысль: да кто же кому предшествовал, Зограф ли Волчанску или Волчанск Зографу? Вопрос был поставлен мною неправильно и даже неподлежательно (следовало бы спросить так: Волчанск ли для Зографа существует или Зограф для Волчанска? — тогда, наверное, было бы ясно: конечно, с одной стороны, Волчанск... но с другой стороны, несомненно, что и Зограф...), и потому весьма естественно, что в бодрственном состоянии я ответа на него дать не мог. Тогда поневоле пришлось прибегнуть к сновидению, и вдобавок аллегорическому.

Прилег, и так как дело было к спеху, то сейчас же увидел сон. И вот какую аллегорию развернуло предо мной сновидение.

Вначале будто бы появился исправник (точнее было бы, по-старинному, сказать: городничий, но во сне за исторической точностью не угоняешься) и, памятуя, что ему предстоит, с одной стороны, пожары тушить, а с другой — бунты, с помощью пожарной трубы, усмирять, выбрал местечко на берегу реки. Который исправник в рубашке родился — выбрал реку многоводную, с стерляжьей ухой, с нагруженными хлебом расшивами, с раскольниками; который без рубашки, в одном вицмундире родился — удовольствовался речкой Гнилушкой, в надежде, что и малая река, при усердии, большой процент даст. Не успел он умом-разумом раскинуть — смотрит, ан у него уж, по щучьему веленью, помощник родился. А немного погодя — частный пристав, а еще немного спустя — пара квартальных. Сотворили совет и на вопрос: как в сем случае поступить? — в один голос ответили: выстроить каланчу! И только что они это слово вымолвили — глядь, ан каланча уж готова!

Стоит, сердечная, и сама собой пожарные сигналы выкидывает. Обрадовался исправник, взбежал на вышку и, вспомнив Пушкина, произнес:

Отсель грозить мы будем шведу...

И погрозил...

И что ж! как только он погрозил, так со всех сторон налетели полицейские и пожарные нижние чины и зачали кругом каланчи город завивать. А исправник засел в каланче, сидит да, подобно древнему Девкалиону, из окошка камешками пошвыривает. Побольше камень бросит — вскочит купчина и начнет торговать; поменьше — вскочит мещанин и начнет воровать. Наконец целую глыбу выкатил — народился «венец созданий божиих», откупщик. И тут же поздравил испавника с окладом: тысяча рублей в год — само собой, а четыре ведра водки в месяц — само собой.

Словом сказать, не прошло без году недели, а город уж во всех статьях так и играет на солнышке. И казначейство, и суды, и всякие управления, и кабаки, и гостиный двор, и кутузка — чего хочешь, того просишь. И вдруг исправник спохватился.

— А у кого же мы по праздникам пироги будем есть? — обратился он к сослуживцам.

— То-то что градского голову приходится сделать...

Сказано — сделано. Взял исправник глины ком, замесил с соломенной резкой, дунул, плюнул — вышел голова! «Что, брат, не чаял? —ласково молвил ему исправник, — то-то! Смотри у меня! Я тебя из праха воззвал, я же тебя и обратно в оный погружу!»

Сделавши все как следует, пошел исправник с помощником своим по городу гулять. Гуляет и не нарадуется. Взойдет в бакалейную лавку, зачерпнет в пригоршню изюму и ест; взойдет в суконную лавку — себе на мундир сукна отрежет, а жене на пальто драпу; зайдет к откупщику — спросит: «Скоро ли же на бал звать будете? надо, сударь, общество веселить!»

Долго ли, коротко ли так дело шло, только начал исправник мечтать.

— А знаете ли, Иван Иваныч,— сказал он однажды помощнику,— какую я штуку придумал?

— Не могу знать, вашескородие!

— Угадайте!

— И угадать не могу, вашескородие!

— И не угадаете. А я между тем самую простую штуку придумал. Доселе я *их* — создавал, а отныне начну *их*... уничтожать!

Помощник весь превратился в слух. Стоит и не шелохнется. Знал он, что у исправника ума палата, но такой премудрости, признаться сказать, даже от него не чаял.

— На какой же, собственно... предмет? — очнулся он наконец.

— Как на какой предмет! — рассердился исправник, — на службе вы, милостивый государь, состоите, а самых элементарных вещей не понимаете! sic volo, sic jubeo [1] — вот на какой предмет! Исправник я или нет?

И затем, призвав градского голову, сказал ему такие слова:

— Я сей град, ради некакой надобности, воздвигнул, я же его, ради той же надобности, и разрушить хочу.

Но голова хотя и должен был исправнику жизнью, однако ж, на сей раз не понял.

— На какой же, собственно... предмет? — осмелился он заикнуться.

— Не для того я тебя призвал, чтобы твои смеха достойные слова слушать,— рассердился на него исправник,— ступай и выполни! С завтрашнего же дня обязываются обыватели сами себя постепенно расточать, и когда всех расточат до единого, тогда я и о тебе промыслю.

Действительно, на другой же день город оживился, точно во время дворянских выборов. Насилу успевал секретарь думский приговоры о расточении сочинять, насилу успевали полицейские те приговоры по домам да по кабакам для подписи разносить! Обыватели подписывали ходко, не отнекивались.

— Мы люди привышные! — говорили они,— нас хоть со щами хлебай, хоть с кашей ешь!

Даже откупщик на первых порах обрадовался, потому что расточаемых провожали родные, и каждые проводы сопровождались не малою выпивкой. «Пущай расточают друг дружку! — говорил себе откупщик,— исправник из щебенки опять мне целую уйму пьяниц наделает!» Но когда город заметно опустел и когда притом оказалось, что Девкалионов секрет исправником был уже при закладке города без остатка истрачен, тогда и откупщик встрепенулся: ежели всех пьяниц расточить — кто же в кабаках водку пить будет? И шепнул он стряпчему: «caveant consules!» [2], как бы де для казны ущербу от исправницкой затеи не произошло? А у стряпчего два ока были, из коих одно — недреманное. До сих пор он в недреманном оке надобности не видел, а теперь вдруг вздумал: дай-ка, посмотрю! И посмотрел.

[1] так я желаю, так приказываю.
[2] «пусть консулы будут бдительны!»

И вот, когда уж обывателей осталась самая малая горсточка, и городской голова с грустью подумывал о том, что в недолгом времени ему придется расточить самого себя, вдруг, по доносу стряпчего, раздался трубный звук:

— Под суд исправника!

И проследовал исправник из города, им созданного и им же расточенного, прямо под суд; проследовал тихо, смирно, благородно. И кто ни встречал его на пути к суду — всякий говорил:

— Неужто сей человек прегрешил?

И начали его судить...

. . . .

Но тут я, конечно, проснулся и дальнейшего развития этой истории не знаю. Равным образом не знаю и того, что сталось с расточенным городом. Явился ли туда новый Девкалион и населил его новыми пьяницами, или так до днесь и остается он вроде древней Ниневии. Там и сям встречаются изящные портики, великолепные колоннады, памятники и проч., а между тем базарная площадь, как была в последней базарный день, так и посейчас невыметенная стоит.

Март месяц ознаменовался тем, что адвокатское сословие получило неожиданный реприманд. Печальную эту обязанность принял на себя известный юрист и в то же время член прокурорской семьи, Н. А. Неклюдов. Частые оправдательные вердикты, благодаря которым преступления, несомненно содеянные, остаются не наказанными, обратили на себя его просвещенное внимание. Но в особенности, по-видимому, повлияли на его решимость вопли охранительной печати, направленные против судебной реформы. По рассмотрении оказалось, что во всем виноваты адвокаты. Они вводят в заблуждение присяжных заседателей, они сознательно извращают факты, они — *распинают* закон...

Господин прокурор говорил горячо и убежденно, и притом при открытых дверях, в присутствии Уголовного Кассационного Департамента Правительствующего Сената. Жаль, что он не упомянул при этом, не распинали ли, при случае, закона и прокуроры. Ведь и на них в этом смысле кивает наша охранительная печать.

Вопрос о лганье на суде очень существенный. Но что касается до меня, то я далеко не убежден, можно ли разрешить его «с пылу, с жару, по пятаку за пару». Страшно подумать, что исход дел, с которыми неразрывно связываются честь и доброе имя обвиняемых, зависит от того, кто кого перелжет,

но в данном случае и самые крупные слова едва ли могут что-нибудь разъяснить. Гораздо было бы полезнее отнестись к делу вполне серьезно и обстоятельно. Но тут опять беда: нет в нас живого места, к которому мы могли бы прикоснуться без ощущения боли. Непременно какой-нибудь «неокрепший, молодой институт» заденешь. И пойдут потом аханья: «ах, что вы!» да «неужели же вы не понимаете?» Вот почему так много встречается людей, которые на все махнули рукой и говорят: «А коли так, то процветайте, как знаете, сами собой... институты!»

Адвокаты возражали г. Неклюдову печатно. Возражение вышло небезосновательное, хотя чересчур растянутое. Любопытно, однако ж, могли ли бы адвокаты сделать возражение на суде столь же горячо и откровенно, как это сделал г. Неклюдов?

X [1]

Пасхальные праздники на время заслонили внутреннюю политику. Но так как общий склад жизни за последние годы приобрел характер серьезный, то и праздники вышли серьезные. Пили и ели, быть может, даже более, нежели когда-либо, но не ради угождения мамоне (об этом ныне и не помышляет никто!), а ради оживления промышленности и поддержки курсов. Многие бесшабашные советники насильно заставляли себя съедать по нескольку десятков крутых яиц в день, лишь бы пустить в народное обращение несколько лишних рублей. У всех на уме были: отечество, деревня и мужичок. «Деревню поддержать надо! мужичка!» — раздавалось везде, где зреет солидная мысль и ведутся солидные разговоры о переходе от фразы к делу. Даже неисправимые пьяницы — и те ныне как бы сознают, что на них лежит какая-то серьезная обязанность, и потому пьют не для того, чтобы весело было, а чтобы поскорее остолбенеть и тем принести пользу винокурению. Я несколько лет сряду живу против портерной и, следовательно, имею полную возможность наблюдать за проявлениями алкоголизма. Прежде, бывало, выйдет пьяница из портерной и сейчас же начнет песни петь, к прохожим приставать, писать мыслете; нынче, смотрю, в самый первый день праздника, вышел пьяница из дверей и сейчас же лег на тротуа́р. С четверть часа он лежал на плитах, как на пуховике, не возбуждая ни в ком удивления, пока не появилась в воротах дома дворни-

[1] Эта глава осталась: недоконченною. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

кова кума и не всплеснула руками. Тогда пришел дворник, поднял пьяницу и, прислонив его к стене — точно это был не человек, а деревянный шест,— не торопясь отправился за городовым. А городовой в это время с подчаском христосовался, и когда кончил, то оказалось, что пьяница ему не подсуден, а подсуден вон тому кавалеру... вон, который под козырек делает... Покуда городовые разрешали вопрос о подсудности, откуда-то прибежал прокурорский надзор, а следом за ним — адвокат, и еще больше дело запутали. А пьяница все стоял у стены, стоял солидно и трезвенно, не сгибая колен и как бы сознавая, что ежели начальство прислонило его к стене, то он всем трезвым должен подавать пример.

Но ежели пьяницы вели себя с таким достоинством, то бесшабашные советники тем больше должны были сознавать себя обязанными служить образцом для своих граждан. Я знаю целых троих, которые заранее согласились приятно провести праздники, и действительно провели их так благородно, как дай бог всякому. Первые два дня, разумеется, посвятили поздравлениям, а остальные — тихим удовольствиям. Вставши утром, беседовали за кофеем, каждый со своею кухаркой, объясняя им, в чем заключается различие пасхальных яиц от обыкновенных, а также почему в течение пасхальной недели едят куличи и пасхи,— а кому дозволят средства, то и ветчину,— а с фоминой недели начинается еда обыкновенная. Наговорившись досыта, навешивали на шеи новые орденские знаки и отправлялись на Николаевский мост смотреть, как ломает на Неве лед. Там все трое сходились и, объяснив друг другу, что теперь идет лед невский, а недели через две пойдет ладожский, шли в балаганы, где смотрели пьесу «Ермак Тимофеевич, или Покорение Сибири» и ощущали подъем чувств. Выйдя из балагана на площадь, обсуждали виденное и слышанное применительно к современным обстоятельствам.

— Как вы думаете, вашество, если б Ермак Тимофеевич да в теперешнее время эту самую Сибирь покорил? сдобровать бы ему? — спрашивал бесшабашный советник, отличавшийся большею против других пытливостью ума.

— Что уж ее покорять! и без того чуть жива! — уклончиво ответствовал другой бесшабашный советник.

— Однако! если бы?!

— Полагаю, что предварилки бы не миновать,— отзывался третий.— А может быть, впрочем, под манифест бы подвели!

— То-то вот и оно. С одной стороны, конечно... от Петербурга до Верхнекамчатска в два месяца на курьерских не доедешь — лестно этакой перл заполучить!.. Но, с другой стороны, строптивость... А впрочем, государи мои, так как

с третьей стороны Ермак Тимофеевич волею божией по̀мре, то я полагал бы о поступке его суждения не иметь, Сибирь же приобщить к числу прочих Российской короны недвижимых имуществ... И затем шествовать в Палкин трактир, где и совершить приличное сему случаю возлияние. Так ли я говорю?

Неожиданность этого заключения всех приводила в восхищение. Бесшабашные приходили к Палкину, выпивали по рюмке анисовки и заедали килькою. Причем пытливый бесшабашный советник объяснял буфетчику, с которых пор и по какой причине возник обычай красить яйца в красную краску. Закусивши и полюбовавшись плавающими в сажалке стерлядями, друзья отправлялись на Невский и молча делали два-три конца взад и вперед, от Аничкина моста до Адмиралтейской площади. На всех троих были новенькие ватные пальто и новые шляпы от Чуркина (без наушников); у всех в руках было по тросточке. Шли они и всему дивились: и серебряным рублям, выставленным в витринах менял, и выставке модных и ювелирных товаров, но всего больше — книжным магазинам. Слышали они, якобы книгопечатание прекратилось, а между тем...

— Вот говорят, что у нас свободы нет! — припоминал по этому случаю пытливый тайный советник,— вон они, книги-то... копни-ка в них как следует!

В заключение заходили к Елисееву, покупали по апельсину и возвращались с гостинцем каждый к своей кухарке домой, где их ожидал готовый обед. Выспавшись после обеда, вспоминали происшествия дня, перебирали лиц, получивших к праздникам чины и ордена, напевали приличные случаю песни и терзались сомнениями, ежели к кухаркам приходили в гости земляки. А в одиннадцать часов — спать.

Так провели праздники все благонамеренные и благородные люди. Так что ежели и в будни дело пойдет столь же солидно, то можно сказать наверное, что мирное развитие наше вскоре будет вполне обеспечено. Пусть всякий выполняет свой долг по силе возможности, делясь своим избытком с меньшим братом, не объедаясь, но и не отказывая себе в лакомом куске. Недостаточные пускай съедают по одному куличу в день, среднего состояния люди — по два, богатые — по три и соответственно этому яиц, пасхи и ветчины, и увидите, что рубль сам собою взыграет и никаких внешних займов не потребуется.

Я тоже всеми мерами старался выполнить эту программу и, кажется, успел в этом. Правда, что с поздравлениями я не ходил, но не потому, чтобы восхищенное мое сердце не ощущало в том потребности, а потому единственно, что ездить не

к кому. В последнее время одиночество — пожалуй, даже заброшенность — до такой степени охватило меня, что я почти исключительно разговариваю с одними читателями. Их я и поздравляю: Христос воскрес! поцелуемтесь!

Когда-то это был удивительно приятный для меня праздник. Я говорю не про детство, когда весь смысл праздника заключался в том, что я катал с лунки яйца, качался на качелях и скакал с доски, а про позднейшее время, когда на первом плане стояли уже не яйца и куличи, а вся эта веселая, ликующая ночь. Я, крепостной до мозга костей, я, раб от верхнего конца до нижнего, в продолжение нескольких часов чувствовал себя свободным от уз... И могу засвидетельствовать, что чувство это столь прекрасно, что может сравняться только с тем, которое испытывает человек, сознающий себя свободным, кроме светлого Христова воскресния, и в прочие дни. И заметьте, что я ощущал это сладкое чувство, имея на плечах мундир, сбоку — шпагу и под мышкой — трехуголку.

Лучшую пору моей жизни я размыкал по губернским городам и с особенной живостью припоминаю пасхальный церемониал. Нигде так весело и так торжественно не служится великая утреня, нигде так охотно не христосуются, так бескорыстно не радуются празднику. Правящие классы радуются предстоящему недельному отдыху; управляемые — тому, что в течение осьми дней об них не будут иметь суждения. В церквах читается слово Златоуста, *всех* призывающее к жизни, *всем* предлагающее вкусить «тельца упитанна». В позднейшее время власти стали как будто побаиваться этих призывов — как бы, дескать, не вышло превратных толкований; но дореформенные власти не ощущали еще двоегласия в своем миросозерцании и потому относились к церковным поучениям гораздо проще. Я помню, как при упоминовении о «тельце упитанном» у губернатора Набрюшникова рот сам собой раскрывался до ушей, и он торжествующе озирался, в уверенности, что речь идет именно о той телятине, которую весь официальный губернский мир будет есть у него после ранней обедни. И не видел он ничего зазорного в том, что в такой великий день *все* преисполнятся ликованием, *все* будут вкушать (разумеется, ежели предшествующий год был урожайный). Напротив, он и городничим, и исправникам внушал: «Не препятствуйте! показывайте пример!» И все начальники отдельных частей оказывали ему содействие, почтительно соревнуя и даже соперничая. Ежели у губернатора ели изумительную телятину, то у управляющего палатою государственных имуществ подавали двенадцать сортов сосисок и диковинное малороссийское сало, у председателя казенной палаты — фар-

шированных каплунов, а начальник внутренней стражи откармливал к празднику на батальонном дворе целое стадо свиней. Одним словом, все чины действовали в пределах предоставленной им власти, и сами ели достаточно, и других потчевали, не предвидя никаких превратных толкований.

К счастию, нынче начинается вновь поворот в этом смысле. Продолжительное ожидание превратных толкований оказалось настолько бесплодным и до того всем *опостылело*, что даже бесшабашные советники начинают понимать, что сытость не только в праздники, но и в будни ничего угрожающего не представляет. «Только те народы счастливыми почитаться могут, кои тучны»,— сказал, не помню, какой-то законодатель,— Соломон или Дракон,— и сказал такую истину, которая у всех на глазах входит в мировой административный обиход. А ежели прибавить к этому изречению, что всякий съеденный окорок ветчины есть косвенная *милостыня, подаваемая богатым* бедному, то вот вам и целая административная система готова. Хоть какому угодно директору департамента не стыдно.

. . . .

НЕОКОНЧЕННОЕ

<В ЧИСЛЕ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ...>

В числе философских учений есть одно, которое в пошехонской среде пользуется особенной популярностью. Это учение гласит, что в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится. И тогда будет всем хорошо.

Каким образом и в какой срок совершится эта метаморфоза — на этот вопрос пошехонцы ничего определенного не отвечают. Они говорят только, что ежели от начала веков идет процесс водворения в мир добра, то нет резона не продолжать ему своего действия и на предбудущее время. Вспомните и сравните.

По всему, однако ж, видно, что метаморфоза посрамления зла совершится как будто сама собой. Пошехонцы будут сидеть у моря и ждать погоды, а в это время где-то «там» будет вертеться какое-то колесо. Вертится, вертится, и вдруг — трах! — приехали!

Самая это покойная философия. Ни почина, ни солидарности, ни ответственности — ни о чем подобном и в помине нет. Даже горестей волнений и негодований не полагается — потому что все равно добро и правда свое возьмут. Пускай «враг горами качает» — надорвется; пускай неправда ковы кует — для себя же она готовит их. Не бывать тому, чтобы зло не посрамилось, не уступило, не исчезло! Не бывать!

Но что важнее всего, философия эта нимало не мешает обыденному течению жизни. Все другие философии мешают, тревожат, а эта — нет. Благодаря ей можно на самые конкретные явления смотреть как на преходящие, как на «дурной сон». Покуда пошехонцы исправляются по домашности — все пройдет: и неурядицы, и недомогания, и даже прямые злодейства. Каждый может спокойно сидеть под своей смоковницей, улаживаться как ловчее и вести свою жизненную линию,

в твердой уверенности, что добро свое дело сделает неупустительно.

Я охотно соглашусь, что уверенность в неизбежном торжестве доброго начала над злым сама по себе весьма симпатична, но не следует забывать, что она отнюдь не составляет исключительной принадлежности пошехонского миросозерцания. Вообще всем людям свойственно стремление к добру. Все люди сознают, что только прочное водворение добра может обеспечить пользование благами жизни, но не все одинаково относятся к самому процессу водворения. Одни полагают в этот процесс все свои физические и духовные силы, так сказать воспитываются в добре для добра; другие ограничиваются платоническими пожеланиями. Одни под личною ответственностью созидают посильную сумму блага и, раз сделавши известное приобретение, стремятся претворить его в непререкаемый факт; другие — урывками и исподтишка крадут у жизни случайно выбрасываемые на дорогу крохи и ничего из этих легких приобретений извлечь не могут, кроме праздных и бессодержательных ликований.

К сожалению, пошехонцы принадлежат к числу последних.

Едва запахнет в воздухе «благими начинаниями» — сейчас они тут как тут. Суетятся, поздравляют друг друга, земли под собой не слышат, кричат: «Бог послал! бог послал!» И в то же время не налюбуются друг другом, только что во всеуслышание не говорят: «Посмотрите, какие мы благородные! как мы сочувствуем!» Но вот потянуло откуда-то гарью — и картина мгновенно меняется. Пошехонец мгновенно смолкает, озирается и жмется к сторонке. Не вступает на путь действительной измены, но ренегатствует страдательно; не идет прямо на совет нечестивых, не ежемгновенно жаждет провалиться сквозь землю. И в то же время опять-таки только что не говорит: «Вот какой я благородный! знаю, что в худых делах участвовать стыдно!»

А стоять в недоумении и хлопать глазами — не стыдно!!

МЕЖДУ ДЕЛОМ

(Продолжение)

Свидание с Износковым произвело на меня скверное впечатление. Есть в жизни условия, на которые лучше не открывать глаз; неприятно и унизительно бродить в темноте, но еще неприятнее и унизительнее получить такие разъяснения, которые не только не устраняют темноты, но представляют ее как неотвратимый факт и не подают никакой надежды на выход

из нее. В жизни русской литературы есть тайна, и на дне этой тайны сидит «шлющийся» русский человек, из породы тех, которых в просторечии называют прохвостами. Этот человек, праздный, невежественный, не знающий, куда преклонить голову, поглощенный интересами жилетов и штанов,— этот человек имеет какое-то соприкосновение с литературой, воздействует на нее, и ежели не произносит прямо <Quos> vos ego [1] — то потому только, что русский язык выработал гораздо более целесообразное выражение: в бараний рог согну. Этот человек игнорирует литературу (он даже не без смеха говорит: я по-русски давно ничего не читаю), но, взамен того, презирает ее. Этот человек неразвит и невежествен до бестияльности, но так как на нем штаны от Тедески и сюртук от Жоржè, то этого достаточно, чтоб он присвоил себе название представителя культурного слоя. Он — человек культуры, а литература — это сброд темных и подлых людей, не имеющих об культуре никакого понятия! И что всего страннее, этот человек чувствует, что он сила, что он и ему подобные представляют в некотором смысле «контингент»... Не сказка ли это?

Если б Износков был единичным явлением, он был бы только скучен, но безвреден; но двое Износковых уже не безвредны, потому что вдвоем они могут уже комплотировать. Пойдите дальше, представьте себе целый легион Износковых, которым, по причине их праздности, ничего не остается, как комплотировать,— и вы убедитесь, что тут есть уже действительная опасность, что это своего рода дамоклов меч, постоянно висящий над головой. Насколько достойны посмеяния эти люди, взятые поодиночке, настолько же страшны они, взятые скопом.

Говорят: литература уклонилась от благородного пути, что она пошла путями извилистыми и подлыми, путями, угрожающими утопить историческую русскую культурность в хаосе наплывных элементов, не имеющих ничего общего с культурою. Но позвольте же, милостивые государи! Во-первых, все это одни слова, опровергаемые вашим собственным наивным признанием, что русская литература для вас terra incognita [2], а во-вторых, позволительно еще усомниться, кто имеет больше прав указывать путь, которым должна следовать литература: сама ли литература или так называемые люди культуры, то есть люди культуры, постолику-posколику надетый на них фрак удовлетворяет последним требованиям портного искусства?

Нет, дело не в путях, а в том, что задачи новой русской

[1] Я вас!
[2] неведомая земля.

литературы сделались строже и яснее. Литература не забавляет больше, а призывает к самосознанию и к делу. Как бы ни многоразличны и несходны были понятия о предстоящем деле — все-таки дело, а не безделье представляет литературный point de mire[1]. Вот тот нож вострый, который так не по нутру «шлющимся» людям. Им противна самая мысль об «деле»: даже такое дело, как дело «Домашней беседы» — и то тяжело, непосильно для них. И вот почему они так охотно останавливаются на «заблуждениях», маскируя этим словом самую простую ненависть к делу. Если б литература по-прежнему вела речь об улучшении быта безделицы — она могла бы блуждать и заблуждаться в этой области сколько угодно; но она блуждает в какой-то совершенно новой области, именуемой «делом»,— и вот это возбуждает против нее целую бурю негодований и сквернословия!

И между тем влияние этих людей на литературу бесспорно и решительно. Ради их она утопает в недомолвках и оговорках, ради них она сохраняет Езоповские формы. Где она найдет для себя противовес, на который она могла бы опереться в борьбе с людьми культуры? Где тот читатель настолько сильный, чтоб она могла ожидать от него защиты и спасения? Ради их... но ради их ли одних? Вот Глумов уверяет, что культурные «герои» безделицы далеко не одиноки в этом случае; что и русские ученые, и русские исправники, и русские прокуроры, и русские сотские — все одинаковым образом относятся к русской литературе, то есть все высокомерно ее игнорируют, и в то же время все видят в ней или буффонство, или угрозу.

Что господа исправники относятся к русской литературе недоверчиво — это довольно понятно: им и без того дела по горло. Никогда еще вопрос о мерах ко взысканию недоимок не получал такого развития, и в то же время никогда так пропорционально мерам взыскания не развивались самые недоимки. Чем больше стараются взыскивать, тем больше получается поводов для дальнейших стараний. Вся жизнь сгорает в бесплодных усилиях «очистить уезд» и ради этой перспективы забываются и комфорт, и личные интересы, и даже семья. До литературы ли тут, когда поесть путем времени нет? Притом же литература ведет себя как-то странно: она говорит о производстве и накоплении ценностей, об истреблении же их умалчивает. Вопрос: что такое продажа крестьянской коровы ради уплаты недоимки? Есть ли это производство ценностей или истребление их? Вот что должна решить литература и решить непременно в смысле производства, а не истребления,

[1] цель.

а до тех пор, покуда это не будет сделано, все декламации литературы о производстве и накоплении будут не что иное, как личное оскорбление господ, на заставах команду имеющих, и вся литература — сквернословием.

То же самое должно сказать и относительно господ прокуроров. Они тоже всецело заняты ограждением общества от наплыва неблагонадежных элементов, и тоже чем больше стараются оправдывать доверие начальства, тем больше получают поводов и впредь стараться оправдывать начальственное доверие. И для них возникает вопрос: что такое преследование и ловля неблагонадежных элементов? есть ли это производство и накопление умственных ценностей или же истребление таковых? И дотоле пока литература не разрешит этого вопроса в пользу производства, до тех пор она будет сквернословием и опасным буффонством.

Но ученые — ведь это цвет интеллигенции; им не нужно ни недоимки взыскивать, ни преследовать неблагонадежные элементы. Интересы науки и интересы литературы должны быть одни и те же, ибо литература только популяризирует результаты, добытые наукой, заботится о применении их к практике жизни, обмирщивает их, делает общим достоянием. Или, быть может, эта-то популяризация и кажется подозрительною? Или, быть может, с идеей популяризации соединяется темное предчувствие обличений в бесплодности некоторых усилий, в их совершенной оторванности от жизни, от мира явлений, рассматриваемого как гармоническое целое?

И мне невольно припоминались некоторые «ученые», с которыми мне случалось встречаться в жизни. Один из них, возвратившись с какого-то археологического съезда, хвастался, что по окончании работ съезда был устроен банкет и что на банкете этом пили из урны, в которой некогда был заключен прах Овидия.

— Вы в этом уверены? — спросил я его.

— Еще бы не быть уверенным, коль скоро я пятнадцать лет употребил на то, что Овидий умер в Полтавской губернии, в имении, принадлежащем Ивану Иванычу Перерепенко, который и доставил на съезд урну.

— И слаще было вино из этой урны?

— Слаще-с,— сухо ответил он мне и с такою ненавистью взглянул на меня, что мне сделалось страшно.

Другой раз другой ученый хвастался тем, что он окончил давно задуманное сочинение «Домашний быт головастиков».

— Понимаете, я дальше головастиков не иду,— говорил он мне,— из головастиков образуются лягушки, но это уже не

моя область, а область моего почтенного друга Семена Семеныча Грустилова.

— Так что вы на всю жизнь предполагаете остаться при одних головастиках!

— На всю-с,— ответил он мне и, шаркнув <?>, сухо раскланялся <?>.

В числе моих товарищей по школе был некто Никанор Полосатов. В то время об ученом сословии в обществе существовали совершенно особенные понятия, очень недалекие от тех, выразителями которых были пресловутые Цыфиркин, Кутейкин и Вральман. Ученый человек представлялся в виде неряшливого существа, облеченного в фризовую шинель с бесчисленным количеством воротничков и заплатанные сапоги, существо, от которого постоянно несло смешанным запахом водки и чесноку. Фигура Полосатова-мальчика как-то странно напоминала собой этого фризового ученого. Несмотря на то, что он был одет в казенную курточку и пил и ел то же, что пили и ели и прочие воспитанники «заведения», но при взгляде на него всякий говорил себе: как смешон этот маленький педант в своей желтой фризовой шинели с множеством воротников. Он был рассеян и ходил, словно в лесу; не кстати спрашивал, не кстати отвечал; внезапно начинал хохотать и внезапно же впадал в угрюмость. Когда учитель реторики объяснял, что всякую мысль следует развивать при помощи вопросов: quis, quid, quomodo, quando[1] и т. д.,— то это поразило. Когда дальнейшее обучение объяснило, что каждое явление может быть рассматриваемо с различных сторон, с одной стороны то-то, с другой стороны то-то, с третьей то-то,— то это поразило его еще более. Казалось, что он уже с малолетства облюбовывал ту бездну пустословия, которая открывалась перед ним, при помощи рекомендуемых с кафедры приемов и что воротнички его фризовой шинельки трепетали при этом от восторга. Одна истина вдвигается в другую, другая в третью и т. д., покуда не образовался целый лес истин, в котором он и гулял. Это был очень удобный механизм вроде клавикорд, в которых каждую клавишу можно вынуть и заменить другою. Когда мы перешли на последний курс, последовала в русской уголовной практике реформа: четыреххвостный кнут был заменен треххвостною плетью. Полосатов, который перед этим только что окончил сочинение на тему: «Кнут, перед судом правды и справедливости», в котором доказывал, что злая воля преступника ничем другим не может быть так совершенно удовлетворена, как кнутом,— вдруг переменил кла-

[1] кто, что, каким образом, когда.

вишу, и на место старой вставил новую: «Плеть, перед судом правды и справедливости», причем, предпослав упражнению жестокую полемику с кнутом, доказал самым наглядным образом, что совсем не кнут, но именно треххвостная плеть есть наилучший ответ на требования, предъявляемые злою волей преступника. И чем старше он делался, тем с большею легкостью вынимал и вставлял клавиши, так что под конец заслужил уважение не только со стороны профессоров, но и со стороны директора заведения, старого генерала, страстно любившего фехтовать и потому полагавшего, что всякая наука должна обучать своих адептов ловким ударам и умению обмануть противника.

После выхода из школы я потерял из вида Полосатова: он остался в Петербурге, я запропастился куда-то вглубь. Но я никак все-таки не думал, что из него выйдет ученый. Я полагал, что он сделается со временем отличным начальником отделения и будет с изумительною ловкостью вынимать и вставлять клавиши по манию директора департамента. Захочет директор написать: «с совершенным почтением имею честь быть» — он напишет: «с совершенным почтением имею честь быть»; захочет директор написать: «примите уверение в совершенном почтении» — он напишет: «примите уверение в совершенном почтении». «И преданности»,— прибавит директор — «и преданности»,— повторит и он. Увы! я совершенно упустил из вида ту фризовую шинель, которую я видел на нем в школе, видел, несмотря на то, что в натуре ее не было.

Лет через двенадцать я воротился в Петербург и узнал от Глумова, что Полосатов сделался ученым, что он служит в трех министерствах, но не как тягловой работник, а как эксперт от науки. Это было время нашего возрождения; время возникновения акционерных компаний и неслыханного развития железных дорог. Полосатов прежде всего обратил на себя внимание сочинением «Оплодотворяющая сила железных дорог», в котором очень тонко насмехался над гужевым способом передвижения товаров и людей и доказал, как дважды два четыре, что с развитием железных дорог капитал получит такую быстроту обращения, что те проценты, которые до сего времени получались с него один раз, будут отныне получаться десять, пятнадцать, двадцать раз. Всем тогда показалось это просто и удивительно. Просто, потому что ведь и в самом деле... Это так просто! Удивительно, потому что в самом деле странно как-то, что до Полосатова никто и не догадался подумать об этом. Мне и самому, когда я читал сочиненение Полосатова, показалось оно какою-то Шехеразадою. Катится-катится капитал по железной дороге с быстротою

молнии, получает проценты, потом катится назад и опять получает проценты, опять и опять катится...

Потом он написал еще статью: «Единственный в своем роде случай», в которой, указывая на неистощимые богатства России и упрекая соотечественников в недостатке предприимчивости, приглашал мелких капиталистов употребить свои сбережения для образования акционерных компаний, которые одни могут вырвать промышленное дело из рук невежественных толстосумов-рутинеров, монополизировавших производительные силы России в свою пользу. Эта статья окончательно установила репутацию Полосатова как ученого и произвела такое впечатление на маленьких капиталистов, что некоторые из них, не имея собственных сбережений, стали воровать таковые у других с единственною целью вручить их специалистам по части разработки недр земли. И это сочинение я прочел, и тоже мне показалось так просто, так просто. Собрал свои сбережения, отдал их какому-нибудь Ивану Иванычу, и затем гуляй себе да погуливай в Петербурге. Ты гуляешь, а там где-то у черта на куличках откармливаются на твои денежки бесчисленные стада четвероногих, из которых получается мясо, сало, кожа, рога; из мяса приготовляются консервы, из сала вырабатываются стеариновые свечи, из кож — обувь, из рогов и костей — клей. А через год у тебя в кармане тридцать процентиков! Да-с! тридцать процентиков за то только, что ты гулял в Петербурге да последовал приглашению ученого Полосатова!

Но мне все-таки казалось, что Полосатов не более как гороховый шут, который потому только воспользовался дипломом ученого, что прочая-то культурная братия чересчур уж невежественна. Это убеждение было до того во мне сильно, что когда я в первый раз после долгой разлуки встретил его на улице, то, вместо того чтоб броситься к старому товарищу па шею, я вдруг предложил ему вопрос:

— Послушай, Полосатов, ты, кажется, ученый?

— Да, душа моя,— ответил он мне скромно,— то есть не гелертер, но ученый в хорошем значении этого слова. Ты понимаешь: для нас спасение в одной науке! В на-у-ке! — прибавил он строго и с расстановкой.

Я смотрел на него и ничего не понимал.

— Я стою на практической почве,— продолжал он,— я не понимаю немецкого взгляда на науку; по моему мнению, наука прежде всего должна искать применений. Конечно, ты читал мои статьи — их все читали. Но твое мнение для меня особенно важно, потому что ты профан. Я пишу для профанов, понимаешь ли? — для про-фанов!

Последние слова он почти выкричал и при этом взглянул на меня не то нагло, не то лукаво, так что мне сделалось очень неловко. Но оп даже не выждал моего ответа и опять продолжал:

— Главное достоинство моих статей заключается в том, что они затрагивают ближайшие интересы, такие, которые поймет всякий, у кого в кармане лишних сто рублей. Эти сто рублей мне нужно, потому что я хочу их отдать производительности. Я хочу, чтоб на них получилось еще сто рублей. Ты понимаешь? Сто ру-блей!

— Да, мне и самому иногда казалось...— пробормотал я, чтоб что-нибудь сказать.

— Да? так ты, значит, читал? Не правда ли, что все очень просто? И многим, как и тебе, это кажется просто! А между тем это совсем не просто... А впрочем, я очень рад, очень рад! Приходи ко мне по середам: у меня собираются ученые... А покуда прощай!

Мы расстались, и я опять потерял его из вида надолго. С тех пор он успел остепениться, и хотя ни одно из его предсказаний не исполнилось, но репутация ученого так и осталась за ним.

ПРИМЕЧАНИЯ

Подготовка текста и текстологические разделы комментария — *В. Э. Боград*

Комментарии:
А. А. Жук — «Недоконченные беседы», главы I, III—V, VII, IX, X; *Г. В. Иванов* — «Пошехонские рассказы»;
С. А. Макашин — «Недоконченные беседы», главы II, VI, VIII

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Боград — В. Э. Боград. Журнал «Отечественные записки». 1868—1884, М., «Книга», 1971.

Евгеньев-Максимов — В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции. К столетию рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина, М.— Л., ГИЗ, 1926.

Изд. 1884 — «Недоконченные беседы» («Между делом»). Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина)». С.-Петербург, 1885.

Изд. 1885 — «Пошехонские рассказы. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина)». СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 1885.

ЛН — «Литературное наследство».

Макашин — С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, издание второе, дополненное. М., Гослитиздат, 1951.

МВ — «Московские ведомости».

Милютин — «Дневник Д. А. Милютина. Том 4. 1881—1882». Редакция и примечания П. А. Зайончковского, М., изд. Гос. ордена Ленина Библиотеки СССР имени В. И. Ленина, 1950.

ОЗ — «Отечественные записки».

РМ — «Русская мысль».

СПб. вед.— «Санкт-Петербургские ведомости».

ПОШЕХОНСКИЕ РАССКАЗЫ

Цикл «Пошехонские рассказы» впервые появился в «Отеч. записках» в 1883—1884 годах за подписью: *«Н. Щедрин».*

Точных сведений о времени работы над рассказами — «Вечерами» — за исключением «Вечера шестого», не имеется. Однако очевидно, что все они были написаны, как это обычно для Салтыкова, незадолго до появления каждого из них в очередной книжке журнала.

Вскоре после окончания журнальных публикаций рассказы вышли отдельным изданием, оказавшимся единственным прижизненным: «Пошехонские рассказы. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). СПб., тип. М. М. Стасюлевича <на обложке — «Издание Н. П. Карбасникова»>, 1885». Хотя титульный лист книги помечен 1885 годом, вышла она между 16 и 23 ноября 1884 года [1].

В оглавлении отдельного издания эпиграфы к первым двум главам превращены в их названия. При этом, однако, оказались опущенными указания на «вечера», как именуются рассказы в самом тексте, и на их нумерацию («Вечер первый», «Вечер второй» и т. д.) Непоследовательность эта возникла, видимо, в результате простого недосмотра. Она устранена в настоящем издании. Такая редакция оглавления издания 1885 года указывает, возможно, на имевшееся у Салтыкова, но оказавшееся почему-то невыполненным, намерение и в основном тексте присвоить каждому рассказу, помимо циклового и порядкового обозначения («Вечер первый» и т. д.), собственное, индивидуальное название.

При подготовке отдельного издания Салтыков внес в текст несколько изменений и произвел незначительную стилистическую правку.

Из рукописных материалов цикла сохранились только наборная рукопись «Вечера первого» и черновой набросок, начинающийся словами «В числе философских учений...» (см. отдел Н е о к о н ч е н н о е). Обе ру-

[1] Л. М. Д о б р о в о л ь с к и й и В. М. Л а в р о в. М. Е. Салтыков-Щедрин в печати. Л., 1949, с. 72.

кописи хранятся в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР.

В настоящем издании «Пошехонские рассказы» печатаются по тексту отдельного *Изд. 1885* с устранением опечаток и пропусков по рукописям и журнальным публикациям.

1

По своему названию образ Пошехонья, пришедший в творчестве Салтыкова на смену Крутогорску, Глупову и Ташкенту, восходит к реальной топонимике — старинному наименованию местности *по* реке *Шехони* (впоследствии — Шексне). Но истинное содержание этого образа безмерно шире и глубже его «географического» значения.

Задолго до Салтыкова «Пошехонье» с населяющими его пошехонцами служило в многочисленных фольклорных источниках объектом язвительных насмешек соседствующих с ним «племен», как область дремучего невежества, беспросветной дикости, сказочной безалаберности и бестолковщины [1]. Еще более неприглядно выглядят незадачливые пошехонцы в собранных, а отчасти, по-видимому, и сочиненных Вас. Березайским «Анекдотах древних пошехонцев» (первое издание — СПб., 1798) — своего рода выразительном сатирическом памятнике их глупости и безответности. Устойчивые народные представления об анекдотическом характере пошехонцев в середине XVIII столетия нашли новое подкрепление в реальном историческом событии — раздаче пошехонских земель удачливым лейб-кампанцам, содействовавшим восшествию на престол императрицы Елизаветы Петровны. «Земли раздавались,— отмечает В. В. Чуйко,— не только генералам <...> не только офицерам, но и простым солдатам. Благодаря такой случайности возникли пошехонские помещики, вскоре прославившиеся своими нравами и вкусами, своими солдатскими анекдотами...» [2] Не удивительно, что ко времени создания «Пошехонских рассказов» Пошехонье по праву считалось «символом дикости и варварства», чем и воспользовался Салтыков для нового обличения политической и общественной реакции, резко обозначившейся с начала 80-х годов. Дипломатичное предупреждение Березайского, что «истые пошехонцы перевелись, и, следовательно, повествуемаго об них никто на свой щот не примет — да ето бы и смешно было» [3], по логике «Пошехонских рассказов» оказалось явно преждевременным.

Сближение Пошехонья с сатирически переосмысляемой Салтыковым реальной русской действительностью начинается в первом же «пошехонском рассказе»-«вечере». С одной стороны, чисто пошехонским, нелепо анекдотическим, бессмысленным в своей основе является само содержа-

[1] См.: И. Сахаров. Сказания русского народа, тт. 1—2. СПБ., 1841—1849; В. Даль. Пословицы русского народа. М., 1862, и др.

[2] В. Чуйко. Несколько слов об «Андронах» г. Щедрина.— «Новости и бирж. газета», 1883, 22 сентября, № 252.

[3] В. Березайский. Анекдоты, или Веселые похождения старинных пошехонцев. СПб., 1821, стр. 21—22.

ние «вечера» — крайне сбивчивые, почти бредовые воспоминания майора Горбылёва о встречах с «нечистой силой», о требовании «конституции», о волшебных призрачных «воинах», о своих скоротечных романах, о «гулянии» в Петербурге, о «шалостях» в провинции. С другой стороны, законченным, истым пошехонцем, несмотря на майорское звание и «исправную» службу в армии, оказывается сам рассказчик, Горбылёв, с его первозданной верой в оборотней, чертей и русалок и слабым знанием географии, детской наивностью и непосредственностью и страстною, непреодолимою тягою к бесшабашному «ерничеству» и «разгулу», поразительной ограниченностью и невежеством и не менее удивительным самомнением. Подчеркнуто «пошехонский» характер рассказов майора Горбылёва находит свое художественное обоснование в созданном творческой фантазией писателя «пошехонском» типе рассказчика. Отсюда, собственно, и один из двух эпиграфов «вечера»: «Андроны едут» — в гоголевском понимании этой поговорки — «чепуха, белиберда, сапоги всмятку»[1]. Однако по достоинству оценить «перлы» пошехонского юмора, увлечься его незатейливой сказочностью, довольно назойливой и пошловатой скабрезностью могут, по мысли автора, тоже лишь пошехонцы. Отсюда другой эпиграф (и заголовок) рассказа: «По Сеньке и шапка», выражающий гневное и презрительное отношение писателя к «податливости» общества, к той легкости, с которой, по его мнению, оно уступало натиску реакции[2].

В первом и отчасти во втором пошехонском «вечере» Салтыков предпринял новую попытку осуществить чрезвычайно дерзкий сатирический замысел, сформулированный им еще в начале работы над «Современной идиллией». «Он плох,— писал Салтыков Анненкову о первом рассказе «Идиллии»,— но в нем есть мысль, что для презренного нынешнего времени другой литературы и не требуется. Я несколько таких рассказов напишу, которые приведут самую цензуру в недоумение». Но и на этот раз Салтыкову пришлось убедиться в рискованности осуществления такого сатирического намерения. Вскоре он известил своего друга Белоголового: «Пошехонские рассказы» я перевожу помаленьку на более серьезную почву».

Если в первом пошехонском «вечере» «пошехонской» форме рассказа полностью — или почти полностью — соответствовало его «пошехонское» содержание, то во втором «вечере» рассказ о героях-пошехонцах становится пародийным, ясно ощущается анекдотическое несоответствие чисто пошехонской сущности вошедших в него зарисовок и сведений иронически-наигранному тону прославления «добрых старых времен» с их якобы утраченной некогда патриархальною «простотою» и «человечностью». Отвечая архиреакционному «Русскому вестнику» Каткова, только что обвинившему сатирика и близких к нему писателей в том, что они даже

[1] Н. В. Гоголь. «Мертвые души», т. I, гл. 9.

[2] С. Макашин. Щедрин и реакция 80-х годов.— «Лит. обозрение», М., 1940, № 22, с. 36—43.

не пытаются «божественный образ отыскивать в наши дни в душе своих соотечественников» [1], Салтыков создает во втором «вечере» целую сатирическую галерею различных «бессребреников» городничих, «простодушных» и «добрых» предводителей дворянства, «симпатичных» дореформенных судей, «совестливых» инженеров-строителей, удивительно «любознательных» почтмейстеров и т. д. При этом, однако, все его «праведники» городничие живут, в сущности, за счет взяток, предводители разоряются сами и содействуют разорению других, судьи не разбираются в законах и потому полностью полагаются на своих секретарей-грабителей, строители «торгуют Россией» и набивают «подношениями» карманы, почтмейстеры часто путают адреса, но проявляют повышенный интерес к попавшей в их руки корреспонденции и т. д. «Идеальные» дореформенные порядки, к которым в 80-е годы так настойчиво призывала вернуться Россию ретроградно-охранительная печать и стоящие за нею идеологи реакции, оказываются тем же Пошехоньем, что и созданный народной фантазией образ его сказочного предшественника.

Этому стремлению повернуть вспять — «назад к Пошехонью» — историческое развитие России, стремлению, поддерживаемому непосредственно как правительством Александра III, так и всплывшими на поверхность жизни «пошехонскими» элементами общества, посвятил писатель третий, исключительно емкий по содержанию «вечер». Сатирически-обобщенно переосмысляя смену «диктатора» М. Т. Лорис-Меликова, по-своему олицетворявшего некоторое время эпоху «благих начинаний» и неких «новых веяний» [2], сначала бесхребетным Н. П. Игнатьевым, а затем «министром борьбы» Д. А. Толстым, писатель показывает в «Вечере третьем» фатальную для новой исторической обстановки неизбежность подавления надежд на всяческие «Преуспеяния» и «Пересмотры» и вытеснение их «Препонами». Именно утверждением «Препон» в качестве принципа правительственной политики объясняется в этом «Вечере» и упразднение ставшего ненужным «департамента Пересмотров и Преуспеяний», и увольнение неугодных в верхах чиновников, и преследование либерально-демократической интеллигенции.

Положение и судьба этой интеллигенции в условиях широкого наступления реакции показаны в двух внутренне связанных историях «затыкания ртов» — скромному чиновнику П а в л и н с к о м у и свободомыслящему публицисту К р а м о л ь н и к о в у. Первый из них имел неосторожность помянуть не к месту о «конституции», «заграничных свободах» и о том, что у людей на Западе «душевное равновесие» связано с ощущением «довольства», а второй посмел открыто выразить надежду на некую спасительную «щелку», из которой иногда могло бы дохнуть на общество очистительно-свежим воздухом.

[1] Новости литературы.— «Русский вестник», 1882, № 6, с. 916, 905.

[2] «...Так окрестила вся журналистика либеральную систему графа Лорис-Меликова»,— записал в своем дневнике 15 декабря 1880 г. Е. А. Перетц («Дневник Е. А. Перетца (1880—1883)», М.—Л., 1927, с. 14).

Одной из причин легкости, с которой реакция овладевала народом и «обществом», была пассивность их, отсутствие идеологии, отвечающей требованиям реально-исторической ситуации, и активных деятелей, способных к прямой и результативной борьбе. Правдолюбец из народа Андрей Курзанов в четвертом «вечере» учит «жить по-божьи», жить, «никого не утесняя, всех любя и друг друга прощая». Его абстрактно моралистическое учение не вступает в действенную борьбу с миром социального зла, охраняемого «законом». Против «закона» Курзанов не идет и не хочет идти. Но «закон» не может допустить хотя бы и наивно-утопической, но враждебной ему пропаганды. И Салтыков в полном согласии с действительностью рисует трагический финал реформаторско-проповеднической деятельности Курзанова.

Прямыми антагонистами Павлинских, Крамольниковых, Курзановых выступают в «Пошехонских рассказах» «пошехонцы» Беркутов и Клубков. «Реформатор» Беркутов выступает проповедником «человеконенавистнической» практики доносов, входящей в созданную реакцией систему «содействия общества», систему искоренения «крамолы» силою самих пошехонцев, которая блистательно показана писателем в «Письмах к тетеньке» и в «Современной идиллии». Артемий Клубков из «Вечера пятого» — идеолог и практик одной из разновидностей «пошехонского дела». Это «новое дело» — занятие сельским хозяйством в условиях свободного крестьянского труда — всецело основано, однако, на принципах своекорыстия и хищничества и мало чем по существу отличается от «пошехонской старины» — крепостничества. Не удивительно, что, казалось бы, безвозвратно канувшие в прошлое пошехонские «несокрушимость» и «изобилие» (иронические синонимы самодержавно-крепостнической системы) находят именно в «реформаторах» Беркутове и Клубкове самых ревностных, готовых на все защитников, с радостью ухватившихся за выдвинутую в 80-е годы реакцией «формулу»: «Прочь мечтания! прочь волшебные сны! прочь фразы! пора, наконец, за дело взяться!» Искание *«дела»*, лишенное устремленности к общественным идеалам, к будущему, было неприемлемо для Салтыкова. Оно неизбежно обращалось к изжитому прошлому и принимало, по выражению К. Арсеньева, «кладбищенский характер» [1].

Иронически изображенные писателем в первых двух «вечерах» «прелести» прежней жизни становятся осознанным общественно-политическим идеалом поборников возрождаемого «Пошехонья», ополчившихся на «бредни». И тем более трагичной выглядит поддержка этих и родственных им «героев» безликою пошехонскою «массой» в последнем, шестом «вечере», отразившем подлинное отчаяние писателя перед глуповски-пошехонской податливостью «толпы». Но, верный своим просветительским взглядам, Салтыков оставляет просвет в, казалось бы, безысходной тьме финала «фантастического отрезвления». «Я верю,— предваряет он этот трагический

[1] К. К. Арсеньев. Салтыков-Щедрин. СПб., 1906, с. 204.

финал декларацией исторического оптимизма,— что не только в Пошехонье, но и в целом мире благоволение преобладает над злопыхательством и что в конце концов последнее, всеконечно, измором изноет».

2

Сатирическая дерзость зачина цикла — первого «пошехонского рассказа» — не была понята не только многими читателями, но и критикой. «Рассказы майора Горбылёва» были восприняты отчасти как переход Салтыкова к новому роду литературы [1], отчасти как беспредметное зубоскальство, сверх всякой меры сдобренное «клубничным элементом» [2], отчасти как вынужденная цензурными обстоятельствами сознательная игра в «балагурство» [3]. Лишь немногие правильно поняли действительно необыкновенное выступление Салтыкова как исполненный силы гнева и презрения удар «ювеналова бича» сатиры, направленный «против всего общества», как вызов, беспощадно брошенный «в лицо всем читателям» [4].

Полнее и глубже всего замысел «Вечера первого» был раскрыт Михайловским, наиболее проницательным критиком-современником Салтыкова (для периода 70—80-х годов) и его ближайшим журнальным соратником, чьи знания и толкования произведений писателя восходили во многом к личным беседам с ним.

«В 1883 году появились в «Отечественных записках» «Пошехонские рассказы»,— писал Михайловский,— их «первый вечер» огорчил многих искреннейших почитателей сатирика. Нельзя было не хохотать над этим сборником частью скабрезных, частью просто смехотворных анекдотов, но разве это дело Щедрина, учителя, вождя, от которого привыкли ждать веского и вещего слова?! Уже самое это огорчение свидетельствует, что беспредметный смех был столь же чужой Салтыкову, как и беспредметный трагизм. Пуская в обращение «Пошехонские рассказы», он очень хорошо знал, что он делает. Он снабдил их двумя презрительными эпиграфами: «По Сеньке шапка» и «Андроны едут», а во «втором вечере» пояснил: Пишу «для того, чтобы исправить мою репутацию. Сначала эту задачу выполню, а потом и совсем брошу. Я знаю, что задача эта не весьма умная, но ведь глупые дела бывают вроде поветрия. Глупые фасоны вышли, вот и все. Но ежели глупые фасоны застрянут на неопределенное время, тогда, разумеется, придется совсем бросить и бежать куда глаза глядят». Дело ясное. Разгневанный и оскорбленный тогдашним состоянием русского об-

[1] Русская литература. «Отечественные записки», № 8.— «Сын отечества», 1883, 26 августа, № 192.

[2] Сатирические «Андроны».— «Новое время», 1883, 19 августа, № 2684, под рубрикой «Маленький фельетон».

[3] П. Боборыкин. Балагурство и порнография.— «Новости и бирж. газета», 1883, 27 августа, № 146.

[4] «Современная идиллия», М. Е. Салтыкова (Щедрина).— «Русская мысль», 1883, № 11, Библиография, с. 42.

щества, сатирик бросил ему шапку по Сеньке: серьезное слово убеждения и призыва отскакивает от вас, как от стены горох, вам вздору нужно,— нате, получайте! Но уже во «втором вечере» сатирик сам не выдержал этой программы беспредметного смеха [1], а оканчиваются «Пошехонские рассказы» глубоко прочувствованной картиной похорон Ивана Рыжего, убитого одурелою толпой по подстрекательству Мазилки и Скоморохова...» [2]

Последующие «пошехонские рассказы», переведенные писателем на «серьезную почву», хотя и были встречены рядом сочувственных критических отзывов, не получили обстоятельной характеристики, что следует отчасти объяснить цензурными обстоятельствами. По той же причине не вызвали содержательного разбора два последних рассказа, однако затронутые в них темы позволили критике мимоходом отметить обнаженную публицистичность и «холод, какое-то отчаяние» трагизма этих рассказов, вызванного раздумьями писателя над судьбами «всего Пошехонья» [3].

Предельно лаконично, но несколько менее поверхностно было оценено критикой первое отдельное издание «Пошехонских рассказов», заставившее ее, наконец, увидеть, что произведения нового сатирического цикла «связаны между собою не одним общим заглавием, а и общею мыслью — указать, как одна и та же «пошехонская» черта проходит по всем самым разнообразным явлениям нашей общественной жизни и в самые противоположные эпохи ее развития...» [4] Однако это справедливое наблюдение анонимного рецензента «Вестника Европы» не было развернуто последующей критикой, в той или иной мере обращавшейся к осмыслению «Пошехонских рассказов» (О. Миллер, К. К. Арсеньев, Вл. Кранихфельд, К. Ф. Головин и др.).

ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ

(Стр. 7)

Впервые — *ОЗ*, 1883, № 8 (время вып. в свет неизв.), стр. 543—566. Заглавие в тексте: «Пошехонские рассказы». Название в оглавлении журнала: «1. Рассказы майора Горбылёва».

Текст наборной рукописи отличается от журнального незначительно. При подготовке рассказа для *Изд. 1885* Салтыков сделал несколько сокращений.

Приводим два варианта рукописи, совпадающие с вариантами *ОЗ*.

[1] Из контекста высказывания Михайловского видно, что он, как и Елисеев, видел в этой «программе» начала цикла «особого рода стратегический прием».— «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину». М., 1935, с. 160.

[2] Н. К. Михайловский. Критические опыты. II. Щедрин. М., 1890, с. 158—159.

[3] Ал. Казанский. Журналистика.—«Эхо», 1884, 23 марта, № 1135.

[4] «Пошехонские рассказы», Соч. М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина).— «Вестник Европы», 1885, № 1, Библ. листок, обложка, с. 3.

К стр. 27. В конце абзаца: «Разумеется...», после слова «брали» — было: «...чтобы впоследствии подтянуть».

К стр. 28. Абзац: «С этим и отпустил...» — заканчивался словами: «...не мог! Вот время какое было!»

Кроме того, в *Изд. 1885* появилось авторское примечание к словам: «...время-то и пройдет», заканчивающим вводную часть рассказа (см. стр. 9 наст. кн.).

Первый «вечер» — наиболее «пошехонская» часть нового цикла Салтыкова. В нем, собственно, и воплощен сатирически дерзкий замысел выразить презрение к небывалому до того времени падению идейно-нравственного уровня общества созданием соответствующей этому уровню «литературы» — имитации «гарнизонных рассказов» и анекдотов «клубничного» содержания.

Стр. 8. *...о сухих туманах... от каковых <...> и до превратных толкований <...> недалеко.*— Сухой туман — временное помутнение атмосферы от пыли, дыма и т. п. Возможно, что Салтыков вспомнил здесь о журнальной полемике конца 50-х годов в связи с появлением в «Атенее» (1858, № 5) статьи Я. И. Вейнберга «Сухой туман». Этот псевдонаучный спор был сатирически упомянут Добролюбовым в № 4 «Свистка» — в статье «Наука и свистопляска, или Как аукнется, так и откликнется» («Современник», 1860, № 3).

Стр. 9. *...последствия этого увлечения были весьма для меня неприятные.*— Этим примечанием, появившимся в *Изд. 1885,* Салтыков намекает на постигшую его цензурную катастрофу: закрытие «Отеч. записок» правительством весной 1884 г.

Стр. 10. *«И шуме, и гуде...»* — украинская народная песня «І шумить, і гуде...».

Наталка-полтавка — пьеса И. П. Котляревского (1849), традиционно исполнявшаяся со многими музыкальными номерами — народными песнями, вследствие чего получила в обиходе название «украинской оперы».

Стр. 11. *Царь Давид <...> согрешил. А царь Соломон даже и очень.*— По библейскому преданию, легендарный царь Израиля Давид «совершил зло в очах господа», сделав своей наложницей Вирсавию, жену Урии Хеттеянина, и послав его самого на верную смерть (Вторая кн. царств, XI, 12—27). Сын Давида и Вирсавии Соломон имел семьсот жен и триста наложниц, которые «во время старости <...> склонили сердце его к иным богам», и «разгневался господь на Соломона» (Третья кн. царств, XI, 1—9).

Знал я одного общественного быка...— Автореминисценция незавершенной сатиры 1875 г. «Благонамеренная повесть. Мои любовные радости и страдания. Из записок солощего Быка» (см. т. 11 наст. изд.) Замысел ее возник в связи с отрицательным восприятием Салтыковым первых глав

«Анны Карениной» Толстого. «Один талантливый писатель...— пишет об отношении Салтыкова к роману Толстого Гончаров 6 июня 1877 г.,— лично говорил мне, что он начал было читать «Анну Каренину», но на второй части бросил: «Все половые отношения да половые отношения,— говорил он,— далась им эта любовь. Потчуют ею во всех соусах: ужели в созревшем обществе жизнь только в этом и состоит и нет другого движения, других интересов и страстей»... Писатель этот разумел отсутствие у нас общественности, которая так централизована, что лишена яркой и разнообразной подвижности...» («И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву. 1877—1882». СПб., 1906, стр. 14—15). Об отражении этого разговора в творчестве самого Гончарова см. статью Л. С. Гейро «И. А. Гончаров и М. Е. Салтыков-Щедрин (о «Литературном вечере» Гончарова)» — Вестник ЛГУ, 1967, № 14.

Стр. 12. *Солощий* — сластена, охочий, жадный до чего-либо (В. Даль. Толковый словарь...).

Стр. 17. *...либо Арапов, либо Сабуров* <...> *на каждой версте по Загоскину да по Бекетову.*— Называют имена пензенских дворян — помещиков и чиновников, которых Салтыков знал в период своей службы в Пензе.

...два губернатора съехались: один потемкинский, а другой — мамоновский.— То есть ставленники Потемкина и Мамонова, соперничавших фаворитов Екатерины II.

Стр. 18. *...привезли в Петербург да Кокореву и препоручили* <...> *Привезет, бывало, в Павловск и водит по музыке: герои! А публика смотрит...*— В 1857—1858 гг. Кокорев, «царь откупщиков», по выражению Салтыкова, организовал несколько «чествований» участников севастопольской обороны и даже посвятил им статью «Путь севастопольцев» («Рус. беседа», 1858, № 1). Павловск был одним из популярнейших дачных мест состоятельных петербуржцев, в здании тамошнего «вокзала» все лето выступал оркест под управлением знаменитых русских и иностранных дирижеров и композиторов.

Стр. 20. *Приди в чертог ко мне златой...*— Из оперы «Леста, днепровская русалка», музыка С. И. Давыдова и Ф. Кауэра, либретто — переделка Н. Краснопольским либретто оперы немецкого композитора К. Генслера «Дунайская русалка». Премьера — петербургский Большой театр, 1805 и 1807 (ставились разные действия).

Стр. 21. *Бант в петлице* — специальное добавление к офицерским орденам за воинскую доблесть: кресту Владимира 4-й степени или Анны 3-й степени (см.: И. Г. Спасский. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963, стр. 121).

Стр. 22. *Остроленка* — уездный город Ломжинской губернии, под которым в 1831 г. произошло крупное сражение между царскими войсками и польскими повстанцами.

Ментик — короткая гусарская куртка с затейливой отделкой, носилась внакидку на левом плече.

Колет — белый мундир из лосины кирасирских (кавалерийских) полков.

...весь полк волшебный! Аммуниция налицо, а воинов нет! — «Император Николай I,— писал о причинах этих «чудес» современник,— ...посвящая значительную часть своего времени занятиям об устройстве армии <...> придал ей блестящий наружный вид <...> С падением Севастополя пало военное обаяние России, ослабла ее внешняя сила, прикрывавшая внутреннюю слабость» (Г. Д. Щербачев. Идеалы моей жизни. Воспоминания из времен царствований императоров Николая I и Александра II. М., 1895, стр. 194).

Стр. 23. *Много нынче через это самое молодых людей пропадает. Сначала в одно не верят, потом — в другое...* — Намек па «нигилизм», ставший синонимом революционного движения в России. «Прежде всего,— писал о зарождении нигилизма Кропоткин,— нигилизм объявил войну так называемой условной лжи культурной жизни. Его отличительной чертой была абсолютная искренность. И во имя ее нигилизм отказался сам — и требовал, чтобы то же сделали другие,— от суеверий, предрассудков, привычек и обычаев, существования которых разум не мог оправдать. *Нигилизм признавал только один авторитет — разум, он анализировал все* общественные учреждения и обычаи и восстал против всякого рода софизма, как бы последний ни был замаскирован» (П. А. Кропоткин. Записки революционера. М.— Л., 1933, стр. 183).

Стр. 23. *Ну, мальчонко долбит-долбит, да и закричит: «Не верю!»* — Возможно, здесь отражен случай со Слепцовым в той версии, которая была распространена среди современников и которую Салтыков, конечно, знал по службе в Пензе. (Подобные слова произнес в 1853 г. перед алтарем Слепцов — воспитанник Пензенского дворянского института. См. статью К. И. Чуковского «В. А. Слепцов, его жизнь и творчество» в кн.: В. А. Слепцов. Сочинения в двух томах. Т. I, М., 1957, стр. 6.)

Стр. 24. *Был и под венгерцем, и в Севастополе, и на поляка ходил...*— то есть участвовал в подавлении Венгерской революции 1848—1849 гг., Польских восстаний 1830—1831 и 1863—1864 гг. и в севастопольской обороне 1854—1855 гг.

Стр. 25. *...с туркой за ключи воевали...* — за «ключи» от храма «гроба господня» в Иерусалиме (см. стр. 616—617 в т. 11 наст. изд.).

Стр. 26. *...дошли мы до Святополка Окаянного...* — О вероломном убийстве князем Святополком братьев Бориса, Глеба и Святослава и «небесном гневе» против него рассказывается в гл. 1 тома II «Истории Государства Российского» Карамзина.

Стр. 27. *Абвахти* — гауптвахта (*устар.*).

Курить на улицах было дозволено, усы, бороды носить.— «Курение сигар и папирос на улицах и в публичных местах почиталось в России величайшим преступлением,— вспоминает Дельвиг.— В 1865 г. это курение высочайше утвержденным мнением государственного совета было разре-

шено с некоторыми исключениями...» (А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. Воспоминания, т. 2. М.— Л., 1930, стр. 319). Согласно различным правительственным указам, ношение усов и бород в России было строго регламентировано. «Господа,— записывает, например, в своем дневнике 29 сентября 1870 г. Никитенко обращенную к подчиненным речь начальника Главного управления по делам печати генерала М. Р. Шидловского,— я очень жалею, что при самом начале моего знакомства с вами я должен сделать вам замечание: во-первых, вы явились ко мне в вицмундирах, а не в мундирах — это противно законам службы. Вы должны были одеться в мундиры. Во-вторых, я вижу здесь некоторых с бородами — бород не надо, я их не потерплю. У некоторых я замечаю усы — и их не надо; усы подобает носить военным» (А. В. Никитенко. Дневник в трех томах. Т. III. М.— Л., 1956, стр. 183). Лишь 25 апреля 1881 г., как пишет военный министр того времени Д. А. Милютин, он «получил от государя собственноручную записку с приказанием объявить, что дозволение носить бороды распространяется на всех военных без всяких изъятий» (*Милютин*, стр. 60).

Стр. 28. *Вот однажды <...> в Ушаках и налакались-таки до пределов. И начал <...> хозяин объяснять: «Для чего рабочие <...> об колеса и шины постукивают? <...> чтобы знать, все ли исправно <...> подобно сему <...> и в государственных делах поступать...*— Эта речь салтыковского Кокорева (как и подобное ей рассуждение Мурова в «Тихом пристанище» — см. стр. 290 в т. 4 наст. изд.) восходит к двум эпизодам статьи реального Кокорева «Путь севастопольцев» — осмотр поезда на станции Бологое и пирушка в имении откупщика Ушаки: «— А что же не спросим, зачем прежде подмазки все стучат? <...> при ударе молотком оказываются ослабевшие винты и такие гайки, на которых вся резьба стерлась <...> Поехали, да как поехали после того <...> как постучали молотком по всем колесам и переменили все истертое, просто поехали на славу! <...> Подъезжаем к Ушакам <...> явилась охота вымолвить что-нибудь при расставанье: «<...> Да ознаменуется новый период русской жизни, период Севастопольский, проявлением смиренномудрия, создающего истинную, непризрачную силу! Да воссияет свет русского смысла в начальствующих и начальствуемых, везде и во всем, и да избавит он нас от всякого спотыкания, неизбежного во тьме бессознательного чужелюбия!» (В. Кокорев. Путь севастопольцев. М., 1858, стр. 53, 54, 59, 60).

Одни говорят: «На первый раз достаточно чарки доброго вина»; другие говорят: «Этого мало, нужно конституцию...» — Комический эффект в данном случае усиливается тем, что слово «конституция» употреблялось тогда в быту как синоним обильной выпивки (см.: П. и А. Кропоткины. Переписка. М.—Л., 1933, т. II, стр. 151, и стр. 23 в т. 8 наст. изд.).

ВЕЧЕР ВТОРОЙ

(Стр. 29)

Впервые — *ОЗ*, 1883, № 9 (вып. в свет после 16 сентября), стр. 273—296, под заглавием «Пошехонские рассказы. Вечер второй».

При подготовке рассказа для *Изд. 1885* Салтыков произвел в тексте несколько изменений. Приводим пять вариантов *ОЗ*.

К стр. 29 Эпиграф:

Андроны едут... *(Поговорка)*

Audiatur et altera pars. *(Та же поговорка в латинском переводе)*

К стр. 31. В начале абзаца: «— Когда меня...», после «...а я в ответ: «Покажи закон,..»,— отсутствовали слова: «...коим дозволяется взятки брать!»

К стр. 35. В середине абзаца: «В дореформенное время...», после слов «...оканчивались отдачею в солдаты, ссылкой в Сибирь, каторгой и т. п.» — было: «Без шума, тихо, благородно».

К стр. 44. В конце абзаца: «В уездные судьи...», после фразы «О секретарях говорили: «Мерзавцы!», а о писцах: «Разбойники с большой дороги!» — отсутствовало предложение: «И боялись их».

К стр. 45. В середине абзаца: «Некоторые судьи...», после слов «...умилиться над такой чертой самоотверженности...» — отсутствовало: «...вместо того, чтоб сказать: «Ну, бог с тобой! будь сыт и ты!»

Восьмого марта 1881 года военный министр Д. А. Милютин записал в дневнике, что на одном из первых правительственных совещаний после убийства Александра II Победоносцев «осмелился назвать великие реформы императора Александра II преступною ошибкой!» [1]. Победоносцев выразил довольно устойчивые настроения определенной — консервативно-реакционной — части русского общества в 80-е годы. После 1 марта 1881 года, вспоминал, например, Г. К. Градовский, «новые веяния» получили тяжелый удар, и притихшая было на несколько месяцев реакция воспрянула с удвоенной силой.— Довольно реформ, пора назад и домой.— В этой формуле выразилось восторжествовавшее направление» [2]. «Есть еще люди, которые и теперь думают, что можно возвратиться к порядкам дореформенным и действовать так, как действовали Николай I и исполнители его воли...» — отмечал в 1882 году Кошелев [3].

Пошехонско-крепостнический характер настояний хотя бы частично возродить в России былой «порядок вещей» писатель показывает в «Вечере втором» на примерах из прошлого, ясно раскрывающих подготовляемое стране будущее. Сатирическая острота обличений в этом рассказе особенно обнаженно выступала в журнальной публикации благодаря сосед-

[1] *Милютин*, стр. 35.
[2] Г. К. Градовский. Итоги (1862—1907). Киев, 1908, с. 78—79.
[3] А. Кошелев. Что же теперь? Август 1882. Berlin, 1882, с. 36.

ству двух эпиграфов (см. вариант *ОЗ* к стр. 29). Один из них — «Андроны едут» (то есть глупость, чепуха) — имел в виду историческую несостоятельность упований реакционеров на попятное движение истории. Другой — «Пусть будет выслушана и другая сторона» — указывал на противостоящую этим упованиям позицию автора. Вместе с тем этот второй эпиграф — ключ к пониманию вводной части рассказа о роли «отрицания зла» в деле последовательного утверждения подлинных положительных идеалов.

Стр. 29. *Не раз случалось мне слышать <...> Зачем <...> изнанку изображаете?* — От «Рус. вестника» и «Моск. ведомостей» Каткова, особенно часто и озлобленно упрекавших писателя-сатирика в отсутствии у него «доброго отношения к своим героям».

Ведь мы давно бы изгибли все до единого, если б это было так! — «В доброе старое время обитатели Ноева ковчега,— писал в январе 1883 г. Михайловский, разумея под «Ноевым ковчегом» катковский «Рус. вестник» и словно предваряя содержание «Вечера второго»,— не ограничивались простым карканьем, ревом, писком и лаем об исчезновении всего доброго в волнах всемирного потопа. По мере своих скромных сил <...> они противопоставляли мрачностям потопа идиллии и пасторали, героические и светлые портреты и картины из русской действительности. Все это было очень аляповато, фальшиво, деревянно и более на кукольную комедию походило, чем на настоящую литературу» («Письма постороннего в редакцию «Отечественных записок».— Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. 5. СПб., 1908, стлб. 707—708).

Фейер, Дерунов, Разуваев, Прыщ, Угрюм-Бурчеев — персонажи «Губернских очерков», «Благонамеренных речей», «Убежища Монрепо», «Истории одного города» и некоторых других произведений сатирика.

Правдины, Добросердовы, Здравомысловы, Простаковы, Скотинины. Первый и двое последних — персонажи комедии Фонвизина «Недоросль», фамилии Добросердов и Здравомыслов образованы по образцу наименования ходульных персонажей-резонеров в классицистической драматургии.

...пробормочут в сторону номенклатуру <...> гнусностей! — Ремаркой в сторону в классицистической драматургии (в частности, в фонвизинском «Недоросле») сопровождались реплики, выражавшие отношение персонажей к происходящему.

Стр. 32. *Один городничий охотник был до рыбы.*— По предположению Д. М. Молдавского, этот сюжет, как и сюжет о городничем, обнаружившем в рыбе четыре золотых, был подсказан «Анекдотами древних пошехонцев» В. Березайского (см.: «Русская сатирическая сказка». М.— Л., 1955, стр. 245).

Стр. 33. *Кому до городничего дело есть, тот купит просвирку...*— Ср. с рассказом Очищенного в «Современной идиллии» и его попытке замять с помощью «просвирки» неприятное для него дело.

Стр. 36. *...прорывается стремление восстановить эти времена <...> упоминают <...> о каком-то дворянском принципе.*— О необходимости возрождения «дворянских принципов» особенно часто в 80-е годы писал Катков (*МВ*, №№ 140, 142, 154 и др. за 1883 г.).

Стр. 37. *...«вперед без страха и сомнения!»* — Пунктуационно измененная первая строка стихотворения Плещеева «Вперед! Без страха и сомненья...».

...сколько кукуевских катастроф! — См. прим. на стр. 354 в кн. 1.

Стр. 39. *Ассигнации <...> что такое ассигнации!* — В начале 80-х годов один металлический рубль по официальному курсу равнялся полутора рублям ассигнациями. Реальная стоимость металлических денег была еще выше.

Стр. 40. *Ведь они Россию <...> продают!* — О масштабах хищений и всякого иного корыстного отношения к государственному и общественному достоянию можно судить по тому, что министр внутренних дел Н. П. Игнатьев, вступая в должность, поставил в своем циркуляре губернаторам от 6 мая 1881 г. вопрос о «снисходительном отношении общества к незаконным способам наживы», ссылаясь на манифест Александра III от 29 апреля (П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М. 1964, стр. 385).

...нынче завелись какие-то «независимые»...— Реформа 1864 г. установила независимость суда от администрации и несменяемость судей.

Стр. 41. *...в дореформенное время всего более ценилась тишина.*— «Мы во все время царствования императора Николая I привыкли думать, что «все обстоит благополучно»,— вспоминал Дельвиг.— Печать о внутренней и внешней политике молчала или изредка только расхваливала отечественную политику; живое слово также молчало; общество было так воспитано и направлено, что оно предоставляло все распоряжения правительству» (А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. Воспоминания, 1820—1870, т. 2. М.— Л., 1930, стр. 24).

...носили белые штаны.— Белые брюки были принадлежностью и парадного дворянского мундира, и парадной формы высших гражданских чинов.

...не имеет никакого понятия о борьбе христиносов с карлистами...— Борьба между этими политическими течениями в Испании привлекала пристальное внимание общественной мысли в России 30—70-х годов. (См. стр. 489 и 632 в т. 3 наст. изд.)

Египетская тьма — библейский образ (Исход, X, 21—23).

...дореформенный предводительский тип возведен в перл создания даже такими <...> беллетристами, как Загоскин и Бегичев...— Очевидно, имеются в виду губернский предводитель Двинский из романа М. Н. Загоскина «Искуситель» — «человек справедливый, исполненный чести и готовый всегда и во всяком случае стать грудью за последнего дворянина своей губернии», сделавшийся во время восстания под предводительством

Пугачева «грозою мятежников» (ч. I, гл. 2), и уездный предводитель Сундуков из хроники Д. Н. Бегичева «Семейство Холмских» — богатый помещик, хлебосол, владелец крепостного оркестра, хора и театра.

Стр. 42. *Я знал одного предводителя...*— Ср. с рассказом о Федоре Васильевиче Струнникове в цикле «Пошехонская старина» («Предводитель Струнников»). О развитии в «Пошехонской старине» некоторых мотивов и образов «Пошехонских рассказов» см.: Н. В. Яковлев, «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Из наблюдений над работой писателя), М., 1958.

Пуле-о-крессон — цыпленок с салатом (*франц.* poulet aux cresson).

Уши — курортный городок на швейцарской стороне Женевского озера (Салтыков побывал там в августе 1881 г.).

Стр. 43. *...лучше тысячу раз чужие деньги из кармана украсть, нежели один раз в политическое недоразумение впасть!* — Тема уголовного преступления как гарантии политической благонадежности развита в «Современной идиллии».

Евиан (Эвиан) — курортный городок на французской стороне Женевского озера.

Пурбуары — чаевые (*франц.* pourboire).

Стр. 44. *...допускали замену в ратническом сапоге подошвы картоном <...> довольствовали ратников гнилыми сухарями.*— Специально о казнокрадстве в связи со снаряжением ополчения в Крымскую войну Салтыковым написан очерк «Тяжелый год» (см. т. 11 наст. изд.).

Стр 47. *Экономические крестьяне* — иначе государственные, то есть не барские, не крепостные, переведенные в казну. Считались лично свободными, как и другие разряды государственных крестьян.

Комитет о раненых — был учрежден в 1814 г. для оказания вспомоществования лицам, получившим раны и увечья как во время военных действий, так и в мирное время при исполнении служебных обязанностей.

Стр. 48. *Пряжка за тридцать пять лет* — знак отличия «беспорочной службы» в гражданских чинах, дублировавший орден Владимира 4-й степени, с той же цифрой (И. Г. Спасский. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963, стр. 117).

Перемазанцы — название раскольников-старообрядцев поповского толка.

Перекувырканцы (перекувырдыши) — бранное прозвище сектантов-перекрещенцев (анабаптистов).

Стр. 49. *Временное отделение.*— Подразумевается временное отделение земского суда. Образовывалось в составе земского исправника, местного станового пристава и уездного стряпчего и выезжало из уездного города (местопребывание земского суда) для расследования на местах важных дел.

Стр. 50. *...к празднику ленту дадут.*— То есть орден Владимира, Станислава или Анны, которые носились на лентах (И. Г. Спасский. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963, табл. XXXV, XXXVI, XXXVII).

ВЕЧЕР ТРЕТИЙ

(Стр. 51)

Впервые — *ОЗ*, 1883, № 10 (время вып. в свет неизв.), стр. 567—598, под заглавием: «Пошехонские рассказы. Вечер третий. В трактире «Грачи».

При подготовке рассказа для *Изд. 1885* Салтыков внес в текст несколько дополнений. Приводим три варианта *ОЗ*.

К стр. 53. В середине абзаца «Разумеется...», после «...горечь обманутых надежд...», отсутствовали слова: «...и ожидание грядущей беды, в форме отставки или упразднения...»

К стр. 57. В абзаце: «— Еще бы вы...» — отсутствовала фраза: «Об том, чтоб у всех один план, одна мысль, одна забота... вот об чем!»

К стр. 59. Вместо абзаца: «— Не я, а власть имеющие» — было: «— Не я, а прочие».

«Вечер третий», в отличии от двух предыдущих, целиком посвящен характеристике новой полосы реакции, начавшейся вскоре после убийства народовольцами Александра II. Наступление реакции показано здесь отраженным в политическом быте и социальной психологии трех общественных групп. Собеседники «комнаты первой» персонифицируют высшую правительственную администрацию; собеседники «комнаты второй» — среду рядовой служилой интеллигенции, «комнаты третьей» — либерально-демократическую интеллигенцию.

Истории либерального бюрократа «Пугачева», сторонника среднего курса «Жюст мильё», и проводника жесткого курса «Вожделенского» («Комната первая») показывают, как смена правительственной политики сказалась на судьбах влиятельных верхов бюрократии, содействуя падению одних деятелей и возвышению других, более подходящих к взятому курсу.

История чиновника «Павлинского» («Комната вторая») демонстрирует ужасавшую Салтыкова податливость, с какою широкие круги общества, в данном случае служилой интеллигенции, еще недавно «либеральничавшие», уступают натиску реакции и ее добровольных «содействователей», вроде Скорпионова и Тарантулова.

Наконец в истории «публициста и либрпансёра» Крамольникова («Комната третья») Салтыков показывает, что наиболее жестоко и болезненно «новый курс» правительства ударил по «неспособной к предательству» идейной интеллигенции, прежде всего демократической, которая почувствовала себя словно «в тюрьме» и была поставлена перед необходимостью суровой самокритики и поиска новых путей действенной борьбы за передовой общественный идеал.

Прочитав полученную от Салтыкова 10-ю книжку «Отеч. записок» с «Вечером третьим», Белоголовый писал 9 ноября 1883 года из Ментоны в Лондон Лаврову: «Заключительная страница «Пошехонских рассказов» очень смелая и сильная штука, несмотря на то, что, как видно, была в

цензурной переделке»[1]. Оценка эта относится к речи Крамольникова и к содержащейся в ней страстной самокритике («Вместо того, чтоб идти широким вольным путем, я предпочел окольные тропинки...» и далее).

Стр. 51. *Департамент Пересмотров и Преуспеяний, департамент Препон, департамент Оговорок* — сатирические образы, обозначающие три курса правительственной политики 60—80-х гг.: либеральный, реакционно-охранительный и «средний» — либерально-консервативный.

Стр. 52. *...Жюстмильё <...> не требовал ни света, ни ежовых рукавиц <...> надеялся, что со временем все разъяснится.*— Фамилия этого персонажа (от *франц.* juste — справедливый и milieu — середина) равнозначна фразеологизму «золотая середина».

Стр. 53. *...в последнее время <...> выяснилось, что преуспеяние есть преуспеяние, а препона есть препона.*— Намек на манифест Александра III от 29 апреля 1881 г., составленный Победоносцевым и определивший общий курс правительственной политики. «Помимо формальной стороны появления нового манифеста,— писал Д. Милютин,— поразило нас и самое содержание его. Под оболочкою тяжелой риторической фразеологии ясно проглядывает главная цель — провозгласить торжественно, чтобы не ждали от самодержавной власти никаких уступок» (*Милютин*, стр. 63).

Рудин, Репетилов — герои одноименного романа Тургенева и комедии Грибоедова «Горе от ума», подвергнутые сатирической трансформации и не раз появлявшиеся на страницах произведений Салтыкова.

Стр. 55. *...служить так служить, а либеральничать так либеральничать.*— Одной из многих иллюстраций к реакционному ужесточению правительственной политики с начала 80-х годов может служить запись Д. Милютина в дневнике за 8 мая 1881 г. о разговоре царя с Лорис-Меликовым: «...Его величество упоминал и обо мне, ставя меня заодно с гр. Лорис-Меликовым и Абазою в число представителей воображаемой либеральной партии, не сочувствующей принципу самодержавия. Государь весьма откровенно высказал, что в настоящий момент, когда вся задача состоит именно «в укреплении самодержавной власти», мы трое непригодны ему...» (*Милютин*, стр. 70).

Стр. 56. *Это насчет прожектов, что ли? — пристал Пугачев.— И насчет прожектов, и вообще.*— Намек на более чем умеренные конституционные проекты, возникавшие в среде либеральной бюрократии, в том числе на так называемую «конституцию» Лорис-Меликова.

...это вы насчет тех, что ли? — Имеются в виду революционеры, в том числе народовольцы, убившие Александра II, что дало повод реакции обвинить Лорис-Меликова, возглавлявшего либеральный курс в правительственной политике, чуть ли не в содействии террористам.

Стр. 57. *Не о противодействии идет речь, а о содействии...*— Правительство призвало к содействию ему в борьбе с «крамолой» вскоре

[1] Центр. гос. архив Октябрьской революции, ф. П. Л. Лаврова, п. 22, лл. 116—117. Сообщено С. А. Макашиным.

после убийства Степняком-Кравчинским шефа жандармов Н. В. Мезенцева (см. «Правит. вестник», 1878, вып. от 20 августа). Обличению реакционной тактики «содействия» Салтыков посвятил многие страницы «Писем к тетеньке» (см. т. 14 наст. изд.).

Стр. 61. *Департамент Раздач и Дивидендов.*— В характеристику этого «департамента» введен ряд намеков на министерство государственных имуществ. В главнейшие «предметы ведомства» этого министерства входили, с одной стороны, управление — с целью получения доходов («д и в и д е н д ы») — огромными государственными землями, лесами, оброчными статьями, имениями и пр., а с другой стороны, заведование р а з д а ч е й наград и пособий из кредитов, ассигнуемых на эти цели.

Стр. 62. *«Peau d'âne»* — феерия Клервиля и Лорансена по одноименной сказке Перро; шла в течение многих лет в театре «Gaîté».

«M-lle Nitouche», «La princesse des Canaries» — премьеры парижского сезона 1883/84 г.: оперетта Эрве (театр «Variétes») и оперетта Лекока (театр «Folies-Dramatiques»).

Стр. 63. *«Contributions indirectes»* — Главное управление по взиманию косвенных налогов, учрежденное в 1851 г.; надзирало, в частности, за таможнями.

Он, не стесняясь, называл Швейцарию «страною свободы»...— «Итак, среди Европы есть страна, поставившая себе задачей пристанодержательство,— писал 30 марта 1884 г. о Швейцарии Катков.— Здесь центр всей «международной революционной сети». Здесь заседает «центральный революционный комитет». Здесь он постановляет свои приговоры, и послушные агенты едут в то или другое государство исполнять его повеления. Отсюда рассылаются указания динамитчикам разных стран, сюда бегут исполнившие приказания «центрального комитета» или совершившие злодеяние по собственному почину. От времени до времени здесь бывают съезды...» и т. д. (М. Н. К а т к о в. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1884 год. М., 1898, стр. 185).

— Я провел почти месяц в Кларане...— В рассказе Павлинского о Швейцарии отразились личные впечатления Салтыкова. В августе 1883 г., переезжая из Германии во Францию, в Париж, писатель остановился на неделю в К л а р а н е и совершил оттуда несколько поездок в близлежащие достопримечательные места.

Стр. 64. *Dent du Midi* — одна из вершин швейцарских Альп (в буквальном переводе — Южный зуб).

Озерки — дачная местность под Петербургом, в отличие от Павловска или Петергофа доступная чиновничеству средней руки.

Шильонский узник! Байрон! — Речь идет о Франсуа Бонниваре (XVI в.), противнике герцогов Савойских, заточенном в Шильонский замок на шесть лет, четыре из которых он провел в каменном подземелье на железной цепи. Б а й р о н сделал его героем поэмы «Ш и л ь о н с к и й у з н и к».

Стр. 65. *...были времена, когда и Савойский дом вел себя не безукоризненно!* — Имеется в виду сотрудничество царствовавшей в Пьемонте

Савойской династии с Рисорджименто — национально-освободительным движением итальянского народа. В этой связи уясняется характер упоминания выше в одном ряду деятелей Рисорджименто: его либерально-монархического крыла (король Виктор-Эммануил, Кавур) и революционно-демократического (Гарибальди, Мадзини).

Стр. 66. *...Париж — это столица мира!* — Об отношении Салтыкова к Парижу и Франции см. в очерках «За рубежом» и комментарии к ним (т. 14 наст. изд.).

Стр. 67. *Шатобриан* — здесь: жаренное на решетке говяжье филе со взбитым картофельным пюре, по рецепту повара французского писателя Шатобриана.

Стр. 68. *Способность мыслить становится тяжелым бременем, а попытка формулировать <...> мысль — риском...* — «В настоящее время, когда враждебные правительству страсти начинают стихать,— говорилось в «Копии с конфиденциального письма г. московского генерал-губернатора к г. министру внутренних дел от 20 января 1883 года»,— следует весьма серьезно относиться к малейшему намеку или даже самой слабой тени таких мыслей, которые клонятся к публичному порицанию действий правительства». Надо, чтобы в публичных собраниях «произносились речи не иначе, как по предварительном просмотре их местной административной властью» («К. П. Победоносцев и его корреспонденты». Т. I, полутом I, М.— Пг., 1923, стр. 345).

Стр. 68—69. *Скорпионов, Аника Тарантулов.* — Фамилии этих чиновников перекликаются с описанием геральдического знака «страны зулусов» в 12 главе «Современной идиллии» (см. кн. 1 наст. тома). Аника — от имени героя русских сказок об Анике-воине, который хвастался своей непобедимостью.

Стр. 69. *...добывал себе пропитание «похвальными поступками».* — «Ни один донос, кто бы его ни послал, не остается без последствий,— писал о масштабе доносительской практики в начале 80-х гг. и об отношении к ней властей Степняк-Кравчинский в книге «Россия под властью царей».— Стоит только уволенной вами кухарке или вороватому слуге, которого вы пригрозили отдать под суд, заявить, что вы социалист, и у вас немедленно произведут ночной обыск. У вас есть соперник, досаждающий вам? Прежний друг, которому вы хотите подложить свинью? Вам нужно лишь донести на него полиции» (М., 1964, стр. 94).

Одно бы только словечко: «Братцы! вот они!» — и всех бы этих интеллигентов... — «В обществе и литературе то и дело слышатся ныне возгласы: долой «интеллигенцию» и да здравствует народ!»,— писал в августе 1881 г. Михайловский («Записки современника» — *ОЗ*, 1881, № 8, стр. 244). В печати травлю интеллигенции начал Катков (см. стр. 738—739 в т. 13 наст. изд.).

Стр. 70. *Василиск* — от имени сказочного «змия, взроком убивающего» (И. Сахаров. Сказания русского народа. Т. 2, кн. 5, СПб., 1849, стр. 23).

Стр. 71. *...в Москве некоторый человек проявился: <...> все только правду говорит!* — Намек на Каткова и его «Моск. ведомости», постоянно заявлявших о себе как о проводниках «правды» и «здравого народного смысла».

Стр. 73. *Крамольников (публицист и либрпансёр)...* — Об образе Крамольникова см. в примеч. к рассказу «Сон в летнюю ночь» и к сказке «Приключение с Крамольниковым» (тт. 12 и 16 наст. изд.). Либрпансёр — свободомыслящий, вольнодумец (*франц.* libre penseur).

...не прочь был потребовать даже всего. — То есть политической свободы и гражданского правопорядка. «Всему» противопоставляются «щелка» и «щели» — те ограниченные возможности общественной жизни, которые допускались абсолютистским режимом самодержавия в периоды либерализации его политического курса.

Стр. 74. *Помните, что ведь здесь трактир.* — О трактире как арене филерской деятельности см. в примеч. к «Письмам к тетеньке» (т. 14 наст. изд.).

Стр. 75. — *Яко тать в нощи...* — как вор ночью; выражение из Библии (Первоепосл. к фессал. ап. Павла, V, 2).

Нуте-ка, благословясь: мму-у! — «Один из героев великого сатирика Щедрина,— писал по поводу этого эпизода Степняк-Кравчинский,— сожалеет, что он не бессловесное животное, например, не вол, так как человеку никак нельзя чувствовать себя в безопасности в России, что бы он ни говорил. Каждое слово может быть ложно истолковано шпионами и навлечь беду на того, кто произнес его. А если бы человек только мычал, то самый пронырливый шпион не смог бы истолковать его мычания в дурную сторону.

И для царя было бы многим приятнее, если бы его подданные только мычали» (С. М. Степняк-Кравчинский. Царь-чурбан. Царь-Цапля. Пг., 1921, стр. 166).

Стр. 76. *Наевшись <...> стали уже настоящим образом разговаривать.* — Боязнь быть услышанным посторонними ушами определяла «невинное» содержание застольных бесед не только в 80-е годы. На вечерах у А. Я. Пятковского в 1870 г., по воспоминаниям Кропоткина, как только возникал серьезный разговор на политические темы, «кто-нибудь из старших уже, наверное, прерывал разговор громким вопросом: «А кто был, господа, на последнем представлении «Прекрасной Елены»?» — или: «А какого вы, сударь, мнения об этом балыке?» Разговор так и обрывался» (П. А. Кропоткин. Записки революционера. М., 1966, стр. 233).

Вержболово — станция на русско-германской границе до первой мировой войны.

Стр. 77. *...отчего прежде был Стыд...* — Тема стыда — возможности нравственного возрождения человека и пробуждения в обществе гражданского самосознания — развита в сказке «Пропала совесть», в рассказах «Дворянские мелодии» и «Чужой толк», в финале «Современной идиллии» (кн. 1, т. 16, т. 12 и кн. 1 наст. тома).

Стр. 78. *...в надежде славы и добра...*— из «Стансов» Пушкина.

Стр. 80. *Фасонировать* — формировать, оформлять (от *франц.* façonner).

Я не говорю уже о тех архиябедниках, которые, при посредстве печатного станка, всю Россию опутали своею подкупною кляузою...— Речь опять идет о «Моск. ведомостях» Каткова, которые один из современников в начале 80-х годов охарактеризовал следующим образом: «Есть даже газета, пользующаяся особым благоволением в некоторых высших кругах, которая, из корыстных целей или по полной непрактичности, или по безумию <...>, не перестает настоятельно рекомендовать возвращение к прежним порядкам, к усилению единоличных властей и к принятию каких-то энергических мер. Она безусловно и постоянно осуждает всякие выборы и виды представительства, называет говорильнями все совещательные учреждения, всячески их ругает и, с особенным наслаждением, выставляет промахи и упущения земских собраний, городских дум, земских и городских управ и новых судов; она приравнивает либеральные журналы и газеты к подпольным крамольным изданиям, не упускает случая доносить и клеветать на первых и охотно, с разными «инсинуациями», жалует либеральных администраторов в покровители крамолы и чуть-чуть не ставит их во главу ее» (А. Кошелев. Что же теперь? Август 1822. Berlin, 1882, стр. 37—38).

ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ
(Стр. 81)

Впервые — *ОЗ,* 1883, № 11 (вып. в свет после 12 ноября), стр. 231—256, под заглавием: «Пошехонские рассказы. Вечер четвертый. Пошехонские реформаторы».

При подготовке рассказа для *Изд. 1885* Салтыков внес в текст одно дополнение. Приводим его:

К стр. 85. В конце абзаца: «Да иначе...», после слов «...и в тех не частых <...> собеседованиях, когда...», добавлено: «...даже в среду, со всех сторон наглухо запертую...»

«Вечер четвертый» состоит из двух рассказов о «пошехонских реформаторах».

Первый реформатор, Андрей Курзанов — один из многих салтыковских правдоискателей из народа (или «опростившихся», ушедших в народ), галерею которых начинают Пахомовна и Аринушка в «Губернских очерках» и заканчивает «братец Федос» в «Пошехонской старине». Салтыков сочувственно излагает «нравственный кодекс» Курзанова — его призывы «жить по-божески», по правилу «тебе кусок, и мне кусок, и всем прочим по куску!». Наивные «справедливые слова» Курзанова заключают в себе моральное осуждение существующего «порядка вещей» и потому обрекают проповедника этих «слов» на вполне реальные преследования,

завершающиеся административной репрессией. Вместе с тем Салтыков показывает, что Курзанов, признающий неизбежность сосуществования на практике противостоящих друг другу норм поведения — думать «по-божески», но поступать «по закону»,— всего лишь утопист своих идеальных представлений о справедливости. Он не борец с осуждаемой им социальной действительностью и не в силах что-либо изменить в ней. Поэтому он отнесен к *«пошехонским* реформаторам», то есть псевдореформаторам.

Андрею Курзанову противостоит другой «реформатор», его идейный антипод, Н и к а н о р Б е р к у т о в — доносчик и человеконенавистник. Образ Беркутова в большей мере, чем образ Курзанова, принадлежит политическому быту начала 80-х годов — времени усиления политического контроля, административных репрессий, сыска и доносительства. Один из «идеологов» и практиков возрождения пошехонского «прошлого», Беркутов предстает как реформатор в отрицательном смысле, как реставратор реакции с ее девизом приведения жизни «к одному знаменателю», то есть тоже как разновидность *«пошехонских* реформаторов».

Стр. 82. *Тальк* — моток пряжи или нити.

Стр. 83. *Камилавка* — головной убор православных монахов, а также награждаемых ею священников, расширенный кверху цилиндр без полей.

Апокрифические сказания — христианские сказания, не совпадающие с православно-каноническими текстами и запрещенные официальной церковью.

...плоть немощна.— Из Евангелия (М а т ф е й, XXVI, 41).

Стр. 84. *...в низменных слоях общества...*— здесь: в социальных низах.

«Непросвещенная чернь» — парафраз выражения из оды Державина «О удовольствии» («Прочь буйна чернь, непросвещенна...»).

Простец — образ человека массы, толпы, пассивно сносящего гнет насилия и обуздания вследствие своей бессознательности. Восходит к «Благонамеренным речам» (см. т. 11).

Стр. 87. *Адамов грех* — переносно: «ослушание, непослушание; слабость к соблазну» (В. Д а л ь. Толковый словарь...).

Стр. 88. *...душу-то <...> За други своя полагать ее надо...*— Из Евангелия (И о а н н, XV, 13).

Вы за всех, все за вас.— Парафраз одного из заветов христианского человеколюбия (Н о в. з а в е т, В т о р о е п о с л. к к о р и н ф. а п. П а в л а, V, 15 и др.)

Стр. 90. *...он уже в сороковых годах провидел и новые суды, и земство, и даже свободу книгопечатания.*— Гласные с у д ы и з е м с т в о возникли в 1864 г., указ «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати», заменивший для столичных изданий предупредительную цензуру карательной, появился в 1865 г.

Стр. 91. *...в «Уединенном пошехонце», получавшем внушения чуть ли не из самого городнического правления...*— «У е д и н е н н ы м п о ш е х о н ц е м» назывался первый в России провинциальный журнал, издававшийся

в 1786—1787 гг. в Ярославле. Здесь это — собирательное наименование всей официальной и официозной печати, проводника и пропагандиста очередного курса правительственной политики.

Стр. 92. *...«справедливые слова» <...> всегда находились и находятся в ведении подлежащих ведомств...* — Одно из множества указаний в салтыковской сатире и публицистике на авторитаризм политики самодержавия в области идеологии.

Стр. 93. *...ударил <...> между крылец...* — между лопаток, «по хребту».

Стр. 94. *...исправник <...> Язвилло <...> за упразднением городнической должности, соединил в своем лице высшую полицейскую власть...* — Должность городничего была ликвидирована в 1862 г. Тогда же исправники, ранее выбиравшиеся дворянами, стали назначаться губернаторами. Язвилло в дальнейшем превращается у Салтыкова в Гвоздилова, поборника контрреформ («Пестрые письма»).

...призвал всех благонадежных обывателей (на этот раз он даже не усомнился употребить слово «граждане») к содействию. — Слово «граждане», связанное с фразеологией Великой французской революции, было изъято в России из официального употребления Павлом I в 1797 г. («Рус. старина», 1871, № 4, стр. 531—532). О политике «содействия общества» см. в «Письмах к тетеньке» (т. 14 наст. изд.).

Стр. 95. *...настаивал на собственности и советовал защищать ее всеми средствами. И не только от воров <...>, а больше всего от распространителей развратных мыслей...* — Положение, общее для французской и русской демократической сатиры. — См. стр. 589—590 в т. 8 и 570 в т. 11 наст. изд.

Стр. 96. *Народная Немезида* — выражение Пушкина в стихотворениях «Наполеон» и «Бородинская годовщина».

Стр. 98. *Тигосить* — «давить, жать, гнести» (В. Даль. Толковый словарь...).

Стр. 99. *«Всех привести к одному знаменателю»* — эзоповская формула салтыковской сатиры для обозначения авторитарности, а также всех видов насилия и обуздания, присущих абсолютистско-полицейскому режиму самодержавия.

«Кошки» — плети с несколькими концами («хвостами»).

«Третий пункт» — узаконенное право администрации увольнять «неблагонадежных лиц» без их просьб и без объяснения причин (см. стр. 633 в т. 3 наст. изд.).

Стр. 100. *...относительно доносителей по первым двум пунктам...* — Имеются в виду первые два пункта указа Петра I от 1713 г., определявшего порядок «сказывания слова и дела государева» (см. в тексте ниже), то есть доносов властям о государственных преступлениях: «1) ежели кто за кем знает умышление на его, государево, здоровье и честь»; «2) о бунте и измене». Только по этим двум пунктам дозволялось сказывать «слово и дело» караульному у дворца офицеру, который обязан был представить доносчика государю.

Начальство не любило блестящих доносчиков <...> охотнее утирало слезы...— насмешка над официальной легендой об учреждении III Отделения Николаем I (см. стр. 773 в т. 13 наст. изд.).

Стр. 101. *Прошения и ябеды <...> возвращались ему с надписью.*— С надписью об отказе в возбуждении «дела».

Стр. 102. *...сделал его своим излюбленным человеком.*— Ироническое употребление термина обычного русского права («излюбленные люди»), означавшего лицо, выбранное обществом на какую-либо должность.

Стр. 103. *Благодаря объявленной воли вину кабаков расплодилось в городе множество...*— После введения акциза в 1863 г. (см. стр. 571—572 в т. 3 и 610, 598 в т. 7 наст. изд.).

Стр. 104. *...обвиняя его в произведении бесплодной суматохи, в угоду «ржонду».*— Жонд народо́вы (Rząd narodowy — национальное правительство) был высшим органом повстанческой власти во время Польских освободительных движений 1830—1831, 1846 и 1863—1864 гг.

ВЕЧЕР ПЯТЫЙ

(Стр. 104)

Впервые — *ОЗ,* 1883, № 12 (вып. в свет 17 декабря), стр. 491—518, под заглавием: «Пошехонские рассказы. Вечер пятый. Пошехонское «дело».

Рассказ привлек внимание цензора Н. Е. Лебедева, который в донесении в С.-Петербургский цензурный комитет сообщал 14 декабря 1883 года:

«Рассказ этот, как и предыдущие рассказы Щедрина, отличается пессимистическим характером. Из этого рассказа прямо явствует, что под именем Пошехонии автор разумеет Россию, современный общественный быт, который он и старается представить в самом безотрадном виде. Переживаемое время называет он временем суровых, но бесплодных поучений, в которое проповедуется необходимость перехода от мечтаний и фразы к «делу», причем, однако, никто не берет на себя труд пояснить, в чем заключается это «дело» и в чем проявлялись эти мечтания и фразы. Все требуют «дела», говорят о «деле», поучают, убеждают и негодуют на тему о «деле». Публицисты едва успевают формулировать народившиеся требования «дела». В разные исторические эпохи существования Пошехонии «дело»,— говорит автор,— понималось у пошехонцев различно: было время, когда «делом» называлась бессовестная эксплуатация крепостных; затем наступило время, когда после освобождения крестьян «дело» осуществлялось в лице Колупаевых и Разуваемых. Затем, переходя к настоящему времени, Щедрин рисует портрет одного такого дельца по имени Клубкова, который предпочитает дело мечтаниям. Между тем дело Клубкова состоит в том, что он, поселившись в усадьбе, сделался бичом окрестных крестьян, так как высасывает у них, пользуясь их тяжелым положением,

последние гроши. Такого ли «дела» желают те, которые отвергают всякие мечтания и идеалы, спрашивает Щедрин.

Без сомнения, очерк этот нельзя назвать благонамеренным, так как в нем наше общественное положение представляется в печальном виде; но, принимая в соображение, что в таком положении он обвиняет не правительство, а само общество и известную часть литературы, и что в таком духе и направлении пишутся Щедриным все статьи, цензор не считает эту настолько вредною, чтобы она требовала ареста декабрьской книжки, о чем и имеет донести комитету»[1].

Приняв «доклад к сведению», цензурный комитет все же постановил сообщить его Главному управлению по делам печати[2].

Среди лозунгов реакции 80-х годов значительное место занимали призывы к обществу покончить с «мечтаниями» и приняться за «дело». Под «мечтаниями» («фантазиями», «снами», «новыми веяниями» и т. д.) традиционно для реакционной печати понимались все формы и направления демократической и социалистической идеологии. Призывы же обратиться к «делу» требовали, с одной стороны, отказаться от примата общественных интересов в пользу интересов личных, а с другой стороны — ограничения допускаемой политической активности сферой содействия, как писал И. С. Аксаков, «государственному порядку» в борьбе с «неурядицей духа общественного». Только тогда «почин» становится «делом народным»,— писал редактор «Руси»,— «когда он нисходит с верховных высот власти или, по крайней мере, в живом союзе с нею. Этого-то и ждет Русская земля, ждет себе оживления и одушевления сверху»[3].

И то и другое понимание «дела» переводило его, в осмыслении Салтыкова, в рубрику *«пошехонского»*.

Разъяснение «пошехонского дела» Салтыков дает в полемике с призывами о «деле» идеологов реакции, в частности, И. Аксакова и его «Руси». Это было ясно современникам. Белоголовый писал Лаврову 6 января 1884 года о «Вечере пятом»: «Пошехонский рассказ <...> мне очень понравился; он весь направлен против недавней аксаковской статьи, и как чисто полемический ответ на вопрос дня, по-моему, чрезвычайно едок и остроумен[4].

Стр. 104. *Дóроги мне и зыбучие ее пески, и болота, и хвойные леса...*— «Это описание относится к Тверской губернии, родине Михаила Евграфовича»,— указывала Л. Н. Спасская («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., ГИХЛ, 1957, стр. 547). Указание верное, но недостаточное. Пейзаж в «Вечере пятом» и относящиеся к нему «лирические

[1] *Евгеньев-Максимов,* с. 114—115; *Боград,* с. 519.
[2] *Боград,* там же.
[3] «Русь», 1883, 15 декабря, № 24, стр. 5, 11.
[4] Центр. гос. архив Октябрьской революции, ф. П. Л. Лаврова, п. 33, лл. 4—5. Сообщено С. А. Макашиным.

отступления» — одни из тех страниц Салтыкова, в которых с наибольшим проникновением выразилась «тоскующая любовь» писателя к своей стране и ее народу.

Стр. 107. *«Эпоха мечтаний, по-видимому, миновалась — и слава богу!..»* — «...Года за два, за три пред сим,— писал 11 января 1884 г. Катков,— над Русской землей носились так называемые «новые веяния». Все казалось тогда возможным, всякое безумие и всякая глупость выступали тогда с уверенностию в скором и неукоснительном исполнении их вожделений. Но теперь все спокойно; с правительственных высот уже не стремятся бурные потоки; лица, стоящие у дел, не будоражат страну фантазиями <...> Затишье <...> водворилось у нас после бурных веяний» (М. Н. Катков. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1884 год. М., 1898, стр. 20).

Стр. 108. *Отставной бесшабашный советник Рогуля.*— Рогуля впервые изображен в должности частного пристава в «Губернских очерках» («Общая картина», т. 2 наст. изд.).

...кипела млеком и медом.— Из Библии (Исход, III, 8).

...изобилие <...> выпадало только на долю потомков лейб-кампанцев, истопников и прочих дружинников...— то есть потомков служилых дворянских родов О лейб-кампанцах и дружинниках см. на стр. 545 в т. 7 и 612 в т. 11 наст. изд. Дворцовым истопником, получившим от Анны Иоановны в 1740 г. за преданность Бирону дворянство и собственный герб («три серебряных вьюшки на голубом поле») был Алексей Милютин, прадед известных государственных деятелей 60—70-х годов.

Стр. 109. *Чуть-чуть в то время «мечтания» не заполонили «дела».*— Имеется в виду период первой революционной ситуации 1859—1861 гг.

«Время, всех освящающее» — Из царского манифеста 19 февраля 1861 г.

...увидел себя замурованным в «наделе»...— Надел — земельный участок, который крестьянин по реформе 1861 г. получал от помещика за выкуп в рассрочку. При нарезке наделов помещики старались чередовать крестьянские земли со своими. чтобы штрафовать крестьян за потравы и вынуждать их к аренде или покупке помещичьей земли на кабальных условиях, поскольку надел к тому же не мог прокормить крестьянскую семью (см. на стр. 220—222 и 354—355 в т. 11 наст. изд.).

Стр. 110. *Житницы дружинников запустели, житницы «меньших братьев» не наполнились.*— «...Вспоминая тогдашние времена <1870—1880-е гг.>,— писал Елпатьевский,— <...> я с некоторым изумлением оглядываюсь на результаты <...> дворянской эксплуатации народа. Дворянство беднело, а не богатело, не распухало, а тощало. Тогда уже шло вовсю дворянское оскудение» (С. Я. Елпатьевский. Воспоминания за 50 лет. Л., 1929, стр. 29). Что же касалось крестьянства, то «более 80% нашего населения,— свидетельствовал в 1882 г. Кошелев,— находится теперь в самом бедственном положении — худшем (хотя это и невероятно), чем оно было до 1861 года» (А. К. Кошелев. Что же теперь? Август 1882. Berlin, 1882, стр. 83).

...все устроилось на потребу потомку древних гущеедов...— Ироническая аналогия между послереформенной буржуазией — К о л у п а е в ы — и торговым сословием древнего Новгорода — г у щ е е д ы (прозвище новгородцев). Вместе с тем сатирическая стрела в адрес стихийно сложившегося послереформенного союза буржуазии и дворянства, общими усилиями обездоливших «поильца-кормильца пошехонской земли» — крестьянина.

Стр. 111. *Я помню, в одну из таких эпох <...> пришлось мне быть в «своем месте» по «своему делу».*— Автобиографическая реминисценция. О поездках Салтыкова в Тверскую губернию для ликвидации наследственной вотчины см. в очерках «В дороге», «Столп», «Кандидат в столпы» из «Благонамеренных речей» в т. 11 наст. изд. и в комментарии на стр. 573—576 там же.

Стр. 112. *«Отец, каких мало»,*— водевиль Н. А. Коровкина, написанный в 1838 г. и тогда же поставленный на сцене.

Стр. 113. *...устроил у себя при усадьбе фаланстер, в который и заточил всех крестьян...*— Ф а л а н с т е р — проектировавшееся французским социалистом-утопистом Фурье своего рода идеальное общежитие для общины будущего — фаланги. В системе сатирического иносказания Салтыкова «фаланстеры» — крайние формы и степени эксплуатации помещиком крестьян, нечто среднее между военными поселениями Аракчеева и острогами; недаром несколько ниже писатель прямо назовет устроенный Клубковым «фаланстер» к а т о р г о й.

...записал их в ревизию под наименованием дворовых.— Д в о р о в ы е л ю д и, в отличие от других крепостных крестьян, не имели права на получение от помещика земельного надела и усадебного обзаведения. Записав еще задолго до реформы своих крестьян дворовыми, Клубкову и удалось, как скажет далее писатель, лишить их принадлежащего им имущества.

Стр. 114. *...стряхнул с себя ветхого человека...*— освободился от прежних взглядов и настроений. Выражение из Библии (П о с л. а п. П а в л а к к о л о с с., III, 9, 10).

Дача — земельный участок самостоятельной ценности (лесной, пахотный и т. п.).

Стр. 116. *...золотые-то сны миновали!* — Выражение «з о л о т о й с о н» вошло в обиход после появления в 1862 г. перевода В. Курочкина из Беранже «Безумцы», где Курочкин назвал так идеалы утопического социализма (во франц. тексте идентичного выражения нет). См. также на стр. 127.

Стр. 117. *Костерь* — сорная трава.

Стр. 119. *Исправник даже донос на меня <...> что я мужиковствовать собрался.*— Борьба с «м у ж и к о в с т в у ю щ и м и» дворянами-помещиками в 60—80-е годы была одной из форм политического контроля самодержавия над деревней и ее настроениями.

Стр. 122. *...одна из казней египетских...*— Согласно библейскому сказа-

нию, многочисленные беды — «к а з н и»,— начиная с нашествия жаб и кончая погружением во тьму и истреблением первенцев, были обрушены богом на египтян за преследование фараоном евреев перед их «исходом» из плена (И с х о д, VII—XII).

Стр. 127. *Диатриба* — едкая, придирчивая речь с выпадами личного характера.

Стр. 129. *Бесшабашный советник Дыба.*— См. о нем в очерках «За рубежом» и «Письмах к тетеньке» (т. 14 наст. изд.), в «Современной идиллии» (кн. 1 наст. тома) и «Пестрых письмах» (кн. 1 тома 16).

ВЕЧЕР ШЕСТОЙ

(Стр. 130)

Впервые — *ОЗ,* 1884, № 3 (вып. в свет 16—18 марта), стр. 251—268, под заглавием: «Пошехонские рассказы. Вечер шестой. Фантастическое отрезвление».

Начало работы над рассказом определяется письмом Салтыкова к Михайловскому (конец февраля), в котором он сообщал, что пишет «Пошехонский рассказ», но не может «поспеть скоро».

«В этом сатирическом очерке,— доносил цензор Лебедев 13 марта в С.-Петербургский цензурный комитет,— автор имеет целью осмеять ту консервативную часть публицистики, которая хлопочет об отрезвлении русского общества, причем старается представить наше современное общественное положение в самом мрачном и безотрадном виде. С свойственным автору преувеличением и бесшабашностью он рисует пред читателем самые невероятные картины, дабы произвести на него более сильное впечатление. Так он начинает свой очерк с того, будто в Пошехонии (то есть в России) на том месте, где когда-то происходили северные народоправства (попросту — веча), впоследствии был построен съезжий дом с каланчой, на которой ходит сторож, наблюдающий за народным отрезвлением и готовый во всякое время с своей вышки дать сигнал к окачиванию водою собравшейся около нее для народоправства толпы (стр. 251, 252, 253, 254) [1]. Такой способ отрезвления пошехонцев введен, по словам автора, у нас ныне. Без сомнения, автор намекает этим на известные газеты и преимущественно на «Московские ведомости», а не на правительство, но нельзя не заметить из слов его, что газеты такого направления пользуются особым авторитетом (стр. 261, 262, 263).

Для более наглядного понимания пользы такого рода управления он выводит на сцену среди толпы, собравшейся на вече пред каланчою съезжего дома, скромного обывателя Пошехонья (по имени Рыжего), который не стесняется вслух выражать свои мысли, заключающиеся, между прочим,

[1] Цензор указывает страницы журнального текста.— *Р е д.*

в том, что он не может согласиться с тою истиною, будто всякое начальственное требование от природы правильно, а потому и следует его выполнять. Не соглашаясь с такою новою мыслью, толпа переходит от споров к рукопашной схватке и убивает Рыжего (стр. 263, 264, 266). Таким образом результатом той системы отрезвления, которую хотят ввести известного сорта публицисты, по словам автора, оказывается труп (стр. 267, 268).

Нельзя не заметить, что Щедрин, считая публицистов, проводящих идеи об отрезвлении, ныне в силе и как бы находящимися под покровительством правительства, бросает этим тень осуждения на самое правительство за то, будто бы безотрадное, положение, в котором находится современное русское общество, чем и возбуждает читающую публику против правительства. Принимая во внимание, что настоящий очерк написан в том же пессимистическом духе, как и большинство прежних его статей, цензор не считает и этот очерк настолько вредным, чтобы требовать ареста мартовской книжки журнала «Отечественные записки», но о предосудительном содержании этой статьи считает необходимым донести Главному управлению по делам печати»[1].

Доклад был в тот же день получен Главным управлением и одобрен.

Нарисованная Салтыковым картина «ф а н т а с т и ч е с к о г о о т р е з в л е н и я» пошехонцев — картина глубокого падения общественных настроений и идеологии в условиях реакции — вызвала ряд откликов в печати. На один из них — в «Новом времени» — Салтыков ответил в очередном очерке своей серии «Между делом», вошедшем затем главой IX в книгу «Недоконченные беседы». В этом ответе Салтыков сам прокомментировал заключительный пошехонский «вечер» — одну из наиболее трагических страниц в творчестве писателя (см. стр. 273—275).

При подготовке рассказа для отдельного издания Салтыков произвел в тексте ряд уточнений. Приводим четыре варианта *ОЗ*.

К стр. 132. В середине абзаца: «День был осенний...», вместо «...где в оное время бунтовщиков с раската сбрасывали» — было: «...где в оное время «лукавого» с раската сбрасывали.»; вместо «...хоть из пушки палить будет» — было: «...хоть разгонять будет».

К стр. 134. В конце абзаца: «А сверх того...», после слов: «...держа наготове в кармане какое-то веяние...» — отсутствовала фраза: «...и пошехонцы беспрекословно подчиняются ему...»

К стр. 137. В конце абзаца: «Говорят, что мы отрезвились...», после слов «Поэтому, сделавши первый шаг в смысле отрезвления...» — было:

(то есть как раз противоположное тому, о чем хлопочет доброжелательствующая нам газета).

Стр. 130. *...в том самом месте, где во время óно, по свидетельству*

[1] *Евгеньев-Максимов*, с. 118—199; *Боград*, с. 522.

Костомарова, у них «северные народоправства» происходили...— Здесь и ниже, в связи с книгой Костомарова «Северно-русские народоправства», посвященной вечевому и единодержавному «началам» государственности и вышедшей в разгар «великих реформ», в 1863 г., Салтыков затрагивает, в обобщающе-иносказательном смысле, ряд узловых явлений отечественной истории. То самое место — вечевая площадь, место народных собраний в древней и средневековой Руси, дольше всего действовавших на севере, в Новгороде и Пскове (до 1478 и до 1510 г.). «Московские куранты» (от *лат.* curare — заботиться, пещись) — русское централизованное государство, под эгидой Москвы подчинившее себе и ликвидировавшее Новгородскую феодальную республику. Кроме того, здесь налицо очередной сатирический выпад против «Моск. ведомостей»: они уподобляются рукописной газете средневековых московских государей — «Курантам», из которой царь узнавал о важнейших событиях за границей. Съезжий дом с соответствующей каланчой — полицейский дом с помещениями для арестантов и пожарной команды, здесь: символ полицейской государственности и администрации. Тот же символ персонифицирован в образе городничего (в его ведении находился съезжий дом) — штабс-капитана Мазилки.

Стр. 131. *Фоска* — мелкая карта, с двойки до десятки, некозырной масти.

Муниципия — здесь: страна.

Стр. 133. *И чем смирнее вели себя пошехонцы <...> тем сильнее зрело в нем убеждение, что в этом-то именно «народоправства» и состоят.*— «Самое появление народа на авансцене,— словно разъясняет смысл этого «убеждения» К. Головин,— даже народа самого благонадежного, уже заключает в себе что-то почти мятежное» (К. Головин. Мои воспоминания, т. II (1881—1894). Спб., 1910, стр. 36).

...еще недавно в газете «Уединенный пошехонец» удостоверяли, что стоит только здравому смыслу пошехонцев воспрянуть — и все пойдет как по маслу.— О возвращении к «честному, здравому смыслу», который должен сменить «праздномыслие и празднословие», писали постоянно и систематически в конце 70-х — начале 80-х годов Катков, И. Аксаков и близкие к их газетам публицисты. Катков усмотрел, в частности, выражение «настроения наших народных масс» в жестоком избиении 3 апреля 1878 г. торговцами московского Охотного ряда группы учащейся молодежи, провожавшей кареты с политическими ссыльными (*МВ*, 1878, № 88, 5 апреля). О реакции русской печати на это выступление Каткова см.: С. Неведенский. Катков и его время. СПб., 1888, стр. 519.

Стр. 134. *Принцип вменяемости* — принцип сознательности, ответственности.

Газетчик Скоморохов.— В образе Скоморохова воплощены черты многих ренегатов демократии и либерализма, от бывшего «искровца»-шестидесятника Буренина до деятеля судебной реформы Победоносцева, но прежде всего, как показано ниже, это Катков с его «Моск. ведомостями».

Стр. 137. ...*«Norddeutsche Zeitung» <...> Орган железного канцлера <...> должен назвать силою то, что, в сущности, составляет нашу слабость: это его прямая выгода.*— Это место в передовице «Уединенного пошехонца», возможно, пародирует полемические выпады Каткова по поводу освещения в газете Бисмарка русской общественной жизни применительно к тактике «троянского коня». Найти в «Моск. ведомостях» выступление, послужившее конкретным поводом для комментируемой сатирической реплики, не удалось. Но об общей позиции Каткова по отношению к газете Бисмарка (Катков называл ее «хитрым Эдипом» — *МВ*, 1879, № 36, 8 февраля) русских дел дает представление катковская передовица в связи с отчетами немецких газет о речи канцлера в рейхстаге в защиту «исключительного закона» против социалистов, в которой Бисмарк, в частности, заявил: «Русский нигилизм явился в самом ясном своем выражении в процессе Веры Засулич, когда слушатели, как известно, рукоплескали оправданию убийцы...» По поводу этого заявления Катков в передовице «Москва, 3 мая» риторически вопрошал: «Известно ли германскому канцлеру, что государственная власть у нас не знает, чему и как учится привлекаемая ею во *храм* науки молодежь <...>? Князь Бисмарк сетует на парламентскую оппозицию, на прогрессистов, которые задерживают полезные законопроекты <...> Еще хуже оппозиция, встречаемая правительством (русским.— *Г. В.*) в своих органах. Еще хуже <...> сановники, которые рукоплескали Вере Засулич...» (*МВ*, 1884, № 122). Выпады против газеты Бисмарка в связи с затрагивавшимися ею различными вопросами внешней и внутренней политики России у Каткова в конце 70-х — начале 80-х годов встречаются неоднократно.

Стр. 138. *Что торжество получилось полное и бесспорное <...> в этом нынче уже никто не сомневается...*— «Минувший год,— писал 31 декабря 1883 г. Катков,— ознаменовался для России торжеством освящения самодержавной власти нововступившего на ее престол государя. Это великое торжество было знаменательно еще и тем, что раскрыло пред изумленным миром истинную, народную, историческую Россию, столь мало похожую на то, чем представлялась она чрез свою же интеллигенцию» (М. Н. Катков. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1884 год. М., 1898, стр. 1).

Да исчезнет тьма, да восторжествует свет! — вот девиз, который должен отныне руководить нами.— Возможно, здесь содержится ядовитый сатирический выпад против Каткова как автора выступления на «пушкинских торжествах» 6 июня 1880 г. Катков, один из главнейших проводников «тьмы» — реакции, закончил свою речь известными словами из «Вакхической песни»: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

Стр. 139. ...*все свободы должны умолкнуть и потонуть в общем и для всех одинаково обязательном единомыслии.*— За ретроградное «единомыслие» власти, народа и общества энергично ратовал все тот же Катков, даже умерший со словами: «Прошу единомыслия» (П. А. Зайончковский. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970,

стр. 73—74). См. также о градоначальническом единомыслии в «Истории одного города» и о консервативно-либеральном единомыслии в «Дневнике провинциала...» (тт. 8 и 10 наст. изд.).

Стр. 141. *Всем он в свое время был: и либералом и антилиберилом, и реформенником и антиреформенником, и всегда с успехом.*— «У нас,— писал о подобных трансформациях один из современников Салтыкова,— даже в интеллигентных слоях общества царит беспринципность, которая, с одной стороны, представляет самую лучшую почву для увлечений, а с другой, готовит хамелеонов, принимающих окраску, требуемую их эгоистическими стремлениями. В то время <начало 60-х годов>, о котором я говорю, был большой спрос на либералов, и они явились; но большинство этих лиц были либералами только по имени, из подражания, ради моды, готовые сделаться, при перемене веяний, и консерваторами, и ретроградами, и чем угодно» (Г. Д. Щербачев. Идеалы моей жизни. Воспоминания из времен царствований императоров Николая I и Александра II. М., 1895, стр. 227—228).

Стр. 142. *То же бы ты, дурак, слово, да не так бы молвил!* — Рефрен из русской народной сказки о дураке, жестоко избиваемом встречными за высказываемые невпопад пожелания.

Стр. 143. *...есть у кого яичко, так он <...> скорее на «элеватор» несет <...> Яичко твое немец съест...*— «Элеватор» в данном случае — место скупки продуктов для перепродажи за границу, неизвестное древним пошехонцам.

Одни говорили, что надо элеваторы устроить <...> Одни говорили: «Транзит закрыть надо»...— «Моск. ведомости» настойчиво требовали устройства элеваторов для улучшения хлебной торговли и отмены Закавказского железнодорожного транзита иностранных товаров, выгодного якобы не России, а Западной Европе и закавказским контрабандистам, и обвиняли газету «Голос», выступавшую с идеей Закавказского «мирового пути», в подрыве русской промышленности и торговли («Голос», 1882, №№ 230, 291, 321, 348; *МВ*, 1882, №№ 330, 362, 1883, №№ 4, 9, 12, 25, 28, 30, 40, 48, 65, 68, 75, 81, 84, 97, 144, 146, 149). Вместе с тем многие русские газеты, в том числе и «Моск. ведомости», высказывали открытое опасение по поводу неизбежности «новой вспышки» злоупотреблений при любом существенном изменении сложившихся порядков.

Одни говорили: «Всему причина Финляндия»...— В русской печати начала 80-х годов вспыхнула полемика по поводу дарованных Финляндии Положением 1858 г. некоторых льгот в торговых отношениях с Россией. Особенно активно ратовал за покровительственную таможенную политику Катков, сравнивавший Финляндию с мухой, питающейся «кровью» России (см.: С. Неведенский. Катков и его время. СПб., 1888, стр. 298—300).

НЕДОКОНЧЕННЫЕ БЕСЕДЫ

(«Между делом»)

Сборник состоит из десяти очерков и статей. Первые девять впервые появились под разными названиями и подписями, в *ОЗ* 1873—1884 гг. Из них семь напечатаны в серийной рубрике «Между делом». Десятый очерк остался незаконченным и впервые был опубликован в книге: «Недоконченные беседы (Между делом). Сочинения М. Е. Салтыкова (Щедрина). С.-Петербург. Издание Н. П. Карбасникова, 1885. Типография М. М. Стасюлевича» (фактически книга вышла в свет в 1884 г.— 20 или 21 октября). В этом первом и единственном прижизненном издании сборника первоначальные (в журнале) названия очерков и статей были заменены обозначениями «Глава...», с порядковой римской нумерацией глав.

Цензурная история книги освещена Евгеньевым-Максимовым (*ЛН*, т. 13—14. М., 1934, стр. 154—155). Так как объем ее был свыше 10 печатных листов (13 1/4), то, по цензурным правилам, она освобождалась от предварительной цензуры. Но когда 12 октября 1884 года восемь экземпляров книги были представлены типографией в С.-Петербургский цензурный комитет, то последний все же сделал попытку подвергнуть ее предварительной цензуре. В отношении на имя старшего инспектора типографий Петербурга от 13 октября председатель Комитета просил «приказать сделать *тщательное дознание,* вполне ли отпечатана настоящая книга и разобран ли набор оной,— и в случае неисполнения сего условия обязать типографию, на основании примечания к 67 статье приложения к ст. 4 (прим.) Уст<ава> цензуры по «Прод<олжению> св<ода> зак<онов> 1876 г.», выпустить книгу как издание, подлежащее предварительной цензуре». Пришедший в типографию инспектор установил, что «означенная книга отпечатана вполне, в количестве 3050 экземпл. и набор, служащий для тиснения оной, весь разобран». Об этом сразу же стало известно Салтыкову, который 14 октября сообщал Соболевскому: «Я издаю книжку разных мелких статей, и в пятницу она отправлена была в цензуру. В субботу уже приходил в типографию инспектор узнать, разобран ли весь набор. Если б хотя один лист был не разобран — тогда всю книгу подвергли бы цензуре, но оказалось, что типография Стасюлевича настолько искушена, что отправила книжку в цензуру не прежде, как разобрав весь набор. Теперь я жду ареста — вот и еще 600 р. убытка».

Опасения Салтыкова о возможном аресте «Недоконченных бесед» на этот раз не оправдались. В своем донесении от 15 октября начальнику Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистову председатель С.-Петерб. цензурного комитета писал: «Очерки эти изложены с тою же тенденциозностью и пессимизмом, с тем же грубым глумлением над обществом, которыми отличаются все произведения Салтыкова, но, по мнению цензора, которое я вполне разделяю, эти очерки не настолько вредны, чтобы по поводу их задерживать книгу. Я полагаю, что прекращение «Отечественных

записок», редактором которых был Салтыков, не находилось ни в какой связи с этими очерками. Вследствие сего Комитет не видел основания препятствовать выпуску книги в свет».

Таким образом, из приведенного «отношения» Комитета видно, что высшие цензурные власти были обеспокоены тем, что в своей новой книге Салтыков откликнется на состоявшееся весной 1884 г. правительственное запрещение его журнала «Отеч. записки» (так оно и было в действительности, см. ниже).

О дальнейшей судьбе книги известно из писем Салтыкова к Стасюлевичу. Сообщая 18 октября, что Феоктистов «сегодня с докладом у министра, вместо обычной субботы», он выражал надежду: «Быть может, сегодня решится участь «Недоконченных *бесед*». Наконец, 21 *октября* Салтыков с облегчением сообщал тому же адресату: «Книжка, наделавшая немало хлопот, вышла».

Для отдельного издания Салтыков заново пересмотрел текст и, наряду с дополнительной стилистической правкой, частично его изменил. Эти изменения относятся, главным образом, к первой половине книги. Кроме того, им были устранены те намеки и политические выпады, которые к этому времени потеряли свою актуальность.

В настоящем издании «Недоконченные беседы» печатаются по тексту отдельного *Изд. 1888* с устранением ряда опечаток и нескольких пропусков по журнальным публикациям и дошедшим до нас рукописям (все хранятся в *ИРЛИ*).

В «Недоконченных беседах» Салтыков «как бы раздваивает <...> свой старый и уже привычный читателю образ авторского «я» — прекраснодушного либерального оппозиционера «школы сороковых годов» — давая ему в спутники «мрачную и даже трагическую личность» Глумова [1], носителя бескомпромиссно-критического взгляда. Рассказчик и Глумов здесь, в отличие от «Современной идиллии», не становятся действующими героями и плотью конкретности не обрастают. Глумов участвует лишь в четырех первых «беседах» и мелькает в одном эпизоде 7-й статьи; в остальных случаях Салтыков обходится без его «помощи». «Раздвоение» повествователя является откровенно публицистическим средством, необходимым для более усложненной и глубокой постановки проблем, открывающим простор диалектике салтыковской мысли [2]. Роль проводника авторских мнений и оценок бывает доверена то Глумову, то рассказчику, причем, если в начальных очерках Глумов всюду оказывается ближе к подлинному воззрению писателя, то во второй половине книги условное повествовательное «я» все более объединяется с реальным писателем Салтыковым.

[1] С. Макашин. Щедрин и реакция 80-х гг.— «Литературное обозрение, 1940, № 22, с. 39.

[2] См. об этом: В. Мысляков. Искусство сатирического повествования. Саратов, 1966.

Кроме того, споры героев и возникающая благодаря им видимость «опровержения» «крамольных» мыслей, заявленных как бы в дискуссионном порядке, послужили верным цензурно-маскирующим приемом, на «обнажение» которого Салтыков прямо пошел в главе IV: «ты должен был выдумать, что у тебя есть какой-то приятель Глумов, который периодически с тобой беседует <...> на тот случай, что ежели что, так иметь бы готовую отговорку: я, мол, сам по себе ничего, это все Глумов напутал».

Выпуская серию статей «Между делом» отдельным изданием через полгода после закрытия «Отеч. записок», Салтыков многозначительно назвал книгу «*Недоконченные* беседы» (сохранив в скобках и журнальную рубрику серии). Этим названием он хотел сказать читающей России о постигшей его катастрофе. Эту цель преследовала смысловая и графическая — строка точек — недоконченность последней главы книги. Салтыков воспроизвел в ней внезапно оборванную речь.

«Пестрый» характер книги, соединившей в себе «статьи, разновременно напечатанные», отмечал сам автор (см. письмо М. М. Стасюлевичу от 21 октября 1884 г.). Но в то же время он собрал здесь только те свои выступления, которые действительно относятся к жанру «бесед». Проблема подразумеваемого собеседника-читателя — весьма важна в составе книги и отнюдь не случайна для нее. Продолжать это произведение вне своего журнала, не располагая свободной возможностью своевременного отклика на события, не имело смысла. От мелькнувшей было идеи продолжения книги Салтыков неизбежно должен был отказаться: *такой* жанр после закрытия «Отеч. записок» стал для него недоступен.

Отзывы печати о «Недоконченных беседах» были немногочисленны и предельно лаконичны. «Библиографический листок» «Вестника Европы» (1884, № 11) кратко известил читателей о том, что «этюды» эти «хотя и принадлежат к различным эпохам и годам, но <...> не утратили своей свежести как благодаря известному таланту автора, так и тому, что общественная жизнь наша не подвигается», они, «появляясь теперь в особом издании, приобретают даже вящую силу». Столь же скупым был положительный отклик «Нови» (1884, 15 ноября, № 2, стр. 116). Чуть позже К. К. Арсеньев в статье «Новейшие произведения Салтыкова» («Вестник Европы», 1888, № 1) коснулся «Недоконченных бесед», отметив свойственный сатирику «дар предвидения», благодаря которому «позднейшая действительность» подтверждает его сатирические «преувеличения» (поползновения реакции к «упразднению самостоятельного суда», дальнейшее обострение «еврейского вопроса», торжество «охранительной прессы» — стр. 355—361).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

(Стр. 151)

Впервые — *ОЗ*, 1873, № 11, отд. II, стр. 183—194 (вып. в свет 14 ноября). Под названием «Между делом. Заметки, очерки, рассказы и т. д.» и за подписью «М. М.»

При подготовке главы к отдельному изданию Салтыков несколько сократил и изменил текст.

В первом очерке «Недоконченных бесед» поставлены два взаимосвязанных вопроса современности: «куда девалось наше молодое поколение?» и что представляет собою «наша новая литература»? Каждая из этих проблем, и иллюстрирующие их факты российской действительности, получают как бы двойное освещение — истинное и ложное: трезво-критическое (Глумов), близкое самому Салтыкову, и либерально-уклончивое, затемняющее суть общественных явлений «жалкими словами» (повествователь).

Комментируемый очерк, как и хроника «Наша общественная жизнь» (1863, январь), определяет «молодое поколение» «в смысле двигающей силы», носителя обновляющего, передового идейного начала. Из определяемой категории выводятся «молодые бюрократы» и «адвокаты» — слуги самодержавного режима и слуги капиталистического благоприобретения, «земские деятели». В условиях монархического режима буржуазно-демократическое местное самоуправление представляло «силу... комариную», «земские учреждения были поставлены в положение гонимых и, в крайнем случае, лишь терпимых органов» [1]. Салтыков отказывает в праве на высокий титул «молодого поколения» всем, чья деятельность не соприкасается с теми «вопросами», которые «составляют содержание истории», которыми «человечество живет и движется»,— то есть с задачами революционного преобразования жизни.

Салтыков с болью и горечью констатирует, что настоящее «молодое поколение» России, в недавние годы принявшее на себя нелегкий труд «проверить авторитеты, дотоле руководившие» обществом,— «было да сплыло». Речь идет здесь о поколении революционных борцов-шестидесятников, идейным вождем которого был Чернышевский и которое оказалось скошено реакцией 1862—1866 гг. Но, несмотря на временное поражение, Салтыков предрекает необратимость самого процесса освободительного движения, неизбежную преемственность идей и поколений: «Должна же быть где-нибудь эта необходимая двигающая сила. Быть может, она скрывается в школах, быть может, разъединенная, но умудренная опытом, она продолжает дело движения, изменив лишь обстановку его...»

Сама проблема «молодого поколения» возникла не случайно: 1873 год проходит под знаком споров о русской молодежи. В начале его в Московском окружном суде состоялся процесс С. Г. Нечаева (см. «Правительственный вестник», 1873, № 10, 12 января). Одновременно с этим «Моск. ведомости» осуществили публикацию хлестких статей «раскаявшегося» участника студенческого движения 60-х годов Е. К. Гижицкого — «Русские эмигранты» (1873, 16—18 января, №№ 12—14). Осенью 1873 г. в Москве был разгромлен кружок «долгушинцев», успевший выпустить несколько прокламаций. Наконец, «фабула» нечаевского дела, а вместе с нею — толки о молодом поколении ожили в связи с романом Ф. М. Достоевского «Бесы»,

[1] Б. Веселовский. История земства, т. 4. СПб., 1911, стр. 184.

который был закончен печатанием в последних книгах «Рус. вестника» 1872 г. (№ 11-12) и обсуждался на протяжении 1873 г. (в начале этого года появилось и отдельное издание его).

Реакционная критика пыталась использовать роман Достоевского для нового похода против революционно настроенной молодежи, а известные издержки «нечаевщины» (см. т. 9 наст. изд., стр. 520—521) давали повод к извращенному толкованию нравственного кодекса русских социалистов. Как «болезнь раздраженной, но неразвитой мысли, доходящей до беспутства, до сатурналий», характеризовались идеалы «подполья нашей интеллигенции» в «Рус. вестнике» (А. <В. Авсеенко>. Общественная психология в романе.— *РВ,* 1873, № 8, стр. 825—828).

Проблеме молодого поколения целиком посвящена остро-полемическая глава «Дневника писателя» «Одна из современных фальшей» («Гражданин», 1873, 10 декабря, № 50). В ней от лица бывшего петрашевца, «стоявшего на эшафоте», Достоевский опроверг охранительные измышления реакционной журналистики, утверждая, что на «мечтательный бред» революционности в России обречены не «праздные недоразвитки», а лучшая, «чистейшая сердцем» часть молодежи. Но одновременно он обрушил резкую критику на тех, кто передал новому поколению приверженность к «идеям «общечеловеческим», то есть социалистическим, и «высокомерное <...> отрицание». Достоевский оспорил, как он выразился, «прием, общий многим органам нашей псевдолиберальной прессы»: «Сущность его <...> в сплошной похвале молодежи, во всем и во всяком случае, и в грубых нападках на всех тех, которые, при случае, позволят себе отнестись даже и к молодежи критически».

Салтыков и Достоевский, таким образом, принципиально разошлись прежде всего по объективным итоговым выводам своих почти одновременных выступлений. Но дата выхода в свет «Отеч. записок» с комментируемым очерком Салтыкова (14 ноября) позволяет предположить, что Достоевский мог учесть взгляд авторитетнейшего из радикальных изданий на проблему молодого поколения и непосредственно откликнуться.

С темой «молодого поколения» непосредственно связана у Салтыкова тема «новой литературы», которая характеризуется в одном аспекте: по ее отношению к передовой, революционной мысли. Под «старой литературой», которая «умела видеть в читателе честного человека» и считала «обязательным» «руководящий принцип опрятности», в статье подразумевается литературный круг, сложившийся в «Отеч. записках» и «Современнике» 1840-х годов, воспитанный статьями Белинского. «Новой» названа беллетристика последнего десятилетия, не нашедшая в себе сил, в условиях реакции после 1862 г., ответить на «цели, к которым стремилась передовая мысль», и оказавшаяся в состоянии кризиса, идейного распутья.

Однако горькая и язвительная характеристика «новой литературы», по-видимому, подразумевает и несравненно более значительные явления — такие, как «Отцы и дети» Тургенева, «Обрыв» Гончарова, «Бесы» Достоевского. Комментируемый очерк ближайшим образом соотносится с двумя

важными публицистическими и литературно-критическими выступлениями Салтыкова: «Уличная философия» и «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики» (см. т. 9 наст. изд.), где утверждалось, что «все известнейшие русские беллетристы <...> стали на сторону <...> заповеданного, общепринятого и установившегося против сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего» (см. т. 9, стр. 65—66).

Но статья содержит еще и прямые намеки на «нечистоплотность», «подвиливание» современной прессы перед властями: «Не забегай, не заискивай! Не гаркай во все горло афоризмов, которые ничего, даже сострадания в литературных меценатах, возбудить не могут». Речь идет здесь о литературной политике министра внутренних дел П. А. Валуева, который в 1860—1870-х гг. пытался «приручить» российскую печать путем различных сделок и льгот. Эту тактику он, как известно, неудачно пытался распространить на «Отеч. записки» еще в первые годы существования журнала, однако с успехом осуществлял в отношениях с другими периодическими изданиями, в том числе и либеральными (см. об этом: М. В. Теплинский. «Отечественные записки». 1868—1884. Южно-Сахалинск, 1966, стр. 42—52).

Первая публикация «Между делом» вызвала резко враждебный по существу и по тону отклик В. П. Буренина. Очерк Салтыкова был использован критиком как повод для прямого выступления против «Отеч. записок»: «...современный сатирик, на потеху почтеннейшей публике, доходит <...> до юмористического заушения себя самого и того органа, где он пишет <...>. «Отечественные записки» говорили свое радикальное «ничего» за неимением (а отнюдь не за невозможностью, по независящим причинам, как наивно думают они сами) сказать что-либо».

Но знаменательно, что даже Буренин, несмотря на откровенную враждебность к сатирику, был вынужден отметить его растущую популярность среди русских читателей, «заметный успех г. Салтыкова в последние годы, когда потребовалось усиление недомолвок» (Z <В. Буренин>. Легкая сатира г. Салтыкова <...> Подражание бесцеремонной манере глумления г. Салтыкова.— *«СПб. вед.»,* 1873, 1 декабря, № 331).

Стр. 151. *Отчего в настоящее время люди так охотно лишают себя жизни?* — В начале 1870-х годов среди учащейся молодежи участились случаи самоубийства, нередко вызванные казарменным режимом в классических гимназиях. Эпидемия самоубийств захватила, однако, не только учащихся. В *ОЗ* (1873, № 10, стр. 310—311) Н. К. Михайловский посвятил этой трагической теме раздел своих «Литературных и журнальных заметок»: «О тоске и самоубийствах». В мае 1876 г. в «Дневнике писателя» Достоевского («Одна несоответственная идея») отмечено: «Самоубийства у нас до того в последнее время усилились, что никто уж и не говорит об них. Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей».

Стр. 152. *...не тем холодным сном могилы.*— Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

Стр. 155. *...меня, брат, жалкими словами не огорошишь!* — Скрытая цитата, характеризующая обломовскую природу повествователя: «жалкими словами», непонятными крепостному слуге, «пропекал» своего Захара Обломов в романе Гончарова.

Стр. 156. *Вспомни-ка басню о комаре и льве!* — Имеется в виду мораль басни Крылова «Лев и комар»: «Мстят сильно иногда бессильные враги».

Люди, которые так охотно сами себя облагают сборами... которые так смело выразились по вопросу о всеобщей воинской повинности... — Несомненна ирония Салтыкова насчет мнимого бескорыстия земских деятелей. Веселовский, основываясь на документальных данных, свидетельствует, что «земские взгляды, высказанные в 1871 году» по поводу сборов, «не содержали даже намека на какое-либо самоотвержение со стороны земцев-землевладельцев», «вопрос об уравнении земского обложения поднимался именно крестьянами» («История земства», т. 1, стр. 169, т. 4, стр. 192). Всеобщая воинская повинность была введена в России в 1874 г.

Стр. 158. *...«наше время — не время широких задач». Разве это не довольно погано?* — В. Буренин в отклике на комментируемый очерк невольно засвидетельствовал точность и силу сатирического удара Салтыкова по либеральной прессе (и ближайшим образом — по газете, в которой появилась буренинская рецензия): «В фельетонной болтовне г. Салтыкова производится глумление над «СПб. ведомостями» за высказанную ими мысль о том, что «наше время — не время широких задач», которая фельетонному болтуну «Отечественных записок» кажется <...> преступною до такой степени, что он над этою мыслью считает необходимым глумиться чуть не в каждой статье своего легкого пера» (*СПб. вед.*, 1873, 1 дек., № 331). По поводу конкретного источника приведенного «афоризма» — см. т. 10, стр. 755.

И это говорится в такую минуту, когда ни широким, ни каким задачам доступа в литературу нет! — 7 июня 1872 г. министр внутренних дел получил право задерживать любое бесцензурное издание, если признает его «особенно вредным», не обращаясь в суд, а получая санкцию комитета министров; 14 июня 1873 г. было высочайше утверждено «мнение государственного совета» о взысканиях с периодических изданий, освобожденных от предварительной цензуры, за оглашение «вопросов внешней или внутренней политики, гласное обсуждение которых могло бы быть сопряжено со вредом для государства» (Вл. Розенберг, В. Якушкин. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905, стр. 130, 131, 161). Карательная практика не замедлила коснуться «Отеч. записок»: за июльскую книжку 1872 г. журнал получил первое предостережение.

Стр. 159. *...счастливое сочетание кокодеса и пенкоснимателя* — то есть прожигателя жизни (cocodès — *франц.*) и беспринципного либерального приспособленца.

Ах, не могу я не сознаться! // Но и признаться не могу! — ироническая формула, найденная в «Дневнике провинциала в Петербурге» для выражения уклончивости мнений либеральной печати (см. т. 10, стр. 781).

Стр. 161. *...и они <...> горели энтузиазмом к Грановскому — а что из них вышло?!* — Постоянная у Салтыкова характеристика «попутчиков» Белинского, Герцена, Грановского (законченным представителем их был, например, редактор *«СПб. вед.»* В. Ф. Корш), которые позже эволюционировали или к дюжинному либерализму, или к прямо охранительным воззрениям. Об огромной идейной дистанции между ними и вождями умственного движения 40-х годов Салтыков писал в статье «Один из деятелей русской мысли» (т. 9).

ГЛАВА ВТОРАЯ

(Стр. 162)

Впервые — *ОЗ*, 1874, № 11, отд. II, стр. 288—297 (вып. в свет 29 ноября). Под заглавием «Между делом. Заметки, очерки, рассказы и т. д.» II. Подпись: «М. М.»

Сохранился следующий фрагмент начала черновой рукописи первоначальной редакции.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Заметки, очерки, рассказы и т. д.

II[1]

По словам Глумова выходило, что русская интеллигенция изгибла, или, по малой мере, измельчала и утратила свойства двигающей силы. Вопрос о молодом поколении, говорил он, не следует понимать в буквальном смысле этого слова; это вопрос об интеллигенции, о движении вперед, о тех нравственных и умственных идеалах, под влиянием которых растет молодое поколение. Последнее привлекается здесь преимущественно перед другими поколениями потому, во-первых, что молодежь всегда восприимчивее, страстнее и привязчивее, а во-вторых, потому, что ей, а не отживающим людям предстоит воспитывать эти идеалы и развивать их в будущем. Не пристрастие к выражению «молодое поколение» заставляет давать ему роль, а соображения, основанные на том, что молодости предстоит дальше жить.

Из приведенного текста и авторского примечания к нему видно, что работа над очерком II «Между делом» была предпринята сразу же после написания очерка I. Салтыков намеревался продолжить в новом очерке начатое в предыдущем развитие темы «Куда девалось наше молодое поколение?» и напечатать очерк в 1873 году, в декабрьской книжке «Отеч. записок». Однако работа была отложена в самом начале. И лишь в конце следующего, 1874 г., Салтыков написал и опубликовал очерк II[2], но на дру-

[1] См. предыдущий № «Отеч<ественных> зап<исок>». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] Он напечатан в *ОЗ* с примеч., снятым в *Изд. 1885:* «Прошу читателя обратиться к ноябрьской книжке «Отеч. зап.», за 1873 г.— *Авт.»*.

гую тему, хотя и связанную опосредственно с вышеупомянутой,— на тему о «понижении умственного уровня».

Один из признаков падения «умственного уровня» в русском обществе середины 70-х годов Салтыков усмотрел на этот раз, как это ни странно с первого взгляда, в творчестве композиторов «Могучей кучки», собственно, в музыке ее крупнейшего представителя Мусоргского, и в программных выступлениях идеолога и пропагандиста нового направления — Стасова. Первый персонифицирован в гротескном образе композитора Василия Ивановича, второй — в уже знакомом читателю по «Дневнику провинциала в Петербурге» образе «критика-реформатора» с заимствованной у Гоголя фамилией, Неуважай-Корыто. Оба сатирических героя увлечены идеей создания ультрареалистической, предметно-изобразительной музыки. Один сочиняет, а другой комментирует музыкальные произведения на такие темы, как «Торжество начальника отделения департамента полиции исполнительной по поводу получения чина статского советника» и «Извозчик, в темную ночь отыскивающий потерянный кнут».

Современники были единодушны, относя насмешки Салтыкова к названным деятелям новой русской музыкальной школы. Да и сами они, во всяком случае Стасов, угадывали, о ком идет речь [1]. Однако, как всегда у Салтыкова, его сатирические образы не могли быть и не стали только

[1] Имея в виду статьи Салтыкова о передвижниках, Стасов писал в 1888 г., то есть еще при жизни сатирика: «...Салтыков — *первый* из крупных русских писателей, с истинной симпатией отнесся к новой русской художественной школе <...>. Но Салтыкова не хватило на понимание новой музыкальной русской школы, и он над нею только весело и забавно глумился. Всего более он обрушился, со своим комизмом, на Мусоргского, который в своих стремлениях за реализмом сочиняет пьесу на тот сюжет, что «извощик, в темную ночь, ищет своего потерянного кнута» («Северный вестник», 1888, № 10, с. 192). Другое, более раннее, упоминание Стасовым в печати запавшего ему в память названия «бессмертной буффонады» Василия Ивановича, дало Д. О. Заславскому повод утверждать, что «Мусоргский собирался ответить на сатиру Щедрина музыкальной сатирой» («Щедрин, Мусоргский, Стасов».— «Красная новь», 1940, № 11-12, с. 265). Речь идет о пьесе для голоса с фортепьяно «Крапивная гора, или Рак». Сюжет пьесы был разработан и предложен Мусоргскому Стасовым. «В начале,— писал Стасов об этом замысле в биографическом очерке о Мусоргском 1881 г.— должен был быть представлен сам Рак <муз. критик Ларош>, как он, в темную непроглядную ночь, вползает на Крапивную гору, заросшую бурьяном, и оттуда сзывает все свое ретроградное войско <...>. Между ними присутствуют многие русские писаки и *писатели,* всю жизнь осыпавшие Мусоргского грубо-невежественными сатирами и насмешками *(напр., что ему бы надо сочинить, как извозчик трагически ищет в темноте потерянный кнут...)*» («Вестник Европы», 1881, №№ 5 и 6; цит. по изд.: В. В. Стасов. Собр. соч., т. III. СПб., 1894, с. 792). Намек на Салтыкова, в подчеркнутых нами словах, очевиден. И все же замысел, понравившийся Мусоргскому и частично осуществленный им, *не мог иметь в виду именно этого конкретного выступления Салтыкова.* В памяти Стасова произошло смешение хронологии фактов. Сюжет музыкальной сатиры на Лароша и других противников «Могучей кучки» был предложен Мусоргскому Стасо-

зашифровкой конкретных явлений и лиц, хотя намеки на эти явления и лица очевидны.

В своих стремлениях и идеалах «Могучая кучка» отражала демократическое движение шестидесятничества и была близка тому направлению русской общественной мысли, к которому принадлежал сам Салтыков. Чтобы понять смысл его полемического выступления, оно должно быть увидено в исторической перспективе.

Враждебное, критическое или недоуменное отношение к эстетическим принципам новой русской музыкальной школы было проявлено многими передовыми современниками. Достаточно назвать в этой связи имена Тургенева и Чайковского. Памфлетное выступление Салтыкова не было явлением исключительным. Подлинное понимание и признание пришли к «Могучей кучке» значительно позже. Подобно большинству людей своего поколения 40-х годов, Салтыков музыкально был воспитан на итальянской и французской опере того времени — на героической опере Россини и Беллини, Мейербера и молодого Верди. «Вильгельм Телль», «Норма», «Гугеноты», «Пророк», «Пуритане», «Жидовка» — вот оперы, которые упоминаются в произведениях Салтыкова, в частности, и прежде всего в автобиографических местах его сочинений. Представления этих опер в Петербурге силами первоклассных итальянских певцов пользовались огромным успехом в кругах демократической интеллигенции столицы, служили для нее, по выражению Кропоткина, «своего рода форумом для демонстрации» оппозиционных настроений[1]. *Музыкальной* же основой итальянской и «большой» французской оперы была *мелодия*. В ней, в первую очередь, и находил эмоциональное выражение тот пафос освободительной борьбы, который несли в себе эти произведения и который так высоко ценился Салтыковым.

В новаторстве «Могучей кучки», прежде всего в исканиях Мусоргского, Салтыков увидел, с одной стороны, умаление роли и значения мелодии, за счет возвышения речитатива и внешне-изобразительных средств музыкального языка, а с другой стороны, уход от подвластных музыке тем, в частности, героической темы, в сферу задач и сюжетов чуждых, на первый взгляд, искусству звуков и «сниженных» (изображение быта, жанра, предметного мира и т. д.). Своего рода *сатирическим тезисом* выступления Салтыкова являются слова «критика-реформатора» Неуважай-Корыто: «Мы обязаны изображать в звуковых сочетаниях не только мысли и ощущения,

вым, по собственному свидетельству последнего, в июне 1874 г. (там же), а сохранившееся начало пьесы «Крапивная гора, или Рак», датировано в автографе 10-м августа 1874 г. («Музыкальный современник», 1917, № 5-6, с. 232). Таким образом, и возникновение замысла музыкальной сатиры на противников «Могучей кучки», и начало работы над ней Мусоргского, тут же и брошенной, на несколько месяцев предшествуют памфлету Салтыкова, написанному, как сказано, в конце 1874 г.

[1] П. А. Кропоткин. Записки революционера, М., «Мысль», 1966, с. 139.

но и самую обстановку, среди которой они происходят, не исключая даже цвета и формы вицмундиров».

Ярчайший просветитель по идеологии и типу мышления, Салтыков из всех форм и видов деятельности человека отдавал предпочтение тем, главным орудием которых было *слово* («...звание литератора предпочитай всякому другому»,— завещал писатель сыну в предсмертном письме). Программные требования «кучкистов», Мусоргского прежде всего, о *«нераздельном» соединении музыки и слова* представлялись ему, «кровному литератору», чем-то почти кощунственным. Особенно раздражало его шумное возведение Стасовым в канон новой музыкальной школы девиза Даргомыжского, провозглашенного в дни работы над оперой «Каменный гость»: «Хочу, чтобы звук *прямо* выражал слово. Хочу правды». Девиз этот сатирически расшифровывается Салтыковым как «мысль об упразднении слова и о замене его инструментальною и вокальною музыкой».

В гротескно-буффонадном описании музыки, сочиненной «адептом» новой школы Василием Ивановичем, не следует усматривать ни пародии на какое-либо конкретное произведение Мусоргского, ни тем более критики и отрицания всего его творчества. Сатирическому осмеянию подвергаются не те или иные сочинения композитора или их совокупность, а лишь крайности (в оценке Салтыкова) его новаторских поисков и тенденций, сказавшихся, например, в опыте переложения на речитатив, на интонации живой речи, подлинного, неприкосновенного текста гоголевской «Женитьбы» [1] или иллюстрирования музыкой (в цикле «Детская») таких сюжетов, как, например, «рост гриба в лесу», «прихрамывающий человек», «чиханье няни» и др.

Не кто иной, как глава и непосредственный руководитель новой школы М. А. Балакирев признал впоследствии обоснованность салтыковской сатирической критики таких экспериментов. «Что касается Мусоргского,— писал Балакирев в 1906 г. музыкальному деятелю М. Д. Кальвокоресси,— скажу Вам, что, вполне признавая в нем огромный талант, <...> я не принадлежу *безоговорочно* к тем его сторонникам, которые <...> соглашаются с тем его воззрением, что музыка не есть *цель* сама по себе, но лишь способ беседовать <...> вследствие чего он выбирал порою сюжеты, совершенно непригодные для музыки. Это дало талантливому сатирику Салтыкову (Щедрину), его современнику, повод высмеять такую тенденцию, за которую ратовал некогда Стасов...» [2].

В материалах для биографии Салтыкова нет сведений, из которых было бы видно, какие из произведений Мусоргского он знал непосредственно, то есть слышал. Но 1874 год, когда был написан комментируемый

[1] Салтыков не мог слышать этой неоконченной оперы (собственно первой и единственной ее картины), так как она тогда не исполнялась. Но разговоры об этом эксперименте, разумеется, могли до него доходить, хотя бы через племянницу писателя, довольно известную оперную певицу П. И. Веревкину.

[2] «Русская музыкальная газета», СПб., 1911, № 38, с. 751.

очерк-памфлет, был годом театральной премьеры «Бориса Годунова» и годом создания программно-изобразительных «Картинок с выставки». Обсуждение этих событий в печати и обществе и явилось, следует думать, непосредственным поводом для выступления Салтыкова, ставшего одним из примечательных эпизодов в истории русской художественной культуры XIX века.

Стр. 162. *...исключая железнодорожной...*— то есть исключая деятельность железнодорожных концессионеров и подрядчиков.

Стр. 163. *...даже полемику между Сеченовым и Кавелиным...*— Полемика по вопросам психологии между физиологом-материалистом И. М. Сеченовым и либеральным публицистом К. Д. Кавелиным, стоявшим на философско-идеалистических позициях, велась на страницах журнала «Вестник Европы» с 1872 по 1875 г.

«Каменный гость» — опера А. С. Даргомыжского на неизмененный текст Пушкина, построенная целиком на мелодическом речитативе (первая постановка — в 1872 г.). Произведение это, как и эстетические воззрения его автора, оказали большое влияние на формирование новаторского стиля композиторов «Могучей кучки», больше всего Мусоргского. «Великий учитель музыкальной правды» — называл он Даргомыжского.

Стр. 165. *...отдадим Ларошам на поругание!* — Поборник русского музыкального просвещения — критик Г. А. Ларош считал, однако, что оно должно идти по пути, уже проложенному музыкой Запада. Отсюда — проявленное им непонимание национально-самобытного творчества композиторов «Могучей кучки» и враждебное или остро-критическое отношение к ним, особенно к Мусоргскому.

Стр. 165. *«Псковитянка»* — написанная в формах новой русской музыкальной школы опера Римского-Корсакова. Впервые была поставлена в 1873 г. на сцене Мариинского театра в Петербурге.

Стр. 168. *«Гебриды»* — «Гебриды», или «Фингалова пещера» (1830), одно из симфонических произведений Мендельсона-Бартольди в созданном им жанре романтической программной увертюры (концертной).

Стр. 169. *...coda* — заключительная часть музыкального произведения.

Стр. 170. *«Славься!..»* — торжественно-гимнический хор, заключающий оперу Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).

...оттолчка — сильные «удары» звуком в речи или в пении («соловьиное колено с оттолчкой»).

...похожа на «Херувимскую» Львова.— Одна из наиболее известных музыкальных композиций на текст богослужебной песни православной церкви «Иже херувимы...» принадлежит композитору А. Ф. Львову, автору музыки царского гимна.

«Тебе, Бога, хвалим...» — гимническое песнопение христианской церкви (у католиков — «Te deum laudamus...»); исполняется на благодарственных молебствиях.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

(Стр. 172)

Впервые — *ОЗ*, 1875, № 1, отд. II, стр. 183—195 (вып. в свет 22 января). Под заглавием «Между делом. Рассказы, очерки, афоризмы и т. д.» и за подписью «М. М.»

При подготовке главы для отдельного издания Салтыков внес в текст несколько мелких поправок.

Внимательно приглядываясь к судебным учреждениям, созданным реформой 20 ноября 1864 г., Салтыков убеждался, что современный суд, вместо того чтобы стать институтом защиты человека, охраны прав личности, быстро превращался в арену социальной несправедливости, хищничества и лганья адвокатов, представителей новой буржуазной интеллигенции.

Этим объясняется парадоксальное, на первый взгляд, нападение сатирика на новые юридические формы: обычно они подвергались атакам «справа» — со стороны дворянско-монархической реакции. Салтыков увидел в буржуазном судопроизводстве изощренные способы ущемления личности, «травли» человека, лишь внешне иные, по сравнению с травлей крепостнической: теперь орудием пытки служит не плеть, а «психология». Салтыков проводит параллель между современным моментом, который либеральная печать славословила как «время возрождения», и эпохой «старинной дикости» — крепостного права — и обнаруживает много общего, заключающегося, главным образом, в защите собственнического идеала («у меня рубль украли — надо удовлетворить и меня <...> иначе почва ускользнет у нас из-под ног»), только осуществляемой различными способами.

В размышлениях об этих проблемах обнаруживается наибольшая близость Салтыкова к Достоевскому, который в «Дневнике писателя» (1873, «По поводу новой драмы») отмечал, что «мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились». Он дал характеристику нового судебного процесса, совпадающую в своих основаниях с салтыковской («тут, в основе, какая-то ложь», извращение «гуманного чувства» — 1877, октябрь), и задался тем же тревожным вопросом: «ведь трибуны наших новых судов — это решительно нравственная школа для нашего общества и народа <...> как же нам относиться хладнокровно к тому, что раздается подчас с этих трибун?» (1876, май). Одинаковую аттестацию получила у писателей адвокатская корпорация: «блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное <...> какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных» (1876, февраль). Впоследствии, в «Братьях Карамазовых», писатель использовал для характеристики современного судоговорения такой

же термин, который привел Салтыков в комментируемом очерке («роман»), и скрыто процитировал салтыковский текст в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»: о «нравственных муках», которые заменили в результате «смягчения ваших нравов» (эти слова поставлены в кавычки) «древний огонек» в качестве орудия пытки.

В печати, кроме краткого положительного отзыва «Одесского вестника» (1875, 13 февраля, № 36), настоящий очерк вызвал язвительное замечание рецензента «Киевского телеграфа»: «Очерк «Между делом» М. М. обнаруживает отрицательную сторону наших гласных судов <...> подвергающих жестокой духовной пытке всякого своего пациента. По выразительности языка и по остроумию статейка г. М. М. не отстает от благонамеренных речей, даже едва ли не выше их; но к концу ее и неизбежно возбуждается вопрос: какой цели хочет добиться автор, затрачивая свое остроумие? <...> его alter ego, г. Щедрин, пожалуй, и посовестился бы так блистательно плевать в пустое место!» (Т. Л. К. Журн. обозрение.— «Киев. телеграф», 1875, 12 февраля, № 19).

Стр. 173. *...уездные суды упразднены.*— Уездный суд — отмененная уставами 1864 г. первая судебная инстанция для дворян; составы их избирались дворянством уезда сроком на три года и утверждались губернатором.

...до такой-то суммы человек мировому судье подсуден, а свыше этой суммы — окружному суду.— Мировой суд (в составе единоличного судьи) в уездах и городах предназначался для рассмотрения малозначительных уголовных и гражданских дел: он рассматривал иски на сумму не свыше 500 рублей. Дела, выходившие за эти пределы, поступали в окружные суды (судебный округ охватывал несколько уездов).

Стр. 176. *...в виде торговой казни на площади* — публичного наказания кнутом, рукою палача.

Стр. 177. *...«даму приятную во всех отношениях»* — персонаж 9-й главы «Мертвых душ» Гоголя.

...особенный вид преступления был, называвшийся «злоупотреблением помещичьей власти»...— юридический термин в эпоху крепостного права, нередко подразумевавший смерть «провинившегося» в результате истязаний.

Стр. 184. *...вот хоть бы на месте г. Шайкевича <...> восхождение на Синай, предпринятое г-м Плевако.*— Упомянуты защитник игуменьи Митрофании и гражданский истец по ее делу и процитирована выспренняя речь последнего (см. подробно в т. 12, стр. 645).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

(Стр. 185)

Впервые — *ОЗ,* 1875, № 9, отд. II, стр. 129—152 (вып. в свет 19 сентября). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Н. Щедрин».

Настоящий очерк — одна из самых личных «бесед» Салтыкова с читателем во всем этом незавершенном цикле. Здесь сделана попытка определить результаты «бесцензурного» существования русской литературы на протяжении почти целого десятилетия.

Большинство поставленных в очерке проблем затронуто в письмах Салтыкова этого времени в непосредственной связи с собственной литературной биографией. В очерке содержатся широкие обобщения, подготавливающие важнейшие итоговые суждения Салтыкова в «литературных» главах циклов «Круглый год» и «Мелочи жизни» (см. тт. 13 и 16 наст. изд.).

Некрасов в письме Анненкову от 27 апреля 1875 г. очень точно охарактеризовал поистине героическую мобилизующую роль Салтыкова в «Отеч. записках» перед отъездом его за границу, где и был написан очерк: «Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли» (Н. А. Некрасов. Собр. соч. в 8 тт. М., «Художественная литература», 1967, стр. 397).

Опираясь на собственный опыт, писатель доказывает, что, несмотря на упразднение предварительной цензуры, русское слово — по-прежнему скованное слово, а положение русского писателя полностью зависимо от административного произвола («Дунуть на тебя — ты и погас!»). Одна из главных причин угнетенного положения русской передовой литературы — укрепление реакции и продолжавшийся отход от интересов подлинной культуры «влиятельных классов», «так называемых людей культурного слоя». Вторая часть очерка раскрывает глубокое убожество этих «благонадежных элементов» (в образе Износкова). Салтыкова окончательно убедили в необходимости сатирической разработки подобного типа его заграничные впечатления. 24 (12) сентября 1875 г. он сообщал Анненкову, что «вынес из Бадена еще более глубокую ненависть к так называемому русскому культурному слою, чем та, которую питал, живя в России. В России я знаком был только с обрывками этого слоя <...> живущими уединенною жизнью <...> В Бадене я увидел целый букет людей, довольных своею праздностью, глупостью и чванством».

В характеристике «шлющихся» представителей «русской культурности» с Салтыковым сомкнулся Достоевский, через несколько месяцев посвятивший им в «Дневнике писателя» (1876, апрель) специальную главу: «Культурные типики. Повредившиеся люди». Возможно скрытое указание на очерк Салтыкова в строках: в последнее время «разъяснился совсем новый культурный тип», который «в каретах-то, в помаде-то <...> и видит

всю задачу культуры, все достижение цели». Как характерные черты этого типа, «имеющего некоторое общее значение», Достоевский также отмечает отсутствие национальных корней и пренебрежение к отечественной литературе. Но противопоставлен он не носителям передовой общественной мысли, а «почве», народной нравственности.

Однако причины «холопского» положения литературы Салтыков видит не только в засилье «клевещущих» на нее «культурных людей». В очерке встает как одна из основных проблем литературного развития — проблема читателя — «неуловимого» и во многом «загадочного» для сатирика. Здесь поднимаются глубокие вопросы о связи литературы с жизнью, о степени и характере непосредственного влияния печатного слова на общественное самосознание, о реальных результатах деятельности честной мысли.

Салтыков говорит о нравственной ответственности читателя перед литературой: «бессилие русской литературы зависит, во-первых, оттого, что у нее нет достоверного читателя, на которого она могла бы опереться». Как раз в те дни, когда завершалась работа над этим очерком (29 (17) августа Салтыков извещал Некрасова о посылке рукописи), писатель делился своей тревогой с Анненковым: «...я начинаю думать, что моими писаниями никто не интересуется и что «Отечественные записки», несмотря на 8 тыс. подписчиков, никто не читает. То есть читает какой-то странный читатель, который ни о сочувствии, ни об негодовании заявить не может. <...> Это штука почти безнадежная, и на старости лет тяжело ее переживать» (27 (15) августа 1875 г.). Очерк предваряет те глубокие и социально дифференцированные определения различных категорий русского читателя, которые будут даны в «Мелочах жизни»; здесь же выделены: народ, «даже не подозревающий о существовании русской литературы», высший круг, который «ее игнорирует», и современное «молодое поколение», которое не признает ее «прав на воспитательный авторитет».

В известной мере «Недоконченные беседы» отразили зреющую неудовлетворенность Салтыкова результатами «литературной формы борьбы с легальной трибуны» (А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.— Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 298), которая со всей полнотой выразится позже в сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым».

В этих драматических размышлениях много перекличек с поздней лирикой Некрасова: «Скоро стану добычею тленья» (1876), «Угомонись, моя муза задорная» (1876), «Приговор» (1877).

Важно отметить, что в комментируемой статье наиболее глубоко воплощена сложная диалектика авторской мысли, по сравнению с предшествующими очерками, где желчный Глумов всюду ближе к Салтыкову, чем прекраснодушный повествователь. Здесь скептическая трезвость Глумова также помогает определить всю трагическую противоречивость положения современной литературы (на которую пытается закрыть глаза рассказчик). Между тем и в высказываниях повествователя, пробиваясь сквозь либеральную словесную эквилибристику, убеждающе звучат сокровенные

авторские мысли о великой миссии литературы, о неколебимой преданности «литературному ремеслу», несмотря на сопряженную с ним унизительную необходимость «трепетать».

В настоящей статье Салтыков развернул свои соображения о значении и функции эзоповских приемов. Необходимость объяснить читателю принципы прочтения своих произведений сатирик особенно остро почувствовал, столкнувшись с явным непониманием широкой публикой замысла рассказа «Сон в летнюю ночь», опубликованного в августовской книжке «Отечественных записок» (см. т. 12, стр. 704). 24 (12) сентября 1875 г. он пояснял Анненкову: «если мои вещи иногда страдают раздвоенностью, то причина этого очень ясная: я Езоп и воспитанник цензурного ведомства. Я объявляю это всенародно в статье «Между делом», которая явится в сентябрьской книжке».

Печатные отклики на очерк были, в основном, благожелательны, но поверхностны. Внимание большинства критиков привлек эпизод с Износковым; однако весьма емкий общественно-политический смысл этого образа был раскрыт ими не до конца. По мнению рецензента «СПб. вед.», «это один из многочисленных, удачно очерченных г. Щедриным персонажей, которые <...> и среди реформ, изменяющих условия частного и государственного быта, остались неизменными», «забавная фигура, как будто выхваченная из дореформенного периода» (В. М. <В. В. Марков>. Литературная летопись.— *СПб. вед.,* 1875, 4 окт., № 265). Автор анонимного обзора «Русская литература» в «Сыне отечества» также отмечал, что «в лице Износкова» Салтыков «мастерски изобразил и превосходно осмеял тот ложный взгляд, то фальшивое направление, которые внешний лоск ставят главной задачей жизни <...> А между тем <...> считают себя какими-то охранителями России!» (1875, 6 ноября № 257).

На серьезность литературных проблем, поставленных Салтыковым, откликнулся только Скабичевский, подвергший обсуждению «открытый вопрос: кто же вас ныне читает, господа литераторы?» Критик определил тип русского читателя: ими были «всегда наиболее <...> тяготившиеся условиями жизни и жаждавшие ее обновления»; «во все эпохи <...> умники и счастливцы <...> всегда брезгали» русской литературой, «а интересовались, дорожили ею одни несчастные. <...> Какое это высокое призвание у тебя, о русская литература!» Скабичевский отметил процесс постепенной демократизации читательской аудитории. Ныне «литературе давно уже пора убедиться, что у нее совсем не те уже читатели, что были прежде <...> У нее есть массы новых читателей, на которых должна она сосредоточить все свое внимание и для них только и работать». Но от ответа на вопрос, «где же те несчастные русские люди, которые по-прежнему ищут в литературе всяческих утешений и разрешений», критик уклонился («Но отвечать на этот вопрос в двух словах нельзя») — (Заурядный читатель <А. М Скабичевский>. Мысли по поводу текущей литературы.— «Бирж. ведомости», 1875, 3 октября, № 272).

Стр. 186. *...цензоров <...> сажали на гауптвахту <...> их сменяли.*— Подобные многочисленные эпизоды из собственной длительной цензорской практики и служебной биографии коллег приведены А. В. Никитенко в «Дневнике» (см. т. I, ГИХЛ, 1955, стр. 160—161, 252—256, 327). Уже при Александре II «за недостаточно строгое исполнение своих служебных обязанностей» был отрешен от должности Н. фон Крузе (М. К. Лемке. Эпоха цензурных реформ. СПб., 1904, стр. 12—14).

...публика <...> зачитывалась статьями, вроде «Китайские ассигнации» или «Австрийский министр финансов Брук»...— Речь идет о том, что в середине 1850-х гг., в период относительного либерализма Каткова, издаваемый им «Русский вестник» также использовал иносказательный способ критики отечественных порядков под видом обзора иностранных событий (см. об этом: т. 5, стр. 352, 644). Впоследствии катковские издания твердо стояли на той позиции, что «недосказанная ложь, намеки, гримасы гораздо хуже лжи, высказанной до конца» (W. Петерб. письма. IV.— *МВ*, 1880, 13 октября, № 284).

...объявление в 1866 году воли книгопечатанию...— Закон 6 апреля 1865 г. о печати, заменивший предварительную цензуру карательной, был введен в действие с 1 сентября того же года.

Стр. 187. *...«невидимые миру слезы сквозь видимый миру смех»...*— Цитата (неточная) из главы VII первого тома «Мертвых душ» Гоголя.

Стр. 193. *...культурные Бобчинские и Добчинские <...> расщебетались <...> еще очень недавно Сквозник-Дмухановский без церемонии называл их «сороками короткохвостыми».*— Смысл этого иносказания, использующего эпизод из гоголевского «Ревизора» (д. V, явл. VIII), состоит в следующем: реакционный дворянский, помещичий круг (Бобчинские и Добчинские), который правительственная бюрократия (Сквозник-Дмухановский) в момент подготовки крестьянской реформы была вынуждена одергивать и ограничивать в претензиях, ныне снова обрел силу. «Противоречия» его с царской властью были временными и кажущимися, а союз — постоянный («Бобчинские нам милы, в Добчинских мы уверены»).

Стр. 194. *...не волнуют общественного мнения, не смущают умов...*— Воспроизводятся обычные мотивы «предостережений», которые получали передовые печатные органы, в том числе и «Отеч. записки» (См.: Свод данных о мотивах предостережений, полученных журналами и газетами в 1865—1904 гг. в кн. Вл. Розенберга и В. Якушкина «Русская печать и цензура в прошлом и настоящем», стр. 227—250).

...подумайте <...> что у вас есть дети...— Мысль о возмездии носителей реакционного начала «в потомстве», которое сойдет с торной дороги отцов, Салтыков разрабатывал в цикле «Господа Молчалины», рассказе «Больное место» (см. т. 12).

Стр. 203. *...Микешин <...> создал памятник тысячелетию России.*— См. т. 6, стр. 575.

Стр. 204. *...Коля Персиянов* — персонаж цикла «Господа Ташкентцы» (см. т. 10 наст. изд.).

Стр. 206. *...об этой «курице в супе»...*— См. т. 8, стр. 493.

Стр. 208. *...питание чиновника <...> близко подходит к питанию человека природы...*— Под «человеком природы» подразумевается крестьянин, мужик, на послереформенное обнищание которого намекает Салтыков.

Стр. 209. *...Бисмарк думал своими пятью мильярдами раздавить эту страну! <...> он отрезал у Франции Страсбург...*— Упомянуты тяжкие для Франции условия мирного договора после ее поражения во франко-прусской войне 1870—1871 гг.

Стр. 210. *Вечер <...> провожу <...> у французов...*— на спектакле французской труппы Михайловского театра.

...требовал cent milles têtes à coupez? — Обывательски-утрированный отзвук, связанный с изречением Марата.— См. т. 14, стр. 235 и 604.

ГЛАВА ПЯТАЯ
(Стр. 212)

Впервые — *ОЗ*, 1876, № 3, отд. II, стр. 154—170 (вып. в свет 22 марта). Под заглавием «Отрезанный ломоть» и за подписью «Молодой человек».

Время работы над данной главой определяется письмом Салтыкова к Некрасову из Ниццы от 9/21 февраля 1876 г.; «Письмо Ваше получил 5 дней тому назад не от Панаева, а по почте, и, вследствие выраженного в нем желания иметь статью по Кронеберговскому делу, сел за оную и написал. Первую половину посылаю, вторую вышлю завтра <...>. Я хотел бы сохранить тайну ее происхождения от меня». Рукопись второй половины статьи, написанная рукой Е. А. Салтыковой, была отправлена на другой день (см. письмо Салтыкова к Некрасову от 10/22 февраля 1876 г.). Однако по цензурным соображениям статья не могла быть помещена в февральском номере журнала.

В *Изд. 1884,* кроме некоторых изменений и стилистической правки, текст несколько дополнен. Но, судя по содержанию письма Салтыкова к Некрасову от 25 февраля/8 марта 1876 г., доцензурный вариант статьи восстановлен лишь частично (см. ниже). Видимо, это объясняется тем, что Салтыков либо не получил от Некрасова корректуру, либо позднее сам ее затерял. Приводим три варианта *ОЗ.*

Стр. 223, строка 43, после слов: «...ударил по лицу девочку раза три или четыре» —

(Иоанн Грозный поступил искренне, записав в синодике убиенных и потопленных им под рубрикой «имена же их ты, господи, веси!»)

Стр. 224, строка 9, после слов: «...удары сыпались только на смердов, на вилланов» —

...(см. в одном из будущих №№ «Вестника Европы» статью «О значении пощечин во времена рыцарства»).

Стр. 228, строка 7, после слов: «...обвинил русскую литературу в идиотстве» —

Так что очередь теперь за Плевако...[1]

В январе 1876 года в СПб. окружном суде слушалось дело С. Кронеберга, обвинявшегося в истязании малолетней дочери Марии. Его оправдали: заключения врачебной экспертизы оказались противоречивыми, а присяжные, как это ни странно, не смогли доказать необходимости «беспощечинного» воспитания; этой компромиссной ситуацией умело воспользовался адвокат В. Д. Спасович. Юрист с либеральной репутацией, он был назначен к защите Кронеберга судом и в ходе процесса дал понять, что ему лично претит педагогика «плюхи и розги», но ввиду ее общераспространенности требовал оправдания для своего клиента. Поведение Спасовича было расценено Салтыковым как выразительный симптом углублявшегося разрыва адвокатуры с передовыми общественными идеалами и прогрессивной литературой (в этом смысл заглавия «Отрезанный ломоть»).

«Дело Кронеберга» оживленно обсуждалось либеральной печатью, которая сосредоточилась преимущественно на процессуальных моментах. На этом фоне резко выделились выступления Салтыкова и Достоевского, во многом близкие. Оба писателя отказались обсуждать юридические подробности, поскольку в самой основе дела видели «фальшь нестерпимую», «фальшь со всех сторон»[2]. Салтыков и Достоевский апеллировали не к статьям действующего закона, а к «человеческим чувствам», которые были изгнаны из судебной процедуры «по самой силе вещей»: «не нашлось никого, чтоб почувствовать всю невозможность, всю чудовищность этой картины! Крошечную девочку выводят перед людей и серьезные гуманные люди — позорят ребенка...»[3]

Процесс этот, возмущавший нравственное чувство жестокостью, буквально подтвердил справедливость тех мыслей о «новом» суде, которые Салтыков высказал ранее, в 3-й статье «Между делом». Но внимание писателя он привлек все же не поэтому: Салтыкова заинтересовала не «криминальная» сторона кронеберговской истории, а проявление в частном бытовом эпизоде «поветрия на компромиссы и сделки», ставшего общеевропейским явлением. Компромисс В. Д. Спасовича с несостоятельной для него самого «идеей розги» в семейном быту позволил сатирику, при помощи испытанного в его публицистике метода широких аналогий, перейти от петербургского адвоката — к идеологу французской трудовой демократии Луи Блану, делавшему в 1875—1876 гг. в ходе подготовки парламентских

[1] Ремесленность адвокатуры нашей еще ярче выразилась в том недоразумении, жертвою которого был г. Герард в Овсянниковском деле. Вслед за тем в Москве был такой случай: «г. Плевако, узнав от одного из обвиняемых по делу обанкрутившегося банка, что он желает привлечь к защите местного адвоката г. Громницкого, сравнил последнего с коровой, а себя уподобил коню, забыв, конечно, что ведь и конь — тоже животное четвероногое». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876, февраль, глава вторая.

[3] Там же.

выборов политические уступки реакции. В статье широко поставлен вопрос о «политическом и философском учении, известном под именем «учения о компромиссах и сделках», которое писатель напряженно осмыслял с 1860-х гг. («Каплуны», «Тихое пристанище», «Наша общественная жизнь») [1].

Салтыков четко выражает мысль о том, что осуществление «трудного» социалистического идеала («maximum'a», «царства правды») невозможно без решимости на «открытый шаг», на «слово, разоблачающее действительные цели стремлений партии». В статье раскрыта принципиальная ошибочность уравнения революционных и нереволюционных методов изменения жизни: желание «достигнуть <...> целей «потихоньку», не в смысле большей или меньшей медленности движения, а так, чтобы никто не заметил», ведет лишь к тому, что «первоначальные цели <...> стираются и отходят очень далеко назад». Иронически воспроизводя лозунги идеологов и практиков «политики результатов»,— «потихоньку», «отступайте! заманивайте!» — Салтыков доказывает, что тактика компромиссов приносит иллюзорные результаты («игра, в которой никакой цели никогда не достигается», «поступательное движение в беличьем колесе») и влечет неминуемую сдачу идеала.

Писателя привели к этим выводам печальный итог пятнадцатилетних уступок реакции, которые осуществлял русский либерализм; общеевропейское «реакционное поветрие»; прошедшая на его глазах эволюция вождей европейского мелкобуржуазного социализма и некоторых деятелей русской общественной мысли и литературы. Салтыков писал своим друзьям об опасности «нравственного двоегласия», которое «не свойственно истинно передовым людям» [2].

«Отрезанный ломоть» в первоначальном виде встретил не только цензурные препятствия (в результате чего он не попал в февральский номер «Отеч. записок»), но, видимо, и внутриредакционные возражения из-за суровой непримиримости тона. Посылая в редакцию окончание статьи, Салтыков предвидел такую возможность: «Боюсь, что статья не понравится Григорию Захаровичу <Елисееву> и Унковскому. Во всяком случае, я желал бы, чтобы, кроме Елисеева, никто не знал, что статья принадлежит мне» (Некрасову, 22 (10) февраля 1876). 8 марта (25 февр.) Салтыков писал Некрасову: «Сейчас получил Ваше письмо насчет «Отрезанного ломтя» и могу сказать только одно: лучше не печатать совсем, чем в марте подавать разогретую телятину. Я прихожу к убеждению, что мне совсем нужно *обождать* писать. Тогда будет *совсем* без затруднений. Я никак не воображал, что обругание Гамбетты может встретить цензурные препятствия. Если нужно было исправлять и переделывать, то можно

[1] Подробное освещение этого вопроса — в кн.: Е. И. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратов, 1957, стр. 100—253; С. А. Макашин. С. А. Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. Биография Изд. «Художественная литература», М. 1972, стр. 416—461. См. также т. 4 наст. изд., с. 568—572; т. 6, с. 629.

[2] См. письмо к П. В. Анненкову от 21 (9) марта 1876 г.

было это сделать и для февральской книжки — без разговоров <...>. Мне нравится рассуждение о том, что адвокаты еще не совсем безнадежны — пусть будет так. Тоже и о Гамбетте: ежели Шассен [1] правильнее пишет, и есть несогласимое противоречие, то тоже пусть будет так. Я писал, помня предания «Современника». В тексте, опубликованном в мартовской книжке журнала, «обругания Гамбетты» мы не находим, но резкая определенность в постановке проблем сохранена.

Статья подписана псевдонимом «Молодой человек», но весь ход мысли неизбежно открывал ее автора для каждого внимательного читателя салтыковской публицистики с 60-х годов. Таким внимательным читателем, видимо, и оказался Достоевский, бросивший в «Дневнике писателя» полемическое замечание: «А умные старички наши все еще до сих пор уверены, что они-то и есть самые новые и *молодые* люди и что говорят самые новые слова!» (чуть выше разъяснялось, что речь идет о «писателях», «обратившие на себя большое внимание общества и возбудивших в нем горячее сочувствие к их обличениям» «после Севастополя») [2].

Стр. 213. *...vir bonus, disendi peritus* — определение оратора, данное Катоном Старшим и приведенное Квинтилианом в его сочинении «О воспитании оратора» («De institutione oratoria», XII, I).

Стр. 217. *Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde, сказал некогда Ламартин и прибавил: Alea jacta est!* — Салтыков юмористически контаминирует французский афоризм «все переплетено, все связано в этом мире», приписываемый А. Ламартину, с латинским изречением «Жребий брошен!» (фраза Кая Юлия Цезаря при переходе реки Рубикон, означавшем начало гражданской войны).

Стр. 219. *...на покаяние в педагогическое общество...* — См. примеч. к «Современной идиллии», т. 15, кн. первая, стр. 325.

Стр. 220. *...адвокат чувствительной школы г. Языков.* — Присяжный поверенный А. И. Языков, стихотворец, переводчик, сотрудничавший в «Вестнике Европы», в своей юридической практике также отличался, по словам современников, «задушевным красноречием».

Стр. 221. *...и он родился в Аркадии...* — Перефразировка первой строки стихотворения Шиллера «Resignation» («И я в Аркадии родился»).

В настоящее время в Европе существует как бы поветрие на компромиссы и сделки. — Незадолго до выступления Салтыкова «Отеч. записки» уже откликнулись на это явление: в статье М. К. Цебриковой «Дух компромисса в Англии» (*ОЗ*, 1875, № 9) содержатся выводы, близкие к тем, какие делает сатирик.

...союз германских национальных либералов с Бисмарком <...> то, что происходит теперь во Франции. — Возникшая в 1867 г. в Германии партия

[1] Автор «Хроники парижской жизни» в «Отечественных записках».
[2] Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877, сентябрь, глава вторая. Легкий намек на будущего интеллигентного русского человека. Несомненный удел будущей русской женщины.

национал-либералов, представлявшая интересы отечественной буржуазии, сначала выступала под флагом гражданских свобод и добивалась ответственности правительства перед рейхстагом, но быстро отреклась от этих требований и послушно поддерживала политику канцлера Бисмарка (особенно ярко проявилось это при вотировании военного бюджета в 1874 г.); во Франции 1875—1876 гг. парламентские выборы проходили под знаком борьбы монархистов с республиканцами. Падение потенциала революционности в лидерах республиканской оппозиции, либерально-оппортунистические тенденции в республиканских группировках привели к тому, что даже после победы республиканцев в январе 1876 г. на выборах в палату депутатов правительство оказалось консервативным.

Стр. 222. *Веяние времени <...> подчиняет себе <...> даже Луи Блана, который до сих пор гораздо сочувственнее относился к требованиям «мечтателей»...* — В России Луи Блан имел высокую политическую репутацию общественного деятеля, который «выводами здравого смысла и справедливости» «подрывал вековое здание социального неравенства, насилия и эксплуатации <...> он выказывал неизменное постоянство и храбрился не на одних словах, а подвигом целой жизни» (П. Д. Боборыкин. Политическая злоба дня. Луи Блан. Questions d'aujourd'hui et de demain, Paris, 1873.— *ОЗ,* 1873, № 10, стр. 213).

...«фельдфебеля в Вольтеры даст» — измененная реплика Скалозуба из 4 акта «Горя от ума» А. С. Грибоедова.

Стр. 223. *...ежели в 1880 году потребуется устроить для вас новый септеннат...* — Септеннат — установленный в ноябре 1873 г. семилетний срок президентских полномочий Мак-Магона, которые были прекращены в январе 1879 г. после провала готовившегося с его участием монархического переворота.

Стр. 227. *...защита Базена адвокатом Лашо...* — Маршал Базен был судим в 1873 г. за измену родине во время франко-прусской войны.

Стр. 228. *...г. Спасович <...> играл <...> роль противоовсянниковскую...* — В. Д. Спасович в деле Овсянникова представлял интересы страховых обществ; с этих компаний обвиняемый намеревался получить крупную страховую премию за умышленно подожженную мельницу.

...г. Потехин <...> без церемонии обвинил русскую литературу... — В жалобе, поданной С. Т. Овсянниковым в СПб. судебную палату и составленной его поверенным П. А. Потехиным, шла речь о «притеснении со стороны литературы» — «прошение составляла рука юриста, очевидно, тонкого в казуистике и опытного в кляузах. На всякий случай он не забыл даже литературу лягнуть» (Г. З. Елисеев. Внутр. обозрение.— *ОЗ,* 1875, № 9, стр. 68).

...на Сенной — на главной базарной площади столицы.

...адвокатура выказала намерение отмежеваться от области общих умственных и нравственных интересов... — Наиболее отчетливо это «намерение» сформулировал К. К. Арсеньев («Заметки о русской адвокатуре»), с которым полемизировали «Отеч. записки»: «послушайте, что пи-

шет <...> Арсеньев: «...Желание адвоката охранять неприкосновенность своей репутации <...> не должно доводить до малодушной боязни перед общественным мнением». Елисеев, доказывая, что «адвокат есть представитель общественного взгляда или, если угодно, общественной совести относительно применяемости идеи закона к данному преступнику», обвинял «в наивности, или, правильнее сказать, в невежестве» адвоката, «не подозревающего, что он — представитель общественного мнения» (Г. З. Елисеев. Внутр. обозрение.— *ОЗ*, 1875, № 4, стр. 301—303).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

(Стр. 229)

Впервые — *ОЗ*, 1882, № 8, отд. II, стр. 248—258 (вып. в свет 17 августа). Под заглавием «Июльское веяние» и за подписью «М. С.».

Сохранились рукописи первой и второй редакции (частично — *ЛН*, т. 11-12. М., 1933, стр. 284—293).

Статья написана в июле 1882 года в Ораниенбауме. На полях рукописи первой редакции имеются записи карандашом, относящиеся к развитию сюжета: «Околот<очный>. Если так — спроси. Я ваш<ество> завсег<да> лучше спрош<у>. Компрометирует общ<ество> шпион. Дерунов сосет и человеком делает. Еврей сосет и скорлупки бросает. Сцена из евр<ейского> быта». Во время работы над рукописью первой редакции очерка Салтыков предназначал его не для цикла «Между делом» («Недоконченные беседы»), а хотел им завершить «Письма к тетеньке». Так как появившееся незадолго перед этим в майской книжке очередное «Письмо к тетеньке» напечатано с подзаголовком: «Письмо девятое и последнее», то он дает очерку заглавие «Post scriptum». На связь с «Письмами» указывают и начальные строки рукописи:

Вы чересчур уж требовательны, милая тетенька. Засыпали меня вопросами. С чего вдруг поднялась возня с евреями? что означают текущие административные перемены? что такое происходит в Египте? и проч. Все-то вы хотите знать и на все требуете ответа. Даже поступок околоточного, который убил на Петербургской стороне купца,— и тот интересует вас. Не замешана ли тут внутренняя политика? спрашиваете вы, и каких дальнейших поступков следует ожидать?

В процессе работы над рукописью второй редакции замысел Салтыкова изменился, он решает не заканчивать этим очерком «Письма к тетеньке». Он зачеркивает в рукописи приведенные выше строки и вместо прежнего заглавия «Post scriptum» пишет новое: «Июльские размышления». Текст второй редакции более близок к журнальному, который, в свою очередь, почти не отличается от текста отд. *Изд. 1884*. Приводим один из наиболее важных вариантов первой редакции.

К стр. 233, после данного в иной редакции абзаца: «В том-то и беда наша...» —

Начну с вопроса — еврейского.

По моему мнению, корень этого вопроса — в темпераментах. Темпераменту русскому претит прежде всего внешний вид еврея. Все-то он движется, все-то высматривает и все что-то жует и сосет.

— Что, еврей, сосешь?

— Музицка шашу.

Ужасно это сердит. Мужичка сосать не диковина; и Колупаев, и Разуваев, и Дерунов — все сосут. Но они сосут и в то же время «человеком» делают. Стало быть, есть тут и воспитательная цель.

— Я тебя сосу,— говорит Дерунов,— да я же тебя и «человеком» сделаю!

И точно. Стоит только выдержать эту воспитательную практику — и «человек» готов. Сначала Дерунов называет его «крестником», потом начинает шутить, что, мол, мы «на одном солнце онучи сушили», а потом, смотришь, крестник уж и сам начинает, благословясь, посасывать Дерунова. Словом сказать, процесс сосания идет здесь и «пò-милу», и «по-божецки» и никогда так, чтобы совсем без остатка. «Ты за меня, я за тебя, а бог за всех — так-то, милый друг!» «Точно так, ваше степенство!»

Разумеется, выдерживали немногие, но тут уж Разуваев не виноват.

— Я все силы-меры употреблял, чтобы его «человеком» сделать,— говорит Разуваев,— ан из него вышел пентюх!

Пентюх! но кто же об пентюхах говорит!

Напротив того, еврей никаких воспитательных целей в виду не имеет, именно <?> «человеком» сделать не намеревается. Он просто возьмет «музицка» двумя пальцами, пососет и скорлупку выбросит. Потом возьмет другого «музицка» — и опять выбросит скорлупку. Когда же скорлупок наберется достаточно, он соберет их в кучку и продаст.

Никакого разговора «по душе», «пò-милу» при этом не происходит. Одна только оговорка! «шаши мене, ежели можешь!»

— То-то, Давид Саулыч, что не изловчились еще мы!

— А коли ты не можешь, так я тебя шашу!

И дело с концом.

Но, кроме «божецких разговоров», есть и еще разница между Деруновым и евреем. Дерунов обыкновенно выходит на промысел в одиночку. Жена его в это время «гуляет», а дети воспитываются в пансионах, с тем чтобы из них вышли «добрые господа». Напротив того, еврей сосет целым родом. Не только он, старый Давид, но и Рифка, и Рохля, и Иосель, и Ицек, и Элья — все жуют скорлупки и выплевывают. Как хотите, а это обидно. И никто из этих сосущих и жующих однажды ничего прожеванного не отдаст. А в довершение всего, никогда он сыт не бывает, а громадное большинство детей редко в довольстве живет. Потому что едва только начнет еврей порядком насасываться — сейчас его к капитану-исправнику: а ну, показывай, жид, что у тебя в потрохах есть? Посмотрит капитан-исправник, посмотрит заседатель — много ли останется?

— И зачем я пошел — не знаю!

Только и всего.

Разумеется, частенько-таки выискиваются и такие молодцы, которые несомненно на пользу сосут, но такие удачники обыкновенно бегут из «своих мест» в большие центры и там заканчивают свое поприще в виде банкиров, железнодорожников, а прежде в виде откупщиков. Вот по ним-то и составилось мое <?> мнение о еврейском благоденствии.

Верхний угол следующего листа вместе с текстом оторван. Приводим одну из вставок к оторванной части текста:

Но это бесчеловечие явится еще более осязательным, если припомнить, что нет на свете вещи более общедоступной, как предание, и что, следовательно, это последнее прежде всего становится достоянием толпы, и без того обезумевшей под игом собственного злосчастия. Именно такого рода характер имеет предание, наложившее клеймо отчуждения на еврейское племя. Когда я думаю о положении, созданном образами и стонами старой легенды, которая преследует евреев из века в век на всяком месте,— право, мне кажется, что я с ума схожу. Сдается, что зияет безграничная и бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и в этой пропасти мучится человек, у которого отнято все, даже право на смерть.

Поводом к написанию «Июльского веяния» послужили еврейские погромы, прокатившиеся по югу России весной и летом 1881—1882 гг.[1]. Откликаясь в своей сатире и публицистике на все главные явления текущей общественной жизни, Салтыков не мог обойти молчанием этих событий и всего еврейского вопроса, резко обострившегося в период так называемой «народной политики» гр. Н. П. Игнатьева и сохранившего напряженность и при его преемнике на посту министра внутренних дел гр. Д. А. Толстом. Сатирическому обличению «народной политики» посвящены многие страницы в «Письмах к тетеньке» (см. т. 14 наст. изд.). В «Июльском веянии» Салтыков продолжает критику этой реакционно-демагогической и националистической политики применительно к «еврейскому вопросу». Но предметом внимания писателя являются здесь не правительственные мероприятия как таковые. В еврейском вопросе они отличались определенной двойственностью. Изданные в мае 1882 года «Временные правила о евреях», с одной стороны, вводили ряд мер чрезвычайно стеснительных для еврейского населения, а с другой стороны, ставили своей целью не допускать антиеврейских беспорядков. Последнее объяснялось, однако, не просвещенно-гуманной позицией власти, но паническою боязнью всяких активных движений народных масс, «толпы», хотя бы и возникавших на архиреакционной расово-шовинистической почве. При обсуждении «Временных правил...» в Комитете министров, его председатель М. Х. Рейтерн с полной откровенностью указал на эту подоплеку: «Сегодня,— сказал он,— травят и грабят евреев. Завтра перейдут к так называемым кулакам <...> потом

[1] Существует не поддающееся проверке мемуарное свидетельство об одном обстоятельстве, послужившем будто бы непосредственным толчком для написания «Июльского веяния». В заметке «Черты из жизни М. Е. Салтыкова» анонимный автор (А. И. Эртель?) вспоминает: «И. Н. Сорокин, полуписатель, полуподрядчик из евреев, рассказывал мне в 80-х годах о посещении им в погромную эпоху Салтыкова, которого он просил заступиться за его гонимых бывших единоверцев. Салтыков обрушился на Сорокина с криком:

«Ступайте к Каткову, которому ваш Поляков подарил дом для Лицея, а меня оставьте в покое!..»

И оба собеседника пришли в такое возбужденное состояние, что схватились за спинки стульев. Сорокин выскочил как ошарашенный. Салтыков... написал немедленно свою знаменитую сатиру в защиту евреев...».

может очередь дойти до купцов и помещиков. Одним словом, при бездействии властей, возможно ожидать в недалеком будущем развития самого ужасного социализма»[1].

Указав в общей форме на неспособность «народной политики» «покончить» с еврейским вопросом («улетели народные политики, а евреи остались <...> вместе с тем остался нетронутым и еврейский вопрос»), Салтыков переходит к существу поставленной им перед собой более обширной и глубокой задачи. В условиях подъема антисемитских настроений — одном из спутников общественной и политической реакции 80-х годов — писатель решил возвысить свой голос, чтобы привлечь силы добра и разума к еврейскому вопросу, о котором сказал: «История никогда не начертывала на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного...»

Подход Салтыкова к вопросу о евреях и еврействе исполнен, с одной стороны, исторического идеализма и просветительского этизма, а с другой — демократизма и социального анализа.

«Главное место» в ряду тех «запутанностей», которые определяют ненормальное положение еврейского вопроса, Салтыков отводит «преданию», о котором пишет, что хотя оно давно уже утратило смысл, но и доселе сохраняет «свою живость». Речь идет, разумеется, о евангельском «предании», хотя оно и не названо. Согласно повествованию евангелистов, Иисус Христос был казнен на кресте по воле иудейских первосвященников и воинов, потребовавших от прокуратора Рима, Пилата понтийского, не хотевшего смерти Иисуса: «Распни, распни его!..» — и клятвенно заявивших при этом от имени всего народа еврейского: «Кровь его на нас и на детях наших!..»

С поразительной смелостью Салтыков пишет об этом повествовании, принадлежащем главнейшей из «священных» книг христианской религии: «Нет ничего бесчеловечнее и безумнее предания, выходящего из темных ущелий далекого прошлого и с жестокостью, доходящей до идиотского самодовольства, из века в век переносящего клеймо позора, отчуждения и ненависти на все еврейское племя».

Объяснение происхождения антисемитизма ранне-христианским мифом и религиозным фанатизмом не научно. Оно грешит историческим идеализмом; оно узко и недостаточно. Но обличительная критика «предания» в выступлении Салтыкова не была ни беспредметной, ни несвоевременной. Враждебная по отношению к евреям эксплуатация евангельской легенды в самом деле служила на протяжении веков действенным оружием в агитационно-идеологическом арсенале антисемитизма. Оружием этим широко пользовалась реакция и в царской России. Сам глава самодержавной власти император Александр III написал однажды на ходатайстве об улучшении положения евреев: «Если судьба их печальна, то она предначертана Еван-

[1] «Дневник Е. А. Перетца». М.—Л., 1927, с. 130—133.

гелием»[1]. Эта же мысль, вольно или невольно, внушалась с детских лет массам верующих христиан домашним, школьным и церковным чтением Евангелия.

Среди причин, содействующих сохранению «незыблемости предания», Салтыков подчеркивает две. Первая — «несознанные капризы расового темперамента», то есть те или иные проявления еврейского племенного типа и характера. К этому ниже добавлено указание на необычность для русского человека «образа жизни еврея», «внешней его складки», «манеры говорить, ходить, одеваться» — то есть указания на все то, что сформировалось и поддерживалось в еврейском народном быте традицией и изолированным существованием еврейских масс в условиях гетто и местечек, в специфической обстановке черты оседлости и власти раввината. Вторая причина — «совершенно произвольное представление о еврейском типе на основании образцов, взятых не в трудящихся массах еврейского племени, а в сферах более или менее досужих и эксплуатирующих». Разъясняя эту причину, Салтыков один из первых — если не первый — в русской литературе, применяет *социальный подход* к еврейскому вопросу.

Салтыков отвергает «сплошной» взгляд на еврейскую среду и ее отдельных представителей. Как и в любой другой общественной среде, в ней действуют законы социального расслоения. Есть еврейская буржуазия (во всех ее модификациях — от местечковых арендаторов и шинкарей до космополитических банкиров-миллионеров), и есть еврейские трудящиеся. Салтыков ставит рядом с ранее созданными им фигурами отечественных кулаков-мироедов Деруновым, Колупаевым и Разуваевым их еврейских собратий. И те и другие осуществляют беспощадную эксплуатацию людей нужды и социальной придавленности. Деяния Разуваева-русского и Разуваева-еврея — «одинаково омерзительны». «Кому же, однако, приходило в голову,— спрашивает Салтыков,— указывать на Разуваева как на определяющий тип русского человека?» И продолжает,— формулируя главный обличительный тезис статьи: «А Разуваева-еврея непременно навяжут всему еврейскому племени и будут при этом на все племя кричать: ату!»

Отослав в цензуру августовскую книжку с «Июльским веянием», Салтыков писал Белоголовому: «Трудно было отделить еврейский вопрос от вопроса о Поляковых, Заках и Варшавских, но, кажется, успел» (письмо от 11 августа 1882 г.). Действительно, внеся в еврейский вопрос критерии различия между евреями-эксплуататорами и евреями эксплуатируемыми, взглянув на него с точки зрения социального этизма демократа-просветителя — с *точки зрения «справедливости, сознания братства и любви»*,— Салтыков «успел» во многом правильно осветить этот вопрос. Но внести полную ясность в проблему с позиций своего просветительского мировоззрения Салтыков не мог. И на вопрос, почему же, однако, «мы с такой легкостью отождествляем» еврея-хищника, представителя «концессионерских безобразий и проделок», с рядовым членом еврейской массы, с евреем

[1] «Дневник Е. М. Феоктистова». Запись от 22 февраля 1891 г. ИРЛИ, ф. 9122 II-б 54, л. 26.

трудящимся, писатель дает лишь предположительный и неясный ответ.

Но в конкретной обстановке того исторического момента важны были не столько научная четкость и полнота отдельных формулировок, направленных против антисемитского угара реакции, сколько общее направление и дух выступления писателя-демократа. Исполненное гневного обличения «еврейской травли» и глубины понимания «неистовства» трагедии, тяготеющей над «замученным еврейством» социальных низов, «Июльское веяние» явилось первым в русской литературе отпором *такой* общественной силы против преследования евреев. За ним, на более поздних этапах, последовали выступления Л. Толстого, Короленко, Горького и др.

«Июльское веяние» вызвало озлобленное негодование со стороны всех органов реакционно-националистической печати. Они обвиняли Салтыкова в «тенденциозном заигрывании с еврейским вопросом», в «набивании себе либеральной цены», в «кощунственном отношении к святому Евангелию», в «глумлении над собственным народом» и т. д. и т. п. (статьи в «Новом времени», «Гражданине», «Киевлянине» и др.). Напротив того, в демократических кругах статья была расценена как одно из наиболее выдающихся публицистических выступлений писателя. Находившийся в ту пору в Швейцарии Г. З. Елисеев, где он общался с тамошними русскими революционными эмигрантами, писал Салтыкову по прочтении августовской книжки «Отеч. записок»: «Перл ее составляет, конечно, «Июльское веяние», которое здесь, как и везде, производит общий восторг. «Рассвет» хотя и витиевато, но очень метко выразил значение этой статьи для России [1]. Такое резюмирующее, веское, авторитетное слово было необходимо сказать по вопросу, который мутит не только Россию и Европу и наделал столько бед. Было бы очень хорошо, если бы время от времени, оставляя эзоповский язык, Вы так прямо и авторитетно высказывались и по другим проклятым вопросам, подписываясь под статьями своим полным именем. Да, Ваше имя теперь настолько авторитетно в России, что не только имеете право, но и *должны* говорить, как *власть имеющий*» [2].

«Июльское веяние» было перепечатано (вторая половина статьи) или процитировано во многих еврейских периодических изданиях, русских и зарубежных, а также издано отдельной брошюркой [3]. На похоронах Сал-

[1] В передовой статье № 34 от 22 августа 1882 г. петербургский журнал «Рассвет» — «еженедельный орган русских евреев» — писал о статье Салтыкова: «Мнение <...> литератора с могучим талантом и силою глубокого, искреннего убеждения — это своего рода властный голос лучшей части общества: голос, подчиняющий себе бескорыстные суждения меньших умов».

[2] «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину». Подг. текста и примеч. И. Р. Эйгеса. Изд. Всесоюзн. библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1935, с. 91 (письмо от 5 сентября 1882 г. из Берна).

[3] М. Е. Салтыков (Щедрин). Еврейский вопрос. Варшава, изд-во «Правда», 1906, 16 стр. В серии: «В защиту гонимого народа», № 1. Эта же брошюра была издана в 1909 г. книгоиздательством «Правда» в Петербурге, 12 стр. И в том и в другом изданиях брошюра начинается предисловием анонимного автора: «Несколько слов о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине по отношению его к еврейскому вопросу».

тыкова на его могилу был возложен «венок из терниев», с надписью: «От благодарных евреев».

Стр. 229. *...дернуло околоточного на Петербургской стороне две души загубить!* — Убийство околоточным надзирателем Ивановым купца Низовцева и его служительницы было совершено с целью ограбления. Сообщения об этом сенсационном убийстве во множестве печатались в петербургских газетах начиная с 21 июня 1882 г.

...устроился на даче под Петербургом.— Лето 1882 г. Салтыков с семьей жил на даче в Ораниенбауме.

Катков с Аксаковым в Москву зовут, Булюбаш — в Полтаву...— Сатирические стрелы по адресу представителей великорусского и украинского национализма.

Стр. 230. *Довольно поболтали. Налгали с три короба...*— Одна из салтыковских оценок демагогического фразерства и лжи эры «народной политики», главным деятелем которой был министр внутренних дел гр. Н. П. Игнатьев. Подробнее см. в «Письмах к тетеньке», особенно в «Письме втором», тему которого Салтыков определил словами: «О лгунах и лганье» (ср. также в письме к Белоголовому от 19 июля 1882 г. слова об «игнатьевской болтовне»).

...мажорные тоны... сменяются минорными, а минорные — мольными...— По-видимому, ошибка: лат. слово moll (мягкий) — другое наименование *минорного* же лада.

...прекрасные незнакомцы — представители полицейской власти.

Стр. 232. *...при «правовом порядке» (псевдоним).*— Здесь и ниже эзоповские иносказания основываются на приеме иронического переосмысления политических терминов в значении, противоположном их реальному содержанию. Так, «п р а в о в о й п о р я д о к» означает — бесправие, «р е ф о р м а» — сохранение в неприкосновенности социального статус-кво и т. п.

Ведь справляются же с литературой. Не писать о соборах, ни об Успенском, ни об Архангельском, ни об Исаакиевском — и не пишут. Вот о колокольнях (псевдоним) писать — это можно, но я и об колокольнях писать не желаю.— Отклик на цензурную политику властей, запрещавших писать о конституционном строе (с о б о р — земский собор) и поощрявших пропаганду строя самодержавного (к о л о к о л ь н я — столп, как опора чего-либо, в данном случае царизма).

Стр. 234. *...«жизнь духа»... «дух жизни»... «оздоровление корней»...*— фразеологизмы славянофильской и националистической литературы, поэзии (А. Хомяков) и публицистики (И. Аксаков и др.).

И «ключей» требовала, и Босфору грозила... и на кратчайший путь в Индию указывала...— Перечисляются декларации и акты внешней политики России конца 70-х — начала 80-х годов, направленных на борьбу с английским влиянием в Турции и проливах, с одной стороны, и в Средней Азии — с другой. О «ключах» — от Храма Рождества Христова в Вифлееме

и от Храма гроба господня в Иерусалиме — см. в наст. изд. т. 11, стр. 616—617 и т. 14, стр. 578. См. в т. 14 примеч. к гл. IV «За рубежом».

...помните ли Вы сказку о «Диком помещике»? — Эта «сказка» Салтыкова была напечатана в «Отеч. записках», 1869 г., № 3 (см. ее в т. 16, кн. первая).

...улетели народные политики... — Имеется в виду увольнение с поста министра внутренних дел сначала М. Т. Лорис-Меликова, а потом гр. Н. П. Игнатьева, главных деятелей эры «народной политики», и назначение на этот пост в мае 1882 г. последовательного идеолога и проводника реакции гр. Д. А. Толстого.

Стр. 236. *...стигматизированный.* — Стигмой или стигматом называли в древней Греции клеймо, которое выжигалось на теле раба или преступника.

...называют их «татями»... — то есть ворами, грабителями (церк.-слав.).

Стр. 239. *...Оржешко «Могучий Самсон».* — Оценка в «Июльском веянии» этого рассказа польской писательницы вызвала ее на благодарственное обращение к автору. В письме из Гродно от 31 октября 1882 г. она писала Салтыкову: «...Вы изволили напечатать в уважаемом и прекрасном Вашем журнале («Отечеств. зап.») некоторые из моих повестушек в переводе на русский язык [1]. Я уже давно собиралась поблагодарить Вас за это. Теперь я прочла в Вашей статье «Июльское веяние» об одной из них несколько столь лестных для меня слов, что дальше откладывать осуществление моего намерения не могу и шлю Вам сердечное спасибо. Похвала такого писателя и мыслителя, как Вы, внушает человеку доверие к собственным силам, вместе с тем укрепляет их... Кроме того, меня несказанно обрадовало единомыслие наше во взглядах на несчастный еврейский вопрос. Хотя я почти уверена, что Вы по-польски не читаете, но тем не менее я осмеливаюсь доставить Вам мою брошюру по этому вопросу [2]... Пусть она иногда напоминает Вам искреннюю почитательницу Вашего таланта. Мы все, впрочем, Вас хорошо здесь знаем и, восторгаясь блестящими достоинствами Ваших трудов, относимся с величайшим уважением к возвышенным и глубоким мыслям, которые Вы в них высказываете» [3].

[1] Среди произведений Э. Ожешко (Оржешко), напечатанных в «Отеч. записках» — все в переводе Р. И. Сементковского — был и рассказ «Могучий Самсон», посвященный изображению бедственного положения еврейского населения в западных губерниях. Он появился в декабрьской книжке журнала за 1880 г.

[2] Была послана брошюра Э. Ожешко «O Żydach» («О евреях»), изд. в 1881 г. в Вильне.

[3] Перевод письма с польского был сделан по просьбе Салтыкова Р. И. Сементковским («Русская старина», 1912, № 4, с. 47—52). Ответ Салтыкова неизвестен.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

(Стр. 240)

Впервые — *ОЗ*, 1884, № 2, отд. II, стр. 255—264 (вып. в свет 18 февраля). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Dixi».

В *Изд. 1884* текст перепечатан с незначительной стилистической правкой.

После первого марта 1881 года революционное движение «шло на убыль и падало» [1]. За 1881—1883 гг. правительству удалось расправиться с основным ядром своих главных политических противников — народовольцев. Переломным оказался именно 1883 год, когда, благодаря крупнейшей провокации, учиненной Г. П. Судейкиным с помощью предателя Сергея Дегаева, «погибла под ударами царизма... старая «Народная воля» [2]. Широкий либеральный фронт в панике отступал перед силами укрепившейся реакции.

Идейные «итоги» этого года и подводятся в настоящем очерке Салтыкова. Всей системой развитых в нем положений он перекликается с «Пошехонскими рассказами» (вечер пятый, «Пошехонское «дело»). В очерке сатирически запечатлен основной «тон общественного мнения» этой поры — «тон» отступничества, отказа от высоких революционных целей («витания в эмпиреях») и даже от скромных либеральных надежд («легкомысленных» «возгласов»).

Передовые идейные стремления, ошельмованные в качестве бесплодных «эмпирейных витаний», дворянско-монархическая реакция попыталась заменить демагогическим лозунгом «дела». У Салтыкова он иронически сформулирован так: «чтобы спастись, нужно не «чужое», не «иностранное», а «свое собственное», и притом «настоящее», дело найти». Салтыков сатирически использовал здесь систему политических эвфемизмов, которые широко применяла охранительная публицистика. Под «чужим», «иностранным» делом она подразумевала не только революционные действия, но и буржуазно-демократические, конституционные намерения русских либералов. Страницы «Моск. ведомостей» пестрели такими, например, «обобщениями»: «...под влиянием чужих доктрин померещилось, будто движение реформ ведет у нас к ограничению верховной власти, олицетворяемой монархом» [3], «наши газетные преобразователи являются сущими иностранцами <...> они смотрят на нашу родную действительность сквозь вопросы, возбужденные западною жизнью» [4].

Но то, что адепты реакции считают «своим собственным», «настоящим» делом, есть, как доказывает Салтыков целой серией выразительных сатирических эпизодов, либо полицейское доносительство, либо обыватель-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7, с. 123.

[2] См.: Н. А. Троицкий. «Народная воля» перед царским судом. 1880—1891. Саратов, 1971, с. 102.

[3] Передовая.— *МВ*, 1884, 12 января, № 12.

[4] Ивашкин. Из деревни.— *МВ*, 1884, 13 февраля, № 44.

ская суета, либо хищнический стяжательский ажиотаж. Истинная подоплека толков о «деле»,— доказывает Салтыков,— реставраторские крепостнические вожделения («Вот кабы вход в крепостное право какимнибудь чудом опять открылся...»), осуществление которых способно только обессмыслить жизнь, лишить ее исторических перспектив.

Серьезность салтыковского общественного «диагноза» была с раздражением встречена некоторыми рецензентами: «Публицисты «Отечественных записок» констатируют следующий факт: нельзя не видеть и не чувствовать, как пресекся теперь живой нерв русской публицистики,— пишет корреспондент «Новороссийского телеграфа»,— общественные дела занимают ее гораздо меньше, и она видит себя лишенною прежнего значения...», но «во всяком случае, нет никаких резонов кричать: караул... Зачем же унывать и на других тоску наводить?» [1]

Стр. 240. *...кроме литературы, которой прошлый год принес одни утраты.*— Салтыков имеет в виду репрессии против передовой журналистики (22 января 1883 г. было объявлено второе предостережение «Отеч. запискам», предопределившее участь журнала), последовавшую 22 августа (3 сент.) того же года смерть Тургенева, на которую сатирик откликнулся некрологом (*ОЗ*, 1883, № 9).

...недавний юбилей российской академии...— В октябре 1883 г. отмечалось столетие императорской Российской академии, которая была учреждена при Екатерине II отдельно от Академии наук для разработки русского языка и словесности (в 1841 г. присоединена к Академии наук как одно из отделений).

«Sursum corda!» — «Горé имеем сердца», то есть — возвысьте сердца (*лат.*), библейское выражение («Плач Иеремии», III, 41).

Стр. 241. *...литургию верных пропой...*— Литургия верных — третья часть главнейшего богослужения христианской церкви, на которой могли присутствовать только верующие и не допускались «оглашенные» (готовящиеся к крещению).

...поездка вокруг света на сдаточных.— «Ехать на сдаточных — на переменных лошадях, не на почтовых, а с передачей от ямщика к ямщику» (В. И. Даль. Толковый словарь..., т. IV, стр. 166).

...с толком, с чувством, с расстановкой.— Цитата из монолога Фамусова («Горе от ума» Грибоедова, действ. II).

...в керемéть убежит.— Кереметь — «чувашская, черемисская или вотяцкая божница, капище» (В. И. Даль. Толковый словарь..., т. II, стр. 105). Хорошим знанием быта вотяков Салтыков обязан своей ссылке в Вятку и многолетней службе там.

...в <...> богом хранимой хижине.— Вольно процитированная строка песни Марии из юношеской мелодрамы Некрасова «Материнское благословение, или Бедность и честь» (1842).

[1] Эхо. Фельетон. Журналистика.— «Новороссийский телеграф», 1884, 9 марта, № 2720.

Стр. 243. *...к говору трактирных завсегдатаев прислушивался (vox populi)* — «Послушать, что говорят» о различных политических событиях «прислуга в домах, лавочники в своих подвалах, извозчики на улицах», всерьез призывали «Моск. ведомости» (1878, 6 апреля, № 89), выдавая эти толки за голос «простого народа» (vox populi — усеченный латинский афоризм — vox populi, vox Dei: глас народа — глас божий; латинские цитаты служили непременным стилистическим украшением передовиц Каткова).

...с сведущими людьми совещался... — См. примечания в т. 14, стр. 628 и в 1 кн. 15 т., стр. 370.

...на смену славянофилам, появились какие-то выморочные бонапартисты, которые могут только в трубы трубить... — Об отношении Салтыкова к славянофильской доктрине — см. в т. 5, стр. 536—539, 565. В 1880-е гг. славянофильскую фразеологию («исконные русские начала», «народный дух», «здравый народный смысл») взяла на идейное вооружение придворно-монархическая верхушка, пытавшаяся террористическими методами искоренить революционность в России («выморочные бонапартисты»).

...проекты умственного и нравственного оздоровления... — Термин «оздоровление» попал в публицистический словарь 80-х годов из последнего выпуска «Дневника писателя» Достоевского (1881 г., январь): III часть главы первой в нем называлась: «Забыть текущее ради оздоровления корней. По неуменью впадаю в нечто духовное». В расшифровке послепервомартовской реакции «оздоровление» означало совершенно иное — усиление борьбы с революционной идеологией.

...извещения пишет — политические доносы.

Стр. 245. *...доктор Кене, глава физиократов <...> говаривал: «дама, которая покупает шаль, подает милостыню бедняку».* — Ф. Кене в «Экономической таблице» (1758), которую далее отчасти пародирует Салтыков, стремился проследить обращение продукта национального производства между различными классами общества: «класс землевладельцев», покупая у «класса бесплодных» (рабочих, фабрикантов, торговцев) промышленные товары, позволяет последнему на вырученные деньги купить продукты питания у «класса фермеров». Кене и его экономические построения (несостоятельность которых была очевидной в 1880-е гг.) Салтыков мог вспомнить по невольной аналогии: экономика России испытывала большие трудности, как это было и во Франции перед революцией 1789 г.; разоренное крестьянство было не в состоянии с полученных в 1861 г. наделов погасить выкупные платежи, росла огромная недоимка, предпринимавшиеся паллиативные экономические меры не облегчали положения.

Стр. 246. *...это она... ценность кредитного рубля поднимает...* — Расходы в связи с русско-турецкой войной 1877—1878 гг. вызвали экстренные выпуски кредитных билетов. Широкую агитацию в пользу чрезвычайного выпуска бумажных денег тогда же развернул Катков (*МВ*, 1879, 2 июня, № 138), но курс кредитного рубля неуклонно падал и к концу

1882 г. составлял 62 коп. (см.: С. Н. Кривенко. По поводу внутренних вопросов.— *ОЗ*, 1882, № 9, стр. 144).

...когда адвокатское сословие впервые выступило на арену общественного служения, я был очень этим обрадован.— Институт адвокатуры был введен судебными уставами 20 ноября 1864 г.; кроме корпуса присяжных поверенных, включал также частных поверенных. Это означало несомненный прогресс в отечественном судоустройстве. Правительство в ходе подготовки реформ «вплоть до отмены крепостного права отрицательно относилось к идее учреждения в России адвокатуры по западноевропейскому образцу» (Б. В. Виленский. Судебная реформа и контрреформа в России, Саратов, 1969, стр. 177).

Стр. 248. *...в «Московских ведомостях» и тогда уже писали, что они основы потрясают...*— Газета Каткова относила адвокатуру к «недостаткам, вкравшимся в административный механизм» (*МВ*, 1878, 2 мая, № 110).

...обстоятельства такие пристигли, что не до адвокатов было...— Намек на обострившуюся с 1879 г. борьбу «Народной воли» с царским правительством (политические покушения на деятелей государственного аппарата и на самого Александра II, завершившиеся его убийством 1 марта 1881 г.).

Стр. 249. *...дело о травле городских обывателей в пользу общества водопроводов.*— 20 марта 1884 г. в СПб. окружном суде рассматривалось дело «Общества петербургских водопроводов» с городской управой, которая дважды штрафовала общество за подачу грязной воды; поверенный общества П. А. Потехин доказывал несостоятельность претензий управы, так как в контракте отсутствовал пункт, предусматривающий мероприятия по очистке воды (*СПб. вед.*, 1884, 21—25 марта, № 80—84).

...я об той части литературы говорю, деятели которой называются «разбойниками печати» и «мошенниками пера»...— См. тт. 12 и 14 наст. изд., стр. 604 и 718.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

(Стр. 249)

Впервые — *ОЗ*, 1884, № 3, отд. II, стр. 113—126 (вып. в свет 16—18 марта). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Dixi».

В *Изд. 1884* статья перепечатана с незначительной стилистической правкой и изъятием двух заключительных абзацев — «воззвания» о денежной помощи «бедствующему» Литературному фонду (этот вариант текста *ОЗ* приводится ниже в комментариях).

В статье продолжается разработка темы (одной из постоянных у Салтыкова), начатой в предыдущем фельетоне: обличение бездуховной обыденности и низменного своекорыстия «дел», лишенных общественного идеала. Демонстрируется несколько обосновывающих это обличение примеров, которые взяты из бытовой повседневности текущих дней. Но приводимый хроникальный материал образует лишь внешний «предметный»

слой сатирико-публицистического повествования. Суть же его — в тех размышлениях, которыми писатель сопровождает свою демонстрацию социально-отрицательного материала. Так, сообщение о полученном по почте «объявлении», листовке-монстр, рекламирующей изуверское изобретение неким Кунцем «гигиенических кушеток» для «наилучшего сечения» школьников, вызывает Салтыкова, с одной стороны, на гневно-карающее осуждение «изобретателя» («каторги... ему... мало»), а с другой стороны, на исполненное своеобразного лиризма признание национально-патриотического характера («я все-таки очень рад, что кушетки эти изобрел Кунц, а не Иванов» и т. д.). Вместе с тем «достижение» современности в усовершенствовании применения розги в педагогике пробуждают у писателя воспоминания о годах своего школьного детства. Из-под его пера выходят страницы мемуарной прозы — источник уникальный для соответствующего периода биографии писателя. Наряду с этим обогащаются интересными мыслями и обобщениями автора и другие злободневные элементы фельетона (см. рассуждения по поводу «постов», петербургских «раутов» и «вечеринок», с модными в тот сезон «спиритическими сеансами», и заключительного эпизода с чествованием немецкого писателя Ф. Шпильгагена).

В той же 3-ей книжке *ОЗ* за 1884 год, в которой появилась комментируемая статья Салтыкова, был напечатан очередной очерк из цикла Гл. Успенского «Волей-неволей». Делясь впечатлениями от этих двух выступлений, В. С. Серова (жена композитора и сама композитор, музыкальный критик и общественный деятель) писала М. Я. Симонович-Львовой: «Все, что есть мучительного в наше время, все это вылилось у Успенского из-под пера... Щедринская статья, под псевдонимом «Dixi», просто ужаснейшие страницы нашей жизни. Статья состоит в простом объявлении («Кушетки»). Я не в силах отделаться от впечатлений, полученных от этих двух статей» [1].

Стр. 253. *Публичное воспитание я начал в Москве, в специально-дворянском заведении...* — Далее, до конца подглавки, Салтыков вспоминает о своем пребывании в Московском дворянском институте, куда был зачислен «пансионером» в 1836 г. и откуда в 1838 г. переведен в Царскосельский лицей. Биографический комментарий устанавливает достоверность как общей картины, так и деталей, сохраненных памятью писателя. Директор «заведения», «старый моряк», обозначенный инициалами С. Я. У.—капитан-лейтенант флота в отставке С. Я. Унковский, «сменивший его добрый человек, но не самостоятельный» — И. Ф. Краузе, «изобретатель субботников» сечения — инспектор В. К. Ржевский, производители «экзекуций» над воспитанниками — урядники в отставке, Кочурин и Кунцов, упомянутые под этими собственными их фамилиями, и т. д. (подробнее см.: Макашин, I, стр. 96—118).

[1] Третьяковская галерея. Отд. рукописей, Архив В. Серова, 49 (209).

...«питомцы славы».— Из стихотворения И. И. Дмитриева «Москва».

Стр. 255. *Кола* — река в уездном городе Архангельской губ.

Судиславль — заштатный город Костромской губ.

Стр. 256. *Чистый понедельник* — первый день (понедельник) Великого поста.

Теперь смута устранена.— Ироническое указание на политику реакции 80-х годов.

Ты прав, Платон, ты прав! наш дух не умирает! Сам бог, живущий в нас, в сей правде уверяет! — Этими словами начинается монолог Катона в последнем акте одноименной политической трагедии Д. Аддисона «Катон».

Стр. 257. *Suum quique* — одно из часто употреблявшихся Салтыковым латинских выражений, восходящих к трактату Цицерона «Об обязанностях» (I, 5, 14).

«Московские куранты»... без передовой диффамации.— См. примеч. к стр. 130.

Стр. 259. *Кротиков и Козелков* — образы пореформенных «молодых бюрократов» в салтыковской сатире 60-х годов («Помпадуры и помпадурши» и др.).

Стр. 260. *Монтеспанша, Ментенонша, Помпадурша...*— Переложенные на русское просторечие имена исторических куртизанок — фаворитки Людовика XIV маркизы де Монтеспан, фаворитки (потом жены) того же короля маркизы Ментенон, фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур.

Стр. 262. *Леонтий Васильевич* — Л. В. Дубельт, руководитель политической полиции при Николае I. Его главнейший осведомитель о литературе и литераторах Булгарин во время наполеоновских войн 1805—1807 гг. служил офицером в одном из русских полков, которым командовал Дубельт («отец-командир»), а в 1810 г. перешел в польские войска, организованные французами, и участвовал в походе 1812 г. на Россию («ренегат»). В 1814 г. Булгарин был взят в плен, амнистирован и остался в России. Его имя стало синонимом продажного литератора и политического доносчика («душа Булгарина улетает... а в комнате распространяется легкий смрад»).

Бак-Нин — город в Тонкине (теперешнем Северном Вьетнаме), при устье Красной реки; приобрел известность в 1883—1884 гг. вследствие ожесточенных боев за него французских колониальных войск.

Шпильгагена чествуют, а вот про то, что в Петербурге существует Общество для пособия русским литераторам и ученым... никто знать не хочет.— Салтыков высоко ценил Фр. Шпильгагена, автора романов «Из мрака к свету» (1861—1862), «Один в поле не воин» (1866) и др., ставил его в один ряд с «Диккенсами» и «Жорж Зандами» и писал о нем в статье «Уличная философия» (1864): «мы считаем его талантливейшим из современных беллетристов, дающим роману совершенно новое содержание» (т. 9, стр. 74). Но Салтыков резко отрицательно отнесся к той помпезности, с которой либеральные литературные круги обставили приезд Шпильга-

гена в Петербург на премьеру своей драмы «Gerettet». В связи с этим был образован комитет для чествования (под председательством Краевского), который решил встретить немецкого писателя хлебом-солью, преподнести ему золотой венок, устроить по подписке обед петербургских литераторов и вечер от Литературного фонда. По инициативе Стасюлевича участие в чествовании Шпильгагена приняла и Петербургская Городская дума. Городской голова, капиталист-книгоиздатель и книгопродавец И. И. Глазунов и член Управы нанесли немецкому гостю визит. Все эти помпезные и дорогостоящие манифестации, выдававшиеся за оппозицию правительству, вызвали тем большее недовольство у Салтыкова, что наложились на горестное впечатление от юбилейного, по случаю 25-летия существования Литературного фонда, заседания его Комитета (2 февраля 1884 г.). На заседании говорилось о трудном и шатком материальном положении этой организации, в деятельности которой Салтыков принимал живейшее участие. Обращенное же к Шпильгагену приглашение «читать» в пользу Литературного фонда Салтыков счел недопустимым для чести русских литераторов «попрошайничеством».

В журнальной редакции реплика о чествовании Шпильгагена завершалась призывом жертвовать деньги на поддержание Литературного фонда. После абзаца на стр. 110: «Право, лучше бросить...» — следовал заключительный текст:

«Кстати, вот и адрес председателя комитета Общества нуждающимся литераторам и ученым: Виктор Павлович Гаевский, Литейная, 42. От Думы это не особенно далеко. Стало быть, стоит только, по окончании думского заседания, съездить на Литейную и внести по усердию. Кто внесет пятьсот рублей — поступит хорошо; кто внесет тысячу рублей — поступит еще лучше. А с г. Глазуновым, который кое-что об «книжке» слыхал и знает, чем она пахнет, нельзя помириться дешевле, нежели на миллионе ста тысячах рублях.

В будущем месяце я сообщу читателям о плодах этого воззвания, но уже и теперь довольно отчетливо представляю себе, какие это будут плоды!»

Но на следующей книжке «Отеч. записок» журнал был прекращен правительством, и Салтыков не мог выполнить обещания сообщить читателям «о плодах» своего обращения. Однако оно было дважды перепечатано Сувориным в «Новом времени» (18 и 19 марта) и в третий раз процитировано с сочувственными комментариями в его очередном фельетоне серии «Письма к другу» (подпись: Незнакомец). Это обстоятельство, равно как и сама позиция Салтыкова, вызвали возражения со стороны М. М. Стасюлевича и Г. З Елисеева. См. в наст. изд. ответные письма им Салтыкова от 19 марта и 1 апреля 1884 г. и соответствующий комментарий к ним.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

(Стр. 263)

Впервые — *ОЗ*, 1884, № 4, отд. II, стр. 277—292 (вып. в свет после 5 мая). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Dixi».

В *Изд. 1884* текст перепечатан с небольшой стилистической правкой.

В утверждении послепервомартовской реакции важная роль принадлежала охранительной печати, которая порою шла впереди событий, побуждая власть к расправам с «крамольниками», указывая на «сочувствующих», разжигая обывательский страх перед революцией. Салтыков, как доказывают его письма 1881—1884 гг., весьма серьезно относился к общественной опасности, которую представляла эта подстрекательская деятельность. Н. К. Михайловский вспоминал: «Щедрин не любил <...> в особенности того фальшивого <...> течения, которое как бы захватило в свои руки монополию патриотизма. Этому ненавистному для Щедрина течению часто от него доставалось, его мощное слово не раз посрамляло его представителей» [1].

В ряду этих выступлений настоящая статья примечательна тем, что здесь писатель вышел против реакционной прессы с открытым забралом, не прибегая к иносказаниям, опираясь на свой «грозный авторитет» (С. Н. Южаков), литературный, общественный и моральный. Статья является как бы публицистическим резюме и комментарием к системе сатирических образов, посвященных охранительной печати в «Современной идиллии», «Письмах к тетеньке», «Пошехонских рассказах».

В статье явно обнаруживается ближайший объект сатирической критики — «первое перо» консервативного лагеря, издатель «Моск. ведомостей» и «Рус. вестника» М. Н. Катков. В реакционном стане он занимал особое место по силе своего влияния на правительство, громадному авторитету в высших бюрократических кругах [2]. В феврале 1884 года он сам в письме к Александру III удовлетворенно заявил: «Моя газета была не просто газетой, а <...> органом государственной деятельности. В ней не просто отражались дела, в ней многие дела делались» [3]. О том, что Катков «торжествует официально», в 1881—1884 гг. Салтыков не раз писал своим многочисленным корреспондентам. Но дело было не только в этом. Катков имел также веское литературное имя в достаточно широком читательском кругу и при жизни получал такие аттестации: «Кого можно счесть по силе, по дару и влиянию на поприще политической словесности — чем-то равносильным Пушкину на поприще словесности изящ-

[1] Н. К. Михайловский. Памяти Щедрина. В кн.: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., 1957, с. 319.

[2] См.: Б. П. Балуев. Политическая реакция 80-х гг. XIX века и русская журналистика. М., Изд. МГУ, 1971, с. 82—98.

[3] Цит. по кн.: П. А. Зайончковский. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., «Мысль», 1970, с. 70.

ной? Конечно, Каткова! Конечно, всякий, даже и ненавидящий его лично человек, должен повторить <...>: «он — личный враг мне, или я ему враг, но он первый и величайший русский публицист!» [1]

В то же время, оттолкнувшись от конкретного «прототипа», Салтыков, как всегда, ведет речь не только о нем, но имеет в виду идейные тенденции всех «консерваторов-публицистов», «проделки», свойственные «охранительной публицистике» как направлению. Развенчание ее было актуальнейшей задачей в эпоху уже начавшихся «контрреформ», когда дворянско-монархические силы стремились, насколько возможно, аннулировать буржуазно-демократические преобразования, вырванные революционным натиском 60-х годов, и повернуть страну вспять.

Писатель подверг последовательному критическому анализу созданную охранительной пропагандой реакционную утопию «исконных русских начал», согласно которой «призрак так называемой политической свободы» [2], «ненародные стремления» к революционному переустройству действительности являются «несомненным исчадием <...> интеллигенции» [3], внушены «нашей паршивой журналистикой», как охарактеризовал передовую печать Александр II [4]. Этой «умственной и нравственной смуте» демагогически противопоставлялся «здравый народный смысл» — формула, возводившая в апофеоз православно-монархические, консервативные черты крестьянского сознания.

В основании этой реакционной утопии лежали надежды па возрождение крепостничества («если б крепостное право опять народилось»); именно поэтому созданный ею «образ народа» оказался весьма противоречив. Привлекая материалы, опубликованные главным образом в «Моск. ведомостях» в первые месяцы 1884 года, Салтыков доказал, что с «идиллическим» обликом «благомысленного мужичка» — охранителя, врага революционных «подвохов», который рисовали катковские передовицы, находились в кричащем контрасте напечатанные здесь же рядом в виде различных «писем» и «откликов с мест» доносительского толка протесты крупных землевладельцев против деревенской «вольницы», будто бы созданной отменой крепостного права: «Проживать в деревне в настоящее время стало весьма тягостно, особенно землевладельцам. Имея в соседстве меньшую братию, которая теперь перестала считать что-либо для себя невозможным, землевладельцу каждый день приходится переносить неприятности» [5].

Другой «генеральной» темой реакционной печати были созданные судебной реформой 1864 года новые судебные учреждения. Эта реформа оказалась наиболее последовательно осуществленной. Поэтому новые

[1] К. Леонтьев. Катков и его враги на празднике Пушкина.— «Варшавский дневник», 1880, 21 июля, № 155.

[2] Передовая.— *МВ*, 1884, 28 января, № 28.

[3] Передовая.— *МВ*, 1880, 7 марта, № 66.

[4] «К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, полутом 1, ГИЗ, 1923, с. 49.

[5] Б. Со станции Кологривовки Тамбовско-Саратовской дороги.— *МВ*, 1884, 23 марта, № 82.

формы судопроизводства: гласный и состязательный процесс с участием присяжных заседателей, независимость суда от администрации, несменяемость судей быстро вызвали «бурю, в которой первую скрипку со свойственным ему вредным талантом начал играть Катков»[1].

Салтыков сам критиковал, но с принципиально иных позиций, несовершенство этого института — буржуазного по своей природе, стоящего на страже общества собственников (см. статьи 3, 5 и примеч. к ним). Но здесь он взял под защиту «новый суд» как учреждение буржуазно-демократическое («выразитель известного уровня общественного и народного самосознания») и безусловно прогрессивное в стране, отягощенной пережитками феодализма. Олицетворяемый этим судом принцип «закона» должен был — хотя бы теоретически — ограничивать произвол самовластия, что верно уловил Катков[2], имея союзника и единомышленника в издателе «Гражданина» князе В. П. Мещерском.

Эти попытки ограничения Катков и окрестил «расхищением власти». Главной темой передовиц (в январе — апреле 1884 г.) он сделал критику судебных учреждений, доходя в своем охранительном неистовстве до проклятий прокуратуре, адресуя упреки в неблагонадежности Сенату. Внешним поводом для этих нападок послужило дело волчанского исправника П. Х. Зографа, в феврале 1883 года осужденного харьковской судебной палатой за превышение власти, которого «Моск. ведомости» взяли под защиту. В споры вокруг этого дела включается и Салтыков. Но полемика идет не об оценке данного случая, но об «образе правления» — о принципе неограниченной власти, который защищал Катков: «Монарх в России есть не только глава администрации: он единственный над страной законодатель, и его воля выше всех законов». Салтыков же самый принцип «неограниченной власти» сатирически разоблачал (в «аллегорическом сновидении» об исправнике) как «бесплодную» и неразумную политическую форму.

Вскрывая внутренние противоречия, алогизм «лукавой мысли» ретроградов, сатирик доказывал, что временная победа реакции не отменяет неизбежной задачи — «отыскать для жизни новые, более плодотворные основания». Писатель в этом очерке выразил чувство идейного превосходства, идейной победы над людьми, «которые называют себя охранителями, а в сущности охраняют только прах» — общественный порядок, исчерпавший свое содержание.

Статья заставила критику размышлять о природе обобщений в произведениях Салтыкова и о том, что «многие еще не научились разбирать» его аллегории, что писатель «сделав из фактов действительной жизни глу-

[1] А. Ф. Кони. Сочинения, т. II. М., 1966, с. 184.

[2] «Самая чудовищная есть, конечно, водворившаяся у нас судебная доктрина, в силу которой новосозданные суды должны составлять из себя как бы некую самодержавную республику в пределах русского царства <...> это учреждение явилось и возросло в духе оппозиции. Оно сначала ограничивало служебную администрацию, что требовалось, но потом и самый принцип правительственной власти, что не требовалось...» — *МВ*, 1884, 12 января, № 12.

бокое обобщение, вслед за тем придает этому обобщению краски, взятые целиком из единичных фактов, и тем как бы приноравливает общую мысль к единичному случаю»[1].

Стр. 265. *Вспомните, читатель, что вопияла охранительная публицистика года три тому назад по адресу так называемой интеллигенции.*— Современная печать, наука, суд, вообще «интеллигенция» — «это нарумяненные и замаскированные холопы анархии, потрясения и злодейств»,— писал Б. М. Маркевич (Иногородний обыватель. С берегов Невы.— *МВ*, 1880, 21 февраля, № 51). К. Н. Леонтьев к слову «интеллигент» давал примечание: «Прошу благовоспитанного читателя простить «мне это хамское слово. Я его написал с кавычками» («Катков и его враги на празднике Пушкина.— «Варшавский дневник», 1880, 21 июля, № 155).

...дело Зографа, и дело Мельницкого <...> направление железных дорог, и транзит.— О деле Зографа см. вводную заметку, дело Мельницких было связано с хищениями в Московском воспитательном доме — по поводу их Катков вел атаку на новый суд; его газета поддерживала махинации железнодорожного дельца П. Г. фон Дервиза (см. *ОЗ*, 1875, № 4, «Внутр. обозрение»: «Реклама «Моск. ведом.» о П. Г. фон Дервизе», стр. 310—325); Катков ратовал за уничтожение закавказского транзита для иностранных товаров (см. подробно в примеч. к стр. 143).

Стр. 267. *...о поровёнке* — об уравнении земельных владений помещиков и крестьян.

Стр. 268. *...они одни секретом «рассказов из народного быта» обладают...*— Высшие достижения беллетристической школы «Современника» и «Отеч. записок» (В. Слепцов, Ф. Решетников, Н. Помяловский, Г. Успенский, Н. Успенский, П. Засодимский, А. Левитов, Н. Златовратский) были связаны с народной темой, раскрытием образа «мужика». «Рассказ из народного быта» — обычный подзаголовок в сочинениях названных писателей. Литераторы охранительного лагеря безуспешно пытались конкурировать с ними в этой области.

Так повествует охранитель-корреспондент из нижегородской деревни.— Салтыков сводит воедино ряд выступлений «Моск. ведомостей», в которых идет речь о положении в современной деревне (Из Ельца.— *МВ*, 1884, 4 января, № 4; Из деревни (Нижегородской губернии).— *МВ*, 1884, 13 февраля, № 44; Из Ельца.— *МВ*, 1884, 19 марта, № 78; Со станции Кологривовки Тамбовско-Саратовской жел. дороги.— *МВ*, 1884, 23 марта, № 82).

Стр. 269. *...купель силоамская* — целительная сила, выражение, восходящее к евангельскому сказанию об исцелении недугов (Иоанн, 9, 7, 11).

Стр. 271. *...не успеет заправский властелин поощрить Ивана Благонамеренного, как самозванец уже тащит его на скамью подсудимых.*— Об этом также сетовал Катков: «Когда люди из общества в наивном порыве

[1] Ал. Казанский. Журналистика.— «Эхо», 1884, 20 апреля, № 1159.

спешили бывало оказать содействие властям против вражеской пропаганды, им приходилось ведаться с юстицией и видеть себя в положении преступников» (Передовая.— *МВ*, 1884, 2 февраля, № 33).

...уфимско-оренбургское земельное расхищение? — См. примеч. «За рубежом», т. 14, стр. 561—562, и к «Современной идиллии», т. 15, кн. 1, стр. 353.

...«risum teneatis amici?» — цитата из Горация (Ars poëtica, 1—5), часто употреблявшаяся в «Моск. ведомостях».

Стр. 272. *Судей так-таки* <...> *называют «несменяемыми»* <...> *для присяжных заседателей даже сугубо-уморительную кличку придумали...*— Кампания против несменяемости судей вскоре увенчалась успехом: законом 20 мая 1885 г. было создано высшее дисциплинарное присутствие Сената, которое получило право смещения и перевода судей. Функции суда присяжных были ограничены еще в 1878 г., когда из его ведения были изъяты дела по политическим преступлениям; в 80-е годы происходило дальнейшее ограничение компетенции «безобразного института присяжных заседателей» (Передовая.— *МВ*, 1884, 24 января, № 24).

...адвокат Балалайкин — персонаж произведений Салтыкова «В среде умеренности и аккуратности», «Современная идиллия» (см. тт. 12 и 15).

Стр. 273. *...златоуст-то наш* — Катков.

В одной из газет я вычитал, что в одном из «Пошехонских рассказов» изображена «довольно темная аллегория...» — Салтыков «вычитал» приводимый им отзыв в газете «Новое время» от 22 марта / 3 апреля 1884 г. (№ 2897, стр. 2—3). Помещенный в этом номере анонимный обзор «Среди газет и журналов» начинался словами: «В последней книжке «Отеч. записок» «Пошехонские рассказы» г. Щедрина изображают довольно темную аллегорию, в которой, между прочим, действует «газетчик», отыскивающий революционеров для представления по начальству».

Стр. 274. *...и panis, и circenses* — хлеб и зрелища (*лат.*), от крылатой фразы «Panem et circenses!» — крик толпы в древнем Риме, требующей бесплатной пищи и развлечений.

Стр. 275. *...ввиду неравномерной растяжимости правила: «audiatur et altera pars»* — «пусть будет выслушана и другая сторона» (*лат.*). Речь идет о крайнем стеснении демократической и либеральной печати: за 1881—1883 гг. под градом репрессий прекратили свое существование «Молва», «Новая газета», «Порядок», «Страна», «Моск. телеграф», «Голос»; министр внутренних дел Игнатьев писал Победоносцеву, что может представить «список до пятидесяти газет и изданий, мною не разрешенных. Дальше идти нельзя» («К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, полутом 1, ГИЗ, 1923, стр. 94).

...аттической соли (ныне, благодаря безакцизности, она дешева) — Аттическая соль — выражение, восходящее к сочинению Марка Туллия Цицерона «Об ораторе», обозначающее утонченное остроумие, здесь упомянуто в связи с колкой язвительностью статей «классициста» Каткова; акциз (косвенный налог) на соль был отменен с 1881 г.

Стр. 276. *...исправник <...> по-старинному, сказать: городничий...*— Исправник осуществлял высшую полицейскую власть в уезде, административная должность городничего была упразднена в 1862 г. при реформе полиции.

Стр. 277. *...Отсель грозить мы будем шведу...*— Строка из поэмы Пушкина «Медный всадник».

...подобно древнему Девкалиону...— Герой греческого мифа, спасшийся от всемирного потопа, возродил человеческий род, бросая через плечо камни, которые превращались в людей.

Стр. 278. *...sic volo, sic jubeo* — так я желаю, так приказываю *(лат.)* — из VI сатиры Ювенала.

Насилу успевал секретарь думский приговоры о расточении сочинять...— намек на недавние массовые репрессии против участников революционного движения.

...caveant consules! — крылатая латинская фраза: «Пусть консулы будут бдительны» (в полном тексте — с завершением: «чтобы республика не понесла ущерба»).

Стр. 279. *...вроде древней Ниневии...*— столица ассирийского царства, огромный город, прославившийся распущенностью нравов его обитателей; разрушен в результате войны в 612 г. до н. э.

...адвокатское сословие получило неожиданный реприманд...— 13 марта 1884 г. в заседании уголовного кассационного департамента Сената с заключением по делу Мельницких (см. примеч. к стр. 263) выступил обер-прокурор Н. А. Неклюдов, который высказал общие соображения о правах защиты в судебном процессе, «предлагая <...> крупные меры для обуздания речей защиты», ограничение «свободы слова» адвоката (В. Д. Спасович. Дело Мельницких. Соч., т. VII. СПб., 1894, стр. 61).

...они — распинают закон...— Неклюдов заявил: «в настоящее время на суде нередко случается видеть печальное явление <...> состоящее <...> в стремлении безнравственное выставить нравственным, преступление не преступлением, искажая при этом законы религии, нравственности и законы государственные <...> стремление <...> распять и свидетелей, и потерпевших, обвинительную власть, даже самый закон» (*МВ*, 1884, 28 марта, № 87).

Стр. 280. *Адвокаты возражали г. Неклюдову печатно.*— Протест, подписанный Д. Стасовым, К. Арсеньевым, В. Спасовичем, А. Унковским, В. Люстихом, 24 марта 1884 г. опубликовало «Новое время» (№ 2899). Авторы утверждали: «Защита свободна. Предписывать ей план действий, внушать ей, какое должно быть ее содержание, равносильно уничтожению ее свободы, наложению на нее кандалов. Останется от нее декорация, в действительности орган будет атрофирован...»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

(Стр. 280)

Впервые в кн.: «Недоконченные беседы» («Между делом»). Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). СПб., 1885, стр. 200—206 (вып. в свет после 18 октября 1884 г.).

В письме к Белоголовому от 23 июня 1884 года Салтыков сообщал: «Готовил для майской книжки статью, и нельзя ее даже утилизировать». По предположению Н. В. Яковлева, здесь имелась в виду десятая глава «Недоконченных бесед» (*Изд. 1933—1941,* т. 20, стр. 63, 424).

Черновая рукопись отличается от печатного текста незначительными стилистическими расхождениями и следующим продолжением:

Но возвращаюсь к прерванному рассказу. Итак, я встретил прошедший праздник одиноко; ни сам визитов не делал, ни к себе визитеров не ждал. Сидел перед пасхальным столом и оживлял торговлю. На третий день, однако ж, одиночество мое было нарушено самым приятным образом: меня посетил старинный мой приятель Глумов.

Давненько-таки мы с ним не видались, хотя ни я, ни он не выезжали из Петербурга. Такая уж особенность нынешнего времени: люди исстари ведут дружбу и хлебосольство — и вдруг, словно под каким-то наитием взглянут друг на друга, мысленно молвят: — Эге! — и разом обрежут. В последний раз я виделся с Глумовым месяца три тому назад. Он зашел ко мне, и мы, по обыкновению, дружески беседовали. Тем не менее он как будто был озабочен. Ходил по комнате, напевал и вдруг, в то время когда я только начал излагать какой-то пошехонский анекдот, он совсем неожиданно прервал меня словами:

— Однако согласись, голубчик, что так нельзя!..

— Что такое нельзя?

— Нельзя все одну сторону медали показывать! Нельзя! Не такое нынче время!

Затем еще немного походил, восклицая: нельзя так! нельзя! — сыскал шапку и, сказав: мне, брат, по делу бежать надо! — словно в воду канул.

Впрочем я не оформализовался этою выходкой. Я знал, что Глумов любит на досуге «сцены из народного быта» рассказывать, и подумал, что он вспомнил какого-нибудь бесшабашного советника и изобразил его передо мной в лицах. Однако, дня через четыре, иду я по улице, вижу — Глумов навстречу плывет. Задумался, меня не замечает.

— Здравствуй! Замышляешь что-нибудь,— пошутил я ему в упор.

— Гм... да... здравствуй, брат, здравствуй... нет, я... я вот к сапожнику... извини! — пробормотал он как-то растерянно, словно сейчас проснулся.

И, не входя в дальнейшие разъяснения, юркнул в дверь сапожного магазина.

Заключительный очерк «Недоконченных бесед» — единственный в их составе, не прошедший сначала через страницы «Отеч. записок», запрещенных на апрельском номере 1884 года. Среди всего написанного Салтыковым, пожалуй, именно этот очерк с наибольшей непосредственностью выразил чувства писателя и редактора «Отеч. записок», вызванные крушением журнала. Проникнутый «своеобразным лиризмом» (Н. К. Михайловский) и горечью, очерк передает именно то состояние Салтыкова,

которое в письме Н. А. Белоголовому определено так: «Как на полфразе застала меня катастрофа, так и остановилось» (23 июня 1884 г.).

«Одиночество» и «заброшенность», «охватившие» Салтыкова, о чем прямо сказано в очерке, были результатом глубокой гражданской, политической деморализации русского общества в период реакции 80-х годов: «Прежде, бывало, живот у меня заболит — с разных сторон телеграммы шлют: живите на радость нам! а нынче вон, с божьей помощью, какой переворот! — и хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие! Даже из литераторов — ни один не отозвался <...> Обидно следующее: человека со связанными руками бьют, а пошехонцы разиня рот смотрят и думают: однако, как же его и не бить! ведь он — вон какой!» — читаем в письме к П. В. Анненкову от 3 мая 1884 года. Салтыков ожидал выражения не личных сочувствий: он справедливо воспринимал себя как *деятеля*, «который около сорока лет делал дело по мере разумения, не колеблясь и не предательствуя», как главу «единственного журнала, имевшего физиономию журнала, насколько это в Пошехонье возможно», куда «наиболее талантливые люди шли <...> как в свой дом» (П. В. Анненкову, 26 мая). «Не ради удовлетворения пустому тщеславию я ожидал некоторых заявлений, а ради убеждения, что Пошехонье не все сплошь переполнено пошехонцами. К сожалению, это убеждение и теперь не составилось»,— писал он 12 мая К. Д. Кавелину.

Но вместе с тем прощальная «беседа» Салтыкова выразила безграничную любовь к читателю, «единственной подстрекающей силе» литературной деятельности, любовь, признаниями в которой полны его письма этих месяцев: «я лишен возможности периодически беседовать с читателем, и эта боль всего сильнее <...> Только и любил одно это полуотвлеченное существо, которое зовется читателем. И вот с ним-то меня разлучили» (А. Л. Боровиковскому, 17 мая).

Звучание авторского голоса, найденное в этом очерке, подготавливает тональность повествования одного из вершинных, этапных произведений Салтыкова в последний период его творчества — цикла «Мелочи жизни».

Стр. 281. *...ему не подсуден, а подсуден вон тому кавалеру...*— агенту тайной политической полиции.

...бесшабашные советники — иронически обозначенные в сатире Салтыкова представители высшей бюрократии царизма. См. т. 14, стр. 559—560.

...в балаганы, где смотрели пьесу «Ермак Тимофеевич, или Покорение Сибири»... — Имеется в виду пьеса Н. А. Полевого «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь. Драматическое представление» (СПб., 1845).

...под манифест бы подвели! — Приуроченные к торжественным датам царские манифесты объявляли амнистию отдельным категориям преступников.

Стр. 282. *Слышали они, якобы книгопечатание прекратилось...*— Принятые 27 августа 1882 г. «Временные правила о печати» должны были «усилить административное воздействие на печать».

Стр. 283. *Лучшую пору моей жизни я размыкал по губернским городам...* — 1848—1855 гг. Салтыков провел в вятской ссылке-службе, в дальнейшем ему пришлось служить вице-губернатором в Рязани и Твери, управляющим казенной палатой в Пензенской, Тульской и Рязанской губерниях (1858—1861 и 1865—1868).

...читается слово Златоуста... — Имеется виду «Слово» Иоанна Златоуста, читаемое в православной церкви на пасхальной заутрене. Считалось образцом ораторского искусства.

Стр. 284. *Соломон или Дракон.* — Салтыков иронически сблизил имена терпимого и мудрого царя, о котором повествует Библия (Третья кн. Царств), и сурового законодателя древних Афин, в 621 г. до н. э. сформулировавшего жестокие правовые нормы.

НЕОКОНЧЕННОЕ

<В ЧИСЛЕ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ...>

(Стр. 287)

При жизни Салтыкова не печаталось. Впервые — *ЛН*, т. 11-12, М., 1933, стр. 350—351 (публикация Н. В. Яковлева, вступ. статья С. А. Макашина), под заглавием «Пошехонье откликнулось...». В настоящем издании печатается по рукописи.

На принадлежность данного отрывка к «Пошехонским рассказам» указывают начальные строки рукописи, зачеркнутые автором:

Пошехонье откликнулось. На днях я получил от одного из местных аборигенов следующее письмо:

«В качестве обывателя одного из многочисленных русских Пошехоньев, считаю небесполезным отозваться на ваши рассказы, в которых, по правде сказать».

Этот текст, начальная фраза которого была взята для заглавия при его первой публикации, не единственно зачеркнутый в рукописи. Приводим еще два зачеркнутых места.

К стр. 287, после абзаца «Каким образом...»:

Прежде этот роман был ясен только для избранников, однако же справедливость и добро все-таки выполняли свою задачу; ныне, когда сознание добра проникло уже в самые глубины масс, победа его неизбежно должна принять еще более решительный характер.

К стр. 287—288, после абзаца «Но что важнее всего...»:

Пошехонцы всегда были сторонниками торжества добрых начал. Как только запахнет в воздухе «благими начинаниями» — сейчас они тут как тут. Ликуют, плещут руками, земли под собой не слышат. Но едва запахнет откуда-то гарью — они сейчас к сторонке. Стоят и недоумевают: как это так? все было хорошо и вдруг сделалось худо! В этом проходит

вся их жизнь. Добро — приветствуют, зла — избегают. И ставят это себе в заслугу, гордятся этим. «Мы, говорят, в худых делах не участвуем, потому знаем, что это стыдно. А стоять и хлопать глазами — не стыдно».

Судя по первым вычеркнутым строкам рукописи, приведенным выше, непосредственным толчком к написанию данного текста явилось, действительно, какое-то читательское письмо, полученное Салтыковым от «обывателя одного из многочисленных русских Пошехоньев». По предположению С. А. Макашина, публикуемый текст следует, возможно, рассматривать как незаконченный набросок еще одного «вечера» из «Пошехонских рассказов», предназначавшегося для включения в отдельное издание цикла, быть может, в качестве своего рода послесловия к книге.

«МЕЖДУ ДЕЛОМ»

(Продолжение)

(Стр. 288)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые — *ЛН,* т. 11-12. М., 1933, стр. 307—312 (публикация Н. В. Яковлева). Печатается по рукописи.

Очерк задуман как продолжение четвертой главы и предназначался, по предположению Н. В. Яковлева, для ноябрьской или декабрьской книжки «Отеч. записок» 1875 года. Кроме черновой рукописи первой редакции, текст которой опубликован Н. В. Яковлевым полностью, начало очерка представлено еще и рукописью второй редакции. Вторая редакция, почти не отличаясь в начальной части от первой, имеет другое продолжение. Приводим вариант рукописи второй редакции.

Стр. 289, после абзаца: «Говорят: литература уклонилась от благородного пути...» — в рукописи следует:

Очевидно, дело заключается в том, что задачи новой литературы сделались яснее и строже. Литература не забавляет, не раздражает плотских вожделений, а напоминает о совести и призывает к самосознанию. Слова эти до такой степени необычны в сферах культурного слоя, что слабым культурным умом невольно овладевают смутные подозрения. Грезится, что культурной праздности готовится какой-то удар и что этот удар придет непременно оттуда, из недр той постылой и ненавистной литературы, которая вместе с неслыханными словами вводит в жизнь и неслыханные понятия. До сих пор литература блуждала в области, в области малой безделицы, изыскивала средства к улучшению ее быта, и только в исключительных случаях брала в руки лиру и восклицала:

О росс! о росс непо<бе>димый!
О твердокаменная грудь! —

и вдруг из высших сфер безделицы она спустилась в какую-то темную яму, и поставила себе задачей воззвать к жизни всех гадов, кишащих на дне ее! Зачем? загадочность этого перехода возбуждает недоумение; ум, развращенный обманами литературного сквернословия, не находит в себе

достаточной силы, чтобы выдержать обличения действительности. Книга, которая в былые времена, была любезна культурному человеку, ибо распаляла его чувственность <1 слово нрзб.> становится для него постылою. Оставляя в стороне вопрос об опасностях, об угрозах нашествия новых варваров, он просто не находит в ней ничего подходящего к тому нравственному и умственному уровню, который выработало в нем полуторавековое культурное наслоение. И он бежит на улицу, в рестораны, в клубы, в дома терпимости — и всюду испускает целые потоки сквернословия. Сквернословия бессодержательного, даже бесцеремонного, но имеющего свойство гулко раздаваться по всем углам лесной чащи, которой непрерывные, хотя и не всегда видимые для глаз насаждения простираются «от хладных финских скал до пламенной Колхиды».

Тем не менее как ни бессодержательно это <1 слово нрзб.>, но влияние ее на литературу бесспорно и решительно. Ради ее она утопает в недомолвках и оговорках, ради ее она сохраняет езоповские формы иносказания. Ибо где же найдет она тот противовес, который дал бы ей средство держаться в борьбе с самозванцами культуры? Где тот читатель, настолько сильный, от которого она могла бы ждать для себя защиты и спасения?

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ[1]

А. С., литературный обозреватель «Кронштадтского вестника» — I, *315*.

«Отечественные записки» (сентябрь 1882 г.)» — I, *315*.

Абаза Николай Саввич (1837—1901), начальник Главного управления по делам печати в 1880—1881 гг.— II, *316*.

Авенариус Василий Петрович (1839—1923), автор «антинигилистических» романов — I, *301*.

«Бродящие силы» — I, *301*.

«Современная идиллия» — I, *301*.

Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905), писатель — I, 73, *334*, *339*.

«Фрол Скобеев» — I, *339*.

Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913), писатель, автор «антинигилистических» романов — II, *335*.

«Общественная психология в романе» — II, *335*.

Агриппина Младшая (16—59), жена императора Клавдия, мать Нерона — II, *260*.

Адам (Библия) — II, 87, *321*.

Аддисон Джозеф (1672—1719), английский писатель и журналист, драматург — II, *368*.

«Катон» — II, 256, *368*.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — II, 229, *324*, *329*, *361*.

Александр II (1818—1881) — I, *304*, *338*, *354*, *365*, *366*, *371*; II, *309*, *311*, *315*, *316*, *331*, *349*, *366*, *371*.

Александр III (1845—1894) — I, *304*; II, *303*, *313*, *316*, *358*, *370*.

Алексеев Петр Алексеевич (1849—1891), рабочий-революционер 60—70-х гг., судился по «процессу 50-ти» — I, *378*.

Али Саиб, командующий турецкими войсками — I, *330*.

Алферьев Василий Петрович (1823—1854), поэт — I, *326*.

«На нынешнюю войну» — I. 29, *326*.

Анна Иоанновна (1693—1740) — II, *325*.

Анна Леопольдовна (1718—1746), «правительница» России при малолетнем царе Иване VI Антоновиче (1740—1741) — I, 139, 140.

Анненков Павел Васильевич (1812 или 1813—1887) — I, *301*, *311*, *315*, *316*, *363*, *372*, *378*; II, *302*, *346—348*, *377*.

Араби-паша Ахмед (1842—1910), вождь египетского национально-освободительного движения в 1879—1882 гг.; в сентябре 1882 г. взят в плен англичанами — I, 127—129, 137—139, 267, 268, *353*.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — I, 175, *357*, *359*; II, *326*.

Арапов Александр Николаевич, губернский предводитель дворянства в Пензе (1855—1872) — II, 17, *308*.

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — I, *310*, *314*, *326*, *371*; II, *304*, *306*, *334*, *354*, *375*.

«Заметки о русской адвокатуре» — II, *354*.

«Новейшие произведения Салтыкова» — II, *334*.

«Новый щедринский сборник «Современная идиллия» М. Е. Салтыкова» — I, *310*, *314*.

«Салтыков-Щедрин» — II, *304*.

«Французская адвокатура» — I, *371*.

«Атеней», еженедельный журнал, издавался в Москве в 1858—1859 гг.— II, *307*.

Базен Ашиль-Франсуа (1811—1888), французский маршал, клеврет Наполеона III — II, 227, *354*.

Баймаков Федор Петрович (1831—1907) — I, 17, *322*.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — I, *366*; II, 64, *317*.

«Шильонский узник» — II, 64, 65, *317*.

Балакирев Милий Алексеевич (1836—1910) — II, *342*.

Баранов Николай Михайлович (1836—1901), генерал-майор, петербургский гра-

[1] В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Римскими цифрами обозначены первая и вторая книги тома. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены, за исключением книг и статей о Салтыкове.

Указатель составила А. М. Малахова.

доначальник с марта 1881 по 1882 г.— I, *354.*

Бардина Софья Илларионовна (1853—1883), пропагандистка-народница, судилась по «процессу 50-ти» — I, *378.*

Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761—1818) — I, 18, *322.*

Бартенев Петр Иванович (1829—1912), археограф и библиограф — I, 73, *334.*

Бегичев Дмитрий Никитич (1786—1855), беллетрист — II, 41, *313, 314.*

«Семейство Холмских» — II, 41, *314;* Сундуков — II, *314.*

Бедеккер Карл (1801—1859) — II, 153, 154.

Безобразов Владимир Павлович (1828—1889) — I, *339, 354.*

Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902), профессор ботаники, председатель комитета Литературного фонда в 1881—1882 гг.— II, 17, *308.*

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — II, *336, 339.*

Беллини Винченцо (1801—1835) — II, *341.*

«Норма» — II, *341.*

«Пуритане» — II, *341.*

Бело (Белло) Адольф (1829—1890), французский писатель и драматург — I, 52.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — I, *301, 351, 354, 355, 356, 358, 375;* II, *302, 315, 324, 359, 361, 376, 377.*

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873), поэт — I, *328.*

«Кудри» — I, 55, *328.*

Беранже Пьер-Жан (1780—1857) — II, *326.*

«Безумцы» — II, 116, *326.*

Березайский Василий Семенович (1762—1821), литератор и переводчик — II, *301, 312.*

«Анекдоты древних пошехонцев» — II, *301, 312.*

«Анекдоты, или Веселые похождения старинных пошехонцев» — II, *301.*

Бертон Шарль-Франсиск (1820—1872), актер французской труппы петербургского Михайловского театра в 1844—1853 гг.— I, 231.

Бестужев (лиг. псевдоним — Марлинский) Александр Александрович (1797—1837), писатель, декабрист.

«Аммалат-бек»; Аммалат-бек — I, *344, 345, 347, 348, 351.*

Библия — I, 54, 75, 102, 108, 114, 115, 164, 186, 262, *329, 343, 344, 350, 355, 359, 364, 376, 377;* II, 75, 108, 114, 187, *313, 319, 325—327, 364, 378.*

«Биржевые ведомости» — I, *353;* II, *348.*

Бирон Эрнст Иоганн, герцог Курляндии, граф (1690—1772) — I, *336;* II, *325.*

Бируков Александр Степанович (1772—1844), цензор Петербургского цензурного комитета в 1821—1826 гг.— I, 94, *339;* II, 16.

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд, князь (1815—1898) — II, 209, 221, 258, *330, 350, 353, 354.*

Блан Луи (1811—1882) — I, *368;* II, 222, 223, 224, *354.*

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — II, *305, 354.*

«Балагурство и порнография» — II, *305.*

«Политическая злоба дня. Луи Блан» — II, *305, 354.*

Боград Владимир Эммануилович, литературовед — I, *324;* II, *299, 324, 328.*

«Журнал «Отечественные записки». 1868—1884» — I, *324;* II, *299, 324, 328.*

Богучарский В. (псевдоним Яковлева Василия Яковлевича; 1861—1915), историк революционного движения в России — I, *309, 345, 351, 356, 368, 372.*

«Государственные преступления в России в XIX веке» — I, *309.*

«Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг.» — I, *345, 351, 356, 368, 372.*

Бонивар Франсуа (1493—1570), швейцарский политический деятель, гуманист, историк, возглавил восстание горожан Женевы против Карла III — II, 64, 65, *317.*

Бонту Эжен (род. в 1824 г.), глава французского банка «Union général» в Париже, после его падения в 1882 г. привлекался к суду — I, 155, *357.*

Борис, князь ростовский, сын Владимира I (XI в.) — II, *309.*

Боровиковский Александр Львович (1844—1905), автор работ по судопроизводству, сотрудничал в «Отечественных записках»; корреспондент Салтыкова — I, *301, 365, 368, 369;* II, *377.*

Бороздин Корнилий Александрович (1828—1896), сотрудник исторических журналов, агент «Священной дружины» — I, *368.*

Брук Карл Людвиг, барон (1798—1860), австрийский государственный деятель, с 1855 г. министр финансов — II, 186.

Буд А. Н., коллежский асессор, «герой» уголовного дела 1878 г.— I, *337,*

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1858) — I, 81, *338;* II, 260—262, *368.*

Булюбаш — II, 229, *364.*

Бунин, одесский полицмейстер — II, 250.

Буренин (лит. псевдонимы — Z и В. Монументов) Виктор Петрович (1841—1926) — I, 62, *314, 329, 349;* II, *329, 337.*

«Критические очерки. Новая сатира г. Салтыкова» — I, *314.*

«Легкая сатира г. Салтыкова. Подражание бесцеремонной манере глумления г. Салтыкова» — II, *337.*

«Литературные очерки» — I, *314.*

Бушмин Алексей Сергеевич, литературовед — I, *302, 313;* II, *347.*

«Роман в теоретическом и художественном истолковании Салтыкова-Щедрина» — I, *302, 313.*

«Сатира Салтыкова-Щедрина» — II, *347.*

В. П., литературный обозреватель «Киевлянина» — I, *314.*

«Журнальное обозрение» — I, *314.*

Валуев Петр Александрович, граф (1814—1890), в 1877—1881 гг. председатель Комитета министров; 4 октября 1881 г. вышел в отставку — I, *351, 356;* II, *308, 336.*

«Дневник» — I, *356.*

«Варшавский дневник», русская официальная газета в Царстве польском, выходила в 1864—1915 гг.— I, *329;* II, *371, 373.*

Варшавский Абрам Моисеевич, миллионер-концессионер, строитель Скопино-Вяземской и других железных дорог — II, *359.*

Василиса Мелентьева, шестая жена Ивана Грозного — I, *336.*

Введенский Арсений Иванович (1844—1909), литературный критик — I, *312, 315, 316, 351, 359, 364.*

«Литературная летопись» — I, *312, 316, 351.*

«Литературные характеристики» — I, *315.*

Вейнберг Яков Игнатьевич (1826—1896), метеоролог и лесовод — II, *307.*

«Сухой туман» — II, *307.*

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), историк литературы и библиограф — I, *314.*

«Литературное обозрение» — I, *314.*

Верди Джузеппе (1813—1901) — I, *327, 353.*

«Аида» — I, 127, *353;* Амонасро — I, 127, *353.*

«Эрнани» — I, 36, *327.*

Веревкина (урожд. Зилова) Прасковья Николаевна — II, *342.*

Веселовский Борис Борисович (1880—1954), историк земства, профессор Московского университета с 1927 г.— II, *337, 338.*

«История земства за сорок лет» — II, *337, 338.*

«Вестник Европы» — I, *299, 302, 310, 314, 326, 371;* II, *306, 334, 340, 343, 350, 358.*

Виктор-Эммануил (1820—1878), король Сардинии с 1849 г. (Виктор-Эммануил II), а с 1861 года — король Италии (Виктор-Эммануил I) — II, 65, *318.*

Виленский Борис Вениаминович, юрист — I, *326, 372;* II, *366.*

«Судебная реформа и контрреформа в России» — I, *326, 372;* II, *366.*

Вирсавия (Б и б л и я) — I, 257, *376;* II, *307.*

Вольтер (Мари-Франсуа Аруэ; 1694 — 1778) — II, 222, *354.*

Вольф Маврикий Осипович (1825—1883), издатель и книготорговец, в 1882 г. основал одно из крупнейших в России издательств — II, 165.

Вормс Густав (1837—1910), актер французской труппы петербургского Михайловского театра — I, 231.

Воронцов-Дашков Илларион Иванович, граф (1837—1916), начальник царской охраны; министр императорского двора и уделов (с августа 1881 г.), один из организаторов «Священной дружины» — I, *356.*

«Всеобщий календарь» — I, 34, *326, 327.*

Гаевский Виктор Павлович (1826 — 1888) — II, *369.*

«Газета А. Гатцука», иллюстрированная «политико литературная, художественная и ремесленная» газета, выходила в Москве в 1875—1890 гг.— I, *349, 352.*

Галеви Жак-Фроманталь-Эли (1799—1862), французский композитор.

«Жидовка» — II, *341.*

Гамбетта Леон-Мишель (1838—1882) — I, *368;* II, 222, *352, 353.*

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — I, 188, 267, 268, 271, 272, *364, 365, 377;* II, 65, *318.*

Гартунг Леонид Николаевич (ум. в

1877 г.), генерал-майор, заведовал Московским отделением государственного коннозаводства, в 1877 г. был привлечен к суду, обвинялся в похищении векселей и долговых обязательств своего подопечного — I, *337*.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — I, *310*.

Гебель Иоганн Петер (1760—1826), немецкий поэт — I, *321*.

Гейнс Александр Константинович (1834—1892), генерал, градоначальник в Одессе (1878—1880), казанский губернатор (1880—1882) — I, *343*.

Генрих IV (1553—1610) — II, 206, 209.

Генслер Карл Фридрих (1761—1825), немецкий драматург и актер — II, *308*.

«Дунайская русалка» — II, *308*.

Герард Владимир Николаевич (1839—1903), петербургский адвокат — II, *351*.

Геркулес (миф.) — II, 209.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — I, *366*; II, *339*.

Герцо-Виноградский (лит. псевдонимы — Z и Барон Икс) Семен Титович (1844—1903), журналист — I, *315*.

«Критические эскизы (новая сатира Щедрина)» — I, *315*.

Гижицкий Евгений Казимирович (ум. в 1881 г.), участник студенческих волнений 1861 г., с 1863 г.— политический эмигрант, ренегат, вернулся в Россию в 1873 г.— II, *335*.

«Русские эмигранты» — II, *335*.

Гинцбург Гораций Осипович, барон (1833—1909), петербургский банкир-миллионер, имевший контору в Париже, меценат — I, 214, *356*; II, 245.

Глазунов Иван Ильич (1826—1889) — II, *369*.

Глеб, князь муромский (XI в.) — II, *30?*.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — I, *329*; II, *343*.

«Иван Сусанин» — II, 170, *343*.

«Руслан и Людмила» — I, 40, *329*; Людмила — I, 65, *329*; Святогор — I, 65, *329*.

Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт и публицист — I, *321*.

«Сон русского на чужбине» — I, 9, 262, *321*, *377*.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — I, 16, 219, *303*, *315*, *321*, *322*, *329*, *370—372*; II, 187, *302*, *340*, *342*, *345*, *349*.

«Женитьба» — II, *342*.

«Записки сумасшедшего» — I, *329*; Попрнщнн — I, 64, *329*.

«Мертвые души» — I, 16, *302*; II, 187, *302*, *345*, *349*; Дама, приятная во всех отношениях — II, 177, *345*; Ноздрев — I, *372*.

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»; Перерепенко — II, 291.

«Ревизор» — I, 190, 211, *322*, *370*, *372*; II, *349*; Бобчинский — II, 193—195, *349*; Держиморда — I, 244, *372*; Добчинский — II, 193—195, *349*; Неуважай-Корыто — II, 163—172, *340*, *341*; Сквозник-Дмухановский — I, *370*; II, 193, *349*; Тряпичкин — I, 15, *321*, *322*.

«Тяжба» — I, 219, *371*.

Голицын Н. Н., князь, член «Священной дружины» — I, *351*.

Головин Константин Федорович (1843—1913), писатель и публицист, автор «антинигилистических» романов — I, *323*, *350*, *354*; II, *306*, *329*.

«Мои воспоминания» — I, *323*, *350*, *354*; II, *329*.

Головнин Александр Васильевич (1821—1886), министр народного просвещения с декабря 1861 по апрель 1866 г.— I, *304*.

«Голос» — I, *304*, *312*, *315*, *344*, *351*, *352*, *358*, *359*, *364*; II, *331*, *374*.

Гомер (между XII и VII вв. до н. э.).

«Одиссея» — I, *363*; Одиссей — I, 191.

Гонкур Эдмон де (1822—1896), французский писатель — I, *328*.

«Жертва филантропии» — I, *328*.

Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — I, *308*, *315*; II, *308*, *336*, *338*.

«Лучше поздно, чем никогда» — I, *315*.

«Обломов» — II, *338*; Захар — II, *338*; Обломов — II, *338*.

«Обрыв» — II, *336*.

Гоппе Герман Дмитриевич (1836—1885), петербургский издатель — I, *327*.

Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65—8 гг. до н. э.) — I, *372*; II, *374*.

«Ars poëtica» — I, 242, *372*; II, 271, *374*.

Горвиц Абрам Эрнст Исаевич, купец первой гильдии — I, 171.

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — I, *305*; II, *360*.

Гостомысл (IX в.) — I, 71—73.

Градовский Григорий Константинович (1842—1915), публицист и литературный критик — I, *306*; II, *311*.

«Итоги (1862—1907)» — II, *311.*
«Литературные очерки» — I. *306.*
«Гражданин» — I, *309, 314, 352;* II, *335, 360.*
Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — II, 161, *339.*
Грациани Франческо (род. в 1829 г.), солист Итальянской оперы в Петербурге в 60-х гг.— I, 36, *327.*
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — I, *321;* II, *316, 354, 364.*
«Горе от ума» — I, 222, *321;* II, 241, *316, 354, 364:* Загорецкий — I, 23, 69, *325;* Молчалин — I, 7—9, 23, 24, 69, *321, 330;* Репетилов — I, 69, *330;* II, 53, *316;* Скалозуб — II, *357;* Фамусов — I, 69, *330;* II, *364;* Чацкий — I, 69.
Григорьев Василий Васильевич (1816—1881), профессор-ориенталист Петербургского университета, начальник Главного управления по делам печати в 1874—1880 гг.— I, *324.*
Громницкий, адвокат — II, *351.*
Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901), генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.— I, *305, 350, 354.*
Гюго Виктор-Мари (1802—1885) — I, 55, *327, 329;* II, 64.
«Эрнани» («Ernani») — I, 36, *327.*

Давид, полулегендарный царь Израильско-Иудейского государства (X в. до н. э.) — I, *376;* II, 11, *307.*
Давыдов Степан Иванович (1777—1825), композитор — II, *308.*
«Леста, днепровская русалка» — II, 20, *308.*
Далила (Библия) — I. *350.*
Даль Владимир Иванович (1801—1872) — II, *301, 308, 321, 322, 364.*
«Пословицы русского народа» — II, *301.*
«Толковый словарь живого великорусского языка» — II, *308, 321, 322, 364.*
Данилевский (лит. псевдоним — А. Скавронский) Григорий Петрович (1829—1890) — I, 16, *322.*
Даниельс (у Салтыкова — Даньельсон) Германн, владелец пивоварни в г. Пскове — II, 76.
Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882) — II, 161.
«Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» («О происхождении видов») — II, 161.
Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869) — II, *342, 343.*
«Каменный гость» — II, 163, 164, *342, 343;* Дон Жуан — II, 163.
Девкалион (миф.) — II, 277—279, *375.*
Дегаев Сергей Петрович (1854—1908), народоволец, организовал убийство жандармского полковника Судейкина в 1883 г., позднее за предательство приговорен «Народной волей» к изгнанию — II, *363.*
Дейер П. А., сенатор, председательствовал на процессе 20-ти — I, *369.*
«Дело» — I, *314, 365.*
Дельвиг Андрей Иванович (1813—1887), генерал-лейтенант, инженер, мемуарист — II, *309, 310, 313.*
«Полвека русской жизни (Воспоминания)» — II, *309, 310, 313.*
Демидрон («Демидов сад») — I, 56, 61, 63, 74, 75, 103, 122, 159, 199, 203, 225, *308, 328.*
Дервиз фон Павел Григорьевич (1826—1881) — II, *373.*
Державин Гаврила Романович (1743—1816) — I, 13, 14, 17, *321, 322, 328, 353, 355;* II, 198, *321.*
«Вельможа» — I, 51, *328.*
«Водопад» — I, 13, *321.*
«На взятие Варшавы» — I, 14, *321.*
«На смерть князя Мещерского» — I, 14, 121, *321, 353.*
«О удовольствии» — II, 84, *321.*
«Осень во время осады Очакова» — I, 14.
«Хор для кадрили» — I, 140, *355.*
«Фелица» — I, 17, *322.*
Диккенс Чарлз (1812—1870) — I, *303;* II, *368.*
«Записки Пиквикского клуба» — I, *302.*
Димитрий Донской, Димитрий Иванович (1350—1389), великий князь московский с 1359 г.— II, 170.
Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт — II, *368.*
«Москва» — II, 253, 261, *368.*
Дмитриев-Мамонов Александр Матвеевич, граф (1758—1803), адъютант Г. А. Потемкина с 1784 г.— I, 14, *321;* II, 17, *308.*
Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — I, *322, 334;* II, *307.*
«Наука и свистопляска, или Как аукнется, так и откликнется» — I, *334;* II, *307.*

Долгоруков Петр Владимирович, князь (1816—1868), журналист, исследователь генеалогии русского дворянства, с 1859 г. эмигрант — I, *325, 339, 365*.
«La verité sur la Russie» («Правда о России») — I, 25, *325, 339, 365*.
Долгоруков Яков Федорович, князь (1659—1720), государственный деятель, ближайший сотрудник Петра I, в 1714 г. в Сенате настоял на отклонении предложенного голландцами торгового договора — I, 19, *323*.
Долгушин Александр Васильевич (1848—1885), революционер-народник, в 1872 г. организатор народнического кружка — II, *335*.
«Домашняя беседа», газета, издавалась в Петербурге с июля 1858 до ноября 1877 г.— II, 290.
Доминик Риз-а-Порта, петербургский реставратор и кондитер — I, 18, 24, 108, 287—291, *308, 378;* II, 205.
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — I, *307, 308, 319, 320, 323, 324, 355;* II, *335—336, 344, 346, 347, 351, 353, 365*.
«Бесы» — II, *335, 336*.
«Братья Карамазовы» — II, *344*.
«Дневник писателя» — I, *308, 319, 320, 323, 355;* II, *335, 336, 344, 346, 351, 353, 365*.
*Дракон*т, древнейший афинский законодатель — II, 284, *378*.
Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862) — II, 262, *368*.
Дьяков (лит. псевдоним — Незлобин) Александр Александрович (1845—1895) — I, *319*.
«В народ!» — I, *319*.
«Кружок (Из записок социал-демократа)» — I, *319*.

Евангелие — I, 117, 130, 162, *353, 354;* II, 83, 88, *321, 358, 360, 373*.
Евгеньев-Максимов (Максимов Владислав Евгеньевич; 1883—1955), литературовед — I, *316, 324, 333, 349, 363, 369;* II, *299, 324, 328, 332*.
«В тисках реакции» — I, *316, 333, 349, 363, 369;* II, *299, 324, 328*.
«Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века» — I, *324*.
Егарев, владелец увеселительных заведений «Русский семейный сад» и «Концертный сад» (с эстрадой «Летний Буфф») — I, 48 53, 56, 57, 62, *328*.
Екатерина II (1729—1796), русская императрица с 1762 г.— I, 13, 14, *321, 322, 325, 378;* II, 17, 23, *308, 364*.
Елизавета (Елисавета) Петровна (1709—1761), императрица всероссийская с 1741 г.— I, *333;* II, 74, 140, *301*.
Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — I, *301, 307, 334, 356;* II, *306, 352, 355, 360, 369*.
«Внутреннее обозрение» — II, *355*.
«862—1862, или Тысячелетие России» — I, *334*.
Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933), писатель — II, *325*.
«Воспоминания за 50 лет» — II, *325*.
Енгалычев Парфений Николаевич, князь (1769—1829), писатель — I, 248.
«Простонародный лечебник» — I, 248.
Еречнева Татьяна Владимировна, литературовед — I, *377*.
«Неопубликованная глава романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия» — I, *377*.
Ермак Тимофеевич (ум. в 1584 г.) — II, 281, 282, *377*.

Жезинг, свидетельница по делу С. Кронеберга — II, 214, 215.
Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908) — I, *316*.
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — I, 7, *321*.
«Деревенский сторож в полночь» — I, 7, *321*.
Жюдик (Дамьен) Анна (1850—1911), французская опереточная певица, гастролировала в Петербурге (1874—1875) и в Москве — I, 259.
Завитаев, владелец кухмистерской на Песках в Петербурге — I, 42, 66, 125, 134, 137, 139, 277, *308, 337*.
Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), писатель — II, 41, *313*.
«Искуситель» — II, *313;* Двинский — II, 41, *313*.
Загоскин, пензенский знакомый Салтыкова — II, 17, *308*.
Зайончковский Петр Андреевич, историк — I, *304, 307, 336, 354, 364, 370, 376, 379, 380;* II, *299, 313, 330, 370*.
«Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов» — I, *304, 307, 336, 354, 364, 370, 376, 379, 380;* II, *313*.
«Русское самодержавие в конце XIX столетия» — II, *330, 370*.

Зак Абрам Исаакович (ум. в 1893 г.), финансист, с 1871 г. директор С.-Петербургского учетного и ссудного банка — II, *359.*

«Заря», либеральная политическая и литературная газета, издавалась в Киеве в 1880—1886 гг.— I, *352, 375.*

Заславский Давид Иосифович (1880—1957), публицист, автор ряда работ о Салтыкове — II, *340.*

«Щедрин, Мусоргский и Стасов» — II, *340.*

Засодимский Павел Владимирович (1843—1912) — II, *373.*

Засулич Вера Ивановна (1851—1919) — II, *330.*

Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), писатель-народник — II, *373.*

Зограф Петр Христофорович, волчанский уездный исправник в 1880—1882 гг., его громкое уголовное дело началось в 1880 г. и тянулось несколько лет — II, 265, *372, 373.*

Зон Николай Христианович фон (ум. в 1869 г.), отставной надворный советник, ограблен и убит в петербургском притоне — I, 110, *344.*

Зондерман, петербургский домовладелец — I, 48, 50.

Зубов Платон Александрович, князь (1767—1822), государственный деятель, фаворит Екатерины II,— I, 14, *321.*

Иван III Васильевич (1440—1505), великий князь Московский с 1462 г.— I, *367.*

Иван IV Васильевич (Грозный; Jean le Terrible; 1530—1584), великий князь с 1533 г., с 1547 г.— «царь и великий князь всея Руси» — I, 251, 252, *333;* II, *350.*

Иванов, околоточный надзиратель — II, 229, *361.*

Иванов-Разумник (наст. фамилия — Иванов) Разумник Васильевич (1878—1946) — I, *366, 379.*

«Неизданный Щедрин» — I, *379.*

Игнатьев Николай Павлович, граф (1832—1908), дипломат и государственный деятель, в 1881—1882 гг. министр государственных имуществ, а затем — министр внутренних дел — I, *304, 357, 370, 379, 380;* II, *303, 313, 357, 361, 362, 374.*

Иисус Христос (Библия) — II, 87—89, 183, *358.*

Иоанн Златоуст (ок. 347—407), деятель восточно-христианской церкви, архиепископ константинопольский в 398—403 и 404 гг.— II, 273, 283, *378.*

Иоанн Креститель (Б [illegible]

Иов (Библия) — II [illegible]

Иосиф Прекрасный [illegible] *355.*

Ирод (73—4 гг. до н. [illegible] с 40 г. до н. э.— II, 81

Иродиада, внучка Ир[illegible] новница казни Иоанна К[illegible] лия) — II, 81.

Кавелин Констан[illegible] (1818—1885) — II, 163, [illegible]

Кавур Камилло Бен[illegible] 1861), итальянский госу[illegible] тель и дипломат, с 18[illegible] рерывом в 1859 г.) возгл[illegible] ство Пьемонта (Сардин[illegible] ва) — II, 65, *318.*

Казанский Александр (1857—1896), литератор — II, [illegible]

«Журналистика» — II, [illegible]

Кальвокоресси Михаил [illegible] (1877—1944), французский [illegible] критик, пропагандист русской му[illegible] границей — II, *342.*

Канкрин Егор Францевич (17[illegible] I, *365.*

Карабанов Павел Федорович [illegible] 1851), собиратель и знаток отечес[illegible] истории и древностей — I, *321*

«Исторические рассказы и [illegible] ты, записанные со [illegible] лиц» — I, *321.*

Карабчевский Николай [illegible] (1851—1925), юрист, писатель и пу[illegible] цист — I, *359.*

«Речи» — I, *359.*

Каракозов Дмитрий [illegible] (1840—1866) — I, *366.*

Карамзин Николай Михайлович (17[illegible] 1826) — I, *333, 334;* II [illegible]

«Истории го[illegible] го» — I, 71, 3[illegible]

«Марфа По[illegible] ние Новгород[illegible]

Карбасников Ни[illegible] в 1921 г.), петерб[illegible] и издатель — I, [illegible]

Карлос дон Младший [illegible] тендент на испанский [illegible] нем Карлоса VII, в [illegible] борьбу за власть — I, [illegible]

Карэм Мари Антуан [illegible] цузский повар, служивш[illegible] Георга IV, Ротшильда и др., автор [illegible] варенных книг — II, [illegible]

Катилина Луций Сергий (108—62 гг. до н. э.), политический деятель Древнего Рима — I, *334*.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — I, *304, 334, 365, 367, 369, 370;* II, 163, 186, 229, 273, *302, 312, 313, 317—320, 325, 329, 330, 331*, 357, *361, 365, 366, 370, 372—374*.

«Москва, 3 мая» — II, *330*.

«Собрание передовых статей «Московских ведомостей» — II, *325, 330, 374*.

Катон Старший Марк Порций (234—149 гг. до н. э.), политический деятель и писатель Древнего Рима — II, 213, *353*.

Кауэр Фердинанд (1751—1831), немецкий композитор и пианист — II, *308*.

«Леста, днепровская русалка» — II, 20, *308*.

Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35—95), древнеримский теоретик ораторского искусства — II, *353*.

«Наставление в ораторском искусстве» («О воспитании оратора») — II, 213, *353*.

Кенэ Франсуа (1694—1774), французский экономист, основоположник школы физиократов — II, 245, *365*.

«Экономическая таблица» — II, *365*.

Кессених, содержательница танцкласса в Петербурге в 40-х годах — I, 51, 63, *308*.

Кетриц Бернард Эрнестович (1849—1923), мировой судья — I, *377*.

«Встреча с М. Е. Салтыковым» — I, *377*.

Кетчвайо (у Салтыкова — Сетевайо; ок. 1828—1884), последний правитель независимого Зулусского государства — I, 117, 127, 133, 134, *352*.

«Киевлянин», ежедневная газета реакционного направления, издававшаяся в Киеве в 1864—1918 гг.— I, *314, 338, 358;* II, *360*.

«Киевский телеграф», политическая, ученая и литературная газета, выходила в 1859—1876 гг.— II, *345*.

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), фольклорист, славянофил — I, *370*.

«Русские народные песни» — I, *370*.

Клейнмихель Петр Андреевич, граф (1793—1869) — I, *357*.

Клеопатра (69—30 гг. до н. э.) — II, 260.

Клервиль Луи-Франсуа (1811—1879), французский писатель — II, *317*.

«Peau d'âne» — II, 62, *317*.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), юрист, историк, социолог и политический деятель — I, *319*.

Коган Янкель Михайлович, петербургский купец первой гильдии — I, 171.

Козловский Иосиф (Осип) Антонович (1757—1831), композитор — I, *355*.

«Гром победы раздавайся» — I, 140, *355*.

Кок Шарль Поль де (1794—1871) — I, 32, *326*.

Кокорев Василий Александрович (1817—1889), откупщик-миллионер — II, 18, 27, 28, *308, 310*.

«Путь севастопольцев» — II, *308, 310*.

Комба, пастор, свидетель по делу С. Кронеберга — II, 214.

Комиссаров Осип Иванович (1838—1892) — I, *366*.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — I, *326, 327, 337, 369;* II, *372*.

Корженевский Ипполит (1827—1879), хирург, с 1871 г. преподаватель Санкт-Петербургской медицинской академии — II, 215, 217, 218, 223.

Коровкин Николай Александрович, драматург-водевилист — II, *326*.

«Отец, каких мало» — II, 112, *326*.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — II, *360*.

Корш Валентин Федорович (1828—1883), журналист и историк литературы — II, *339*.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885), историк и писатель — II, 130, *329*.

«Северно-русские народоправства» — II, 130, *329*.

Котляревский Иван Петрович (1769—1838), украинский писатель — II, *307*.

«Наталка-Полтавка» — II, 10, *307*.

Кочурин, урядник, воспитатель в московском Дворянском институте — II, 254, 261, *367*.

Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист и общественный деятель славянофильского направления — II, *311, 320, 325*.

«Что же теперь? Август 1882» — II, *311, 320, 325*.

Кравчинский (лит. псевдоним — Степняк) Сергей Михайлович (1851—1895) — II, *317, 318, 319*.

«Россия под властью царей» — II, *318*.

«Царь-чурбан. Царь-Цапля» — II, *319*.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — I, *301;* II, *369.*

Kранихфельд Владимир Павлович (1865—1918), литературный критик и публицист, исследователь Салтыкова — I, *307;* II, *306.*

«Десятилетие о среднем человеке» — I, *307.*

Краснопольский Николай Степанович (1775—1830), переводчик с немецкого и драматург — II, *308.*

Красовский Александр Иванович (1780—1857), цензор Петербургского цензурного комитета (1821—1828), председатель Комитета иностранной цензуры (1832—1857) — I, 15, 94, *339.*

Краузе Иван (Карл) Федорович (род. в 1787 г.), преподаватель французской словесности в московском Дворянском институте — II, *367.*

Кронеберг Мария, дочь С. Кронеберга — II, 212—221, 223, 225, 226, *350, 351.*

Кронеберг Станислав — II, 212—221, 223, 225, 226, *350, 351.*

«Кронштадтский вестник», ежедневная «морская и городская» газета, издавалась в 1862—1917 гг.— I, *308, 316, 352, 358.*

Кропоткин Александр Алексеевич, князь (1841—1886), астроном, брат П. А. Кропоткина — II, *310.*

Кропоткин Петр Алексеевич, князь (1842—1921) — II, *309, 310, 319, 341.*

«Записки революционера» — II, *309, 319, 341.*

Крузе Николай Федорович, фон (1823—1901), цензор Петербургского цензурного комитета в 1855—1859 гг., впоследствии земский деятель, журналист — II, *349.*

Крылов (лит. псевдоним — В. Александров) Виктор Александрович (1838—1906), драматург, переводчик и театральный критик — I, *339.*

«Змей Горыныч» — I, *339.*

Крылов Иван Андреевич (1768—1844) — I, 19, 231, *353, 370, 371;* II, *338.*

«Лев и Комар» — II, 156, *338.*

«Лжец» — I, *353.*

«Лягушка и Вол» — I, 231, 238, *370, 371.*

«Сочинитель и Разбойник» — I. 19.

«Три Мужика» — I, 19.

Кулишер (лит. псевдоним — Супин) Михаил Игнатьевич (1847—1919), юрист, историк литературы и этнограф, в 1880—1886 гг. фактический редактор киевской газеты «Заря» — I, *352.*

Кунц — II, 250, 253—255, *367.*

Купцов, урядник-экзекутор, служивший в Московском дворянском институте — II, 254, 261, *367.*

«Куранты», первые русские рукописные газеты — II, *329.*

Курочкин Василий Степанович (1831—1875) — II, *326.*

«Безумцы (Из Беранже)» — II, 116, *326.*

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745—1813) — I, 18, *322.*

Кюи Цезарь Антонович (1835—1918), композитор и музыкальный критик, участник балакиревского кружка («могучей кучки»), инженер-генерал — II, 164.

Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — II, *315, 316, 324.*

Лазаревский Василий Матвеевич (1817—1890), член совета министра внутренних дел и член совета Главного управления по делам печати с 1866 г.— I, *363, 368.*

Ламартин Альфонс (1790—1869) — II, 217, *353.*

Лансберг, врач, эксперт по делу С. Кронеберга — II, 215, 217.

Ланской Сергей Степанович (1787—1862) — I, 252, *376.*

Ларош Герман Августович (1845—1904) — II, 165, *340, 343.*

Латкин Николай Васильевич (1832—1904), писатель, этнограф-исследователь Сибири, золотопромышленник, владелец енисейских приисков — I, 68.

Лашо, французский адвокат — II, 227, *354.*

Лебедев Николай Егорович (ум. в 1903 г.) — I, *316, 324, 333, 363, 364, 368, 369;* II, *323, 327.*

Левитов Александр Иванович (1835—1877), писатель — II, *373.*

Левшин Алексей Ираклиевич (1799—1879), историк, географ — I, 252, *376.*

Лекок Шарль (1832—1918) — II, *317.*

«La princesse des Canaries» — II, 62, *317.*

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — I, *304, 307;* II, *363.*

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), писатель, публицист — II, *371, 373.*

«Катков и его враги на празднике Пушкина» — II, *371, 373.*

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — II, *337.*

«Выхожу один я на дорогу» — II, 152, *337*.

«Литературное наследство» — I, *299, 313, 324, 363, 368;* II, *299, 332*.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — I. 76, *344*.

«Ода, выбранная из Иова» — I, 116, *344*.

Лорансен — II, *317*.

«Peau d'âne» — II, 62, *317*.

Лорис-Меликов Михаил Тарнелович, граф (1825—1888) — I, *304, 344, 351, 356, 379, 380;* II, *303, 362*.

Львов Алексей Федорович (1798—1870), скрипач и композитор, автор музыки царского гимна — II, 170, *343*.

«Иже херувимы» («Херувимская») — II, 170, *343*.

Людекенс, владелец мясной лавки в Петербурге — I, 20, *308*.

Людовик XIV (1638—1715) — II, *368*.

Людовик XV (1710—1774) — I, 279; II, *368*.

Людовик-Филипп (Луи-Филипп), герцог Орлеанский (1773—1850), король Франции с 1830 г., свергнут революцией 1848 г.— II, 50.

Люстих Вильгельм Иосифович, адвокат, петербургский присяжный поверенный — II. *375*.

Ляпунов Прокопий Петрович (ум. в 1611 г.), рязанский дворянин, участник крестьянской войны под руководством И. Болотникова, изменил ему; организатор первого ополчения против польских интервентов — I, 69, *330*.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — I, *323*.

«Fortunata» — I, 19, *323*.

Мадзини (правильнее Маццини) Джузеппе (1805—1872) — II, 65, *318*.

Макашин Сергей Александрович, литературовед — I, *358;* II, *299, 316, 324, 378*.

«Салтыков-Щедрин. Биография» — II, *299, 367*.

«Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. Биография» — I, *358;* II, *352*.

«Щедрин и реакция 80-х годов» — II, *302, 333*.

Мак-Магон Мари-Эдм-Патрис-Морис, герцог Меджентский (1808—1893), президент Франции в 1873—1879 гг. Во главе армии версальцев подавил Парижскую коммуну в 1871 г.— I, 22, *325;* II, 222, 223, 227, *354*.

Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), писатель и этнограф — I, *365*.

«Крылатые слова» — I, *365*.

Макшеев, купец — I, 171.

Малафеев, содержатель петербургского увеселительного заведения — I, 56, 57, 59, 62, *328*.

Маньи, парижский ресторан, где собирались с начала 60-х гг. на товарищеские обеды писатели — II, 62.

Марат Жан-Поль (1743—1793) — I, 136; II, *350*.

Маркевич (лит. псевдоним — Иногородний обыватель) Болеслав Михайлович (1822—1884), автор «антинигилистических» романов и политических фельетонов реакционного толка — II, *373*.

«С берегов Невы» — I, *314, 367, 378;* II, *373*.

Марков Василий Васильевич (1834—1883), поэт и публицист — II, *348*.

«Литературная летопись» — II, *348*.

Марков Евгений Львович (1835—1903), писатель, литературный критик и этнограф, сочувствовал славянофильству — I, *352*.

«Враги и друзья» — I, *352*.

Маркс Карл (1818—1883) — I, *303*.

«Марсельеза» — I, 271, *377*.

Марцинкевич, содержатель одного из первых петербургских танцклассов в 40-х годах — I, 63, 105, *308, 329, 341, 342*.

Мединг (лит. псевдоним — Самаров) (род. в 1829 г.), немецкий беллетрист, автор романов на темы из русской истории — II, 191.

Мезенцев Николай Владимирович (1827—1878), шеф жандармов и начальник III Отделения с 1876 г.— II, *317*.

Мейербер Джакомо (Якоб Либман Бер; 1791—1864) — II, 163, 171, *341*.

«Гугеноты» — II, *341*.

«Пророк» — II, 163, *341*.

Мельницкий Федор, казначей Московского воспитательного дома — II, 265, *373, 375*.

Мендельсон-Бартольди Феликс (Якоб Людвиг Феликс; 1809—1847) — II, 168, 171, *343*.

«Гебриды» («Фингалова пещера») — II, 168, *343*.

Ментенон, маркиза (наст. имя Франсуаза Д'Обинье; 1635—1719), вторая жена Людовика XIV — II, 260, *368*.

Мессалина Валерия (I в. н. э.) — II, 260.

Мещерский Александр Иванович, князь (1730—1779), друг Г. Р. Державина — I, 14.

Мещерский Владимир Петрович, князь (1839—1914) — I, *376;* II, *372.*

Мидхат-Паша (1822—1883), турецкий государственный деятель, в 1873—1874 и 1876—1877 гг.— великий визирь, в 1878—1881 гг.— губернатор Сирии и Измира — I, *329.*

Микешин Михаил Осипович (1836—1896), скульптор и художник — I, 72, *322, 333;* II, 203, *349.*

Микула Селянинович — II, 164.

Миллер Орест Федорович (1833—1889), фольклорист и историк литературы — II, *306.*

Милютин Алексей Яковлевич, фабрикант, в 1735 г. выстроил торговые здания на Невском проспекте в Петербурге (Милютин ряд) — I, 17, *308, 323;* II, *325.*

Милютин Дмитрий Алексеевич, граф (1816—1912), генерал-фельдмаршал, военный министр в 1861—1881 гг.— I, *304, 326, 337, 354;* II, *299, 310, 311, 316.*

«Дневник» — I, *304, 326, 337, 354;* II, *299, 310, 311, 316.*

Милютин Николай Алексеевич (1818—1872) — I, 252, *376.*

«Минута», ежедневная газета, издавалась в Петербурге в 1880—1890 гг.— I, *314, 358.*

Митрофания (в миру баронесса Розен), игуменья Серпуховского Владычно-Покровского монастыря — II, 175, 184, 212, 227, *345.*

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — I, *356;* II, *305, 306, 312, 318, 327, 370, 376.*

«Записки современника» — II, *318.*

«Критические опыты Н. Щедрина» — II, *306.*

«Литературные и житейские заметки» — II, *337.*

«О тоске и самоубийствах» — II, *337.*

«Памяти Щедрина» — II, *370.*

«Письма постороннего в редакцию «Отечественных записок» — II, *312.*

Михневич Владимир Осипович (1841—1899), публицист, театральный критик — I, *308, 322, 328, 329, 339.*

«Наши знакомые» — I, *308, 328, 329, 339.*

«Петербург весь на ладони» — I, *308, 322.*

Моисей (Библия) — I, 251.

«Молва», политическая, экономическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге В. А. Полетикой в 1879—1881 гг.— II, *374.*

Молдавский Дмитрий Миронович, критик и литературовед — II, *312.*

«Русская сатирическая сказка» — II, *312.*

Молешотт Якоб (1822—1893), голландский ученый-физиолог, представитель вульгарного материализма — II, 161.

«О пище» — II, 161.

Момус (миф.) — I, 17, *322.*

Монтепен Ксавье де (1823—1902), французский писатель и литератор — II, 191.

Монтеспан, маркиза (наст. имя — Франсуаза Атенаис; 1641—1707), фаворитка Людовика XIV с 1688 г.— II, 260, *368.*

Морозовы, крупнейшие русские текстильные фабриканты с 1825 г.— I, 278, *279.*

Морошкин Федор Лукич (1804—1857), профессор кафедры российских гражданских законов в Московском университете — I, 18, *322.*

«Об «Уложении и последующем его развитии» — I, 18, *322.*

«Московские ведомости» — I, 75, 184, *299, 309, 313, 314, 334, 337, 338, 343, 351, 355, 356, 367, 369—372, 378;* II, 187, 248, *299, 312, 319, 320, 327, 329—331, 335, 349, 363, 365, 366, 370—375.*

«Московский телеграф», политическая и литературная газета, издавалась в Москве в 1881—1883 гг.— II, *374.*

Мстислав I Владимирович (XI в.), великий князь киевский — I, 73, *331, 350.*

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), юрист и публицист — I, *304.*

«Статьи и речи» — I, *304.*

Мусоргский Модест Петрович (1839—1881) — II, *340—343.*

«Борис Годунов» — II, *343.*

«Детская» — II, *342.*

«Женитьба» — II, *343.*

«Картинки с выставки» — II, *343.*

«Рак» («Крапивная гора») — II, *341.*

Мысляков Владимир Александрович, литературовед — II, *333.*

«Искусство сатирического повествования» — II, *333.*

Мышкин Ипполит Никитич (1848—1885), революционер-народник, судился по «процессу 193-х» — I, *372.*

Мясниковы, братья, подсудимые в громком уголовном процессе 60—70-х гг.— II, 227.

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — II, *368*.

Наср-эд-дин-шах (1831—1896), персидский шах с 1848 г.— I, 65.

«Наш век», политико-литературная газета, издавалась в Петербурге в 1877 г.— I, *315, 320*.

Неведенский С. (псевдоним Щегловитова Семена Григорьевича), литератор — II, *329, 331*.

«Катков и его время» — II, *329, 331*.

«Неделя», либерально-народническая политическая и литературная газета, издавалась в Петербурге с марта 1866 по 1901 г.— I, *358*.

Неклюдов Николай Андрианович (1840—1896), с 1881 г. обер-прокурор Сената — II, 279, 280, *375*.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — I, *343*; II, *346, 347, 350, 352, 364*.

«Материнское благословение, или Бедность и честь» — II, 241, *364*. Мария — II, *364*.

«Приговор» — II, *347*.

«Скоро стану добычею тленья» — II, *347*.

«Угомонись, моя муза задорная» — II, *347*.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936), писатель — I, 67, 68, *329*.

«Соловки» — I, *329*.

«У океана» — I, *329*.

Непенин Н., штабс-капитан, подсудимый в громком уголовном процессе 1874 г., обвинялся вместе с женою, Е. Непениной, в убийстве — II, 175.

Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37—68) — II, 245.

Нестор, монах Киево-Печерского монастыря, писатель конца XI — нач. XII вв.— I, *350*.

«Повесть временных лет» — I, *350*.

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882), революционер, организатор общества «Народная расправа» (1869) — II, *335, 336*.

Низовцев (ум. в 1882 г.), купец — II, *361*.

Низовцева, жена купца Низовцева — II, *361*.

Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), мемуарист и литературный критик — II, *310, 349*.

«Дневник» — II, *310, 349*.

Никодим (в миру — Никита Иванович Белокуров; 1826—1877), ректор Московской духовной академии, наместник Александро-Невской лавры — II, 50.

Николадзе Нико (Николай Яковлевич; 1843—1928), грузинский публицист, общественный деятель и литературный критик — I, *368*.

«Луи Блан и Гамбетта» — I, *368*.

Николай I (1796—1855), русский император с 1825 г.— I, *322, 338*; II, *309, 311, 313, 323, 331, 368*.

«Новая газета», политическая и литературная газета, выходила в Петербурге в августе 1881 г.— II, *374*.

«Новое время» — I, *299, 314, 328, 329, 349*; II, *305, 328, 360, 369, 374, 375*.

«Новороссийский телеграф», политическая, экономическая и литературная газета, выходила в Одессе в 1869—1903 гг.— I, *328, 338*; II, *364*.

«Новости» (с 1 июля 1880 г.— «Новости и биржевая газета») — I, *315, 352*; II, *301, 305*.

«Новь», иллюстрированный двухнедельный вестник современной жизни, литературы, науки и прикладных знаний, выходил в Петербурге в 1884—1898 гг.— II, *334*.

«Обзор», общественно-политическая и экономическая газета, издавалась в Тифлисе в 1878—1883 гг.— I, *338*.

Ободовский Александр Григорьевич (1796—1852), педагог и статистик, профессор Главного педагогического института в Петербурге — II, 154.

«Учебная книга всеобщей географии...» — II, 154.

Овидий (Публий Овидий Назон; 43 г. до н. э.— 17 г. н. э.) — II, 291.

Овсянников Степан Тарасович (род. в 1806 г.), петербургский купец, торговец хлебом и владелец мельниц, миллионер; в 1874 г. привлекался к суду за поджог, был сослан в Сибирь на поселение — I, 12, *321*; II, 212, 227, 228, 246, 248, *351, 354*.

«Одесский вестник», политическая и литературная газета, выходившая в 1827—1893 гг.— I, *314, 315, 375*; II, *345*.

Ожешко (у Салтыкова — Оржешко) Элиза (1841—1910) — II, 239, *362*.

«Могучий Самсон» — II, 239, *362*.

«О евреях» — II, *362*.

Орлов Алексей Григорьевич, граф (1737—1807), фаворит Екатерины II, участник дворцового переворота 1762 г.— I, 14, *321*.

Орлов Григорий Григорьевич, граф (1734—1783), фаворит Екатерины II, участник дворцового переворота 1762 г.— I, 14, *321*.

Орловский (наст. фамилия — Смирнов) Борис Иванович (ок. 1793—1837), скульптор — I, *322*.

Островер Леон Исаакович (1890—1962), писатель — I, *378*.

«Петр Алексеев» — I, *378*.

«Отечественные записки» — I, 287, 299—301, *310, 315—318, 323, 324, 327, 330, 335, 339, 343—348, 357, 359, 360, 362, 364, 366—370, 373—375;* II, *299, 300, 305, 307, 311, 312, 315, 318, 320, 323, 327, 328, 332—334, 336, 337, 339, 344, 346—350, 352, 354, 360, 362, 364, 366, 367, 369, 373, 374, 376, 379*.

Оффенбах Жак (Якоб; 1819—1880) — 173, *335*.

«Прекрасная Елена» — I, *335*.

Павел I (1754—1801) — II, *322*.

Пален Константин Иванович, граф (1833—1912), министр юстиции в 1867—1878 гг.— I, *337*.

Палкин, владелец ресторана в Петербурге — I, 114, 290, *308;* II, 282.

Пальмерстон Генри Джон Темпль (1784—1865), премьер-министр Англии в 1855—1858 и 1859—1865 гг.— I, 29.

Панаев Ипполит Александрович (1822—1901), заведующий конторой «Современника» в 1856—1866 гг., затем — «Отечественных записок» — II, *350*.

Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), участник революционного движения 60-х гг., мемуарист — I, *302*.

Перетц Егор Абрамович (1833—1899), государственный секретарь в 1878—1883 гг.— I, *379;* II, *303*.

«Дневник» — I, *379;* II, *303*.

Перро Шарль (1628—1703), французский поэт и критик — II, *317*.

«Peau d'âne» («Ослиная кожа») — II, 62, *317*.

Петр I Великий (1672—1725), русский царь с 1682 г., с 1721 г.— император — I, 18, *322, 375;* II, *322*.

Петров Александр Григорьевич (1802—1887), председатель С.-Петербургского цензурного комитета в 1865—1884 гг.— I, *324*.

Плевако Федор Никифорович (1843—1908), юрист, судебный оратор — II, 184, *345, 351*.

Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904), директор департамента полиции с 1881 г., товарищ министра внутренних дел в 1884—1894 гг.— I, *349*.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — I, *311*.

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), поэт — II, *313*.

«Вперед! Без страха и сомненья» — I, 37, *313*.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — I, *304, 350, 365;* II, *311, 316, 318, 329*.

«Повесть о Бове Королевиче», восточнославянская обработка средневекового рыцарского романа, особенно популярна в России в XVII—XIX вв.— I, *350*.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк — I, 16, 70, 73, 174, 175, *333—335*.

Поздняков Н. П., литературный обозреватель газеты «Эхо» — I, *375*.

«Литературные беседы» — I, *375*.

Покусаев Евграф Иванович, литературовед — I, *306, 333, 337, 365;* II, *352*.

«Революционная сатира Салтыкова-Щедрина» — I, *306, 333, 337, 365*.

«Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы» — II, *352*.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), журналист, писатель и историк — II, *377*.

«Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь. Драматическое представление» — II, 281, *377*.

Поляков Самуил Соломонович (1837—1888), капиталист-миллионер, держатель большинства акций общества по постройке и эксплуатации железных дорог — I, 117, 128; II, 171, *357, 359*.

Помпадур, маркиза де (Жанна-Антуанетта Пуассон; 1721—1764) — II, 260, *368*.

Помяловский Николай Герасимович (1835—1863) — II, *373*.

Понтий Пилат, римский прокуратор Иудеи в 26—36 гг. н. э.— II, *358*.

«Порядок» — II, *374*.

Потемкин Григорий Александрович, князь (1739—1791), генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II — I, 13, 14, *321;* II, 17, *308*

Потехин Павел Антипович (1839—1916), адвокат по гражданским делам и общественный деятель — II, 228, *355, 366*.

«Правительственный вестник» — I, *337, 364;* II, *317, 335*.

Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865) — I, 188, *309, 364*.

Псалтырь, одна из книг Библии — I, 228, *371*.

Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — I, 249; II, 51, 52, 54—61, *314*.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — I, 15, 18, 198, 199, *323*, *334*, 339, *355*, *366*, *367*; II, 198, 277, *320*, *322*, *330*, *343*, *370*, *375*.

«Бородинская годовщина» — I, 209, *367*; II, 96, *322*.

«Вакхическая песня» — II, *330*.

«Герой» — I, 20, *323*.

«К морю» — I, 199, *366*.

«Каменный гость» — II, *343*.

«Клеветникам России» — I, 74, *334*.

«Медный всадник» — I, 18; II, 277, *375*

«Моцарт и Сальери» — I, 137, *355*.

«Наполеон» — II, 96, *322*.

«Стансы» — I, 78; II, *320*.

«Черная шаль» — I, 15, 16.

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — I, *302*, *305*, *312*, *337*, *350*.

Пятковский Александр Яковлевич (1840—1904), критик и публицист — II, *319*.

Рабле Франсуа (1494—1553) — I, *315*.

«Рассвет», орган русских евреев — журнал, издавался в Петербурге в 1879—1884 гг. еженедельно — II, *360*.

Ратынский Николай Антонович (1821—1887) — I, *368*.

Редедя (ум. в 1028 г.), Косожский хан конца X — начала XI в. — I, 74, 121, 188, *305*, *334*, *344*, *350*, *352*, *364*, *365*, *377*.

Рейтерн Михаил Христофорович, граф (1820—1890), министр финансов в 1862—1878 гг. — II, *357*.

Реомюр Рене-Антуан (1683—1757) — II, 229.

Решетников Федор Михайлович (1841—1871), писатель-демократ — II, *373*.

Ржевский Владимир Константинович (1811—1885), публицист, чиновник канцелярии попечителя Московского учебного округа — II, *367*.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908) — II, 164, 343.

«Псковитянка» — II, 165, *343*.

Розенталь, банкир, финансировал строительство железных дорог в России — I, 214.

Россини Джоаккино Антонио (1792—1868) — I, *355*; II, *341*.

«Вильгельм Телль» («Карл Смелый») — I, 140, *355*; II, *341*.

Рост, владелец зоологического сада в Петербурге — I, 66, *329*.

Ростислав Владимирович (XI в.), князь тмутараканский — I, *73*.

Ростовцев Яков (Иаков) Иванович (1803—1860), генерал-адъютант, в 1857—1859 гг. член Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу — I, 252, *376*.

Румянцев Петр Александрович, граф (1725—1796), генерал-фельдмаршал, командующий армией во время русско-турецких войн — I, 14, *321*.

Русанов Гавриил Андреевич (1846—1907), знакомый Л. Н. Толстого — I, *316*.

«Поездка в Ясную Поляну» — I, *316*.

«Русская газета», общественно-политическая, экономическая и литературная газета, издавалась в Москве в 1877—1882 гг. — I, *338*.

«Русская старина» — I, 13, 74, 100, 299, *321*, *334*, *340*.

«Русский архив» — I, 100, *334*.

«Русский вестник» — I, *319*, *369*; II, 186, *302*, *303*, *312*, *336*, *349*, *370*.

«Русский курьер», общественно-политическая газета, выходила в Москве в 1879—1889 и 1891 гг. — I, *315*, *358*, *375*.

«Русский мир» — I, *325*, *328*, *350*.

«Русь» — I, *314*; II, *324*.

Рюрик (ум. в 878 г.) — I, 71—73, *336*.

Рюриковичи, русская царская династия — I, *345*.

Сабуров Иван Васильевич (1795—1873), пензенский помещик, автор статей по сельскохозяйственным вопросам — II, 17, *308*.

Савойская династия, одна из царствовавших итальянских династий (с 1034 г.) — II, *317*, *318*.

Салтыков (Н. Щедрин) Михаил Евграфович (1826—1889).

«Благонамеренная повесть. Мои любовные радости и страдания. Из записок солощего Быка» (не заверш.) — II, *307*.

«Благонамеренные речи» — II, *312*, *321*, *326*; Дерунов — II, 29, *312*, *356*, *359*; Разуваев — II, 29, *312*, *356*, *359*.

«Больное место» («Сборник») — I, *312*; II, *349*.

«В дороге» («Благонамеренные речи») — II, *326*.

«В среде умеренности и аккуратности» — I, 43, *306*, *319*, *321*, *325*, *327*,

330, 338; Балалайкин — I, 43, 44, 46—50, 52—61, 64—70; II, *374.*

«Господа Головлевы» — I, *311, 312;* Иудушка — *II*, 272.

«Господа Молчалины» («В среде умеренности и аккуратности») — I, *321, 327;* II, *349;* Балалайкин — I, *328;* II, 272, *374.*

«Господа ташкентцы» — I, *300, 356;* II, *349;* Персиянов — II, 204, *349.*

«Губернские очерки» — I, *328, 370;* II, *312, 320, 325;* Аринушка — II, *320;* Пахомовна — II, *320;* Рогуля — II, 108, *325;* Стрекоза — I, *328;* Фейер — II, 29, *312.*

«Дворянские мелодии» — I, *312, 321;* II, *319.*

«День прошел — и слава богу!» («В среде умеренности и аккуратности») — I, *319.*

«Дети Москвы» («Сборник») — I, *300, 321.*

«Дикий помещик» — II, 234, *362.*

«Дневник провинциала в Петербурге» — I, *300, 303, 330, 337, 338, 376;* II, *331, 338, 340.*

«За рубежом» — I, *334, 376;* II, *318, 327, 362;* Дыба — I, 262, *376;* II, 129, *327;* Удав — I, 262, *376.*

«Запутанное дело» («Невинные рассказы») — I, *355.*

«История одного города» — I, *332, 333, 337;* II, *312, 331—332;* Прыщ — II, 29, *312;* Угрюм-Бурчеев — II, 29, *312.*

«Кандидат в столпы» («Благонамеренные речи») — II, *326.*

«Каплуны» — II, *352.*

«Круглый год» — I, *359;* II, *338, 346.*

«Литературная подпись» А. Скавронского» — I, *322.*

«Мелочи жизни» — II, *346, 347.*

«Наша общественная жизнь» — II, *335, 352.*

«Наши бури и непогоды» — I, *323.*

«Один из деятелей русской мысли» — II, *339.*

«Охранители» («Благонамеренные речи») — I, *371.*

«Пестрые письма» — I, *322;* Гвоздилов — *II*, *322;* Дыба — II, 129, *327.*

«Письма к тетеньке» — I, *305, 328, 351, 354, 357, 370, 372, 376;* II, *317, 319, 322, 327, 355, 357, 361, 370;* Грызунов — I, 132, *354;* Дыба — I, 262, *376;* II, 129, *237;* Стрекоза — I, *328;* Удав — I, 262, *376.*

«Помпадуры и помпадурши» — I, *321,* 372; II, *368;* Козелков — II, 259, *368;* Кротиков — II, 259, *368.*

«Пошехонская старина» — I, *349, 371;* II, *314, 320;* Струнников — II, 42, *314;* Федос — II, *320.*

«Предводитель Струнников» («Пошехонская старина») — I, 42, *350;* II, *314.*

«Приключение с Крамольниковым» («Сказки») — II, *319, 347.*

«Пропала совесть» («Сказки») — II, *319.*

«Современные призраки» — I, *311.*

«Сон в летнюю ночь» («Сборник») — II, *319, 348.*

«Столп» («Благонамеренные речи») — II, *326.*

«Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики» — II, *337.*

«Ташкентцы-цивилизаторы» («Господа ташкентцы») — I, *328.*

«Тихое пристанище» — II, *310, 352;* Муров — II, *310.*

«Тряпичкины очевидцы» («В среде умеренности и аккуратности») — *I*, *322.*

«Тяжелый год» («Благонамеренные речи») — II, *314.*

«Убежище Монрепо» — I, *376;* II, *312;* Дерунов — II, 29, *312, 356, 359;* Разуваев — II, 29, *312, 356, 359.*

«Уличная философия» — II, *337, 368.*

«Чужой толк» («В среде умеренности и аккуратности») — I, *311;* *II*, *319.*

«Чужую беду — руками разведу» («В среде умеренности и аккуратности») — I, *300*

«1-е ноября» («Круглый год») — I, *361.*

Самаров, литературный псевдоним Мединга (см.).

Самсон (Библия) — I, *350.*

Санд Жорж (Аврора Дюдеван; 1804—1876) — II, *368.*

«Санкт-Петербургские ведомости» — I, *320, 324;* II, *299, 338, 348, 366.*

Сарданапал (Sardanapal), полулегендарный последний ассирийский царь — I, 251, 252.

Сахаров Иван Петрович (1807—1863),

фольклорист, этнограф и палеограф — II, *301, 318*.

«Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» — II, *301, 318*.

Свешникова (лит. псевдоним — Некто из толпы) Елизавета Петровна (ум. в 1918 г.), писательница, переводчица — I, *308*.

Свифт Джонатан (1667—1745) — I, *315*.

«Свисток» — I, *334;* II, *307*.

Святополк Окаянный (ок. 980—1019), древнерусский князь, княжил в Турове, в междоусобной борьбе убил своих братьев — II, 26, *309*.

Святослав, русский князь (XI в.) — II, *309*.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк и публицист — I, *307, 334*.

«Дневник» — I, *307*.

Семенов В., владелец одесской типографии «Труд» — II, 250.

Сементковский Ростислав Иванович (1846—1914), юрист, публицист и беллетрист, редактор «Нивы» — II, *362*.

Семирамида, легендарная царица Ассирии — II, 260.

Сервантес де Сааведра Мигель (1547—1616) — I, *303*.

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — I, *302;* Дульцинея — II, 8.

Серов Александр Николаевич (1820—1871) — II, *367*.

Серова (урожд. Бергман) Валентина Семеновна (1846—1924) — II, *367*.

Сеченов Иван Михайлович (1829—1905) — II, 163, *343*.

Симонович-Львова М. Я.— II, *367*.

Синеус (середина IX в.), полулегендарный древнерусский князь, брат Рюрика, княжил в районе Белоозера — I, 71.

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — II, *348*.

«Мысли по поводу текущей литературы» — II, *348*.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — I, *345*.

Скотт Вальтер (1771—1832) — I, *249*.

Слёнин Иван Васильевич (1789—1836), петербургский издатель — I, 15.

Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878) — II, *309, 373*.

Смирнов Иван Николаевич, доцент Казанского университета, автор учебника по географии — I, 269, 271.

Смуров, владелец гастрономического и фруктового магазинов в Петербурге — I, 58.

Соболевский Василий Михайлович (1846—1913), профессор-юрист, редактор «Русских ведомостей» — II, *332*.

«Современник» — I, *299, 322, 334, 335;* II, *307, 336, 353, 373*.

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882), писатель — II, 198.

Соловьев Александр Константинович (1846—1879), революционер-народник, совершивший 2 апреля 1878 г. неудачное покушение на Александра II — I, *354, 365*.

Соловьев Яков Александрович (1820—1876), деятель крестьянской реформы 1861 г.— I, 252, 256, *376*.

Соломон, царь объединенного Израильско-Иудейского царства ок. 960—935 до н. э.— I, 155, *344;* II, 11, 284, *307*.

Сорокин И. Н.— II, *357*.

Спасович Владимир Данилович (1829—1906) — II, 184, 213, 215—226, 228, *351, 354, 375*.

«Дело Мельницких» — II, *375*.

Спасская Лидия Николаевна, вятская общественная деятельница и литератор, автор воспоминаний о Салтыкове — II, *324*.

Спасский Иван Георгиевич, историк-нумизмат — II, *308, 314*.

«Иностранные и русские ордена до 1917 года» — II, *308, 314*.

«Среди газет и журналов», анонимный обзор в «Новом времени» — II, *374*.

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — II, *340*.

Стасов Дмитрий Васильевич (1828—1918), юрист, общественный и музыкальный деятель — II, *375*.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — I, *316, 329;* II, *300, 332—334, 369*.

Степняк-Кравчинский. См. Кравчинский С. М.

«Страна», политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1880—1883 гг.— II, *374*.

Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — I, *311*.

«Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки» — I, *311*.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — I, 151, *328;* II, *369*.

«Письма к другу» — II, *369*.

«Русский календарь» — I, 151, 152; II, 252.
«Сатирические «Андроны» — II, *305*.
Суворов (Suwaroff) Александр Васильевич (1730—1800) — I, 14, 252, *321*.
Судейкин Георгий Порфирьевич (ум. в 1883 г.), подполковник, главный инспектор петербургской секретной полиции в 80-х гг.— II, *363*.
Сусанна (Библия) — II, 81.
Суслова Надежда Прокофьевна (1843—1918), одна из первых в России женщин-врачей — II, 214—215, 217, 218, 226.
Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903) — I, *327*.
«Свадьба Кречинского» — I, *327*; Расплюев — I, 43, *327*.
«Смерть Тарелкина» — I, *327*; Расплюев — I, 43, *327*.
Сухозанет Николай Онуфриевич (1794—1871), генерал-адъютант, военный министр в 1856—1861 гг.— I, *359*.
«Сын отечества» — I, *315*, *324*, *338*, *343*, *352*, *358*; II, *348*.

Твардовская Вера Александровна, историк — I, *360*.
«Социалистическая мысль России на рубеже 1870—1880 гг.» — I, *360*.
Тедески, петербургский портной — II, 196, 203, 289.
Телль Вильгельм (ум. в 1354 г.), вождь швейцарцев в борьбе против австрийского владычества — I, *351*.
Теплинский Марк Вениаминович, литературовед — II, *337*.
«Отечественные записки». 1868—1884» — II, *337*.
Терпигорев (лит. псевдоним — С. Атава) Сергей Николаевич (1841—1895), писатель — I, *364*, *374*.
«Оскудение» — I, *364*. *374*.
Тимофеева-Починковская В. В. — I, *320*.
«Год работы с знаменитым писателем» — I, *320*.
Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889) — I, *304*, *325*, *338*, *379*; II, *303*, *357*, *362*.
Толстой Лев Николаевич, граф (1828—1910) — I, *316*; II, *308*, *360*.
«Анна Каренина» — II, *308*.
Троицкий Н. А., историк — I, *369*.
«Процесс 193-х» — I, *369*.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — I, *315*, *316*; II, *316*, *336*, *341*, *364*.
«Отцы и дети» — II, *336*.
«Рудин» — II, *316*; Рудин — II, 53, *316*.
«Тысяча и одна ночь»; Шехерезада — II, 293.
Тюрго Анн-Робер-Жак (1727—1781), французский государственный деятель и экономист — II, 245.

Уваров Алексей Сергеевич, граф (1825—1884), археолог, основатель Русского и Московского археологических обществ, а также Исторического музея в Москве — I, *322*.
Уваров Сергей Семенович, граф (1786—1855), министр народного просвещения в 1833—1849 гг.— I, 15, *322*.
«Уединенный пошехонец» — II, 91, *321*, *330*.
Унковский Алексей Михайлович (1828—1893), общественный деятель, руководитель тверской либеральной оппозиции — II, *352*, *375*.
Унковский Семен Яковлевич (ок. 1788—1882), капитан-лейтенант, директор московского Дворянского института с 1834 по 1837 г.— II, 253, *367*.
Урий Хеттеянин (Библия) — I, 257, *376*; II, *307*.
Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — I, 30, *310*, *364*; II, *367*, *373*.
«Бог грехам терпит. III. Подозреваемые» — I, *310*.
«Власть земли» — I, 182, *364*.
«Волей-неволей» — II, *367*.
Успенский Николай Васильевич (1837—1889), писатель-демократ — II, *373*.
Ушаков Андрей Иванович (1670—1747), начальник тайной розыскной канцелярии при императрице Анне Ивановне — II, 261.

Фадеев Ростислав Андреевич (1824—1883), генерал-майор, военный писатель и реакционный публицист — I, *305*, *350*, *353*.
«Мнение о восточном вопросе» — I, *353*.
Феваль Поль (1817—1887), французский беллетрист, автор бульварных романов — II, 191.
Федоров Михаил Павлович (1839—1900), официальный редактор газеты «Новое время» с 1873 г.— I, *328*.
Феоктистов Евгений Михайлович (1829—1898) — I, *304*, *350*, *355*; II, *332*, *333*, *359*.
«Дневник» — II, *359*.

«За кулисами политики и литературы» — I, *304, 350, 355.*

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942), революционерка-народница — I, *378.*

Филиппов Андрей Григорьевич, московский первой гильдии купец — I, 11, 16, *308.*

Флоринский Василий Маркович (1834—1899), акушер и гинеколог, профессор Казанского университета в 1877—1885 гг.— II, 215, 218.

Фок фон Максим Яковлевич (Магнус Готфрид; 1777—1831), управляющий III Отделением, помощник Бенкендорфа — II, 260, 261.

Фонвизин Денис Иванович (1744—1792) — II, *312.*

«Недоросль» — II, *312;* Вральман — II, 292; Кутейкин — II, 292; Правдин — II, 29, 30, *312;* Простаковы — II, 29, *312;* Скотинины — II, 29, 30, *312;* Цыфиркин — II, 292.

Фрелих, одесский мастер — II, 251.

Фурье Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист — II, *326.*

Халабаев Константин Иванович, текстолог и редактор — I, *318.*

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт, драматург, публицист и богослов — II, *361.*

Цебрикова Мария Константиновна (1835—1917), писательница — II, *353.*

«Дух компромисса в Англии» — II, *353.*

Цезарь Гай Юлий (100—44 гг. до н. э.) — I, 135, *355;* II, *353.*

Цицерон Марк Туллий (106—43 гг. до н. э.) — I, *334;* II, *368, 374.*

«Об обязанностях» — II, 257, *368.*

«Об ораторе» — II, *374.*

«Первая речь против Катилины» — I, 75, *334.*

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — II, *341.*

Чербишевич, врач, эксперт по делу С. Кронеберга — II, 215.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — I, *322, 365;* II, *335.*

Черняев Михаил Гаврилович (1828—1898), генерал-майор, в 1876 г. командующий сербской армией — I, *305, 350, 353, 355, 365, 377.*

Чистяков Матвей Николаевич (1854—1920), литератор, друг А. И. Эртеля — I, *310.*

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), юрист-государствовед, историк и публицист — I, *304, 350.*

«Воспоминания. Московский университет» — I, *304.*

Чуйко Владимир Викторович (1839—1899), литературный критик — I, *315;* II, *301.*

«Литературная хроника» — I, *315.*

«Несколько слов об «Андронах» г. Щедрина» — II, *301.*

Чуковский Корней Иванович (1882—1971) — II, *309.*

«В. А. Слепцов, его жизнь и творчество» — II, *309.*

Чуркин, петербургская фирма по производству шляп (владелец — Чистяков Василий Федорович) — II, 282.

Шагмет, портной — II, 196.

Шайкевич, гражданский истец в деле Митрофании — II, 184, *345.*

Шассен Шарль-Луи (1831—1901), французский корреспондент, обозреватель «Отечественных записок» — II, *353.*

«Хроника парижской жизни» — II, *353.*

Шатобриан Франсуа-Рене (1768—1848) — II, 67, *318.*

Шебеко Николай Игнатьевич (1834—1904), генерал-лейтенант, товарищ министра внутренних дел в 1887—1895 гг., историограф — I, *351.*

Шекспир Уильям (1564—1616) — I, 276, *377;* II, 184.

«Гамлет» — II, 184.

«Ричард III» — II, 184.

Шешковский Степан Иванович (1727—1793), обер-секретарь тайной экспедиции при первом департаменте Сената с 1767 г.; вел следствие по восстанию Пугачева и по делу Новикова — I, 42, 140; II, 23, 260, 261.

Шидловский Михаил Романович (1826—1880), начальник Главного управления по делам печати в 1870—1871 гг.— II, *310.*

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — II, *353.*

«Resignation» — II, 221, *353.*

Шпильгаген Фридрих (1829—1911), немецкий писатель — II, 262, 263, *367—369.*

«Из мрака к свету» — II, *368.*

«Один в поле не воин» — II, *368.*

«Gerettet» — II, *369.*

Шпис, владелец мясной лавки в Петербурге — I, 20, 120, *308.*

Шувалов Петр Павлович (1819—1900), предводитель дворянства Петербургской губернии в 1857—1862 гг., член «Священной дружины» — I, *356*.

Щербачев Григорий Дмитриевич (1823—1900), писатель — II, *309*, *331*.

«Идеалы моей жизни. Воспоминания из времен царствований императоров Николая I и Александра II» — II, *309*, *331*.

Эзоп — II, 185, 209, *322*, *348*, *380*.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1960), литературовед — I, *317*, *318*.

Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893), публицист-народник — I, *351*, *363*, *375*.

«Из деревни» — I, *375*.

Энгельс Фридрих (1820—1895) — I, *303*.

Эрбер, владелец магазина фруктово-колониальных товаров на Невском проспекте в Петербурге — I, 70, *308*.

Эрве Флоримон Ронже (1825—1892), французский опереточный композитор — II, *317*.

«M-lle Nitouche» — II, 62, *317*.

Эртель Александр Иванович (1855—1908), писатель — I, *310*; II, *357*.

«Черты из жизни М. Е. Салтыкова» — II, *357*.

«Эхо», общественно-политическая и литературная газета, издавалась в Петербурге в 1882—1885 гг.— I, *306*, *314*, *315*, *375*; II, *306*, *373*.

«Эхо. Фельетон. Журналистика», анонимное обозрение из «Новороссийского телеграфа» — II, *364*.

Эюб-паша, хан, афганский принц, вел борьбу за власть против англичан — I, 67, *329*.

Ювенал Децим Юний (род. в 60-х гг.— ум. после 127 г.) — I, *315*; II, *375*.

«Сатиры» — II, 278, *375*.

Южаков Сергей Николаевич (1849—1910), публицист и экономист, народник — II, *370*.

Юханцев Константин Николаевич — I, 108, 188, 289, 290, *309*, *337*, *343*, *364*, *378*.

Языков Александр Иванович (ум. в 1886 г.), преподаватель уголовного судопроизводства в Училище правоведения, с 1868 г. присяжный поверенный Петербургского округа — II, 220, *353*.

Яковлев Николай Васильевич, литературовед — II, *314*. *376*, *378*, *379*.

«Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Из наблюдений над работой писателя)» — II, *314*.

Berryer Pierre-Antoine (1790—1868), французский адвокат и политический деятель — I. *230*, *371*.

Capoul Joseph-Amedee-Victor (1839—1924), французский певец — I, 259, *378*.

Chaix d'Est Ange-Gustave-Luis-Adolphe-Victor-Charles (1800—1876), французский юрист и политический деятель — I, 230, *371*.

«Combat» («Борьба»), французская газета — II, 66.

«L'Intransigeant» («Непримиримый»), французская газета, была основана 14 июля 1880 г. А. Рошфором — II, 66.

«La Justice» («Справедливость»), французская радикальная газета, основана в 1880 г., редактор Ж. Клемансо — II, 66.

«Norddeutsche Allgemeine Zeitung» (у Салтыкова — «Norddeutsche Zeitung»; «Северогерманская всеобщая газета»), немецкая ежедневная консервативная газета: в 1860—1880 гг. официоз правительства Бисмарка; выходила в Берлине с 1861 по 1918 г.— II, 137.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОШЕХОНСКИЕ РАССКАЗЫ

В е ч е р п е р в ы й
По Сеньке и шапка 7
В е ч е р в т о р о й
Audiatur et altera pars 29
В е ч е р т р е т и й
В трактире «Грачи» 51
В е ч е р ч е т в е р т ы й
Пошехонские реформаторы 81
В е ч е р п я т ы й
Пошехонское «дело» 104
В е ч е р ш е с т о й
Фантастическое отрезвление 130

НЕДОКОНЧЕННЫЕ БЕСЕДЫ

(*«Между делом»*)

Глава I 151
Глава II 162
Глава III 172
Глава IV 185
Глава V 212
Глава VI 229
Глава VII 240
Глава VIII 249
Глава IX 263
Глава X 280

НЕОКОНЧЕННОЕ

<В числе философских учений...> 287
Между делом 288

П р и м е ч а н и я 299

Указатель личных имен и названий периодической печати 381

Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 15, кн. 2

Редакторы *В. Панов* («Пошехонские рассказы»),
В. Фридлянд («Недоконченные беседы»)

Художественный редактор *С. Данилов*

Технический редактор *Л. Титова*

Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 9/X 1972 г. Подписано в печать 30/III 1973 г.
типограф. № 1. 60 × 90[1]/16. 25 печ. л. 25 усл. печ. л. 25.89 у
Тираж 52 500 экз. Заказ № 1819. Цена 1 р. 65 к.

Издательство «Художественная литература», Москва, 1
Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16